И. С. ТУРГЕНЕВ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ И ПИСЕМ

СОЧИНЕНИЯ

1

Ив. Тургенев



И. С. ТУРГЕНЕВ.
Портрет работы А. А. Харламова (масло). 1875 г.
Государственный Русский музей (Ленинград).

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(ПУШКИНСКИЙ ДОМ)



И. С. ТУРГЕНЕВ

ПОЛНОЕ
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
И ПИСЕМ

В ТРИДЦАТИ ТОМАХ

СОЧИНЕНИЯ

В ДВЕНАДЦАТИ ТОМАХ

♦

Издание второе,
исправленное и дополненное

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА
1978

И. С. ТУРГЕНЕВ

СОЧИНЕНИЯ

Том первый

СТИХОТВОРЕНИЯ, ПОЭМЫ, СТАТЬИ И РЕЦЕНЗИИ, ПРОЗАИЧЕСКИЕ НАБРОСКИ

1834—1849

◆

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА
1978

Т $\frac{70302-239}{042(02)}$ Подписное

ОТ РЕДАКЦИИ

В 1960—1968 гг. Институт русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР в Ленинграде подготовил к печати и издательство «Наука» выпустило в свет Полное собрание сочинений и писем И. С. Тургенева в 28 томах. Издание состояло из двух серий, первая включала художественные и критико-публицистические произведения писателя (15 томов), вторая — его письма (13 томов).

За десять лет, прошедших после завершения издания, наши знания о Тургеневе пополнились новыми фактами, в научный оборот введены десятки вновь разысканных рукописей художественных произведений и особенно писем. Все это предопределило целесообразность повторного обращения к наследию Тургенева. Предлагаемое ныне вниманию читателя второе, дополненное и исправленное, издание Полного собрания сочинений и писем И. С. Тургенева в 30 томах осуществляется на основе первого. Оно включает все известное в настоящее время литературное наследие писателя: художественные произведения, критические, автобиографические и мемуарные статьи, рецензии, речи, предисловия к собственным и чужим произведениям, тексты для музыкальных произведений, а также все известные его письма.

Кроме опубликованных произведений Тургенева и произведений, оставшихся в рукописях и незаконченных, в издание входят планы, наброски и другие материалы к неосуществленным замыслам, а также переводы иноязычных поэтических произведений на русский язык, принадлежащие Тургеневу.

Серия сочинений состоит из 12 томов. В основу распределения материала по томам положен жанрово-хронологический принцип. Каждый том состоит из двух разделов; в первом из них печатаются основные тексты произведения, во втором — примечания. Произведения, в отношении которых авторство Тургенева нельзя считать вполне установленным, печатаются в разделе «Dubia» в последнем, двенадцатом, томе.

Тексты произведений Тургенева, вошедших в издание, проверены по всем доступным источникам (печатным и рукописным). В результате последних исследований и в связи с обна-

ружением новых материалов некоторые произведения печатаются здесь не по тем источникам, которые служили основой для публикации в первом издании («Стéно», «Провинциалка» и др.). Как правило, все тексты, опубликованные при жизни самим Тургеневым, печатаются по последнему авторизованному изданию. Произведения, при жизни писателя не опубликованные, печатаются по рукописям, авторитетным копиям, посмертным публикациям и т. п. Из текста принятой для печати редакции, на основании сличения всех первоисточников, устраняются цензурные искажения, переделки, внесенные редакторами без согласования с Тургеневым, опечатки и другие отступления от подлинного авторского текста.

Тексты сочинений Тургенева (на русском и иностранном языках) печатаются по правилам современной орфографии и пунктуации с сохранением некоторых особенностей, отражающих нормы современного Тургеневу языка или лично ему свойственных.

Другие редакции произведений и варианты, необходимые для узкого круга читателей и исследователей, в настоящем издании не воспроизводятся. Они напечатаны в первом издании Полного собрания сочинений и писем И. С. Тургенева и в сопровождающих его «Тургеневских сборниках» и в необходимых случаях принимаются во внимание или частично воспроизводятся в комментариях к настоящему изданию со ссылками на указанные там источники. Подготовительные материалы, предшествовавшие написанию произведения — планы, конспекты, наброски,— в настоящем издании воспроизводятся полностью.

Справочный аппарат каждого тома издания состоит из вводных заметок и необходимых примечаний к текстам произведений Тургенева. В примечаниях к каждому произведению даются сведения обо всех рукописных и печатных источниках текста, справки об основаниях выбора основного текста и о внесенных в него исправлениях, сведения об истории создания и печатания данного произведения, краткая идейно-художественная его характеристика, основные отзывы о нем современной Тургеневу критики, наконец — историко-литературный и реальный комментарий, необходимый для понимания текста современным читателем.

Условные сокращения, принятые в первом томе, относятся ко всем томам издания. Общий именной указатель, перечень произведений и переводов Тургенева, по разным причинам не вошедших в издание, неосуществленных замыслов, а также указатель произведений будут помещены в последнем томе.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ ПРИ ЖИЗНИ

И. С. ТУРГЕНЕВА

1836—1849

СТИХОТВОРЕНИЯ

ВЕЧЕР

ДУМА

В отлогих берегах реки дремали волны;
Прощальный блеск зари на небе догорал;
Сквозь дымчатый туман вдали скользили челны —
И, грустных дум и странных мыслей полный,
На берегу безмолвный я стоял.

Маститый царь лесов, кудрявой головою
Склонился старый дуб над сонной гладью вод;
Настал тот дивный час молчанья и покою,
Слиянья ночи с днем и света с темнотою,
Когда так ясен неба свод.

Всё тихо: звука нет! всё тихо: нет движенья!
Везде глубокий сон — на небе, на земле;
Лишь по реке порой минутное волненье:
То ветра вздох; листа неслышное паденье;
Везде покой — но не в моей душе.

Да, понял я, что в этот час священный
Природа нам дает таинственный урок —
И голос я внимал в душе моей смущенной,
Тот голос внутренний, святой и неизменный,
Грядущего таинственный пророк.

Кругом (так я мечтал) всё тихо, как в могиле;
На всё живущее недвижность налегла;
Заснула жизнь; природы дремлют силы —
И мысли чудные и странные будила
В душе моей той ночи тишина.

Что если этот сон — одно предвозвещанье
Того, что ждет и нас, того, что будет нам!
Здесь света с тьмой — там радостей, страданий

С забвением и смертию слиянье:
Здесь ночь и мрак — а там? что будет там?

В моей душе тревожное волненье:
Напрасно вопрошал природу взором я;
Она молчит в глубоком усыпленье —
И грустно стало мне, что ни одно творенье
Не в силах знать о тайнах бытия.

К ВЕНЕРЕ МЕДИЦЕЙСКОЙ

Богиня красоты, любви и наслажденья!
Давно минувших дней, другого поколенья
Пленительный завет!
Эллады пламенной любимое созданье,
Какою негою, каким очарованьем
Твой светлый миф одет!

Не наше чадо ты! Нет, пылким детям Юга
Одним дано испить любовного недуга
Палящее вино!
Созданьем выразить душе родное чувство
В прекрасной полноте изящного искусства
Судьбою им дано!

Но нам их бурный жар и чужд и непонятен;
Язык любви, страстей нам более не внятен;
Душой увяли мы.
Они ж, беспечные, три цели знали в жизни:
Пленялись *славою*, на смерть шли за *отчизну*,
Всё забывали для *любви*.

В роскошной Греции, оливами покрытой,
Где небо так светло, там только, Афродита,
Явиться ты могла,
Где так роскошно Кипр покоится на волнах,
И где таким огнем гречанок стройных полны
Восточные глаза!

Как я люблю тот вымысел прекрасный!
Был день; земля ждала чего-то; сладострастно
К равнине водяной
Припал зефир: в тот миг таинственный и нежный
Родилась Красота из пены белоснежной —
И стала над волной!

И говорят, тогда, в томительном желанье,
К тебе, как будто бы ища твоих лобзаний,
Нагнулся неба свод;
Зефир тебя ласкал эфирными крылами;
К твоим ногам, почтительно, грядами
Стремилась бездна вод!

Тебя приял Олимп! Плененный грек тобою
И неба и земли назвал тебя душою,
Богиня красоты! *
Прекрасен был твой храм — в долине сокровенной,
Ветвями тополя и мирта осененный,
В сиянии луны,

Когда хор жриц твоих (меж тем как фимиама
Благоуханный дым под белый купол храма
Торжественно летел,
Меж тем как тайные свершались возлиянья)
На языке родном, роскошном, как лобзанье,
Восторга гимны пел!

Уже давно во прах твои упали храмы;
Умолкли хоры дев; дым легкий фимиама
Развеяла гроза.
Сын знойной Азии рукою дерзновенной
Разбил твой нежный лик, и грек изнеможенный
Не защитил тебя!

Но снова под резцом возникла ты, богиня!
Когда в последний раз, как будто бы святыни
Трепещущим резцом
Коснулся Пракситель до своего созданья,
Проснулся жизни дух в бесчувственном ваянье:
Стал мрамор божеством!

И снова мы к тебе стекаемся толпами;
Молчание храня, с поднятыми очами,
Любуемся тобой;
Ты снова царствуешь! Сынов страны далекой,
Ты покорила их пластической, высокой —
Своей бессмертной красотой!

---

* Alma mundi Venus... (*Примечание Тургенева.*)

БАЛЛАДА

Перед воеводой молча он стоит;
Голову потупил — сумрачно глядит.

С плеч могучих сняли бархатный кафтан;
Кровь струится тихо из широких ран.

Скован по ногам он, скован по рукам:
Знать, ему не рыскать ночью по лесам!

Думает он думу — дышит тяжело:
Плохо!.. видно, время доброе прошло.

«Что́, попался, парень? Долго ж ты гулял!
Долго мне в тенёта волк не забегал!

Что же приумолк ты? Слышал я не́ раз —
Песенки ты мастер петь в веселый час;

Ты на лад сегодня вряд ли попадешь...
Завтра мы услышим, ка́к ты запоешь».

Взговорил он мрачно: «Не услышишь, нет!
Завтра петь не буду — завтра мне не след;

Завтра умирать мне смертию лихой;
Сам ты запоешь, чай, с радости такой!..

Мы певали песни, как из леса шли —
Как купцов с товаром мы в овраг вели...

Ты б нас тут послушал — ладно пели мы;
Да не долго песней тешились купцы...

Да еще певал я — в домике твоем;
Запивал я песни — всё твоим вином;

Заедал я чарку — барскою едой;
Целовался сладко — да с твоей женой».

СТАРЫЙ ПОМЕЩИК

1

Вот и настал последний час...
Племянник, слушай старика.
Тебя я бранивал не раз
И за глазами и в глаза:
Я был брюзглив — да как же быть!
Не научился я любить...
Ты дядю старого прости,
Казну, добро себе возьми,
А как уложишь на покой,
Не плачь; ступай, махни рукой!

2

И я был молод, ел и пил,
И красных девушек ласкал,
И зайцев сотнями травил,
С друзьями буйно пировал...
Бывало, в город еду я —
Купцы бегут встречать меня...
Я первым славился бойцом
И богачом, и молодцом.
Богатство всё перевелось —
Да что!.. любить не довелось!

3

И сам не знаю отчего:
Не то, чтоб занят был другим —
Иль время скоро так прошло...
Но только не был я любим —
И не любил; зато тоска
Грызет и давит старика —
И в страшный час, последний час,
Ты видишь — слезы льют из глаз:
Мне эти слезы жгут лицо,
И стыдно мне и тяжело...

Ах, Ваня, Ваня! что мне в том,
Что я деньжонок накопил,
Что церковь выстроил и дом:
Я не любим, я не любил!
Что в де́ньгах мне? Возьмите всё
Добро последнее мое —
Да лишь бы смерть подождала
И насладиться мне дала...
Ах, дайте страсть узнать и жизнь —
И я умру без укоризн!

5

Я грешник, Ваня. Мне бы след
Теперь подумать и о том,
Как богу в жизни дать ответ,
Послать бы надо за попом...
Но всё мерещится — вот, вот
Ко мне красавица идет...
Я слышу робкий шум шагов
И страстный лепет милых слов,
И в голове моей седой
Нет места мысли неземной.

6

Я худо вижу... Смерть близка...
Ну, жизнь бесплодная, прощай!
Ох, Ваня! страшная тоска...
Родимый, руку мне подай...
Смотри же, детям расскажи,
Что дед их умер от тоски,
Что он терзался и рыдал,
Что тяжело он умирал —
Как будто грешный человек,
Хоть он и честно прожил век.

ПОХИЩЕНИЕ

Конь мой ржет и бьет копытом...
Мне напомнил он о ней —
О блаженстве позабытом
Быстрых, пламенных очей.
Ах, пора, пора былая!..
Мне не спится... ночь глухая...
Душно мне — и вскрикнул я:
«Эй! седлайте мне коня!
Спите сами, если спится,
А мне дома не сидится».

Стали тучи над луною,
Дремлют бледные поля;
Скачет, скачет предо мною
Тень огромная моя.
Лес как будто сном забылся —
Хоть бы лист зашевелился...
Я на гриву лег лицом,
Осенил себя крестом,
Тихомолком попеваю
Да былое вспоминаю.

Вот и домик — стук в окошко...
«Ты ли, милый?» — «Встань, душа;
Поболтай со мной немножко,
Как в бывалые года́.
Если ж хочешь, молви слово:
Дома комната готова;
Ночь туманна и темна,
Лошадь добрая сильна;
Посмеемся и поплачем —
Хоть поплачем, да ускачем!»

Дверь скрипнула... «Милый, милый,
Наконец вернулся ты!

Иль узнал, что разлучили
Нас с тобою клеветы?
Я невинна...» — «Ах, не знаю!
За тобой я приезжаю;
Ты виновна или нет —
Без тебя мне тошен свет...
И забыть тебя старался,
Думал, думал — да примчался».

Как она была прекрасна!..
Мы пустились в дальний путь...
Как она склонялась страстно
Головой ко мне на грудь!
Я берег ее так нежно —
Сердце билось так мятежно...
Всё так тихо, чудно спит,
Лошадь весело бежит;
И, как ветра слабый ропот,
Милых слов я слышу шёпот:

«Без тебя меня родные
Выдать замуж собрались.
Я рыдала... Братья злые
Погубить меня клялись.
Ка́к тебя я дожидалась!
Жениха ка́к я боялась!
Вдруг привстанет да зевнет,
Белым усом поведет,
Щеки толстые надует,
Подойдет да поцелует...»

Я дыханьем грел ей руки,
Целовал ее в глаза:
«Позабудь былые муки
И былого жениха!
Разочтутся с ним родные...
А усы его седые
Срежу шашкою кривой
Вместе с глупой головой!
Сторож, сторож, отворяй-ка!
К вам приехала хозяйка».

Заметила ли ты, о друг мой молчаливый,
О мой забытый друг, о друг моей весны,
Что в каждом дне есть миг глубокой, боязливой,
Почти внезапной тишины?

И в этой тишине есть что-то неземное,
Невыразимое... душа молчит и ждет:
Как будто в этот миг всё страстное, живое
О смерти вспомнит и замрет.

О, если в этот миг невольною тоскою
Стеснится грудь твоя и выступит слеза...
Подумай, что стою я вновь перед тобою,
Что я гляжу тебе в глаза.

Любовь погибшую ты вспомни без печали;
Прошедшему, мой друг, предаться не стыдись...
Мы в жизни хоть на миг друг другу руки дали,
Мы хоть на миг с тобой сошлись.

ОСЕНЬ

Как грустный взгляд, люблю я осень.
В туманный, тихий день хожу
Я часто в лес и там сижу —
На небо белое гляжу
Да на верхушки темных сосен.
Люблю, кусая кислый лист,
С улыбкой развалясь ленивой,
Мечтой заняться прихотливой
Да слушать дятлов тонкий свист.
Трава завяла вся... холодный,
Спокойный блеск разлит по ней...
И грусти тихой и свободной
Я предаюсь душою всей...
Чего не вспомню я? Какие
Меня мечты не посетят?
А сосны гнутся, как живые,
И так задумчиво шумят...
И, словно стадо птиц огромных,
Внезапно ветер налетит
И в сучьях спутанных и темных
Нетерпеливо прошумит.

ТОЛПА

[Посвящено В. Г. Белинскому]

Среди людей, мне близких... и чужих,
Скитаюсь я — без цели, без желанья.
Мне иногда смешны забавы их...
Мне самому смешней мои страданья.
Страданий тех толпа не признает;
Толпа — наш царь — и ест и пьет исправно
И, что в душе *задумчивой* живет,
Болезнию считает своенравной.
И права ты, толпа! Ты велика,
Ты широка — ты глубока, как море...
В твоих волнах всё тонет: и тоска
Нелепая, и истинное горе.
И ты сильна... И знает тебя бог —
И над тобой он носится тревожно...
Перед тобой я преклониться мог,
Но полюбить тебя — мне невозможно.
Я ни одной тебе не дам слезы...
Не от тебя я ожидаю счастья —
Но ты растешь, как море в час грозы,
Без моего ненужного участья.
Гордись, толпа! Ликуй, толпа моя!
Лишь для тебя так ярко блещет небо...
Но всё ж я рад, что независим я,
Что не служу тебе я ради хлеба...
И я молчу — о том, что я люблю...
Молчу о том, что страстно ненавижу —
Я похвалой толпы не удивлю,
Насмешками толпы я не обижу...
А толковать — мечтать с самим собой,
Беседовать с прекрасными друзьями...
С такой смешной — ребяческой мечтой
Расстался я, как с детскими слезами...
А потому... мне *жить* не суждено...
И я тяну с усмешкой торопливой
Холодной злости — злости молчаливой
Хоть горькое, но пьяное вино.

ЦВЕТОК

Тебе случалось — в роще темной,
В траве весенней, молодой
Найти цветок простой и скромный?
(Ты был один — в стране чужой.)

Он ждал тебя — в траве росистой
Он одиноко расцветал...
И для тебя свой запах чистый,
Свой первый запах сберегал.

И ты срываешь стебель зыбкий.
В петлицу бережной рукой
Вдеваешь, с медленной улыбкой,
Цветок, погубленный тобой.

И вот, идешь дорогой пыльной;
Кругом — всё поле сожжено,
Струится с неба жар обильный,
А твой цветок завял давно.

Он вырастал в тени спокойной,
Питался утренним дождем
И был заеден пылью знойной,
Спален полуденным лучом.

Так что ж? напрасно сожаленье!
Знать, он был создан для того,
Чтобы побыть одно мгновенье
В соседстве сердца твоего.

ПОСЛЕДНЯЯ СЦЕНА ПЕРВОЙ ЧАСТИ «ФАУСТА» ГЁТЕ

Тюрьма

Фауст
(с связкой ключей и лампадой перед небольшой железной дверью)

Я чувствую тревожное волненье...
Всей скорбию земной душа моя полна;
Вот здесь она — в тюрьме... И что же?
Заблужденье
Простосердечное — вот вся ее вина.
Ты мешкаешь? Ты медлишь к ней идти?
Иль увидать ее боишься ты?
Решайся же... ей смерть грозит... Скорей!

*(Он схватывается за замок. В тюрьме раздается песенка. *)*

Фауст *(отпирая)*

Она не чувствует, что близок милый к ней,
И слышит шум соломы, звук цепей.

(Он входит.)

Маргарита *(прячась на постели)*

Они пришли... Смерть! смерть! О боже мой!

Фауст *(тихо)*

Тс! тише! Я пришел тебя спасти.

Маргарита *(валяясь у ног его)*

О, если ты не зверь, так сжалься надо мной!

---

* Старинную немецкую песенку, которую Гёте вложил в уста Маргариты, я не решился перевести, потому что, по-моему, в переводе она теряет свой характер и является каким-то фантастически лирическим излиянием. Впрочем, перевод г-м Губером этой песни — довольно верен. Т. Л. (*Примечание Тургенева.*)

Фауст

Тс! Криком сторожей разбудишь ты!

(Он берется за ее цепи.)

Маргарита *(на коленях)*

Кто дал тебе право, палач, приходить
Так рано за мною?
О, сжалься! дай мне сегодня пожить —
Возьми меня завтра поутру... с зарею...

(Она встает.)

Я так еще молода, молода —
И вот уже я умереть должна...
Была, говорят, не совсем я дурна —
Меня ты сгубила, моя красота!
Был близок друг... но теперь он далек —
Цветы все завяли... разорван венок.
Не трогай меня! Не берись за меня!
О, сжалься! чем я тебя оскорбила?
Неужто тебя я напрасно молила?
Я в первый раз в жизни вижу тебя.

Фауст

Снесу ли я эти муки?

Маргарита

Смотри — тебе вся отдаюся я в руки...
Позволь мне ребенка сперва покормить:
Мы целую ночь с ним не спали;
Я всё его грела... Они его взяли,
Они хотели меня огорчить —
И что же? Теперь говорят на меня,
Что будто его убила я.
Не быть мне веселой! Не ведать мне радостной доли!
И вот — они песни поют про меня... Не грешно ли!
Старинная сказка так кончается —
Но разве ко мне она применяется?

Фауст *(бросаясь к ее ногам)*

Твой друг у ног твоих; твой друг тебя спасет...
Он из тюрьмы тебя с собой возьмет.

Маргарита *(бросаясь тоже на колени)*

О! станем молиться святым с тобой!
Под этим сводом, под этой плитой
Весь ад кипит...
Лукавый гремит
И злится и роет —
И воет...

Фауст *(громко)*

Гретхен! Гретхен!

Маргарита *(прислушиваясь)*

Это был его голос...

(Она вскакивает; цепи с нее спадают.)

Где он? Где он? Его слышала я...
Свободна я! Кто удержит меня?
В объятья его побегу я —
На грудь его упаду я!
Он сказал: «Гретхен!», в дверях он стоял...
Вдруг среди воя и адского плеска,
Злобного хохота, грозного треска
Любящий голос его прозвучал.

Фауст

Я здесь!

Маргарита

Ты здесь... О, повтори мне эти звуки...

(Обнимая его.)

Он... это он... куда девались муки
И ужасы цепей? тюрьмы?
Ты здесь! Пришел меня спасать?
Я спасена!
Я вижу улицу опять,
Где в первый раз сошлися мы,
И сад и дом,
Где с Марфой мы тебя, бывало, ждем.

Фауст

Пойдем, мой друг, пойдем.

Маргарита *(ласкаясь к нему)*

Побудь еще немного,
Так хорошо мне там, где ты бываешь...

Фауст

Спеши же, ради бога —
Ты нас погубишь... ты меня терзаешь.

Маргарита

Что ж это? Ты меня не лобызаешь?
Мой друг, давно ль со мной ты разлучился —
И целовать уж разучился?
Что́ мне так страшно на груди твоей,
Когда, бывало, от твоих речей,
От взгляда твоего — всё небо разверзалось...
И ты меня так обнимал, что я
Чуть-чуть не задыхалась!..
Поцелуй же меня —
Не то я поцелую тебя!

(Она его обнимает.)

О горе! как губы твои холодны, безответны...
Что же сделалось с твоей любовью?
Кто лишил меня твоей любви?

(Она от него отворачивается.)

Фауст

Мой ангел, ободрись — не унывай напрасно;
Тебя ласкать я буду страстно —
По-прежнему... пойдем, прошу тебя, пойдем.

Маргарита *(оборачивается опять к нему)*

Да ты ль это? Да точно ль это ты?

Фауст

Я! я! пойдем!

Маргарита

С меня ты цепи снял;
Меня опять в свои объятья взял...
О, как же ты меня не избегаешь?
И знаешь ли ты, друг, кого спасаешь?

Фауст

Скорей... уже редеет мрак ночной...

Маргарита

Я мать свою убила —
Ребенка утопила.
Ведь он был твой... да — твой и мой...
Твой... это ты... всё верить не могу я...
Дай руку мне — нет, точно нет — не сплю я...
Ах, эта милая рука!.. скорей
Утри ее... она сыра — на ней
Я вижу кровь — смотри, пятно какое!
Спрячь эту шпагу... О! что сделал ты?

Фауст

Оставь прошедшее в покое —
Меня погубишь ты.

Маргарита

Нет... нет... ты должен остаться, мой милый...
Хочу описать тебе наши могилы.
Об них ты завтра, до ранней зари,
Мой друг, позаботься — смотри.
Родную на первом схоронишь ты месте...
И брата с ней вместе...
Меня в стороне —
Но не слишком далеко —
И буду лежать одиноко,
Малютку на грудь ты положишь ко мне.
Когда я к тебе прислонялась, бывало,
Какое блаженство меня проникало...
Теперь — не могу я предаться вполне;
Как будто должна я себя принуждать,
Как будто не хочешь меня ты ласкать...
И это ты... и так приветно ты глядишь...

Фауст

Сама ж ты говоришь,
Что это я... пойдем, мой друг, пойдем..

Маргарита

Куда?

Фауст

На волю.

М а р г а р и т а

В гроб? Пойдем,
И если смерть за дверью ждет — пойдем
Отсюда... и в могилу — на покой...
Ни шагу дальше —
Но ты уходишь, Генрих...
О, если б я могла идти с тобой!

Ф а у с т

Ты можешь... посмотри: раскрыта дверь.

М а р г а р и т а

Я не хочу уйти. Чего мне ждать теперь?
Какие радости теперь нас ожидают?
Бежать... к чему? Они меня поймают...
А милостыней жить так тяжело —
Особенно, когда на совести легло...
Так тяжело в чужой земле скитаться!
И не могу ж я вечно укрываться.

Ф а у с т

С тобой останусь я.

М а р г а р и т а

Скорей, скорей
Спаси твое дитя.
Скорей ступай
Вверх по ручью,
Всё по дорожке
И прямо в лес...
Налево, где доска лежит, —
В пруду...
Хватай его, хватай —
Оно подняться хочет...
Оно еще бьется —
Спаси, спаси!

Ф а у с т

Опомнись, Гретхен,
Лишь шаг один — свободна ты!

М а р г а р и т а

Как мне б эту гору скорее пройти!..
Там мать на камне сидит одна —

Холодная дрожь по мне пробегает...
Там мать на камне сидит одна —
И всё головою кивает.
Кивает, качает — устала она...
Она так долго спала, спала;
Она пробудиться никак не могла...
Никто не мешал нам с тобой целоваться —
Такого блаженства теперь не дождаться!

Фауст

Напрасны мольбы... решился я!
Унесу я тебя!

Маргарита

Оставь меня — нет! Не позволю я! Нет!
Не берись за меня ты со всей твоей силой...
В угоду тебе я всё делала, милый...

Фауст

Да вот уж и день... загорается свет...

Маргарита

Светает... последний день настал,
День свадьбы нашей... о да!
Не сказывай ты никому, что бывал
У Гретхен... не то — беда!
Что ж делать!... Судьба!..
Мой друг, я увижу тебя...
Тогда мы с тобою не станем плясать...
Толпа теснится... толпы не слыхать...
Все лица безмолвны —
Все улицы полны —
Набат звучит... махнул судья —
Как вяжут они — как хватают меня.
И вот уже к плахе привязана я...
Топор размахнулся...
Затылок у каждого вдруг содрогнулся —
Безмолвно весь мир лежит, как могила.

Фауст

Зачем я родился!

Мефистофель *(показываясь в дверях)*

Ко мне! не то вы пропали —
О чем вы так долго болтали...
Наши кони храпят —
Чуют утро — домой хотят.

Маргарита

Что там из земли поднялось? Взгляни —
Вот этот... вот... прогони ты его — прогони —
Зачем он в святое место зашел?
За мной он пришел!

Фауст

Ты будешь жива — я клянусь!

Маргарита

О божий суд! я тебе предаюсь!

Мефистофель

Скорей... обоих вас брошу я.

Маргарита

Отец, я твоя! Спаси меня!
Небесные силы, меня окружите!
Вы, ангелы! меня защитите!
Генрих, ты страшен мне.

Мефистофель

Она осуждена!

Голос с вышины

Она спасена!

Мефистофель

Ко мне!

(Исчезает с Фаустом.)

Голос изнутри *(замирая)*

Генрих... Генрих...

НЕВА

Нет, никогда передо мной,
Ни в час полудня, в летний зной,
Ни в тихий час перед зарею
Не водворялся над Невою
Такой торжественный покой.
Глубоким пламенем заката
Земля и небо — всё объято...
И, неподвижный, я стоял,
И всё забыл, и по простору
Невы великой — волю дал
Блуждать задумчивому взору.
И я глядел: неслась река,
Покрыта вся румяным блеском,
И кораблям, с небрежным плеском,
Лобзала темные бока.
И много их... но все прижались
Друг к другу тесною толпой,
Как будто век они не знались
Ни с темным морем, ни с грозой —
И флагов мягкие извивы
Так слабо ветер шевелил,
Как будто тоже позабыл
Свои безумные порывы...
А недалеко от стены,
В воде спокойно отражаясь,
Стоял, дремотно колыхаясь,
Корабль далекой стороны.
И возле мачты, под палаткой,
Моряк лежал — и отдыхал;
Кругом стыдливо замирал
Вечерний луч и вскользь, украдкой,
Лицо нерусское ласкал.
Откуда ты? в наш край туманный
Зачем приплыл? на много ль дней?

Зачем глядишь с улыбкой странной
На небо родины моей?
О чем ты думаешь? Быть может,
Тебя минувшее тревожит —
Ты вспомнил прежнюю любовь,
Разлучный час и взгляд печальный —
И на губах, как будто вновь,
Зажегся поцелуй прощальный.
Теперь, быть может, у окна
Она сидит... и не страдает;
Но, как свеча от ветра, тает
И разгорается она...
Иль, руки страстно прижимая
К своей измученной груди,
Она глядит полуживая
На письма грустные твои.
Но нет... свои воспоминанья
Я на чужого перенес —
Не знал он смутного страданья,
Не проливал напрасных слез,
Не расставался, не сходился,
Не воскресал, не умирал...
Нет! беззаботно он влюбился
И безотчетно целовал.
И там, в стране его счастливой,
В стране широких, синих вод,
Где под белеющей оливой
Алóэс огненный цветет,
В стране лучей и красок ярких,
В стране томительных ночей,
Объятий трепетных и жарких
И торжествующих страстей,—
Его беспечно ожидая,
Она за пряжею сидит...
Да утром, косу заплетая,
Поет и ходит, и, вздыхая,
На море синее глядит.

ВЕСЕННИЙ ВЕЧЕР

Гуляют тучи золотые
Над отдыхающей землей;
Поля просторные, немые
Блестят, облитые росой;
Ручей журчит во мгле долины,
Вдали гремит весенний гром,
Ленивый ветр в листах осины
Трепещет пойманным крылом.

Молчит и млеет лес высокий,
Зеленый, темный лес молчит.
Лишь иногда в тени глубокой
Бессонный лист прошелестит.
Звезда дрожит в огнях заката,
Любви прекрасная звезда,
А на душе легко и свято,
Легко, как в детские года.

ВАРИАЦИИ

I

Когда так радостно, так нежно
Глядела ты в глаза мои
И лобызал я безмятежно
Ресницы длинные твои;

Когда, бывало, ты стыдливо
Задремлешь на груди моей
И я любуюсь боязливо
Красой задумчивой твоей;

Когда луна над пышным садом
Взойдет, и мы с тобой сидим
Перед окном беспечно рядом,
Дыша дыханием одним;

Когда, в унылый миг разлуки,
Я весь так грустно замирал
И молча трепетные руки
К губам и сердцу прижимал,—

Скажи мне: мог ли я предвидеть,
Что нам обоим суждено
И разойтись и ненавидеть
Любовь, погибшую давно?

II

Ах, давно ли гулял я с тобой!
Так отрадно шумели леса!
И глядел я с любовью немой
Всё в твои голубые глаза.

И душа ликовала моя...
Разгоралась потухшая кровь,
И цвела, расцветала земля,
И цвела, расцветала любовь.

День весенний, пленительный день!
Так приветно журчали ручьи,
А в лесу, в полусветлую тень
Так светло западали лучи!

Как роскошно струилась река!
Как легко трепетали листы!
Как блаженно неслись облака!
Как светло улыбалася ты!

Как я всё, всё другое забыл!
Как я был и задумчив и тих!
Как таинственно тронут я был!
Как я слез не стыдился моих! —

А теперь этот день нам смешон,
И порывы любовной тоски
Нам смешны, как несбывшийся сон,
Как пустые, плохие стишки.

III

(В ДОРОГЕ)

Утро туманное, утро седое,
Нивы печальные, снегом покрытые,
Нехотя вспомнишь и время былое,
Вспомнишь и лица, давно позабытые.

Вспомнишь обильные страстные речи,
Взгляды, так жадно, так робко ловимые,
Первые встречи, последние встречи,
Тихого голоса звуки любимые.

Вспомнишь разлуку с улыбкою странной,
Многое вспомнишь родное, далекое,
Слушая ропот колес непрестанный,
Глядя задумчиво в небо широкое.

В ночь летнюю, когда, тревожной грусти полный,
От милого лица волос густые волны
Заботливой рукой
Я отводил — и ты, мой друг, с улыбкой томной
К окошку прислонясь, глядела в сад огромный,
И темный и немой...

В окно раскрытое спокойными струями
Вливался свежий мрак и замирал над нами,
И песни соловья
Гремели жалобно в тени густой, душистой,
И ветер лепетал над речкой серебристой...
Покоились поля.

Ночному холоду предав и грудь и руки,
Ты долго слушала рыдающие звуки —
И ты сказала мне,
К таинственным звездам поднявши взор унылый:
«Не быть нам никогда с тобой, о друг мой милый,
Блаженными вполне!»

Я отвечать хотел, но, странно замирая,
Погасла речь моя... томительно-немая
Настала тишина...
В больших твоих глазах слеза затрепетала —
А голову твою печально лобызала
Холодная луна.

Когда с тобой расстался я —
Я не хочу таить,
Что я тогда любил тебя,
Как только мог любить.

Но нашей встрече я не рад.
Упорно я молчу —
И твой глубокий, грустный взгляд
Понять я не хочу.

И всё толкуешь ты со мной
О *милой* стороне.
Но то блаженство, боже мой,
Теперь как чуждо мне!

Поверь: с тех пор я много жил,
И много перенес...
И много радостей забыл,
И много глупых слез.

ЧЕЛОВЕК, КАКИХ МНОГО

Он вырос в доме старой тетки
Без всяких бед,
Боялся смерти да чахотки
В пятнадцать лет.

В семнадцать был он малым плотным —
И по часам
Стал предаваться безотчетным
«Мечтам и снам».

Он слезы лил; добросердечно
Бранил толпу —
И проклинал бесчеловечно
Свою судьбу.

Потом, с душой своей прекрасной
Не совладев,
Он стал любить любовью страстной
Всех бледных дев.

Являлся горестным страдальцем,
Писал стишки...
И не дерзал коснуться пальцем
Ее руки.

Потом, любовь сменив на дружбу,
Он вдруг умолк...
И, присмирев, вступил на службу
В пехотный полк.

Потом женился на соседке,
Надел халат
И уподобился наседке —
Развел цыплят.

И долго жил темно и скупо —
Слыл добряком...
. . . .
. . . .

Когда давно забытое званье
Расшевелит во мне, внезапно, вновь,
Уже давно затихшее страданье,
Давным-давно погибшую любовь,—

Мне стыдно, что так медленно живу я,
Что этот хлам хранит душа моя,
Что ни слезы, ни даже поцелуя —
Что ничего не забываю я.

Мне стыдно, да; а там мне грустно станет,
И неужель подумать я могу,
Что жизнь меня теперь уж не обманет,
Что до конца я сердце сберегу?

Что вправе я отринуть горделиво
Все прежние, все детские мечты,
Всё, что́ в душе цветет так боязливо,
Как первые, весенние цветы?

И грустно мне, что то воспоминанье
Я был готов презреть и осмеять...
Я повторю знакомое названье —
В былое весь я погружен опять.

КОНЕЦ ЖИЗНИ

Ночью зимней — в темный лес
(Повесть времени бывалого)
Въехал старый человек.
Он без малого
Прожил век.

Под повозкой снег скрипит.
Сосны медленно качаются.
Шагом лошади везут
И шатаются:
Нужен кнут.

Сорок лет в селе своем
Не был он, везде всё маялся —
. . . .
И раскаялся...
Знать, пора!

Пожил; полно, наконец...
Чтó? Отрадно жизнь кончается?
Он в свою нору теперь
Забивается,
Словно зверь.

И домой не на житье
Он приедет — гость непрошенный...
И исчезнет старый плут,
Словно камень, ночью брошенный
В темный пруд.

ФЕДЯ

Молча въезжает — да ночью морозной
Парень в село на лошадке усталой.
Тучи седые столпилися грозно,
Звездочки нет ни великой, ни малой.

Он у забора встречает старуху:
«Бабушка, здравствуй!» — «А, Федя! Откуда?
Где пропадал ты? Ни слуху ни духу!»
«Где я бывал — не увидишь отсюда!

Живы ли братья? Родная жива ли?
Наша изба всё цела, не сгорела?
Правда ль, Параша,— в Москве мне сказали
Наши ребята,— постом овдовела?»

«Дом ваш как был — словно полная чаша,
Братья все живы, родная здорова,
Умер сосед — овдовела Параша,
Да через месяц пошла за другого».

Ветер подул... Засвистал он легонько;
На небо глянул и шапку надвинул,
Молча рукой он махнул и тихонько
Лошадь назад повернул — да и сгинул.

К А. С.

Я вас знавал... тому давно,
Мне, право, стыдно и грешно,
Что я тогда вас не заметил...
Вы только что вступили в свет —
Вам было восемнадцать лет...
На бале где-то я вас встретил.

И кто-то к вам меня подвел —
Я с вами нéхотя пошел,
Я полон был тревоги страстной...
Тогда — тогда я был влюблен;
Но та любовь прошла, как сон,
И безотрадный и напрасный.

Другую женщину я ждал,
Я даже вам не отвечал;
Но я заметил ваши руки...
Заметил милый ваш наряд,
И ваш прекрасный, умный взгляд,
И речи девственные звуки.

Но всё, что в сердце молодом
Дремало легким, чутким сном
Перед внезапным пробужденьем,—
Осталось тайной для меня...
Хоть, помню, вас покинул я
С каким-то смутным сожаленьем.

А случай вновь не сблизил нас...
И вдруг теперь я встретил вас.
Вы изменились, как Татьяна;
Я не слыхал таких речей.
Я не видал таких плечей,
Такого царственного стана...

На ваших мраморных чертах,
На несмеющихся губах
Печать могучего сознанья...
Сияя страшной красотой,
Вы предстоите предо мной
Богиней гордого страданья.

И я молю вас в тишине:
Всю вашу жизнь раскройте мне...
Но взгляда вашего я трушу...
Нет, нет! я стар — нет, я вам чужд,
Давно в борьбе страстей и нужд
Я истощил и жизнь и душу.

В. Н. Б.

Когда в весенний день, о ангел мой послушный,
С прогулки возвратясь, ко мне подходишь ты
И, руку протянув, с улыбкой простодушной
Мне подаешь мои любимые цветы,—

С цветами той руки тогда не разлучая,
Я радостно прижмусь губами к ним и к ней...
И проникаюсь весь, беспечно отдыхая,
И запахом цветов и близостью твоей.

Гляжу на тонкий стан, на девственные плечи,
Любуюсь тишиной больших и светлых глаз —
И слушаю твои младенческие речи,
Как слушал некогда я нянюшки рассказ.

Гляжу тебе в лицо с отрадой сердцу новой —
И наглядеться я тобою не могу...
И только для тебя в душе моей суровой
И нежность и любовь я свято берегу.

К чему твержу я стих унылый,
Зачем, в полночной тишине,
Тот голос страстный, голос милый,
Летит и просится ко мне, —

Зачем? огонь немых страданий
В ее душе зажег не я...
В ее груди, в тоске рыданий
Тот стон звучал не для меня.

Так для чего же так безумно
Душа бежит к ее ногам,
Как волны моря мчатся шумно
К недостижимым берегам?

ГРОЗА ПРОМЧАЛАСЬ

Гроза промчалась низко над землею...
Я вышел в сад; затихло всё кругом.
Вершины лип облиты мягкой мглою,
Обагрены живительным дождем.

А влажный ветр на листья тихо дышит...
В тени густой летает тяжкий жук;
И, как лицо заснувших томно пышет,
Пахучим паром пышет темный луг.

Какая ночь! Большие, золотые
Зажглися звезды... воздух свеж и чист;
Стекают с веток капли дождевые,
Как будто тихо плачет каждый лист.

Зарница вспыхнет... Поздний и далекий
Примчится гром — и слабо прогремит...
Как сталь блестит, темнея, пруд широкий,
А вот и дом передо мной стоит.

И при луне таинственные тени
На нем лежат недвижно... вот и дверь;
Вот и крыльцо — знакомые ступени...
А ты... где ты? что делаешь теперь?

Упрямые, разгневанные боги,
Не правда ли, смягчились? и среди
Семьи твоей забыла ты тревоги,
Спокойная на любящей груди?

Иль и теперь горит душа больная?
Иль отдохнуть ты не могла нигде?
И всё живешь, всем сердцем изнывая,
В давно пустом и брошенном гнезде?

К ***

Через поля к холмам тенистым
Промчался ливень... Небо вдруг
Светлеет... Блеском водянистым
Блестит зеленый, ровный луг.
Гроза прошла... Как небо ясно!
Как воздух звучен и душист!
Как отдыхает сладострастно
На каждой ветке каждый лист!
Оглашено вечерним звоном
Раздолье мирное полей...
Пойдем гулять в лесу зеленом,
Пойдем, сестра души моей.
Пойдем, о ты, мой друг единый,
Любовь последняя моя,
Пойдем излучистой долиной
В немые, светлые поля.
И там, где жатва золотая
Легла волнистой полосой,
Когда заря взойдет, пылая,
Над успокоенной землей,—
Позволь сидеть мне молчаливо
У ног возлюбленных твоих...
Позволь руке твоей стыдливо
Коснуться робких губ моих...

ПРИЗВАНИЕ

(*Из ненапечатанной поэмы*)

Не считай часов разлуки,
Не сиди, сложивши руки,
Под решетчатым окном...
О мой друг! о друг мой нежный!
Не следи с тоской мятежной
За медлительным лучом...

Не скучай... Тревожный, длинный
День пройдет... С улыбкой чинной
Принимай твоих гостей...
Не чуждайся разговора,
Не роняй внезапно взора
И внезапно не бледней...

Но когда с холмов душистых
По краям полей росистых
Побежит живая тень...
И, сходя с вершин Урала,
Как дворец Сарданапала,
Загорится пышный день...

Из-под тучи длинной, темной
Тихо выйдет месяц томный
За возлюбленной звездой,
И, предчувствуя награду —
Замирая,— к водопаду
Прибегу я за тобой!

Там из чаши крутобокой
Бьет вода волной широкой
На размытые плиты...
Над волной нетерпеливой,
Прихотливой, говорливой
Наклоняются цветы...

Там нас манит дуб кудрявый,
Старец пышный, величавый,
Тенью пасмурной своей...
И сокроет он счастливых
От богов — богов ревнивых —
От завистливых людей!

Слышны клики... над водами
Машут лебеди крылами...
Колыхается река...
О, приди же! Звезды блещут,
Листья медленно трепещут,
И находят облака.

. . . .
. . . .

О, приди!.. Быстрее птицы —
От заката до денницы
По широким небесам
Пронесется ночь немая...
Но пока волна, сверкая,
Улыбается звездам,

И далекие вершины
Дремлют, темные долины
Дышат влажной тишиной —
О, приди! Во мгле спокойной
Тенью белой, легкой, стройной
Появись передо мной!

И когда с тревожной силой
Брошусь я навстречу милой
И замрут слова мои...
Губ моих не лобызая —
Пусть лежат на них, пылая,
Губы бледные твои!

Брожу над озером... туманны
Вершины круглые холмов,
Темнеет лес, и звучно-странны
Ночные клики рыбаков.

Полна прозрачной, ровной тенью
Небес немая глубина...
И дышит холодом и ленью
Полузаснувшая волна.

Настала ночь; за ярким, знойным,
О сердце! за тревожным днем,—
Когда же ты заснешь спокойным,
Пожалуй, хоть последним сном?

Откуда веет тишиной?
Откуда мчится зов?
Чтó дышит на меня весной
И запахом лугов?
Чего тебе, душа моя,
Внезапно стало жаль —
Скажи: какую вспомнил я
Любимую печаль?

Но всё былое, боже мой,
Так бедно, так темно...
И то, над чем я плакал,— мной
Осмеяно давно.
Невежда сам, среди других
Забывчивых невежд,
Любуюсь гибелью моих
Восторженных надежд.

Но всё же тих и тронут я —
С души сбежала тень,
Как будто тоже для меня
Настал волшебный день,
Когда на дереве нагом,
И сочен и душист,
Согретый ласковым лучом,
Растет весенний лист...

Как будто сердцем я воскрес
И волю дал слезам,
И, задыхаясь, в темный лес
Бегу по вечерам...
Как будто я люблю, любим,
Как будто ночь близка...
И тополь под окном одним
Кивает мне слегка...

Один, опять один я. Разошлась
Толпа гостей, скучая. Вот и полночь.
За тучами, клубясь, несутся тучи,
И тяжело на землю налегли
Угрюмо неподвижные туманы.
Не спится мне, не спится... Нет! во мне
Тревожные напрасные желанья,
Неуловимо быстрые мечты
И призраки несбыточного счастья
Сменяются проворно... Но тоска
На самом дне встревоженного сердца,
Как спящая холодная змея,
Покоится. Мне тяжело. Напрасно
Хочу я рассмеяться, позабыться,
Заснуть по крайней мере: дух угрюмый
Не спит, не дремлет... странные картины
Являются задумчивому взору.
То чудится мне мертвое лицо,—
Лицо мне незнакомое, немое,
Всё бледное, с закрытыми глазами,
И будто ждет ответа... То во тьме
Мелькает образ девушки, давно
Мной позабытой... Опустив глаза
И наклонив печальную головку,
Она проходит мимо... слабый вздох
Едва заметно грудь приподнимает...
То видится мне сад — обширный сад...
Под липой одинокой, обнаженной
Сижу я, жду кого-то... ветер гонит
По желтому песку сухие листья...
И робкими, послушными роями
Они бегут всё дальше, дальше, мимо...
То вижу я себя на лавке длинной,
Среди моих товарищей... Учитель —

Красноречивый, страстный, молодой —
Нам говорит о боге... молчаливо
Трепещут наши души... легким жаром
Пылают наши лица; гордой силой
Исполнен каждый юноша... Потом
Лет через пять, в том городе далеком,
Наставника я встретил... Поклонились
Друг другу мы неловко, торопливо
И тотчас разошлись. Но я заметить
Успел его смиренную походку,
И робкий взгляд, и старческую бледность...
То, наконец, я вижу дом огромный,
Заброшенный, пустой,— мое гнездо,
Где вырос я, где я мечтал, бывало,
О будущем, куда я не вернусь...
И вот я вспомнил: я стоял однажды
Среди высоких гор, в долине тесной...
Кругом ни травки... Камни всё да камни,
Да желтый, мелкий мох. У ног моих
Бежал ручей, проворный, неглубокий,
И под скалой, в расселине, внезапно
Он исчезал с каким-то глупым шумом...
«Вот жизнь моя!» — подумал я тогда.

. . . .

Но гости те... Кому из них могу я
Завидовать? Где тот, который смело
И без обмана скажет мне: «Я жил!»
Один из них, добряк здоровый, глуп,
И знает сам, что глуп... ему неловко;
Другой сегодня счастлив: он влюблен
И светел, тих и важен, как ребенок,
Одетый по-воскресному... другой
Острит или болезненно скучает...
А тот себе придумал сам работу,
Ненужную, бесплодную,— хлопочет
И рад, что «подвигается вперед»...
Тот — юноша восторженный, а тот —
Чувствителен, но мелок и ничтожен...

. . . .

Мне весело... но ты меж тем, о ночь!
Не медли — проходи скорей и снова
Меня предай заботам милой жизни.

ТЬМА

(Из Байрона)

Я видел сон... не всё в нем было сном.
Погасло солнце светлое — и звезды
Скиталися без цели, без лучей
В пространстве вечном; льдистая земля
Носилась слепо в воздухе безлунном.
Час утра наставал и проходил —
Но дня не приводил он за собою...
И люди — в ужасе беды великой
Забыли страсти прежние... Сердца
В одну себялюбивую молитву
О свете робко сжались — и застыли.
Перед огнями жил народ; престолы,
Дворцы царей венчанных, шалаши,
Жилища всех имеющих жилища —
В костры слагались... города горели...
И люди собиралися толпами
Вокруг домов пылающих — затем,
Чтобы хоть раз взглянуть в лицо друг другу.
Счастливы были жители тех стран,
Где факелы вулканов пламенели...
Весь мир одной надеждой робкой жил...
Зажгли леса; но с каждым часом гас
И падал обгорелый лес; деревья
Внезапно с грозным треском обрушались...
И лица — при неровном трепетанье
Последних, замирающих огней
Казались неземными... Кто лежал,
Закрыв глаза, да плакал; кто сидел,
Руками подпираясь — улыбался —
Другие хлопотливо суетились
Вокруг костров — и в ужасе безумном
Глядели смутно на глухое небо,
Земли погибшей саван... а потом
С проклятьями бросались в прах и выли,

Зубами скрежетали. Птицы с криком
Носились низко над землей, махали
Ненужными крылами... Даже звери
Сбегались робкими стадами... Змеи
Ползли, вились среди толпы,— шипели
Безвредные... их убивали люди
На пищу... Снова вспыхнула война,
Погасшая на время... Кровью куплен
Кусок был каждый; всякий в стороне
Сидел угрюмо, насыщаясь в мраке.
Любви не стало; вся земля полна
Была одной лишь мыслью: смерти — смерти,
Бесславной, неизбежной... страшный голод
Терзал людей... и быстро гибли люди...
Но не было могилы ни костям,
Ни телу... пожирал скелет скелета...
И даже псы хозяев раздирали.
Один лишь пес остался трупу верен,
Зверей, людей голодных отгонял —
Пока другие трупы привлекали
Их зубы жадные... но пищи сам
Не принимал; с унылым долгим стоном
И быстрым, грустным криком всё лизал
Он руку, безответную на ласку —
И умер, наконец... Так постепенно
Всех голод истребил; лишь двое граждан
Столицы пышной — некогда врагов —
В живых осталось... встретились они
У гаснущих остатков алтаря,
Где много было собрано вещей
Святых . . . .
Холодными, костлявыми руками,
Дрожа, вскопали золу... огонек
Под слабым их дыханьем вспыхнул слабо,
Как бы в насмешку им; когда же стало
Светлее, оба подняли глаза,
Взглянули, вскрикнули и тут же вместе
От ужаса взаимного внезапно
Упали мертвыми . . . .
. . . .
. . . . И мир был пуст;
Тот многолюдный мир, могучий мир
Был мертвой массой, без травы, деревьев,

Без жизни, времени, людей, движенья...
То хаос смерти был. Озера, реки
И море — всё затихло. Ничего
Не шевелилось в бездне молчаливой.
Безлюдные лежали корабли
И гнили на недвижной, сонной влаге...
Без шуму, по частям валились мачты
И, падая, волны не возмущали...
Моря давно не ведали приливов...
Погибла их владычица — луна;
Завяли ветры в воздухе немом...
Исчезли тучи... Тьме не нужно было
Их помощи... она была повсюду...

РИМСКАЯ ЭЛЕГИЯ

(*Гёте. XII*)

Слышишь? веселые клики с фламинской дороги несутся:
Идут с работы домой в дальнюю землю жнецы.
Кончили жатву для римлян они; не свивает
Сам надменный квирит доброй Церере венка.
Праздников более нет во славу великой богини,
Давшей народу взамен жёлудя — хлеб золотой.
Мы же с тобою вдвоем отпразднуем радостный праздник.
Друг для друга теперь двое мы целый народ.
Так — ты слыхала не раз о тайных пирах Элевзиса:
Скоро в отчизну с собой их победитель занес.
Греки ввели тот обряд: и греки, всё греки взывали
Даже в римских стенах: «К ночи спешите святой!»
Прочь убегал оглашенный; сгорал ученик ожиданьем,
Юношу белый хитон — знак чистоты — покрывал.
Робко в таинственный круг он входил: стояли рядами
Образы дивные; сам — словно бродил он во сне.
Змеи вились по земле; несли цветущие девы
Ларчик закрытый; на нем пышно качался венок
Спелых колосьев; жрецы торжественно двигались — пели...
Света — с тревожной тоской, трепетно ждал ученик.
Вот — после долгих и тяжких искусов,— ему открывали
Смысл освященных кругов, дивных обрядов и лиц...
Тайну — но тайну какую? не ту ли, что тесных объятий
Сильного смертного ты, матерь Церера, сама
Раз пожелала, когда свое бессмертное тело
Всё — Язиону царю ласково всё предала.
Как осчастливлен был Крит! И брачное ложе богини
Так и вскипело зерном, тучной покрылось травой.

Вся ж остальная зачахла земля... забыла богиня
В час упоительных нег свой благодетельный долг.
Так с изумленьем немым рассказу внимал посвященный;
Милой кивал он своей... Друг, о пойми же меня!
Тот развесистый мирт осеняет уютное место...
Наше блаженство земле тяжкой бедой не грозит.

ДЕРЕВНЯ

I

Люблю я вечером к деревне подъезжать,
Над старой церковью глазами провожать
Ворон играющую стаю;
Среди больших полей, заповедных лугов,
На тихих берегах заливов и прудов,
Люблю прислушиваться лаю

Собак недремлющих, мычанью тяжких стад,
Люблю заброшенный и запустелый сад
И лип незыблемые тени;
Не дрогнет воздуха стеклянная волна;
Стоишь и слушаешь — и грудь упоена
Блаженством безмятежной лени...

Задумчиво глядишь на лица мужиков —
И понимаешь их; предаться сам готов
Их бедному, простому быту...
Идет к колодезю старуха за водой;
Высокий шест скрипит и гнется; чередой
Подходят лошади к корыту...

Вот песню затянул проезжий... Грустный звук!
Но лихо вскрикнул он — и только слышен стук
Колес его телеги тряской;
Выходит девушка на низкое крыльцо —
И на зарю глядит... и круглое лицо
Зарделось алой, яркой краской.

Качаясь медленно, с пригорка, за селом,
Огромные возы спускаются гуськом
С пахучей данью пышной нивы;
За конопляником, зеленым и густым,

Бегут, одетые туманом голубым,
Степей широкие разливы.

Та степь — конца ей нет... раскинулась, лежит...
Струистый ветерок бежит, не пробежит...
Земля томится, небо млеет...
И леса длинного подернутся бока
Багрянцем золотым, и ропщет он слегка,
И утихает, и синеет...

II

НА ОХОТЕ — ЛЕТОМ

Жарко, мучительно жарко... Но лес недалеко зеленый...
С пыльных, безводных полей дружно туда мы спешим.
Входим... в усталую грудь душистая льется прохлада;
Стынет на жарком лице едкая влага труда.
Ласково приняли нас изумрудные, свежие тени;
Тихо взыграли кругом, тихо на мягкой траве
Шепчут приветные речи прозрачные, легкие листья...
Иволга звонко кричит, словно дивится гостям.
Как отрадно в лесу! И солнца смягченная сила
Здесь не пышет огнем, блеском играет живым.
Бархатный манит нас мох, руками дриад округленный.
Зову противиться в нас нет ни желанья, ни сил.
Все раскинулись члены; стихают горячие волны
Крови; машет на нас темными маками сон.
Из-под тяжелых ресниц взор наблюдает недолго
Мелких букашек и мух, их суетливую жизнь.
Вот он закрылся... Сосед уже спит... с доверчивым вздохом
Сам засыпаешь... и ты, вечная матерь, земля,
Кротко баюкаешь ты, лелеешь усталого сына...
Новых исполненный сил, грудь он покинет твою.

III

БЕЗЛУННАЯ НОЧЬ

О ночь безлунная, ночь теплая, немая!
Ты нежишься, ты млеешь, изнывая,
Как от любовных ласк усталая жена...
Иль, может быть, неведеньем полна,
Мечтательным неведеньем желаний,—
Стыдливая, ты ждешь таинственных лобзаний?
Скажи мне, ночь, в кого ты влюблена?
Но ты молчишь на мой вопрос нескромный...
И на тебе покров густеет темный.

Я заражен тобой... вдыхаю влажный пар...
И чувствую, в груди тревожный вспыхнул жар...
Мне слышится твой бесконечный ропот,
Твой лепет вкрадчивый, твой непонятный
шёпот —
И тень пахучая колеблется кругом.
Лицо горит неведомым огнем,
Расширенная грудь дрожит воспоминаньем,
Томится горестью, блаженством и желаньем —
И воздух ласковый, чуть дремлющий, ночной,
Как будто сам дрожит и пышет надо мной.

IV

ДЕД

Вчера в лесу пришлося мне
Увидеть призрак деда...
Сидел он на лихом коне
И восклицал: победа!

И радостно глядел чудак
Из-под мохнатой шапки...
А в тороках висел русак
И грустно свесил лапки.

И рог стремянного звучал
Так страстно, так уныло...
Любимый барский пес, Нахал,
Подняв стерляжье рыло,

Махал тихохонько хвостом...
Суровый доезжачий
Смирял угрозой да бичом
Шумливый лай собачий.

Кругом — соседи-степняки,
Одетые забавно,
Толпились молча, бедняки!
И радовался явно

Мой дед, степной Сарданапал,
Такому многолюдью...
И как-то весело дышал
Своей широкой грудью.

Он за трубу* держал лису,
Показывал соседу...
Вчера, перед зарей, в лесу,
Я подивился деду.

V

ГРОЗА

Уже давно вдали толпились тучи
Тяжелые — росли, темнели грозно...
Вот сорвалась и двинулась громада.
Шумя, плывет и солнце закрывает
Передовое облако; внезапный
Туман разлился в воздухе; кружатся
Сухие листья... птицы притаились...
Из-под ворот выглядывают люди,
Спускают окна, запирают двери...
Большие капли падают... и вдруг
Помчалась пыль столбами по дорогам;
Поднялся вихрь и по стенам и крышам
Ударил злобно; хлынули потоки
Дождя... запрыгал угловатый град...
Крутятся, бьются, мечутся деревья,
Смешались тучи... молнья!.. ждешь удара...

* Трубой называется хвост у лисицы. (*Примечание Тургенева.*)

Загрохотал и прокатился гром.
Сильнее дождь... Широкими струями,
Волнуясь, льет и хлещет он — и ветер
С воды срывает брызги... вновь удар!
Через село, растрепанный, без шапки,
Мужик за стадом в поле проскакал,
А вслед ему другой кричит и машет...
Смятенье!.. Но зато, когда прошла
Гроза, как улыбается природа!
Как ласково светлеют небеса!
Пушистые, рассеянные тучки
Летят; журчат ручьи; болтают листья...
Убита пыль; обмылася трава;
Скрипят ворота; слышны восклицанья
Веселые; шумя, слетает голубь
На влажную, блестящую дорогу...
В ракитах раскричались воробьи;
Смеются босоногие мальчишки;
Запахли хлебом желтые скирды...
И беглым золотом сверкает солнце
По молодым осинам и березам...

VI

ДРУГАЯ НОЧЬ

Уж поздно... Конь усталый мой
Храпит и просится домой...
Холмы пологие кругом —
Степные виды! За холмом
Печально светится пожар —
Овин горит. На небе пар;
На небе месяц золотой
Блестит холодной красотой,
И под лучом его немым
Туман волнуется, как дым.
Большие тени там и сям
Лежат недвижно по полям,
И различает глаз едва
Лесов высоких острова.
Кой-где по берегам реки
В кустах мерцают огоньки;
Внезапный крик перепелов

Гремит один среди лугов,
И синяя, ночная мгла
Как будто нехотя тепла.

VII

Кроткие льются лучи с небес на согретую землю;
Стелется тихо по ней, теплый скользит ветерок.
Но давно под травой иссякли болтливые воды
В тучных лугах; и сама вся пожелтела трава.
Сумрак душистый лесов, отрадные, пышные тени,
Где вы? где ты, лазурь ярких и темных небес?
Осень настала давно; ее прощальные ласки
Часто милее душе первых улыбок весны.
Бурые сучья раскинула липа; береза
Вся золотая стоит; тополь один еще свеж —
Так же дрожит и шумит и тихо блестит, серебристый;
Но побагровел давно дуба могучего лист.
Яркие краски везде сменили приветную зелень:
Издали пышут с рябин красные гроздья плодов,
Дивно рдеет заря причудливым, долгим пожаром...
Смотришь и веришь едва жадно вперенным очам.
Но природа во всем, как ясный и строгий художник,
Чувство меры хранит, стройной верна простоте.
Молча гляжу я кругом, вниманья печального полный...
В тронутом сердце звучит грустное слово: прости!

VIII

ПЕРЕД ОХОТОЙ

Утро! вот утро! Едва над холмами
Красное солнце взыграет лучами,

Холод осеннего, светлого дня,
Холод веселый разбудит меня.

Выйду я... небо смеется мне в очи;
С сердца сбегают лобзания ночи...

Блестки крутятся на солнце; мороз
Выбелил хрупкие сучья берез...

Светлое небо, здоровье да воля —
Здравствуй, раздолье широкого поля!

Вновь не дождаться подобного дня...
Дайте ружье мне! седлайте коня!

Вот он... по членам его благородным
Ветер промчался дыханьем холодным,

Ржет он и шею сгибает дугой...
Доски хрустят под упругой ногой;

Гуси проходят с испугом и криком;
Прыгает пес мой в восторге великом;

Ясно звучит его радостный лай...
Ну же, скорей мне коня подавай!

IX

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Здравствуйте, легкие звезды пушистого первого снега!
Быстро на темной земле таете вы чередой.
Но проворно летят за вами другие снежинки,
Словно пчелы весной, воздух недвижный пестря.
Скоро наступит зима,— под тонким и звучным железом
Резвых саней завизжит холодом стиснутый лед.
Ярко мороз затрещит; румяные щеки красавиц
Вспыхнут; иней слегка длинных коснется ресниц.
Так! пора мне с тобой расстаться, степная деревня!
Крыш не увижу твоих, мягким одетых ковром,
Струек волнистого дыма на небе холодном и синем,
Белых холмов и полей, грозных и темных лесов.
Падай обильнее, снег! Зовет меня город далекий;
Хочется встретить опять старых врагов и друзей.

(ИЗ ПОЭМЫ, ПРЕДАННОЙ СОЖЖЕНИЮ)

...И понемногу начало назад
Его тянуть: в деревню, в темный сад,
Где липы так огромны, так тенисты
И ландыши так девственно душисты,
Где круглые ракиты над водой
С плотины наклонились чередой,
Где тучный дуб растет над тучной нивой,
Где пахнет конопелью да крапивой...
Туда, туда, в раздольные поля,
Где бархатом чернеется земля,
Где рожь, куда ни киньте вы глазами,
Струится тихо мягкими волнами
И падает тяжелый, желтый луч
Из-за прозрачных, белых, круглых туч.
Там хорошо; там только — русский дома;
И степь ему, как родина, знакома,
Как пó морю, гуляет он по ней —
Живет и дышит, движется вольней;
Идет себе — поет себе беспечно;
Идет... куда? не знает! бесконечно
Бегут, бегут несвязные слова.
Приподнялась уж пó следу трава...
Ему другой вы не сулите доли —
Не хочет он другой, разумной воли...

ПОЭМЫ

ПАРАША

РАССКАЗ В СТИХАХ

«И ненавидим мы, и любим мы случайно».
Лермонтов

I

Читатель, бью смиренно вам челом.
Смотрите: перед вами луг просторный,
За лугом речка, а за речкой дом,
Старинный дом, нахмуренный и черный,
Раскрашенный приходским маляром...
Широкий, низкий, с крышей безобразной,
Подпертой рядом жиденьких колонн...
Свидетель буйной жизни, лени праздной
Двух или трех помещичьих племен.
За домом сад: в саду стоят рядами
Всё яблони, покрытые плодами...
Известно: наши добрые отцы
Любили яблоки — да огурцы.

II

Не разберешь — где сад, где огород?
В саду ж был грот (невинная затея!)
И с каждым утром в этот темный грот
(Я приступаю к делу, не робея)
Она — предмет и вздохов и забот,
Предмет стихов моих довольно смелых,
Она являлась — в платьице простом,
И с книжкою в немножко загорелых,
Но милых ручках... На скамью потом
Она садилась... помните Татьяну?
Но с ней ее я сравнивать не стану;
Боюсь — рукой читатели махнут
И этой сказки вовсе не прочтут.

III

Но кто она? и кто ее отец?
Ее отец — помещик беззаботный;
Сперва служил, и долго; наконец,
В отставку вышел и супругой плотной
Обзавелся; теперь большой делец!
Живет в ладу с своими мужичками...
Он очень добр и очень плутоват,
Торгуется и пьет чаек с купцами.
Как водится, его супруга — клад;
О! сущий клад! и умница такая!
А женщина она была простая,
С лицом, весьма похожим на пирог;
Ее супруг любил как только мог.

IV

У них одна лишь дочь была... Мы с ней
Уж познакомились. Никто красоткой
Ее б не назвал, правда; но, ей-ей
(Ее два брата умерли чахоткой),—
Я девушки не видывал стройней.
Она была легка — ходила плавно;
Ее нога, прекрасная нога,
Всегда была обута так исправно;
Немножко велика была рука;
Но пальцы были тонки и прозрачны...
И даже я, чудак довольно мрачный,
На эту руку глядя, иногда
Хотел... Я заболтался, господа.

V

Ее лицо мне нравилось... оно
Задумчивою грустию дышало;
Всегда казалось мне: ей суждено
Страданий в жизни испытать немало...
И что ж? мне было больно и смешно;
Ведь в наши дни спасительно страданье...
Она была так детски весела,
Хотя и знала, что на испытанье
Она идет,— но шла, спокойно шла...

Однажды я, с невольною печалью,
Ее сравнил и с бархатом и с сталью...
Но кто в ее глаза взглянул хоть раз —
Тот не забыл ее волшебных глаз.

VI

Взгляд этих глаз был мягок и могуч,
Но не блестел он блеском торопливым;
То был он ясен, как весенний луч,
То холодом проникнут горделивым,
То чуть мерцал, как месяц из-за туч.
Но взгляд ее задумчиво-спокойный
Я больше всех любил: я видел в нем
Возможность страсти горестной и знойной,
Залог души, любимой божеством.
Но, признаюсь, я говорил довольно
Об этом взгляде: мне подумать больно,
Что — может быть — читающий народ
Всё это неестественным найдет.

VII

Она в деревне выросла... а вы,
Читатель мой,— слыхали вы, наверно,
Что барышни уездные — увы!
Бывают иногда смешны безмерно.
Несправедливость ветреной молвы
Известна мне; но сознаюсь с смиреньем,
Что над моей степнячкой иногда
Вы б посмеялись: над ее волненьем
В воскресный день — за завтраком, когда
Съезжались гости,— над ее молчаньем,
И вздохами, и робким трепетаньем...
Но и она подчас бывала зла
И жалиться умела, как пчела.

VIII

Я не люблю восторженных девиц...
По деревням встречаешь их нередко;
Я не люблю их толстых, бледных лиц,
Иная же — помилуй бог — поэтка.

ПАРАША.

РАЗСКАЗЪ ВЪ СТИХАХЪ.

Т. Л.

ПИСАНО ВЪ НАЧАЛѢ 1843 ГОДА.

С. ПЕТЕРБУРГЪ.

ВЪ ТИПОГРАФІИ ЭДУАРДА ПРАЦА.

1843.

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ПЕРВОГО ИЗДАНИЯ ПОЭМЫ И. С. ТУРГЕНЕВА «ПАРАША», 1843 г.

Всем восхищаются: и пеньем птиц,
Восходом солнца, небом и луною...
Охотницы до сладеньких стишков,
И любят петь и плакать... а весною
Украдкой ходят слушать соловьев.
Отчаянно все влюблены в природу...
Но барышня моя другого роду;
Она была насмешлива, горда,
А гордость — добродетель, господа.

IX

Она читала жадно... и равно
Марлинского и Пушкина любила
(Я сознаюсь в ее проступках)... но
Не восклицала: «Ах, как это мило!»
А любовалась молча. Вам смешно?
Не верите вы в русскую словесность —
И я не верю тоже, хоть у нас
Весьма легко приобрести известность...
Российские стихи, российский квас
Одну и ту же участь разделяют:
В порядочных домах их не читают
А квас не пьют... но благодарен я
Таким чтецам, как барышня моя.

X

Для них пишу... но полно. Каждый день —
Я вам сказал — она в саду скиталась.
Она любила гордый шум и тень
Старинных лип — и тихо погружалась
В отрадную, забывчивую лень.
Так весело качалися березы,
Облитые сверкающим лучом...
И по щекам ее катились слезы
Так медленно — бог ведает о чем.
То, подойдя к убогому забору,
Она стояла по часам... и взору
Тогда давала волю... но глядит,
Бывало, всё на бледный ряд ракит.

XI

Там,— через ровный луг — от их села
Верстах в пяти,— дорога шла большая;
И, как змея, свивалась и ползла
И, дальний лес украдкой обгибая,
Ее всю душу за собой влекла.
Озарена каким-то блеском дивным,
Земля чужая вдруг являлась ей...
И кто-то милый голосом призывным
Так чудно пел и говорил о ней.
Таинственной исполненные муки,
Над ней, звеня, носились эти звуки...
И вот — искал ее молящий взор
Других небес, высоких, пышных гор...

XII

И тополей и трепетных олив...
Искал земли пленительной и дальной;
Вдруг русской песни грустный перелив
Напомнит ей о родине печальной;
Она стоит, головку наклонив,
И над собой дивится, и с улыбкой
Себя бранит; и медленно домой
Пойдет, вздохнув... то сломит прутик гибкой,
То бросит вдруг... Рассеянной рукой
Достанет книжку — развернет, закроет;
Любимый шепчет стих... а сердце ноет,
Лицо бледнеет... В этот чудный час
Я, признаюсь, хотел бы встретить вас,

XIII

О, барышня моя... В тени густой
Широких лип стоите вы безмолвно;
Вздыхаете; над вашей головой
Склонилась ветвь... а ваше сердце полно
Мучительной и грустной тишиной.
На вас гляжу я: прелестью степною
Вы дышите — вы нашей Руси дочь...
Вы хороши, как вечер пред грозою,
Как майская томительная ночь.

Но — может быть — увы! воспоминаньем
Вновь увлечен, подробным описаньем
Я надоел — и потому готов
Рассказ мой продолжать без лишних слов.

XIV

Моей красотке было двадцать лет.
(Иной мне скажет: устрицам в апреле,
Девицам лет в пятнадцать — самый цвет...
Но я не спорю с ним об этом деле,
О разных вкусах спорить — толку нет.)
Ее Прасковьей звали; имя это
Не хорошо... но я — я назову
Ее Парашей... Осень, зиму, лето
Они в деревне жили — и в Москву
Не ездили, затем что плохи годы,
Что с каждым годом падают доходы,
Да сверх того Параша — грех какой! —
Изволила смеяться над Москвой.

XV

Москва — Москва — о матушка Москва!
Но я хвалить тебя не смею, право;
Я потерял бывалые права́...
Твои ж сыны превспыльчивого нрава,
И в них мои смиренные слова
Возбудят ревность — даже опасенья.
И потому к Параше молодой,
О матушка, прошу я снисхожденья...
А если, о читатель дорогой,
Навеянный приятностью рассказа,
Отрадный сон закрыл вам оба глаза,—
Проснитесь — и представьте себе день...
Преж́аркий день... (Я посажу вас в тень.)

XVI

Прежаркий день... но вовсе не такой,
Каких видал я на далеком юге...
Томительно-глубокой синевой
Всё небо пышет; как больной в недуге,

Земля горит и сохнет; под скалой
Сверкает море блеском нестерпимым —
И движется, и дышит, и молчит...
И все цвета под тем неумолимым
Могучим солнцем рдеют... дивный вид!
А вот — зарывшись весь в песок блестящий,
Рыбак лежит... и каждый проходящий
Любуется им с завистью — я сам
Им тоже любовался по часам.

XVII

У нас не то — хоть и у нас не рад
Бываешь жару... точно — жар глубокой...
Гроза вдали сбирается... трещат
Кузнечики неистово в высокой
Сухой траве; в тени снопов лежат
Жнецы; носы разинули вороны;
Грибами пахнет в роще; там и сям
Собаки лают; за водой студеной
Идет мужик с кувшином по кустам.
Тогда люблю ходить я в лес дубовый,
Сидеть в тени спокойной и суровой
Иль иногда под скромным шалашом
Беседовать с разумным мужичком.

XVIII

В такой-то день — Параша в темный грот
(О нем смотрите выше) шаг за шагом
Пришла; пред ней знакомый огород,
Знакомый пруд; а дальше за оврагом
Знакомый лес на холмике... Но вот
Что показалось ей немного странным:
В овраге под кустом сидел один
Охотник; резал хлеб ножом карманным,
Он по всему заметно — господин;
Помещик; он в перчатках — и красиво
Одет... Вот он поел, потом лениво
Собаку кликнул, шапку снял, зевнул,
Раздвинул куст, улегся — и заснул.

XIX

Заснул... Параша смотрит на него,
И смотрит, признаюсь, с большим вниманьем.
К ним ездили соседи... но его
Лицо ей незнакомо; описаньем
Теперь мы не займемся, оттого
Что уж и так с излишеством речист я...
Он спит, а ветер тихо шевелит
Его густые волосы, и листья
Над ним шушукают; он сладко спит...
Параша смотрит... он недурен, право.
О чем же вдруг так мило, так лукаво
Она смеется? Я б ответил — но
Мне женский смех постигнуть не дано.

XX

И час прошел... и предвечерний зной
Внезапно начал стынуть... уж и тени
Длиннее стали... Вот — охотник мой
Проснулся, стал лениво на колени,
Надел небрежно шапку, головой
Тряхнул — хотел подняться... и остался....
Он увидал Парашу — о друзья!
Глядел, глядел — с смущеньем засмеялся,
Вскочил, взглянул поспешно на себя,
Потом через овраг легко и смело
Перебежал... Параша побледнела,
Но до забора он дошел и стал,
И с вежливой улыбкой шапку снял.

XXI

Она стояла, вспыхнув вся... и глаз
Не подымая... Сильно и неровно
В ней билось сердце. «Умоляю вас,—
Так начал он, и очень хладнокровно,—
Скажите мне, теперь который час?»
Сперва она немножко помолчала
И отвечала: «Пятый» — а потом
Взглянула на него; но он, нимало
Не изменясь, спросил: «Чей это дом?»

Потом весьма любезно извинился
Бог знает в чем и снова поклонился,
Но не ушел... сказал, что он сосед
И что с ее отцом покойный дед

XXII

Его был очень дружен... что он рад
Такой нежданной встрече; понемногу
И двадцать раз сказавши «виноват!»
(У нас заборы плохи, слава богу),
Через забор он перебрался в сад.
Его лицо так мило улыбалось
И карий глаз так ласково сиял,
Что ей смешным и странным показалось
Дичиться... Он ей что-то рассказал,
Над чем она сперва довольно звонко,
Потом потише засмеялась... с тонкой
Усмешкой посмотрел он ей в глаза —
Потом ушел, пробормотав: «Comm'ça!» [1]

XXIII

И вслед она ему смотрела... Он
Через плечо внезапно оглянулся,
Пожал плечьми — и, словно приучен
К победам, равнодушно улыбнулся.
И ей досадно стало... Громкий звон
Раздался в доме... Чай готов... Небрежно
Она, вернувшись, рассказала всё
Отцу... Он засмеялся безмятежно,
Заговорил про старое житье,
Про деда... Но уездный заседатель,
Вдовец, Парашин древний обожатель,
Разгневался и покраснел, как рак,
И объявил, что их сосед — чудак.

XXIV

А я б его не назвал чудаком...
Но мы об нем поговорить успеем;

[1] «Вот как!» (*франц.*)

Параша села молча под окном
И, подпершись рукой — мы лгать не смеем, —
Всё думала да думала о нем.
Алеет небо... над травой усталой
Поднялся пар... недвижны стали вдруг
Верхушки лип; свежеет воздух вялый,
Темнеет лес, и оживает луг.
Вечерний ветер веет так прохладно,
И ласточки летают так отрадно...
На церкви крест зарделся, а река
Так пышно отражает облака...

XXV

Люблю сидеть я под окном моим
(А в комнате шумят, смеются дети),
Когда над лесом темно-голубым
Так ярко пышет небосклон... о, в эти
Часы я тих и добр — люблю, любим...
Но кто поймет, кто скажет, чем так чудно
Томилось сердце барышни моей...
Состарившись — и тяжело и трудно
Припоминать блаженство прежних дней —
Тех дней, когда без всякого усилья
Любовь, как птица, расширяет крылья...
И на душе так страстно, так светло...
Но это всё прошло, давно прошло.

XXVI

Да, вы прошли и не вернетесь вновь,
Часы молитв таинственных и страстных,
Беспечная, свободная любовь,
Порывы дум, младенчески прекрасных...
Всё, всё прошло... горит упорно кровь
Глухим огнем... а, помнится, бывало,
Верхом я еду вечером; гляжу
На облака, а ветр, как опахало,
В лицо мне тихо веет — я дышу
Так медленно — и, благодати полный,
Я еду, еду, бледный и безмолвный...
Но, впрочем, кто ребенком не бывал
И не забыл всего, что обожал?

XXVII

Он обещал прийти — твердит она...
И хочет и не может оторваться;
Но неужель Параша влюблена?
Не думаю — но не могу ручаться...
А вот и ночь: и вкралась тишина,
Как поцелуй томительно протяжный,
Во всё земное... «Спать пора, сосед!» —
Сказал отец, а мать с улыбкой важной
Его зовет на завтрашний обед.
Параша в сад таинственный и темный
Пошла — и понемногу грусти томной
Вся предалась... Но он-то, что же он?
Я вам скажу — он вовсе не влюблен.

XXVIII

Хотите ль знать, что он за человек?
Извольте: он богат, служил в военной;
Чужим умом питался весь свой век,
Но ловок был и вкрадчив. Изнуренный,
Скучающий, направил он свой бег
В чужие страны; с грустною улыбкой
Везде бродил, надменный и немой;
Но ум его насмешливый и гибкой
Из-за границы вынес целый рой
Бесплодных слов и множество сомнений,
Плоды лукавых, робких наблюдений...
Он надо всем смеялся; но устал —
И над собой смеяться перестал.

XXIX

Мы за границу ездим, о друзья!
Как казаки в поход... Нам всё не в диво;
Спешим, чужих презрительно браня,
Их сведений набраться торопливо...
И вот твердим, без страсти, без огня,
Что и до нас дошло, но что, быть может,
Среди борений грозных рождено,
Что там людей мучительно встревожит,
Что там погубит сердце не одно...

Не перейдя через огонь страданья,
Мы не узнаем радостей познанья —
И, наконец, с бессмысленной тоской
Пойдем и мы дорогой столбовой.

XXX

Но к делу. Он, как я вам доложил,
В отставке был. Пока он был на службе,
Он выезжал, гулял, плясал, шалил,
Приятелей обыгрывал — по дружбе —
И был, как говорится, очень мил.
Он был любезен, влюбчив, но спокоен
И горделив... а потому любим;
И многих женщин был он недостоин,
Обманутых и позабытых им.
Он весел был, но весел безотрадно;
Над чудаком смеялся беспощадно,
Но в обществе не славился умом
И не был «замечательным лицом».

XXXI

А между тем его любили... Он
Пленял людей беспечностью свободной
И был хорош собой — и одарен
Душой самолюбивой и холодной.
Он, я сказал, не очень был умен,
Но всем ему дарованным от бога
Владел вполне... и презирал людей....
А потому имел довольно много
«Испытанных и преданных» друзей.
Он с ними вместе над толпой смеялся
(И от толпы с презреньем отчуждался).
И думали все эти господа,
Что, кроме их, всё вздор и суета.

XXXII

Он всё бранил от скуки — так!..
Не предаваясь злобе слишком детской.
Скажу вам, в бесы метил мой остряк;
Но русский бес не то, что чёрт немецкой.

Немецкой чёрт, задумчивый чудак,
Смешон и страшен; наш же бес, природный,
Российский бес — и толст и простоват,
Наружности отменно благородной
И уж куда какой аристократ!
Не удивляйтесь: мой приятель тоже
Был очень дружен не с одним вельможей
И падал в прах с смеющимся лицом
Пред золотым тельцом — или быком.

XXXIII

Вам гадко... но, читатель добрый мой,—
Увы! и я люблю большого света
Спокойный блеск и с радостью смешной
Любуюсь гордым холодом привета —
Всей этой жизнью звонкой и пустой.
На этот мир гляжу я без желанья,
Но первый сам я хохотать готов
Над жаром ложного негодованья
Непризнанных, бесхвостых «львиц и львов»!
Да сверх того вся пишущая братья
На «свет и роскошь» сыпала проклятья...
А потому см⟨отри⟩ творенья их;
А я сегодня — что-то очень тих.

XXXIV

Люблю я пышных комнат стройный ряд,
И блеск и прихоть роскоши старинной...
А женщины... люблю я этот взгляд
Рассеянный, насмешливый и длинный;
Люблю простой, обдуманный наряд...
Я этих губ люблю надменный очерк,
Задумчиво приподнятую бровь;
Душистые записки, быстрый почерк,
Душистую и быструю любовь.
Люблю я эту поступь, эти плечи,
Небрежные, заманчивые речи...
Узнали ль вы, друзья, скажите мне,
С кого портрет писал я в тишине?

XXXV

«Но,— скажут мне,— вне света никогда
Вы не встречали женщины прекрасной?»
Таких особ встречал я иногда —
И даже в двух влюбился очень страстно;
Как полевой цветок, они всегда
Так милы, но, как он, свой легкий запах
Они теряют вдруг... и, боже мой,
Как не завянуть им в неловких лапах
Чиновника, довольного собой?
Но сознаюсь, и сознаюсь с смущеньем,
Я заболтался вновь и с наслажденьем
К моей Параше я спешу — спешу
И вот ее в гостиной нахожу.

XXXVI

Она сидит близ матери... на ней
Простое платье; но мы замечаем
За поясом цветок. Она бледней
Вчерашнего, взволнована. За чаем
Хлопочет няня; батюшка моей
Параши новый фрак надел; к окошку
Подходит часто: нет, не едет гость!
А обещал... И что же? понемножку
Ее берет девическая злость...
Ее прическа так мила, перчатки
Так свежи — видно, все мои догадки
Не ложны... «Чтó, мой друг, ты так грустна?» —
Спросила мать — и вздрогнула она

XXXVII

И слабо улыбнулась... и идет
К окну; садится медленно за пяльцы;
И, головы не подымая, шьет,
Но чтó-то часто колет себе пальцы.
И думает: «Ну что ж? он не придет...»
От тонкой шеи, слабо наклоненной,
Так гордо отделялася коса...
Ее глаза — читатель мой почтенный,
Я не могу вам описать глаза
Моей слегка взволнованной девицы —

Их закрывали длинные ресницы...
Я на нее глядел бы целый век;
А он не едет — глупый человек!

XXXVIII

Но вдруг раздался топот у крыльца —
И всходит «он». «Насилу! как мы ради!»
Он трижды щеки пухлые отца
Облобызал... потом приличья ради
К хозяйке к ручке подошел... с чепца
До башмаков ее окинул взглядом
И быстро усмехнулся, а потом
Параше низко поклонился — рядом
С ней сел — и начал речь о том о сем...
Внимательно старинные рассказы
Хозяев слушал... три, четыре фразы
С приветливой улыбкой отпустил —
И стариков «пленил и восхитил».

XXXIX

С Парашей он ни слова... на нее
Не смотрит он, но все его движенья,
Звук голоса, улыбка — дышит всё
Сознанием внезапного сближенья...
Как нежен он! Как он щадит ее!
Как он томится тайным ожиданьем!..
Ей стало легче — молча на него
Она глядит с задумчивым вниманьем,
Не понимая сердца своего...
И этот взгляд, и женский и ребячий,
Почувствовал он на щеке горячей —
И, предаваясь дивной тишине,
Он наслаждался страстно и вполне.

XL

Не нравится он вам, читатель мой...
Но в этот миг он был любим недаром;
Он был проникнут мирной простотой,
Он весь пылал святым и чистым жаром,
Он покорялся весь душе другой.

Он был любим — как скоро! Но, быть может,
Я на свою Парашу клевещу...
Скажите — ваша память мне поможет,—
Как мне назвать ту страстную тоску,
Ту грустную, невольную тревогу,
Которая берет вас понемногу...
К чему нам лицемерить — о друзья!—
Ее любовью называю я.

XLI

Но эта искра часто гаснет... да;
И, вспыхнувши, горит довольно странно
И смертных восхищает — не всегда.
Я выражаюсь несколько туманно...
Но весело, должно быть, господа,
Разгар любви следить в душе прекрасной,
Подслушать вздох, задумчивую речь,
Подметить взгляд доверчивый и ясный,
Былое сбросить всё, как ношу с плеч...
Случайности предаться без возврата
И чувствовать, что жизнь полна, богата
И что способность праздного ума
Смеяться надо всем — смешна сама.

XLII

И так они сидели рядом... С ней
Заговорил он... Странен, но понятен
Параше смысл уклончивых речей...
Она его боится, но приятен
Ей этот страх — и робости своей
Она едва ль не радуется тайно.
Шутя, скользит небрежный разговор;
И вдруг глаза их встретились случайно —
Она не тотчас опустила взор...
И встала, без причины приласкалась
К отцу... ласкаясь, тихо улыбалась,
И, говоря о нем, сказала: «он».—
Читатель, я — признайтесь — я смешон.

XLIII

А между тем ночь наступает... в ряд
Вдали ложатся тучи... ровной мглою
Наполнен воздух... липы чуть шумят;
И яблони над темною травою,
Раскинув ветки, высятся и спят —
Лишь изредка промчится легкий трепет
В березах; там за речкой соловей
Поет себе, и слышен долгий лепет,
Немолчный шёпот дремлющих степей.
И в комнату, как вздох земли бессонной,
Влетает робко ветер благовонный
И манит в сад, и в поле, и в леса,
Под вечные, святые небеса...

XLIV

Я помню сам старинный, грустный сад,
Спокойный пруд, широкий, молчаливый...
Я помню: волны мелкие дрожат
У берега в тени плакучей ивы;
Я помню — много лет тому назад —
Я в том саду хожу в траве высокой
(Дорожки все травою поросли),
Заря так дивно рдеет... блеск глубокой
Раскинулся от неба до земли...
Хожу, брожу, задумчивый, усталый,
О женщине мечтаю небывалой...
И о прогулке поздней и немой —
И это всё сбылось, о боже мой!

XLV

«А не хотите ль в сад? — сказал старик,—
А? Виктор Алексеич! вместе с нами?
Сад у меня простенек, но велик;
Дорожки есть — и клумбочки с цветами».
Они пошли... вечерний, громкий крик
Коростелей их встретил; луг огромный
Белел вдали... недвижных туч гряда
Раскинулась над ним; сквозь полог темный
Широких лип украдкою звезда
Блеснет и скроется — и по аллее

Идут они: одна чета скорее,
Другая тише, тише всё... и вдруг
С супругой добродетельный супруг

XLVI

Отстал... О хитрость сельская! Меж тем
Параша с ним идет не слишком скоро...
Ее душа спокойна — не совсем:
А он не начинает разговора
И рядом с ней идет, смущен и нем.
Боится он внезапных объяснений,
Чувствительных порывов... Иногда
Он допускал возможность исключений,
Но в пошлость верил твердо и всегда.
И, признаюсь, он ошибался редко
И обо всем судил довольно метко...
Но мир *другой* ему был незнаком,
И он — злодей! — не сожалел о нем.

XLVII

«Помилуйте, давно ль ваш Виктор был
И тронут и встревожен и так дале?»
Приятель мой — я вам сказать забыл —
Клялся в любви единственно на бале —
И только тем, которых не любил.
Когда же сам любовной лихорадки
Начальный жар в себе он признавал,
Его терзали, мучили догадки —
Свою любовь, как клад, он зарывал,
И с чувствами своими, как художник,
Любил один возиться мой безбожник...
И вдруг — с уездной барышней — в саду...
Едва ль ему отрадней, чем в аду.

XLVIII

Но постепенно тает он... Хотя
Почтенные родители некстати
Отстали, но она — она дитя;
На этом тихом личике печати
Лукавства нет; и вот — как бы шутя

Ее он руку взял... и понемногу
Предался вновь приятной тишине...
И думает с отрадой: «Слава богу,
До осени в деревне будет мне
Не скучно жить — а там... но я взволнован.
Я, кажется, влюблен и очарован!»
Опять влюблен? Но почему ж? — Сейчас,
Друзья мои, я успокою вас.

XLIX

Во-первых: ночь прекрасная была,
Ночь летняя, спокойная, немая;
Не свéтила луна, хоть и взошла;
Река, во тьме таинственно сверкая,
Текла вдали... Дорожка к ней вела;
А листья в вышине толпой незримой
Лепечут; вот — они сошли в овраг,
И, словно их движением гонимый,
Пред ними расступался мягкий мрак...
Противиться не мог он обаянью —
Он волю дал беспечному мечтанью
И улыбался мирно и вздыхал...
А свежий ветр в глаза их лобызал.

L

А во-вторых: Параша не молчит
И не вздыхает с приторной ужимкой;
Но говорит, и просто говорит.
Она так мило движется — как дымкой,
Прозрачной тенью трепетно облит
Ее высокий стан... он отдыхает;
Уж он и рад, что с ней они вдвоем.
Заговорил... а сердце в ней пылает
Неведомым, томительным огнем.
Их запахом встречает куст незримый,
И, словно тоже страстию томимый,
Вдали, вдали — на рубеже степей
Гремит, поет и плачет соловей.

LI

И, может быть, он начал понимать
Всю прелесть первых трепетных движений
Ее души... и стал в нем утихать
Крикливый рой смешных предубеждений.
Но ей одной доступна благодать
Любви простой, и детской и стыдливой...
Нет! о любви не думает она —
Но, как листок блестящий и счастливый,
Ее несет широкая волна...
Всё — в этот миг — кругом ей улыбалось,
Над ней одной всё небо наклонялось.
И, колыхаясь медленно, трава
Ей вслед шептала милые слова...

LII

Они всё шли да шли... Приятель мой
Парашей любовался молчаливо;
Она вся расцветала, как весной
Земля цветет и страстно и лениво
Под теплою, обильною росой.
Облитое холодной, влажной мглою,
Ее лицо горит... и понял он,
Что будет он владеть ее душою,
Что он любим, что сам он увлечен.
Она молчит — подобное молчанье
Имеет всем известное названье...
И он склонился — и ее рука
Под поцелуем вспыхнула слегка.

LIII

Читайте дальше, дальше, господа!
Не бойтесь: я писатель благонравный.
Шалил мой друг в бывалые года,
Но был всегда он малый «честный, славный»
И не вкушал — незрелого плода.
Притом он сам был тронут: да признаться,
Он постарел — устал; не в первый раз
Себе давал он слово не влюбляться
Без цели... иногда в свободный час
Мечтал он о законном, мирном браке...

Но между тем он чувствует: во мраке
Параша вся дрожит... и мой герой
Сказал ей: «Не вернуться ль нам домой?»

LIV

Они пошли домой; но — признаюсь —
Они пошли дорогой самой длинной...
И говорили много: я стыжусь
Пересказать их разговор невинный
И вовсе не чувствительный — клянусь.
Она болтала с ним, как с старым другом,
Но голос бедной девушки слегка
Звенел едва исчезнувшим испугом,
Слегка дрожала жаркая рука...
Всё кончено: она ему вверялась,
Сближению стыдливо предавалась...
Так в речку ножку робкую дитя
Заносит, сук надежный ухватя.

LV

И, наконец, они пришли домой.
За ужином весьма красноречиво
И с чувством говорил приятель мой.
Старик глядит на гостя, как на диво;
Параша тихо подперлась рукой
И слушает. Но полночь бьет; готова
Его коляска; он встает; отец
Его целует нежно, как родного;
Хозяйка чуть не плачет... наконец
Уехал он; но в самый миг прощанья
Он ей шепнул с улыбкой: «До свиданья»,
И, уходя совсем, из-за дверей
Он долгим взглядом поменялся с ней.

LVI

Он едет; тихо всё... глухая ночь;
Перед коляской скачет провожатый.
И шепчет он: «Я рад соседям... дочь
У них одна; он человек богатый...
Притом она мила...» Он гонит прочь

Другие, неуместные мечтанья,
Отзвучия давно минувших дней...
Не чувствуя ни страха, ни желанья,
Она ходила в комнатке своей;
Ее душа немела; ей казалось,
Что в этот миг как будто изменялось
Всё прежнее, вся жизнь ее, — и сон
Ее застиг; во сне явился — он.

LVII

Он... грустно мне; туманятся слезой
Мои глаза... гляжу я: у окошка
Она сидит на креслах; головой
Склонилась на подушку; с плеч немножко
Спустилася косынка... золотой
И легкий локон вьется боязливо
По бледному лицу... а на губах
Улыбка расцветает молчаливо.
Луна глядит в окно... невольный страх
Меня томит; мне слышится: над спящей,
Как колокольчик звонкий и дрожащий,
Раздался смех... и кто-то говорит...
И голосок насмешливо звенит:
«В теплый вечер в ульях чистых
Зреют светлые соты́;
В теплый вечер лип душистых
Раскрываются цветы;
И когда по ним слезами
Потечет прозрачный мед —
Вьется жадно над цветами
Пчел ликующий народ...
Наклоняя сладострастно
Свой усталый стебелек,
Гостя милого напрасно
Ни один не ждет цветок.
Так и ты цвела стыдливо,
И в тебе, дитя мое,
Созревало прихотливо
Сердце страстное твое...
И теперь в красе расцвета,
Обаяния полна,
Ты стоишь под солнцем лета

Одинока и пышна.
Так склонись же, стебель стройный,
Так раскройся ж, мой цветок;
Прилетел жених... достойный —
В твой забытый уголок!»

LVIII

Но, впрочем, это кончиться ничем
Могло... он мог уехать — и соседку,
Прогулку и любовь забыть совсем,
Как забываешь брошенную ветку.
Да и она, едва ль... но между тем
Как по̀ саду они вдвоем скитались —
Что̀, если б он, кого все знаем мы,
Кого мы в детстве, помнится, боялись,
Пока у нас не развились умы,—
Что́, если б бес печальный и могучий
Над садом тем, на лоне мрачной тучи
Пронесся и над любящей четой
Поник бы вдруг угрюмой головой,—

LIX

Что б он сказал? Он видывал не раз,
Как Дон Жуан какой-нибудь лукаво
Невинный женский ум, в удобный час,
Опутывал и увлекал... и, право,
Не тешился он зрелищем проказ,
Известных со времен столпотворенья...
Лишь иногда с досадой знатока
Он осуждал его распоряженья,
Давал советы изредка, слегка;
Но всё ж над ней одной он мог смеяться...
А в этот раз он стал бы забавляться
Вполне и над обоими. Друзья,
Вы, кажется, не поняли меня?

LX

Мой Виктор не был Дон Жуаном... ей
Не предстояли грозные волненья.
«Тем лучше,— скажут мне,— разгар страстей

Опасен»... точно; лучше, без сомненья,
Спокойно жить и приживать детей —
И не давать, особенно вначале,
Щекам пылать... склоняться голове...
А сердцу забываться — и так дале.
Не правда ль? Общепринятой молве
Я покоряюсь молча... Поздравляю
Парашу и судьбе ее вручаю —
Подобной жизнью будет жить она;
А кажется, хохочет сатана.

LXI

Мой Виктор перестал любить давно...
В нем сызмала горели страсти скупо;
Но, впрочем, тем же светом решено,
Что по любви жениться — даже глупо.
И вот в кого ей было суждено
Влюбиться... Что ж? он человек прекрасный
И, как умеет, сам влюблен в нее;
Ее души задумчивой и страстной
Сбылись надежды все... сбылося всё,
Чему она дать имя не умела,
О чем молиться смела и не смела...
Сбылося всё... и оба влюблены...
Но всё ж мне слышен хохот сатаны.

LXII

Друзья! я вижу беса... на забор
Он оперся — и смотрит; за четою
Насмешливо следит угрюмый взор.
И слышно: вдалеке, лихой грозою
Растерзанный, печально воет бор...
Моя душа трепещет поневоле;
Мне кажется, он смотрит не на них —
Россия вся раскинулась, как поле,
Перед его глазами в этот миг...
И как блестят над тучами зарницы,
Сверкают злобно яркие зеницы;
И страшная улыбка проползла
Медлительно вдоль губ владыки зла...

LXIII

Я долго был в отсутствии; и вот
Лет через пять я встретил их, о други!
Он был женат на ней — четвертый год
И как-то странно потолстел. Супруги
Мне были ради оба. Мой приход
Напомнил ей о прежнем — и сначала
Ее встревожил несколько... она
Поплакала; ей даже грустно стало,
Но грусть замужней женщины смешна.
Как ручеек извилистый, но плавный,
Катилась жизнь Прасковьи Николавны;
И даже муж — я вам не всё сказал —
Ее весьма любил и уважал.

LXIV

Сперва он тешился над ней; потом
Привык к ним ездить; наконец — женился;
Увидев дочь под свадебным венцом,
Старик отец умильно прослезился —
И молодым построил славный дом,
Обширный — по-старинному удобно
Расположенный... О друзья мои,
Поверьте: в жизни всё правдоподобно...
Вы, может быть, мне скажете: любви,
Ее любви не стоил он... Кто знает?
Друзья, пускай другой вам отвечает;
Пора мне кончить; много я болтал;
И вам я надоел, и сам устал.

LXV

Но — боже! то ли думал я, когда,
Исполненный немого обожанья,
Ее душе я предрекал года
Святого, благодатного страданья!
С надеждами расставшись навсегда,
Свыкался я с суровым отчужденьем,
Но в ней ласкал последнюю мечту
И на нее с таинственным волненьем
Глядел, как на любимую звезду...

И что ж? я был обманут так невинно,
Так просто, так естественно, так чинно,
Что в истине своих желаний я
Стал сомневаться, милые друзья.

LXVI

И вот что ей сулили ночи той,
Той летней ночи страстные мгновенья,
Когда с такой тревожной быстротой
В ее душе сменялись вдохновенья...
Прощай, Параша!.. Время на покой;
Перо к концу спешит нетерпеливо...
Что ж мне сказать о ней? Признаться вам,
Ее никто не назовет счастливой
Вполне... она вздыхает по часам
И в памяти хранит как совершенство
Невинности нелепое блаженство!
Я скоро с ней расстался... и едва ль
Ее увижу вновь... ее мне жаль.

LXVII

Мне жаль ее... быть может, если б рок
Ее повел другой — другой доро́гой...
Но рок, так всеми принято, жесток;
А потому и поступает строго.
Припомнив взгляд любимый, я бы мог,
Я бы хотел сказать, чем, расставаясь
С Парашей, вся душа томится... но —
На серебристом снеге разгораясь,
Блестят лучи; скрипит мороз; давно
Пора на свежий воздух, на свободу...
И потому я кланяюсь народу
Читателей — снимаю свой колпак
Почтительно и выражаюсь так:

LXVIII

Читатель мой, прощайте! Мой рассказ
Вас усыпил иль рассмешил — не знаю;
Но я, хоть вижусь с вами в первый раз,
Дальнейшего знакомства не желаю...

Всё оттого, что уважаю вас,
Свои ошибки вижу я: их много;
Но вы добры, я слышал, и меня
По глупости простите ради бога!
А вы, мои любезные друзья,
Не удивляйтесь: страстию несчастной
С ребячьих лет страдал ваш друг прекрасный...
Писал стихи... мне стыдно; так и быть!
Прошу вас эти бредни позабыть!

LXIX

А если кто рассказ небрежный мой
Прочтет — и вдруг, задумавшись невольно,
На миг один поникнет головой
И скажет мне спасибо: мне довольно...
Тому давно — стоял я над кормой,
И плыли мы вдоль города чужого;
Я был один на палубе... волна
Вздымала нас и опускала снова...
И вдруг мне кто-то машет из окна,
Кто он, когда и где мы с ним видались,
Не мог я вспомнить... быстро мы промчались —
Ему в ответ и я махнул рукой —
И город тихо скрылся за горой.

РАЗГОВОР

СТИХОТВОРЕНИЕ

* * *

Один, перед немым и сумрачным дворцом,
Бродил я вечером, исполненный раздумья;
Блестящий пир утих; дремало всё кругом —
И замер громкий смех веселого безумья.
Среди таинственной, великой тишины
Березы гибкие шептали боязливо —
И каменные львы гляделись молчаливо
В стальное зеркало темнеющей волны.

И спящий мир дышал бессмертной красотой...
Но глаз не подымал и проходил я мимо;
О жизни думал я, об Истине святой,
О всем, что на земле навек неразрешимо.
Я небо вопрошал... и тяжко было мне —
И вся душа моя пресытилась тоскою...
А звезды вечные спокойной чередою
Торжественно неслись в туманной вышине.

Июль 1844

I

В пещере мрачной и сырой
Отшельник бледный и худой
Молился. Дряхлой головой
Он наклонялся до земли;
И слезы медленно текли
По сморщенным его щекам,
Текли по трепетным губам
На руки, сжатые крестом.
Таилась в голосе глухом
Полуживого старика
Непобежденная тоска...
Тот голос... много зол и мук

Смягчили прежний, гордый звук...
И после многих тайных битв,
И после многих горьких слез
Слова смиренные молитв
Он, изнывая, произнес.
Бывало, пламенная речь
Звенела, как булатный меч,
Гремела, как набат, когда
Во дни покорности, стыда
Упругой меди тяжкий рев
В народе будит ярый гнев
И мчатся граждане толпой
На грозный, на последний бой.
Теперь же — с бледных губ — едва,
Беззвучно падают слова,
Как поздней осенью с вершин
Нагих и трепетных осин
На землю грустной чередой
Ложится листьев легкий рой.

II

И встал старик...
Кончался день;
Темнела даль; густела тень;
И вот настал волшебный миг,
Когда прозрачен, чист и тих
Вечерний воздух... ночь близка...
Заря пылает... облака
Блестят и тают... спит река...
И смутный говор мелких волн
Невыразимой неги полн —
И так торжественны леса,
Так бесконечны небеса...

III

И долго — бледный, как мертвец,
Стоял пустынник... наконец,
Он вышел медленно на свет.
И словно дружеский привет,
Знакомый, любящий, родной,
В вершине липы молодой

Внезапно перелетный шум
Промчался... Сумрачен, угрюм,
Стоял старик... но так светло
Струилась речка... так тепло
Коснулся мягкий ветерок
Его волос... и так глубок
И звучно тих и золотист
Был пышный лес... и каждый лист
Сверкал так радостно, что вдруг
В безумце замер злой недуг —
И озарилися слегка
Немые губы старика
Под длинной белой бородой
Улыбкой грустной, но живой.

IV

Но вот раздался шум шагов...
И быстро вышел из кустов
Нежданный гость. Он иногда
С отшельником — по вечерам —
Сходился в прежние года...
Его задумчивым речам
Он с детской жадностью внимал...
С тех пор он вырос — возмужал —
И начал жить... Прошли, как сон,
За днями дни — за годом год...
Завяла жизнь... И вспомнил он
Те встречи — молодость — и вот
Стоит он с пасмурным лицом
Пред изумленным стариком.

V

И на́звал он себя... Узнал
Его пустынник... быстро встал...
Дал гостю руку... Та рука
Дрожала... Голос старика
Погас... Но странник молодой
Поник печально головой,
Пожал болезненно плечом
И тихо вздрогнул... и потом
Взглянул медлительно кругом.

И говорили взоры те
О безотрадной пустоте
Души, погибшей, как и все:
Во всей, как водится, красе.

VI

Но понемногу в разговор
Они вступили... Между тем
Настала ночь. Высокий бор
И спит и шепчет. Чуток — нем
Холодный мрак... окружена
Туманом дымчатым луна...
Старик — поникнув на ладонь —
Сидел угрюмый, без речей...
Лишь иногда сверкал огонь
Из-под густых его бровей...
Казалось, он негодовал...
Он так презрительно молчал...
И не сходила до конца
С его печального лица
Усмешка злая...
Говорил
Пришлец о том, как он любил,
И как страдал, и как давно
Ему томиться суждено...
И как он пал... Такой рассказ
Слыхали многие не раз —
И сожалели... нет — едва ль!
Не новость на земле печаль.
«Старик, и я,— так кончил он
Рассказ,— ты видишь, побежден...
Как воды малого ручья,
Иссякла молодость моя...
Меня сгубил бесплодный жар
Упорных, мелочных страстей...
Беспечности (завидный дар!)
Не раз в тоске души моей
Просил я... но коварный бог
Пытливый дух во мне зажег —
А силы... силы не́ дал он.
Твой взор я понял... я смешон;
К чему волнуюсь я теперь?

За мной навек закрыта дверь.
В тот пестрый, равнодушный мир
Возврата нет... Так пусть же там
Кипит всё тот же наглый пир,
Всё тем же молятся богам,
И, кровью праведной хмельна,
Неправда царствует одна.
Чтó мне до них! Большой ценой
Купил я право никогда
Не вспоминать о жизни той.
Но я люблю — любил всегда
Ночного неба мирный блеск
И темных волн ленивый плеск,
Люблю я вечер золотой,
Лесов задумчивый покой
И легкий рой румяных туч,
Луны стыдливый, первый луч,
И первый ропот соловья,
И тишину полей... О! я
Готов остаться навсегда
С тобою здесь...»

Старик

В твои года
Любил я накануне битв
Слова задумчивых молитв;
Любил рассказы стариков
О том, как били мы врагов;
Любил торжественный покой
Заснувшей рати... За луной
Уходят звезды... вот — восток
Алеет... легкий ветерок
Играет клочьями знамен...
Как птица спугнутая, сон
Слетел с полей... седой туман
Клубится тяжко над рекой.
Грохочет глухо барабан —
Раздался выстрел вестовой —
Проворно строятся полки —
В кустах рассыпались стрелки...
И сходят медленно с холмов
Ряды волнистые врагов.
Любил я блеск и стук мечей,

И лица гордые вождей,
И дружный топот лошадей,
Когда, волнуясь и гремя,
Сверкала конница в дыму,
Визжали ядра... Полно! Я
Старик. Но — помню — как тюрьму,
Я ненавидел города;
И надышаться в те года
Не мог я воздухом лесов,
И был я силен и суров,
И горделив — и, сколько мог,
Я сердце вольное берег.

Молодой человек

Дивлюсь я, слушая тебя.
Как? Неужели ж помнишь ты
Тревоги молодости?

Старик

Я

Всё помню.

Молодой человек

Детские мечты?
Восторги пламенные?

Старик

Да.
Ребенок искренний, тогда
Я был глупей тебя — глупей...
Я не шутил душой моей...
И всё, над чем смеешься ты
Так величаво, те «мечты»
В меня вросли так глубоко,
Что мне забыть их нелегко.
Но ты, бесстрастный человек,
Ты успокоился навек.

Молодой человек

Кто? Я спокоен? Боже мой!
Я гибну в медленном огне...
Да ты смеешься надо мной,
Старик!

Старик

О нет! Но грустно мне.
Кичливой ревностью горя,
Расправив гордо паруса,
Давно ль в далекие моря
Под неродные небеса
Помчался ты? И что ж? о срам!
Едва дохнула по волнам
Гроза — к родимым берегам,
Проворен, жалок, одинок,
Бежит испуганный челнок.
В разгаре юношеских сил
Ты, как старик, и вял и хил...
Но боже! разве никогда
Не знал ты жажду мыслей, дел,
Тоску глубокого стыда,
И не рыдал и не бледнел?
Любил ли ты кого-нибудь?
Иль никогда немая грудь,
Блаженства горького полна,
Не трепетала, как струна?

Молодой человек

А ты любил?

И вдруг старик
Умолк — и медленно лицом
На руки дряхлые поник.
Когда же голову потом
Он поднял — взор его потух...
Он бледен был, как будто дух
Тревожный, плачущий, немой
Промчался над его душой.
«Я сознаюсь,— так начал он, —
Твой неожиданный приход
Меня смутил. Я потрясен.
Я ждал тебя так долго... вот
Ты появился, наконец,
Печальным гостем предо мной...
Как сына слушает отец,
Тебя я слушал... И тоской
Внезапно стал томиться я...
И странно! прежняя моя
Любовь — и всё, что так давно

В моей груди схоронено,
Воскресло вдруг... пробуждены
Живые звуки старины,
И тени милые толпой
Несутся тихо надо мной.
Я знаю: стыдно старику
Лелеять праздную тоску;
И, как осенняя гроза,
Бесплодна поздняя слеза...
Но близок смерти горький час;
Но, может быть, в последний раз
Я с человеком говорю,
Последним пламенем горю...
О жизнь! О юность! О любовь!
Любовь мучительная!.. Вновь
Хочу — хочу предаться вам,
Хотя б на миг один... а там
Погасну, вспыхнувши едва...
. . . .
Ты говоришь: любил ли я?
Понятны мне слова твои...
Так отвечайте ж за меня,
Вы, ночи дивные мои!
Не ты ль сияла надо мной,
Немая, пышная луна,
Когда в саду, в тени густой
Я ждал и думал: вот она!
И замирал, и каждый звук
Ловил, и сердца мерный стук
Принять, бывало, был готов
За легкий шум ее шагов...
И с той поры так много лет
Прошло; так много, много бед
Я перенес... но до конца —
В пустыне, посреди людей —
Черты любимого лица
Хранил я в памяти моей...
Я вижу, вижу пред собой
Тот образ светлый, молодой...
Воспоминаний жадный рой
Теснится в душу... страстно я
Им отдаюсь... в них ад и рай...
Но ты послушайся меня:

До старых лет не доживай.

Забуду ль я тот дивный час,
Когда, внезапно, в первый раз
Смущенный, стал я перед ней?
Огнем полуденных лучей
Сверкало небо... Под окном,
Полузакрытая плющом,
Сидела девушка... слегка
Пылала смуглая щека,
Касаясь мраморной руки...
И вдоль зардевшейся щеки
На пальцы тонкие волной
Ложился локон золотой.
И взор задумчивый едва
Блуждал... склонялась голова...
Тревожной, страстной тишиной
Дышали томные черты...
Нет! ты не видывал такой
Неотразимой красоты!
Я с ней сошелся... Я молчу...
Я не могу, я не хочу
Болтать о том, как я тогда
Был счастлив... Знай же — никогда,
Пока я не расстался с ней,
Не ведал я спокойных дней...
Но страсть узнал я, злую страсть...
Узнал томительную власть
Души надменной, молодой
Над пылкой, преданной душой.
Обнявшись дружно, целый год
Стремились жадно мы вперед,
Как облака перед грозой...
Не признавали мы преград —
И даже к радости былой
Не возвращались мы назад...
Нет! торжествуя без конца,
Мы сами жгли любовь и жизнь —
И наши гордые сердца
Не знали робких укоризн...
Но всё ж я был ее рабом —
Ее щитом, ее мечом...
Ее рабом я был! Она

Была свободна, как волна.
И мне казалось, что меня
Она не любит.. О, как я
Тогда страдал! Но вот идем
Мы летним вечером — вдвоем
Среди темнеющих полей...
Идем мы... Клики журавлей
Внезапно падают с небес —
И рдеет и трепещет лес...
Мне так отрадно... так легко...
Я счастлив... счастлив я вполне...
И так блаженно-глубоко
Вздыхает грудь... И нет во мне
Сомнений... оба мы полны
Такой стыдливой тишины!
Но дух ее был смел и жив
И беспокойно горделив;
Взойдет, бывало, в древний храм
И, наклонясь к немым плитам,
Так страстно плачет... а потом
Перед распятым божеством
Надменно встанет — и тогда
Ее глаза таким огнем
Горят, как будто никогда
Их луч, и гордый и живой,
Не отуманился слезой.
Ах! та любовь, и страсть, и жар,
И светлой мысли дивный дар,
И красота — и всё, что я
Так обожал,— исчезло всё...
Безмолвно приняла земля
Дитя погибшее свое...
И ясен был спокойный лик
Великой матери людей —
И безответно замер крик
Души растерзанной моей...
Кругом — пленительна, пышна,
Сияла ранняя весна,
Лучом играя золотым
Над прахом милым и немым.
В восторгах пламенной борьбы
Ее застал последний час...
И без рыданий, без мольбы

Свободный дух ее погас...
А я! не умер я тогда!
Мне были долгие года
Судьбой лукавой суждены...
Сменили тягостные сны
Тот первый, незабвенный сон...
Как и другие, пощажен
Я не был... дожил до седин...
И вот живу теперь один...
Молюсь...»

Молодой человек

Как ты, любил и я...
Но не могу я рассказать,
Как ты, любовь свою... Меня
Ты не захочешь понимать...
Бывало, в мирный час, когда
Над бледным месяцем звезда
Заблещет в ясной вышине,
И в безмятежной тишине
Журчит и плещет водопад,
И тихо спит широкий сад,
И в наклоненных берегах
Дремотно нежится река, —
Сижу я с ней... в моих руках
Лежит любимая рука, —
И легкий трепет наших рук,
И нежной речи слабый звук,
Ее доверчивый покой,
И долгий взгляд, и вздох немой —
Всё говорит мне: ты любим!
И что ж! мучительно томим
Тоской безумной, я молчу...
Иль головой к ее плечу
Я наклонюсь... и горячо
На обнаженное плечо
Неистощимой чередой
Слеза струится за слезой...
О чем, скажи мне, плакал я?
Нет! жизнь отравлена моя!
Едва желанное вино
К моим губам поднесено —
И сам я, сам, махнув рукой,

Любилъ какъ ты любилъ и я
Но я не въ силахъ разсказать
Какъ ты любовь мою меня
Старикъ — не можешь ты понять!
Бывало — въ лѣтній часъ когда
Надъ отдыхающимъ лѣсомъ звѣзда
Заблещетъ въ синей вышинѣ —
И въ безмятежной тишинѣ
Стыдливо плещетъ водопадъ —
И тихо спитъ широкій садъ
И въ наклонившихся берегахъ
Дремотно движется рѣка — —
Сижу я съ ней — въ моихъ рукахъ
Лежитъ любимая рука.
И лѣтней ночи дивный сонъ
И милой рѣчи легкій звонъ —
Ея довѣрчивый покой
И долгій взглядъ и вздохъ нѣмой —
Все говоритъ мнѣ: «ты любимъ!»
И вдругъ — мучительно томимъ
Тоской безумной я вскочу
Припавъ головой къ ея плечу
Я заплачу — и горячо
На обнаженное плечо
Неистощимый чередой
Слеза струится за слезой.
и т. д.

Петербургъ. 15го Мая 1844.

И. Тургеневъ

АВТОГРАФ ОТРЫВКА ИЗ ПОЭМЫ И. С. ТУРГЕНЕВА «РАЗГОВОР» (ПЕРВАЯ РЕДАКЦИЯ), 1844 г.

Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Академии наук СССР, Ленинград.

Роняю кубок дорогой.
Когда ж настал прощальный миг —
Я был и сумрачен и тих...
Она рыдала... видит бог:
Я сам тогда понять не мог:
Зачем я расставался с ней...
Молчал я... в сердце стыла кровь
Молчал я... но в душе моей
Была не жалость, а любовь.
Старик, поверь — я б не желал
Прожить опять подобный час...
Я беспощадно разрывал
Всё, всё, что́ связывало нас...
Ее, себя терзал я... но
Мне было стыдно и смешно.
Что столько лет я жил шутя,
Любил забывчивый покой
И забавлялся, как дитя,
Своей причудливой мечтой...
Я с ней расстался навсегда —
Бежал, не знаю сам куда...
Следы горячих, горьких слез
Я на губах моих унес...
Я помнил всё: печальный взор
И недоконченный укор...
Но всё ж на волю, на простор,
И содрогаясь, и спеша,
Рвалась безумная душа.
И для чего? Но я тогда
Не знал людей... Так иногда
В степи широкой скачешь ты
И топчешь весело цветы,
И мчишься с радостной тоской,
Как будто там, в дали немой,
Где, ярким пламенем горя,
Сверкает пышная заря,
Где тучки светлые легли
Легко — на самый край земли,—
Как будто там найдешь ты всё,
Чем сердце страстное твое
Так безотчетно, так давно,
Так безвозвратно пленено...
И ты примчался... Степь кругом

Всё так же спит ленивым сном...
Томя нетерпеливый взгляд,
Несется тучек длинный ряд,
Лепечет желтая трава
Всё те же смутные слова...
И та же на́ сердце печаль,
И так же пламенная даль
Куда-то манит... и назад
Поедешь, сам себе не рад.
Но ты задумался?

Старик

Ты прав.
Твой беспокойный, странный нрав
Мне непонятен. Создал бог
Нас разно... Ты в любви не мог
Найти покоя... но любовь
Не благо высшее людей;
Нетерпеливо пышет кровь
В сердцах немыслящих детей...
Они лишь для себя живут;
Когда ж минует та пора,
Приличен мужу долгий труд
На славном поприще Добра.
Ты жил, скиталец молодой;
Ты жил; так стань же предо мной —
На сердце руку положи
И, не лукавствуя, скажи:
Какой ты подвиг совершил?
Какому богу ты служил?

Молодой человек

Когда бы кто-нибудь другой
Вопрос превыспренний такой
Мне предложил — ему в ответ
Я засмеялся бы... но нет!
Перед тобой раскрыта вся
Душа печальная моя.
Бывало, полный гордых дум,
Руководимый божеством
Каким-то, жизни вечный шум
Внимал я с тайным торжеством...
Я думал: там, в толпе людей,

Я волю дам душе моей;
Среди друзей, среди врагов,
Узнаю сам, кто я таков...
И за тобой, о мой народ,
Пойду я радостно вперед —
И загорится в сердце вновь
Святая, братская любовь.
Но что же! вдруг увидел я,
Что в целом мире для меня
Нет места; что я людям чужд;
Что нет у нас ни тех же нужд,
Ни тех же радостей; что мне
Они то страшны, то вполне
Непостижимы, то смешны...
И, потрясен до глубины
Души, взывал я к ним... но сам
Не верил собственным словам.
Я с ними сблизиться не мог...
И вновь один, среди тревог
Пустых, живу я с давних пор...

Старик

Ты произнес свой приговор.
Ты, как дитя, самолюбив,
Как женщина, нетерпелив,
И добродушно лишь собой
Ты занят; нет любви прямой
И нет возвышенных страстей
В душе мечтательной твоей.
Но вспомни: «там, в толпе людей»,
Встречал ты юношей живых,
Неговорливых и простых?
Встречал ты старцев и мужей,
Достойных, опытных вождей?
И, примиренный, наконец,
С судьбой, ты видел в них залог
Того, что ревностных сердец
Не покидает правый бог?

Молодой человек

Встречал я «старцев молодых»,
Людей прекрасных — и пустых;
Встречал я слабых добряков

И вздорных умников — толпой;
Встречал любезных остряков,
Довольных службой и судьбой,
И государственных людей,
Довольных важностью своей.
А вечный раб нужды, забот,
Спешил бессмысленный народ
На шумный, на постыдный торг...
Мечтал неопытный в тиши;
Но глупенький его восторг
Не веселил моей души;
Разочарованного стон
И бесполезен и смешон;
Но вдохновенный взгляд детей
И ненавистней и смешней.
И вот сограждане мои!
Старик,— вот юноши твои!
И всех пугает новизна,
Им недоступна красота...
И даже доблестным страшна
Насмешка праздного шута.
Нет! юношей не видел я...
Нет! нет! ты знаешь: жизнь моя
Прошла, как безотрадный сон...

Старик

Когда бы не был ты влюблен
В игру бесплодную мечты,
Когда бы в бога верил ты
И страстной, пламенной душой,
Неутомимой до конца,
Искал бы, как воды живой,
Блаженной близости творца,—
Тогда, быть может, на тебя,
Твою настойчивую страсть,
Твой дух ревнивый возлюбя,
Сошла б таинственная власть.
Внезапным ужасом гоним
И гневом праведным томим,
Ты стал бы, сумрачный, немой,
Пред легкомысленной толпой...
И первый крик души твоей
Смутил бы суетных детей...

Толпа не смеет не признать
Великой силы благодать,
И негодующий пророк
Карал бы слабость и порок —
Гремели б страстные слова,
И, как иссохшая трава,
Пылали б от твоих речей
Сердца холодные людей.
Но малодушный ты! Судьбе
Ты покорился без стыда...
Так что ж, скажи, могло тебе
Дать право гордого суда
Над миром? — Нет! не верю я;
Нет! оклеветана толпа
Тобой... но если речь твоя
Не ложь, достойная раба, —
Тогда — господь отцов моих!
Всесильный! посети же вновь
Детей забывчивых твоих...
Напрасна кроткая любовь —
Так посели ты в их сердцах
И трепет и великий страх —
Промчись живительной грозой
Над грешной, суетной землей!

Молодой человек

Не поминай его, старик...
Он так далек... Он так велик —
А мы так малы... Да притом
Он нас забыл давно... О нем
Твердили миру чудеса —
Теперь безмолвны небеса...
О, если бы пророк святой
Сказал мне: встань! иди за мной!
Клянусь, пошел бы я, томим
Великой радостью, за ним —
За ним — на гибель, на позор...
И пусть надменный приговор
Толпы рабов, толпы слепой
Гремит над ним и надо мной!
Но где пророки? О старик!
Тебе противен слабый крик
Души печальной и больной...

Ты презираешь глубоко
Мою тоску... Но, боже мой!
Ты думаешь, что так легко
С надеждами расстался я?
Что равнодушно сам себе
Сказал я: гибнет жизнь моя!
Что грудь усталая — к борьбе
Упрямо, долго не рвалась?
Что за соломинки сто раз
Я не хватался?.. Ах, о чем
Хлопочем мы? Взгляни кругом:
Спокойно, кротко спит земля;
Леса, широкие поля
Озарены — обагрены
Лучами влажными луны...
И вот — мне чудится: ко мне,
Подобно медленной волне,
Торжественно, как дальний звон
Колоколов, со всех сторон,
С недостижимых облаков
И с гор, живущих сотый век,
Несется плавно звучный зов:
Смирись, безумный человек!

Старик

И я тот голос неземной
Не раз — пред утренней зарей
Слыхал и тронутой душой
Стремился трепетно к нему,
К живому богу моему.
Но в тишине других ночей
Звучал, бывало, громкий зов
В груди встревоженной моей...
И тех простых и гордых слов
Я не забыл: «Не унывай,
Трудись и бога призывай;
И людям верь, и верь уму —
Не покоряйся никому,
Живи для всех и знай: крепка
Твоя непраздная рука».

Молодой человек

А между тем не ты ли сам
Покинул «бренный» мир?

Старик

Страстям
Я предал молодость... оне
Меня сгубили... но клянусь,
Того, что прежде было мне
Святыней,— нет! я не стыжусь!

Молодой человек

Ты всех моложе нас, старик;
Мне непонятен твой язык.

Старик

Так будь же проклят ты навек,
Больной, бессильный человек, —
За то, что нагло, без стыда
Ты погубил — и навсегда —
Всё, чем жила душа моя
В часы мучительной тоски, —
Мои надежды, всё, что я
Любил, как любят старики!
Зачем пришел ты? Без тебя,
Надежды робкие тая
В груди разбитой, но живой,
Я, грешник, здесь, один, в лесах
Мечтал о жизни молодой,
О новых, сильных племенах —
Желал блаженных, ясных дней
Земле возлюбленной своей;
Дерзал молиться в тихий миг
Не за себя — но за других...
Теперь же — страшной темнотой
Весь мир покрылся; надо мной
Гремит уныло близкий гром...
Один, в пыли перед лицом
Твоим, карающий творец,
Я каюсь, каюсь, наконец,—
Измучен я... обманут я...
Но сжалься — пощади меня —

Мне смерть страшна — я не готов
Идти на твой могучий зов...
А жить...нет! жить еще страшней
В такой невыносимой мгле —
И места нет душе моей
Ни в небесах, ни на земле!

Молодой человек

Старик, ты прав, но ты жесток.
Послушай: каждый твой упрек
Неотразим... душа моя
Томится гневом и тоской
И замирает, как змея
Под торжествующей пятой...
И стыдно мне: мои глаза
Сжигает едкая слеза...
Но всё ж ты прав: я шут, я раб —
Я, как ребенок, вял и слаб;
Мои мечты еще глупей
Моих младенческих затей...
И не далась мне тайна слов
Живых — властительных речей;
Не долетает слабый зов
До невнимающих ушей...
Вокруг меня толпа шумит,
Толпа не чувствует тоски —
И недоверчиво глядит
На слезы глупые мои...
Нет! полно! нет — перед тобой
Клянусь я в этот страшный миг,
Клянусь я небом и землей,
Клянусь позором слез моих —
Я не снесу моих цепей,
Родимый край, тебя, друзей.
Без сожаленья, навсегда
Покину... и пойду тогда,
И безнадежен и суров,
Искать неведомых богов,
Скитаться с жадностью немой
Среди чужих, в земле чужой,
Где никому не дорог я,
Но где вольна душа моя,
Где я бестрепетно могу

Ответить вызовом врагу —
И, наконец, назло судьбе,
Погибнуть в радостной борьбе!

Старик

Бежать ты хочешь? Но куда?
Зачем? К кому?

Молодой человек

Старик, когда
Ты так усердно расточал
Упреки — помнишь? я молчал;
Теперь я спрашиваю вас,
О, предки наши! что для нас
Вы сделали? Скажите нам:
«Вот, нашим доблестным трудам
Благодаря,— смотрите — вот
Насколько вырос наш народ...
Вот несомненный, яркий след
Великих, истинных побед!»
Что ж? отвечайте нам!.. Увы!
Как ваши внуки, на покой
Бессмысленный спешили вы
С работы трудной — но пустой...
И мы не лучше вас — о нет!
Нам то же предстоит... Смотри:
Над дальним лесом слабый свет,
Предвестник утренней зари,
Мерцает... близок ясный день —
Редеет сумрачная тень...
Но не дождаться нам с тобой
Денницы пышной, золотой,
И в час, когда могучий луч
Из-за громадных синих туч
Блеснет над радостной землей,—
Великий, бесконечный крик
Победы, жизни молодой
Не долетит до нас, старик...
Не пережив унылой тьмы,
С тобой в могилу ляжем мы —
Замрет упорная тоска;
Но будет нам земля тяжка...
Нам даже слава не далась...
И наш потомок — мимо нас

Пройдет с поднятой головой,
Неблагодарный и немой.

Он торопливо встал... Рукой
Лицо закрыл старик седой;
И, думой тягостной томим,
Сидит он грустно-недвижим...
Но где же странник? Он исчез...
Шумит сурово темный лес;
И тучи ходят — и страшна
Пустынной ночи тишина.

АНДРЕЙ

ПОЭМА

В двух частях

Часть первая

«Дела давно минувших дней».

I

«Начало трудно»,— слышал я не раз.
Да, для того, кто любит объясненья.
Я не таков, и прямо свой рассказ
Я начинаю — без приготовленья...
Рысцой поплелся смирный мой пегас;
Друзья, пою простые приключенья...
Они происходили вдалеке,
В уездном, одиноком городке.

II

Подобно всем уездным городам,
Он правильно расположен; недавно́
Построен; на горе соборный храм
Стоит, неконченный; дома́ забавно
Свихнулись набок; нет конца садам
Фруктовым, огородам: страх исправно
Содержатся казенные места,
И площадь главная всегда пуста.

III

В уютном, чистом домике, в одной
Из улиц, называемой «Зеленой»,
Жил человек довольно молодой,
В отставке, холостяк, притом ученый.
Как водится, разумной головой
Он слыл лишь потому, что вид «мудреный»
Имел да трубки не курил, молчал,
Не выходил и в карты не играл.

IV

Но не было таинственности в нем.
Все знали его чин, его фамилью.
Он года три в Москве служил; потом
Наскучив должностной... и прочей гилью,
Вернулся в отчий запустелый дом.
Все комнаты наполненные пылью
Нашел (его домашние давно
Все померли), да старое вино

V

В подвале, да запачканный портрет,
Да в кладовой два бабушкиных платья.
На воле рос он с самых ранних лет;
Пока служил он — связи да занятья
И вспомнить ему не́ дали, что нет
Родной груди, которую в объятья
Принять бы мог он... нет ее нигде...
Но здесь, в родимом и пустом гнезде,

VI

Ему сначала было тяжело...
Потом он полюбил уединенье
И думал сам, что счастлив... но назло
Рассудку — часто грустное томленье
Овладевало им. Его влекло
Куда-то вдаль — пока воображенье
Усталое не сложит пестрых крыл,—
И долго после, молчалив, уныл,

VII

Сидел он под окошком. Впрочем, он,
Как человек без разочарованья,
Не слишком был в отчаянье влюблен
И не лелеял своего страданья.
Начнет, бывало, думать... что ж? не стон,
Зевота выразит его мечтанья;
Скучал он не как байронов Корсар,
А как потомок выходцев-татар.

VIII

Скучал он — да; быть может, оттого,
Что жить в деревне скучно; что в столицах

Без денег жить нельзя; что ничего
Он целый день не делал; что в девицах
Не находил он толку... но всего
Не выскажешь никак — пока в границах
Законности, порядка, тишины
Держаться сочинители должны.

IX

Так, он скучал; но молод был душой,
Неопытен, задумчив, как писатель,
Застенчив и чувствителен — большой
Чудак-дикарь и несколько мечтатель.
Он занимался нехотя собой
(Чему вы подивитесь, о читатель!),
Не важничал и не бранил людей
И ничего не презирал, ей-ей.

X

Хотел любви, не зная сам зачем;
В нем силы разгорались молодые...
Кипела кровь... он от любви совсем
Себе не ждал *спасенья*, как иные
Девицы да студенты. Между тем
Мгновенья проходили золотые —
И минуло два года — две весны...
(Весной все люди чаще влюблены.)

XI

И вот опять настала та пора,
Когда, на солнце весело сверкая,
Капели падают... когда с утра
По лужам дети бегают, играя...
Когда коров гоняют со двора,
И травка зеленеет молодая,
И важный грач гуляет по лугам,
И подступает речка к берегам.

XII

Прекрасен русский теплый майский день...
Всё к жизни возвращается тревожно;
Еще жидка трепещущая тень
Берез кудрявых; ветер осторожно
Колышет их верхушки; думать — лень,

А с губ согнать улыбку невозможно...
И свежий, белый ландыш под кустом
Стыдливо заслоняется листом.

XIII

Поедешь зеленями на коне...
Вздыхает конь и тихо машет гривой —
И как листок, отдавшийся волне,
То медленной, то вдруг нетерпеливой,
Несутся мысли... В ясной вышине
Проходят тучки чередой ленивой...
С деревни воробьев крикливый рой
Промчится... Заяц жмется под межой,

XIV

И колокольня длинная в кустах
Белеется... Приятель наш природу
Весьма любил и в четырех стенах
Не мог остаться в ясную погоду...
Надел картуз — и с палкою в руках
Пешком пустился через грязь и воду...
Была в числе всех улиц лишь одна
«Дворянская» когда-то мощена.

XV

Он шел задумчиво, повеся нос.
По лужицам ступая деликатно,
Бежал за ним его легавый пес.
Мечтатель шел; томительно-приятно
В нем сердце билось — и себе вопрос
Он задавал: зачем так непонятно,
Так грустно-весел он, как вдруг один
Знакомец, не служащий дворянин,

XVI

Нагнал его: «Андрей Ильич! куда-с?»
«Гуляю, так; а вы?» — «Гуляю тоже.
Вообразите — не узнал я вас!
Гляжу, гляжу... да кто ж это, мой боже!
Уж по собаке догадался, да-с!
А слышали вы — городничий?» — «Что же
С ним сделалось?» — «Да с ним-то ничего.
Жену свою прибил он за того

XVII

Гусарчика — вы знаете...» — «Я? Нет!»
«Не знаете? Ну как же вам не стыдно?
Такой приятный в обществе, брюнет.
Вот он понравился — другим завидно,
Послали письмецо да весь секрет
И разгласили... Кстати, нам обидно
С женой, что не зайдете никогда
Вы к нам; а жили, помнится, всегда

XVIII

Мы с вашим батюшкой в большом ладу».
«А разве есть у вас жена?». — «Прекрасно!
Хорош приятель, признаюсь! Пойду
Всем расскажу...» — «Не гневайтесь напрасно».
(Ну,— думал он,— попался я в беду.)
«Не гневаться? Нет, я сердит ужасно...
И если вы хотите, чтоб я вас
Простил совсем, пойдемте к нам сейчас».

XIX

«Извольте... но нельзя ж так...» — «Без хлопот!»
Они пошли под ручку мимо праздных
Мещанских баб и девок, у ворот
Усевшихся на лавках, мимо разных
Заборов, кузниц, домиков... и вот
Перед одним из самых безобразных
Домов остановилися... «Здесь я
Живу,— сказал знакомец,— а судья

XX

Живет вон там, подальше. Вечерком
Играем мы в картишки: заседатель,
Он, я да Гур Миняич, вчетвером».
Они вошли; и закричал приятель
Андрея: «Эй! жена! смотри, кто в дом
Ко мне зашел — твой новый обожатель
(Не правда, что ли?)... вот, сударь, она,
Авдотья Павловна, моя жена».

XXI

Ее лицо зарделось ярко вдруг
При виде незнакомого... Стыдливо
Она присела... Радостный супруг
Расшаркался... За стулья боязливо
Она взялась... Ее немой испуг
Смутил Андрея. Сел он молчаливо
И внутренно себя бранил — и, взор
Склонив, упрямо начал разговор.

XXII

Но вот, пока зашла меж ними речь
О том, что людям нужно развлеченье
И что здоровье надобно беречь,
Взглянувши на нее, в одно мгновенье
Заметил он блестящих, белых плеч
Роскошный очерк, легкое движенье
Груди, зубов-жемчужин ровный ряд
И кроткий, несколько печальный взгляд.

XXIII

Заметил он еще вдоль алых щек
Две кудри шелковистые да руки
Прекрасные... Звенящий голосок
Ее хранил пленительные звуки —
Младенчества, как говорят, пушок.
А за двадцать ей было... пользу скуки
Кто может отрицать? Она, как лед,
От порчи сберегает наш народ.

XXIV

Пока в невинности души своей
Любуется наш юноша стыдливый
Чужой женой, мы поспешим о ней
Отдать отчет подробный, справедливый
Читателям. (Ее супруг, Фаддей
Сергеич, был рассеянный, ленивый,
Доверчивый, прекрасный человек...
Да кто ж и зол в наш равнодушный век?)

XXV

Она росла печальной сиротой;
Воспитана была на счет казенный...

Потом попала к тетушке глухой,
Сносила нрав ее неугомонный,
Ходила в летнем платьице зимой —
И разливала чай... Но брак законный
Освободил несчастную: чепец
Она сама надела, наконец.

XXVI

Но барыней не сделалась. Притом
Авдотья Павловна, как институтка,
Гостей дичилась, плакала тайком
Над пошленьким романом; часто шутка
Ее пугала... Но в порядке дом
Она держала; здравого рассудка
В ней было много; мужа своего
Она любила более всего.

XXVII

Но, как огонь таится под золой,
Под снегом лава, под листочком розы
Колючий шип, под бархатной травой
Лукавый змей и под улыбкой слезы,—
Так, может быть, и в сердце молодой
Жены таились пагубные грезы...
Мы посвящаем этот оборот
Любителям классических острот.

XXVIII

Но всё ж она любила мужа; да,
Как любят дети,— кротко, без волнений,
Без ревности, без тайного стыда,
Без тех безумных, горьких сожалений
И помыслов, которым иногда
Предаться совестно, без подозрений,—
Безо всего, чем дерзостную власть
Свою не раз обозначала страсть.

XXIX

Но не была зато знакома ей
Восторгов нескончаемых отрада,
Тоска блаженства... правда; но страстей
Бояться должно: самая награда
Не сто́ит жертвы, как игра — свечей...

Свирепый, буйный грохот водопада
Нас оглушает... Вообще всегда
Приятнее стоячая вода.

XXX

И если грусть ей в душу как-нибудь
Закрадывалась — это мы бедою
Не назовем... ведь ей же хуже, будь
Она всегда, всегда своей судьбою
Довольна... Грустно ей, заноет грудь,
И взор заблещет томною слезою —
Она к окошку подойдет, слегка
Вздохнет да поглядит на облака,

XXXI

На церковь старую, на низкий дом
Соседа, на высокие заборы —
За фортепьяно сядет... всё кругом
Как будто дремлет... слышны разговоры
Служанок; на стене под потолком
Играет солнце; голубые шторы
Сквозят; надувшись весь, ручной
Снегирь свистит — и пахнет резедой

XXXII

Вся комната... Поет она — сперва
Какой-нибудь романс сантиментальный...
Звучат уныло страстные слова;
Потом она сыграет погребальный
Известный марш Бетховена... но два
Часа пробило; ждет патриархальный
Обед ее; супруг, жену любя,
Кричит: «Уха простынет без тебя».

XXXIII

Так жизнь ее текла; в чужих домах
Она бывала редко; со слезами
Езжала в гости, чувствовала страх,
Когда с высокопарными речами
Уездный франт в нафабренных усах
К ней подходил бочком, кося глазами...
Свой дом она любила, как сурок
Свою нору — свой «home» [1], свой уголок.

[1] «домашний очаг» (*англ.*)

XXXIV

Андрей понравился соседям. Он
Сидел у них довольно долго; в споры
Пускался; словом, в духе был, умен,
Любезен, весел... и хотя в узоры
Канвы совсем, казалось, погружен
Был ум хозяйки,— медленные взоры
Ее больших и любопытных глаз
На нем остановились — и не раз.

XXXV

Меж тем настала ночь. Пришел Андрей
Ильич домой в большом недоуменье.
Сквозь зубы напевал он: «Соловей
Мой, соловей!» — и целый час в волненье
Ходил один по комнате своей...
Не много было складу в этом пенье —
И пес его, весьма разумный скот,
Глядел на барина, разиня рот.

XXXVI

Увы! всем людям, видно, суждено
Узнать, как говорится, «жизни бремя».
Мы ничего пока не скажем... Но
Посмотрим, что-то нам откроет время?
Когда на свет выходит лист — давно
В земле нагретой созревало семя...
Тоскливая, мечтательная лень
Андреем овладела в этот день.

XXXVII

С начала самого любовь должна
Расти неслышно, как во сне глубоком
Дитя растет... огласка ей вредна:
Как юный гриб, открытый зорким оком,
Замрет, завянет, пропадет она...
Потом — ее вы можете с потоком
Сравнить, с огнем, и с лавой, и с грозой,
И вообще со всякой чепухой.

XXXVIII

Но первый страх и трепет сердца, стук
Его внезапный, первое страданье

Отрадно-грустное, как первый звук
Печальной песни, первое желанье,
Когда в огне нежданных слез и мук
С испугом просыпается сознанье
И вся душа заражена тоской...
Как это всё прекрасно, боже мой!

XXXIX

Андрей к соседям стал ходить. Они
Его ласкали; малый был он смирный,
Им по плечу; радушьем искони
Славяне славятся; к их жизни мирной
Привык он скоро сам; летели дни;
Он рано приходил, глотал их жирный
Обед, пил жидкий чай, а вечерком,
Пока супруг за ломберным столом

XL

Сражался, с ней сидел он по часам...
И говорил охотно, с убежденьем
И даже с жаром. Часто был он сам
Проникнут добродушным удивленьем:
Кто вдруг освободил его? речам
Дал звук и силу? Впрочем, «откровеньем»
Она не величала тех речей...
Язык новейший незнаком был ей,

XLI

Нет,— но при нем овладевало вдруг
Ее душой веселое вниманье...
Андрей стал нужен ей, как добрый друг,
Как брат... Он понимал ее мечтанье,
Он разделять умел ее досуг
И вызывать малейшее желанье...
Она могла болтать, молчать при нем...
Им было хорошо, тепло вдвоем.

XLII

И стал он тих и кроток, как дитя
В обновке: наслаждался без оглядки;
Андрей себя не вопрошал, хотя
В нем изредка пугливые догадки
Рождались... Он душил их, жил шутя.

Так первые таинственные взятки,
С стыдливостью соединив расчет,
Чиновник бессознательно берет.

XLIII

Они гуляли много по лугам
И в роще (муж, кряхтя, тащился следом),
Читали Пушкина по вечерам,
Играли в шахматы перед обедом,
Иль, волю дав лукавым языкам,
Смеялись потихоньку над соседом...
Иль иногда рассказывал Андрей
О службе занимательной своей.

XLIV

Тогда, как струйки мелкие реки
У камышей, на солнце, в неглубоких
Местах, иль как те светлые кружки
В тени густых дубов и лип широких,
Когда затихнет ветер, а листки
Едва трепещут на сучках высоких,—
По тонким губкам Дуни молодой
Улыбки пробегали чередой.

XLV

Они смеялись часто... Но потом
Весьма грустить и горевать умели
И в небо возноситься... Под окном
Они тогда задумчиво сидели,
Мечтали, жили, думали вдвоем
И молча содрогались и бледнели —
И тихо воцарялся в их сердцах
Так называемый «священный страх».

XLVI

Смешно глядеть на круглую луну;
Смешно вздыхать — и часто, цепенея
От холода, ночную тишину
«Пить, жадно пить», блаженствуя, немея...
Зевать и прозаическому сну
Противиться, затем, что с эмпирея
Слетают поэтические сны...
Но кто ж не грешен с этой стороны?

XLVII

Да; много так погибло вечеров
Для них; но то, что в них тогда звучало,
То был любви невольный, первый зов...
Но то, что́ сердце в небесах искало,
Что́ выразить не находили слов, —
Так близко, рядом, под боком дышало...
Блаженство не в эфире... Впрочем, кровь
Заговорит, когда молчит любовь.

XLVIII

Проворно зреет запрещенный плод.
Андрей стал грустен, молчалив и странен
(Влюбленные — весьма смешной народ!),
И смысл его речей бывал туманен...
Известно: труден каждый переход.
Наш бедный друг был прямо в сердце ранен...
Она с ним часто ссорилась... Она
Была сама смертельно влюблена.

XLIX

Но мы сказать не смеем, сколько дней,
Недель, годов, десятков лет волненья
Такие продолжаться в нем и в ней
Могли бы, если б случай, — без сомненья,
Первейший друг неопытных людей, —
Не прекратил напрасного томленья...
Однажды муж уехал, а жена
Осталась дома, как всегда, одна.

L

Работу на колени уронив,
Тихонько на груди скрестивши руки
И голову немножко наклонив,
Она сидит под обаяньем скуки.
И взор ее спокоен и ленив,
И на губах давно затихли звуки...
А сердце — то расширится, то вновь
Задремлет... По щекам играет кровь.

LI

Но мысли не высокой предана
Ее душа; напротив, просто «вздором»,

Как люди говорят, она полна...
Улыбкой грустной, беспокойным взором,
Которого вчера понять она
Еще не смела, длинным разговором
И тем, что́ выразить нельзя пером...
Знакомый шаг раздался под окном.

LII

И вдруг — сам бес не скажет почему —
Ей стало страшно, страшно до рыданий.
Боялась она, что ли, дать ему
В ее чертах найти следы мечтаний
Недавних... Но в таинственную тьму
Чужой души мы наших изысканий
Не будем простирать. Прекрасный пол,
Источник наших благ и наших зол,

LIII

Не всем дается в руки, словно клад,
Зарытый хитрой ведьмой. Молчаливо
Она вскочила, через сени в сад
Бежит... в ней сердце бьется торопливо...
Но, как испуганная лань, назад
Приходит любопытно, боязливо,
И слушает, и смотрит, и стрелка
Не видит,— так, на цыпочках, слегка,

LIV

Она дошла до комнаты своей...
И с легкой, замирающей улыбкой,
Вся розовая, к скважине дверей
Нагнула стан затянутый и гибкой.
Концы ее рассыпанных кудрей
Колышатся пленительно на зыбкой
Груди... под черной бровью черный глаз
Сверкает ярко, как живой алмаз...

LV

Она глядит — безмолвно ходит он.
Как виден ясно след немой заботы
И грусти на его лице!.. Влюблен
Андрей. На фортепьянах две-три ноты
Небрежно взял он. Слабый, робкий звон

Возник и замер. Вот — ее работы
Рассматривать он начал... Там в угле
Она платок забыла на столе.

LVI

И жадно вдруг к нему приник Андрей
Губами — крепко, крепко стиснул руки.
Движенья головы его, плечей
Изобличали силу тайной муки...
Дуняша вся затрепетала... В ней,
Как дружные торжественные звуки
Среди равнин печальных и нагих,
Любовь заговорила в этот миг.

LVII

Ей всё понятно стало. Яркий свет
Вдруг озарил ее рассудок. Страстно
Они друг друга любят... в этом нет
Теперь уже сомнений... Как прекрасно
Блаженства ждать и верить с ранних лет
В любовь, и ждать и верить не напрасно,
И тихо, чуть дыша, себе сказать:
Я счастлив — и не знаю, что желать!

LVIII

Как весело гореть таким огнем!
Но тяжело терять напрасно годы,
Жить завтрашним или вчерашним днем,
И счастья ждать, как узники — свободы...
Упорно, как они, мечтать о нем
И в безответных красотах природы
Искать того, чего в ней нет: другой
Души, любимой, преданной, родной.

LIX

В Дуняше кровь вся к сердцу прилила,
Потом к лицу. Так хорошо, так больно
Ей стало вдруг... бедняжка не могла
Вздохнуть, как бы хотелось ей, довольно
Глубоко... кое-как она дошла
До стула... Слезы сладкие невольно,
Внезапно хлынули ручьем из глаз
Ее... Так плачут в жизни только раз!

LX

Она не вспомнила, что никогда
С Андреем ей не жить; что не свободна
Она, что страсти слушаться — беда...
И что такая страсть или бесплодна,
Или преступна... Женщина всегда
В любви так бескорыстно благородна...
И предаются смело, до конца,
Одни простые женские сердца.

LXI

Дуняша плакала... Но вот Андрей,
Услышав легкий шум её рыданья,
Дверь отворил и с изумленьем к ней
Приблизился... вопросы, восклицанья
Его так нежны были, звук речей
Дышал таким избытком состраданья...
Сквозь слезы, не сказавши ничего,
Дуняша посмотрела на него.

LXII

Что́ было в этом взгляде, боже мой!
Глубокая, доверчивая нежность,
Любовь, и благодарность, и покой
Блаженства, преданность и безмятежность,
И кроткий блеск веселости немой,
Усталость и стыдливая небрежность,
И томный жар, пылающий едва...
Досадно — недостаточны слова.

LXIII

Андрей не понял ровно ничего,
Но чувствовал, что грудь его готова
Внезапно разорваться,— до того
В ней сердце вдруг забилось. Два-три слова
С усильем произнес он... на него
Дуняша робко посмотрела, снова
Задумалась — и вот, не мысля зла,
Ему тихонько руку подала.

LXIV

Он всё боялся верить... Но потом
Вдруг побледнел... лицо закрыл руками

И тихо наклонился весь в немом
Восторге... Быстро, крупными слезами
Его глаза наполнились... О чем
Он думал... также выразить словами
Нельзя... Нам хорошо, когда в тупик
Приходит описательный язык.

LXV

Она молчала... и молчал он сам.
О! то, что в это дивное мгновенье
Их полным, замирающим сердцам
Одну давало жизнь, одно биенье,—
Любовь едва решается речам
Себя доверить... Нужно ль объясненье
Того, что несомненней и ясней
(Смотри Шекспира) солнечных лучей?

LXVI

Он руку милую держал в руках
Похолодевших; слабые колени,
Дрожа, под ним сгибались... а в глазах
Полузакрытых пробегали тени.
Он задыхался... Между тем, о страх!
Фаддей (супруг) входил в пустые сени...
Известно вам, читатели-друзья,
Всегда приходят вовремя мужья.

LXVII

«Я голоден»,— сказал он важно, вдруг
Шагнувши в комнату. Дуняша разом
Исчезла; наш Андрей, наш бедный друг
(Коварный друг!) глядел не то Фоблазом,
Не то Маниловым; один супруг
Приличье сохранил и даже глазом
Не шевельнул, не возопил «о-го!»
Как муж — он не заметил ничего.

LXVIII

Андрей пробормотал несвязный вздор,
Болезненно зевнул, стал как-то боком,
Затеял было странный разговор
О Турции, гонимой злобным роком,
И, наконец, поднявши к небу взор,

Ушел. В недоумении глубоком
Воскликнул муж приятелю вослед:
«Куда же вы? Сейчас готов обед».

LXIX

Андрею не до кушанья. Домой
Он прибежал и кинулся на шею
Сперва к хозяйке, старой и кривой,
Потом к оторопелому лакею...
Потом к собаке. С радостью большой
Он дал бы руку своему злодею
Теперь... Он был любим! он был любим!
Кто мог, о небеса, сравниться с ним?

LXX

Андрей блаженствовал... Но скоро в нем
Другое чувство пробудилось. Странно!
Он поглядел задумчиво кругом...
Ему так грустно стало — несказанно,
Глубоко грустно. Вспомнил он о том,
Чтó в голове его не раз туманно
Мелькало... но теперь гроза бедой,
Неотразимой, близкой, роковой

LXXI

Ему представилась. Еще вчера
Не разбирал он собственных желаний.
При ней он был так счастлив... и с утра
Тоской немых, несбыточных мечтаний
Томился... Но теперь — прошла пора
Блаженства безотчетного, страданий
Ребяческих... не возвратится вновь
Прошедшее. Андрей узнал любовь!

LXXII

И всё предвидел он: позор борьбы,
Позор обмана, дни тревог и скуки,
Упрямство непреклонное судьбы,
И горькие томления разлуки,
И страх, и всё, чем прокляты рабы...
И то, чтó хуже — хуже всякой муки:
Живучесть пошлости. Она сильна;
Ей наша жизнь давно покорена.

LXXIII

Он не шутя любил, недаром... Он,
В наш век софизмов, век самолюбивый,
Прямым и добрым малым был рожден.
Ему дала природа не кичливый,
Но ясный ум; он уважал закон
И собственность чужую... Молчаливый,
Растроганный, он медленно лицо
Склонил и тихо вышел на крыльцо.

LXXIV

На шаткую ступеньку сел Андрей.
Осенний вечер обагрял сияньем
Кресты да стены белые церквей.
Болтливым, свежим, долгим трепетаньем
В саду трепещут кончики ветвей.
Струями разливается с молчаньем
Вечерним — слабый запах. Кроткий свет
Румянит о́блака свинцовый цвет.

LXXV

Садится солнце. Воздух дивно тих,
И вздрагивает ветер, словно сонный.
Окошки темных домиков на миг
Зарделись и погасли. Отягченный
Росой внезапной, стынет луг. Затих
Весь необъятный мир. И благовонный,
Прозрачный пар понесся в вышину...
И небо ждет холодную луну.

LXXVI

Вот замелькали звезды... Боже мой!
Как равнодушна, как нема природа!
Как тягостны стремительной, живой
Душе — ее законная свобода,
Ее порядок, вечность и покой!
Но часто после прожитого года
В томительной мучительной борьбе,
Природа, позавидуешь тебе!

I

Прошло шесть месяцев. Зима лихая
Прошла; вернулась ясная весна,
Среди полей взыграла голубая,
Веселая, свободная волна,
Уже пробилась почка молодая,
И дрогнула немая глубина...
Здоровая земля блестит и дышит,
И млеет и зародышами пышет.

II

А наш Андрей? Наружной перемены
В его судьбе не замечаем мы.
По-прежнему к соседу после сцены
С его женой — в теченье всей зимы
Ходил он... «Те же люди, те же стены.
Всё то же, стало быть...» Вот как умы
Поверхностные судят большей частью...
Но мы глубокомысленны, по счастью.

III

Любовь рождается в одно мгновенье —
И долго развивается потом.
С ней борется лукавое сомненье;
Она растет и крепнет, но с трудом...
И лишь тогда последнее значенье
Ее вполне мы, наконец, поймем,
Когда в себе безжалостно погубим
Упрямый эгоизм... или разлюбим.

IV

Андрей был слишком юн и простодушен...
И разлюбить не думал и не мог.
Он чувствовал, что мир его нарушен,
И тайный жар его томил и жег.
Он был судьбе задумчиво послушен,
К себе же строг, неумолимо строг...
Он уважал то, что любил... а ныне
Не верят люди собственной святыне.

V

Сперва знакомцам нашим было ново
Их положенье... но хоть иногда
Признанье было вырваться готово —
Оно не высказалось никогда.
Они как будто дали себе слово
Прошедшее забыть... и навсегда...
И слово то держали свято, твердо
И друг во друга веровали гордо.

VI

Но то, над чем не властны мы до гроба:
Улыбка, вздох невольный, взор немой —
Им изменяли часто... Впрочем, оба
Не пользовались слабостью чужой;
И даже подозрительная злоба
В их жизни, детски честной и прямой,
Не замечала пятен... (чтобы чуда
В том не нашли, прибавим мы: покуда).

VII

По-прежнему затейливо, проворно
В беседах проходили вечера.
Они смеялись так же непритворно...
Но если муж уехать со двора
Хотел — ему противились упорно,
И раньше говорили: «спать пора»,
И реже предавались тем неясным,
Мечтательным порывам, столь опасным.

VIII

Всё так... но каждый принимал участье
Во всем, что думал и желал другой.
И не совсем их позабыло счастье:
Так иногда над тучей грозовой,
Когда шумит сердитое ненастье,
Откроется внезапно золотой
Клочок небес — и луч косой, широкий
Сквозь частый дождь осветит лес далекий.

IX

Как выразить их тайную тревогу,
Когда, на время быстрое пеня,

Они шли тихо, нехотя к порогу
И расставались до другого дня?
Андрей пускался медленно в дорогу
И, голову печально наклоня,
Шагал, шагал так мерно, так уныло...
А сердце в нем тогда рвалось и ныло.

X

Но Боссюэт сказал: «Всему земному
Командуется: марш!» — и человек,
Владыко мира, ничему живому
Сказать не может: стой вот здесь навек!
Через равнины к морю голубому,
Далекому стремятся воды рек...
И мчится жизнь, играя на просторе,
В далекое, таинственное море.

XI

Не только кучерам, но всем известно,
Что под гору сдержаться тяжело.
Андрей боролся совестливо, честно;
Но время шло, без остановки шло...
Великодушье часто несовместно
С любовью... Что ж тут делать? И назло
Отличнейшим намереньям, как дети,
Мы падаем в расставленные сети.

XII

Андрей любил, но жертвовать собою
Умел; отдался весь — и навсегда.
Он за нее гордился чистотою
Ее души, не ведавшей стыда.
Как? Ей склониться молча головою
Пред кем-нибудь на свете?.. Никогда!
Узнать волненье робости позорной?
Унизиться до радости притворной?

XIII

Предать ее на суд толпы досужной?
Лишиться права презирать судьбу
И сделать из жены, рабы наружной,
Немую, добровольную рабу?
О нет! Душе слабеющей, недужной,

Но давшей слово выдержать борьбу,
Что́ надо? Добродетель и терпенье?
Нет — гордость и холодное презренье.

XIV

А если вам даны другие силы,
И сердце ваше, жадное страстей,
Не чувствует того, чем сердцу милы
Дозволенные радости людей,—
Живите на свободе... до могилы
Не признавайте никаких цепей...
Могущество спокойного сознанья
Вас не допустит даже до страданья.

XV

Андрей героем не был... и напрасно
Страдать — свободы ради — наш чудак
Не стал бы; но, как честный малый, ясно
Он понимал, что невозможно *так*
Им оставаться; что молчать — опасно;
Что надобно беде помочь... но как?
Об этом часто, долго, принужденно
Он думал и терялся совершенно.

XVI

Им овладело горькое сомненье...
И в тишине томительной ночей
Бессонных — в нем печальное решенье
Созрело, наконец; он должен с ней
Расстаться... с ней... о, новое мученье!
О скорбь! о, безотрадный мрак! Андрей
Предался грусти страшной, безнадежной,
Как будто перед смертью неизбежной.

XVII

Во всем признаться... не сказавши слова,
Уехать — и в почтительном письме
Растолковать... Но женщина готова
Всегда подозревать обман... В уме
Несчастного предположенья снова
Мешались, путались... В унылой тьме
Бродил он... Небольшое приключенье
Внезапно разрешило затрудненье.

XVIII

В Саратове спокойно, беззаботно,
Помещик одинокий, без детей —
Андрея дядя — здравствовал; но, плотно
Покушавши копченых карасей,
Скончался. Смерть мы все клянем охотно,
А смерти был обязан наш Андрей
Именьем округленным и доходным,
Да, сверх того, предлогом превосходным

XIX

К отъезду... Пять-шесть дней в тоске понятной
Провел он... Вот однажды за столом,
С беспечностью совсем невероятной,
Играя лихорадочно ножом,
Он к новости довольно неприятной
Соседей приготовил... а потом
Отрывисто, ни на кого не глядя,
Сказал: «Я должен ехать. Умер дядя».

XX

Супруг ответствовал одним мычаньем
(Он кушал жирный блин); его жена
На гостя с изумленным восклицаньем
Глядит... Она взволнована, бледна...
Внезапно пораженное страданьем,
В ней сердце дрогнуло... Но вот она
Опомнилась... и, медленно краснея,
С испугом молча слушает Андрея.

XXI

«Ваш дядюшка скончался?» — «Да-с».—
«Я с детства
Его знавал... я знаю целый свет.
Позвольте... Вы теперь насчет наследства?»
«Да-с».— «Ну, ступайте с богом — мой совет.
Жаль, жаль лишиться вашего соседства...
Но делать нечего. Надолго?» — «Нет...
О нет... я ненадолго... нет...» И трепет
Остановил его смущенный лепет.

XXII

Дуняша смотрит на него... Разлуку
Он им пророчит... но на сколько дней?
Зачем он едет? Радость или муку —
Чтó, чтó скрывает он? Зачем он с ней
Так холоден? Зачем внезапно руку
По мрачному лицу провел Андрей?
Зачем ее пытающего взора
Он избегал, как бы страшась укора?

XXIII

Она разгневалась. Перед слезами
Всегда сердиты женщины. Слегка
Кусая губы, ласково глазами
Прищурилась она... да бедняка
Насмешками, намеками, словцами
Терзала целый божий день, пока
Он из терпенья вышел не на шутку...
Дуняше стало легче на минутку.

XXIV

Но вечером, когда то раздраженье
Сменила постепенно тишина,
Немую грусть, унылое смущенье,
Усталый взгляд Андрея вдруг она
Заметила... Невольно сожаленье
В ее душе проснулось, и, полна
Раскаянья, Дуняша молчаливо
По комнате прошлась и боязливо

XXV

К нему подсела. Взор ее приветно
Сиял; лицо дышало добротой.
«Андрей, зачем вы едете?» Заметно
Дрожал неровный голос. Головой
Поник он безнадежно, безответно,
Хотел заговорить, махнул рукой,
Взглянул украдкой на нее... бледнея...
И поняла Дуняша взгляд Андрея.

XXVI

Она сидела молча, замирая,
С закрытыми глазами. Перед ней

Вся будущность угрюмая, пустая,
Мгновенно развернулась... и, со всей
Собравшись силой, медленно вставая,
Она сказала шёпотом: «Андрей,
Я понимаю вас... Вы не лукавы...
Я благодарна вам... Вы правы... правы!»

XXVII

Его рука, дрожа, сыскала руку
Дуняши... Расставаясь навсегда,
В последний раз, на горькую разлуку
Пожал он руку милую тогда.
Не передав изменчивому звуку
Своей тоски — но страха, но стыда
Не чувствуя,— проворными шагами
Он вышел и залился вдруг слезами.

XXVIII

О чувство долга! Сколько наслаждений
(Духовных, разумеется) тобой
Дается нам в замену треволнений
Ничтожной, пошлой радости земной!
Но по причине разных затруднений,
По слабости, всё мешкал наш герой,
Пока настал, к тоске дворян уезда
Бобковского, печальный день отъезда.

XXIX

Андрей с утра в унылую тревогу
Весь погрузился; дедовский рыдван,
Кряхтя, придвинул к самому порогу,
Набил и запер толстый чемодан;
Всё бормотал: «Тем лучше; слава богу»,—
И сапоги запихивал в карман...
Людей томит и мучит расставанье,
Как никогда не радует свиданье.

XXX

Потом он начал ящики пустые
С великим шумом выдвигать; в одном
Из них нашел он ленточки — немые
Свидетели прошедшего... Потом
Он вышел в сад... и листики сырые

Над ним шумели грустно, старый дом
Как будто тоже горевал, забвенье
Предчувствуя да скорое паденье.

XXXI

С тяжелым сердцем к доброму соседу
Андрей поплелся; но не тотчас он
К нему пришел и не попал к обеду.
Уже гудел вечерний, тяжкий звон.
«А, здравствуйте! Вы едете?» — «Я еду».
«Когда же?» — «Завтра до зари». — «Резон;
Лошадкам легче; легче, воля ваша...»
Андрей с ним согласился. Где Дуняша?

XXXII

Она сидела в уголку. Смущенье
Изобличали взоры. В темноте
Она казалась бледной. Утомленье
Ее печальной, тихой красоте
Такое придавало выраженье,
Так трогательны были взоры те,
Смягченные недавними слезами,
Что бедный наш Андрей всплеснул руками.

XXXIII

С ней говорил он... как обыкновенно
Перед отъездом говорят: о том,
Что никого на свете совершенно
Занять не в состоянии; причем
Они смеялись редко, принужденно
И странно, долго хмурились потом...
Фаддей зевал до слез весьма протяжно
И, кончив, охорашивался важно.

XXXIV

Был у Дуняши садик, по старинной
Привычке русской. Садиком у нас
В уездах щеголяют. Из гостиной
Вели две-три ступеньки на террас.
Кончался сад довольно темной, длинной
Аллеей... Вечером, и в жаркий час,
И даже ночью по песку дорожки
Бродили часто маленькие ножки.

XXXV

В тот вечер, над землей, до влаги жадной,
Веселая, весенняя гроза
Промчалась шумно... Легкий сон отрадной
Волной струится мягко на глаза
Всему, что дышит, и в тени прохладной
На каждом новом листике слеза
Прозрачная дрожит, блестит лукаво,
И небо затихает величаво...

XXXVI

Во след другим, отсталая, лениво
Несется туча, легкая, как дым.
Кой-где вдали возникнет торопливо
Неясный шум — и, воздухом ночным
Охваченный, исчезнет боязливо.
От сада веет запахом сырым...
И на ступеньках редкие, большие
Еще пестреют капли дождевые.

XXXVII

И на террас они пошли все трое...
Вот, помолчавши несколько, супруг
Им объявил, что время не такое,
Чтобы гулять, и возвратился вдруг
В гостиную. Но небо голубое
Им улыбалось ласково. Сам-друг
Они присели на скамейке, рядом —
Меж светлым домиком и темным садом.

XXXVIII

Всё так очаровательно: молчанье
Кругом, как будто чутко над землей
Поникла ночь и слушает... Мерцанье
Далекой, робкой звездочки... покой
Немеющего воздуха... Желанье
В сердцах их, полных горестью, тоской,
Любовью, загоралось самовластно...
А вот луна блеснула сладострастно...

XXXIX

И, словно пробужденные стыдливым,
Медлительным и вкрадчивым лучом,

Заговорили говором сонливым
Верхушки лип, облитые дождем.
Внезапно по дорожкам молчаливым,
В кустах и на песку перед крыльцом
Взыграли тени слабые... Волненье
Скрывая, смотрят оба в отдаленье.

XL

О ночь! о мрак! о тайное свиданье!
Ступаешь робко, трепетной ногой...
Из-за стены лукавое призванье,
Как легкий звон, несется за тобой...
Неровное, горячее дыханье
В тени пахучей, дремлющей, сырой,
Тебе в лицо повеет торопливо...
Но вдаль они глядели молчаливо.

XLI

Сердца рвались... но ни глаза, ни руки
Встречаться не дерзали... При луне,
Испуганные близостью разлуки,
Они сидят в унылой тишине.
Лишь изредка порывистые муки
Их потрясали смутно, как во сне...
«Так завтра? Точно?» — «Завтра». Понемножку
Дуняша встала, подошла к окошку,

XLII

Глядит: перед огромным самоваром
Супруг уселся; медленно к губам
Подносит чашку, благовонным паром
Облитую, пыхтит, кряхтит — а сам
Поглядывает исподлобья. «Даром
Простудишься, Дуняша... Полно вам
Ребячиться»,— сказал он равнодушно...
Дуняша засмеялась и послушно

XLIII

Вошла да села молча. «На прощанье,
Андрей Ильич, откушайте чайку.
Позвольте небольшое замечанье...
(Андрей меж тем прижался к уголку.)
Ваш родственник оставил завещанье?»

«Оставил».— «Он... в каком служил полку?»
«В Измайловском».— «Я думал, в Кирасирском.
И жизнь окончил в чине бригадирском?»

XLIV

«Да, кажется...» — «Скажите! Впрочем, что же
Вам горевать? Покойник был и глух,
И стар, и слеп... Там лучше для него же.
Хотите чашечку?» — «Я больше двух
Не пью».— «Да; как подумаешь, мой боже,
Чтó наша жизнь? Пух, совершенный пух;
Дрянь, просто дрянь... Что делать? участь наша...
Эх!.. Спой нам лучше песенку, Дуняша.

XLV

Ну не ломайся... ведь я знаю, рада
Ты петь с утра до вечера». Сперва
Ей овладела страшная досада...
Но вдруг пришли на память ей слова
Старинные... Не поднимая взгляда,
Аккорд она взяла... и голова
Ее склонилась, как осенний колос...
И зазвучал печально-страстный голос:

«Отрава горькая слезы
Последней жжет мои ресницы...
Так после бешеной грозы
Трепещут робкие зарницы.

Тяжелым, безотрадным сном
Заснула страсть... утихли битвы...
Но в сердце сдавленном моем
Покоя нет — и нет молитвы.

А ты, кому в разлучный миг
Я молча сжать не смею руки,
К кому прощальных слов моих
Стремятся трепетные звуки...

Молю тебя — в душе твоей
Не сохраняй воспоминанья,
Не замечай слезы моей
И позабудь мои страданья!»

XLVI

Она с трудом проговорила строки
Последние... потупилась... У ней
Внезапно ярко запылали щеки...
Ей стало страшно смелости своей...
К Андрею наклонился муж: «Уроки
Она, сударь, у всех учителей
В Москве брала... Ну, Дунюшка, другую...
Веселенькую, знаешь, удалую!»

XLVII

Она сидит, задумчиво впадая
В упорную, немую тишину.
Часы пробили медленно. Зевая,
Фаддей глядит умильно на жену...
«Что ж? Пой же... Нет? Как хочешь...— и, вставая,—
Пора,— прибавил он,— меня ко сну
Немного клонит. Поздно. Ну, прощайте,
Андрей Ильич... и нас не забывайте».

XLVIII

Кому не жаль действительных борений
Души нехитрой, любящей, прямой?
Дуняша не была в числе творений,
Теперь нередких на Руси святой —
Охотниц до «вопросов» и до прений,
Холодных сердцем, пылких головой,
Натянутых, болезненно болтливых
И сверхъестественно самолюбивых...

XLIX

О нет! она страдала. Расставанье
Настало. Тяжело в последний раз
Смотреть в лицо любимое! Прощанье
В передней да заботливый наказ
Себя беречь — обычное желанье,—
Всё сказано, всему конец... Из глаз
Дуняши слезы хлынули... но тупо
Взглянул Андрей — и вышел как-то глупо.

L

А на заре, при вопле двух старушек
Соседок, тронулся рыдван. Андрей
В нем восседал среди шести подушек.
Ну, с богом! Вот застава! Перед ней
Ряды полуразрушенных избушек;
За ней дорога. Кучер лошадей
Постегивал и горевал, что грязно,
И напевал задумчиво-несвязно...

LI

Три года протекло... три длинных года.
Андрей нигде не свил себе гнезда.
Он видел много разного народа
И посетил чужие города...
Его не слишком тешила свобода,
И вспоминал он родину, когда
Среди толпы веселой, как изгнанник,
Бродил он, добровольный, грустный странник.

LII

Он испытал тревожные напасти
И радости скитальца; но в чужой
Земле жил одиноко; старой страсти
Не заменил он прихотью другой.
Он не забыл... забыть не в нашей власти!
В его душе печальной, но живой,
Исполненной неясного стремленья,
Толпами проходили впечатленья...

LIII

Однажды пред камином на диване
Андрей сидел и думал о былом.
(Он жил тогда в Италии, в Милане.)
Андрей на чай в один «приятный» дом
Был позван и скучал уже заране...
Его хозяйка в комнату с письмом
Вошла... «Рука Дуняши!», — закричал он. —
И вот что, содрогаясь, прочитал он:

«Признайтесь... Вы письма не ждали
Так поздно и в такую даль?
Вам прежних радостей не жаль?

Быть может, новые печали
Сменили прежнюю печаль.
Иль вам наскучили страданья,
И вы живете не спеша,
И жаждет вечного молчанья
Изнеможенная душа?..
Не возмутили б эти строки
Покоя вашего... меня
Простите вы... мы так далеки...
С того мучительного дня —
Вы помните — прошло так много.
Так много времени, что нас...
Что мы... что я не знаю вас...
Меня вы не судите строго —
Во имя прошлого, Андрей!
Подумайте; среди людей
Живете вы... а я, мой боже!
Всё там же — и кругом всё то же...
Что? грустно вам? или смешно?
Иль совершенно всё равно?

Андрей, послушайте: когда-то
Мы жили долго вместе... Свято
Я полюбила вас... ко мне
Вы привязались добровольно...
Потом... но мне сознаться больно,
Как мы страдали в тишине.
С тех пор, Андрей, со дня прощаний,
Хотите знать, как я живу?
Как некогда, в часы свиданий,
Я вас опять к себе зову...
Вот — вы со мной сидите рядом,
Не поднимая головы,
И на меня глядите вы
Тем ласковым и добрым взглядом...

Когда расстались вы со мной,
Я не винила вас. Одной
Заботой — точно, непритворно
Вы были заняты. Тогда
Меня щадили вы... Ну да!
Я благодарна вам, бесспорно.
Я верю — грустно было вам;

Не притворялись вы лукаво;
Вы в целый год успели к нам
Привыкнуть; жертва ваша, право,
Достойна громкой похвалы...
Да; без сомненья: люди злы —
Все малодушны, все коварны
И до конца неблагодарны...
Вам должно было ехать... я
Согласна... но как вы спешили!
Нет, нет, меня вы не любили!
Нет, не любили вы меня!

Ах, если надо мной жестоко
Не насмеялись вы сперва...
Андрей, я чувствую, глубоко
Вас оскорбят мои слова;
Но я живу в такой пустыне...
Но я ношу такой венец —
В моей любви, в моей святыне
Я сомневаюсь, наконец...
Я гибну!.. Крик тоски мятежной
Сорвался с губ моих... Андрей,
Печаль разлуки безнадежной
Сильнее гордости моей...
Я вас люблю... тебя люблю я...
Ты знаешь это... ты... Поверь,
Навек, мучительно тоскуя,
С тобой простилась я теперь.

Я плачу. Да; ты благороден,
Андрей, ты силен и свободен;
Ты позабыть себя готов.
Из видов низких и корыстных
Ты не наложишь ненавистных,
Хоть позолоченных оков.
О да! Когда перед томленьем
Разлуки, в робкой тишине,
С немым и страшным упоеньем
Тебе вверялась я вполне,
Я поняла твое молчанье...
Я покорилась... От тебя
Я приняла тогда страданье,
Как дар, безропотно, любя...

Я не могла тебе не верить —
Тебе не верить, боже мой!
Когда я вся жила тобой...
Но не хочу я лицемерить:
Потом — казалось мне, что ты...
Пустые женские мечты!
Мне совестно... но в извиненье,
Андрей, ты примешь положенье
Мое... Подумай: на кого
Меня ты здесь оставил? скука,
Тоска... не знаешь ничего...
Наедут гости — что́ за мука!
Соседки-сплетницы; сосед
Молчит, сопит во весь обед,
Глотает, давится насильно
Да к ручке подойдет умильно.
С утра ждешь вечера, свечей...
Занятий нету... нет детей...
Книг нету... душно, страшно душно...
Попросишь мужа — равнодушно
Проговорит он: «Погоди,
Зайдет разносчик»... впереди
Всё то же — то же — до могилы...
О господи, пошли мне силы!!!

. . . .

Но прежде — прежде жизнь моя
Была спокойна... помню я
Себя веселой, безмятежной
Перед домашним очагом...
Какой любовью кроткой, нежной
Тогда дышало всё кругом!
Как были хлопоты, заботы
Хозяйки, легкие работы
В то время сердцу моему,
Сама не знаю почему,
Невыразимо сладки, милы!..
Но мне прошедшего не жаль,—
Тогда ребяческие силы
Щадила строгая печаль...

О, мне, конечно, в наказанье
За гордость послано страданье...

Иль и за то, что в самый час,
Когда я вас узнала — вас,
Я позабылась малодушно,
Дала вам право над собой
И без борьбы перед судьбой
Склонила голову послушно!..
Тогда я сердца своего
Не понимала... для чего
Никто с суровостью мужчины
Меня не спас... я до кончины
Жила бы в «мирной тишине,
Не зная помыслов опасных...»

Я плачу... плачу... Стыдно мне
Тех горьких слез — и слез напрасных!
Кому я жалуюсь? Зачем,
Зачем я плачу? Перед кем?
Кто может выслушать упреки
Мои?... Быть может, эти строки,
Следы горячих слез моих,
Друзьям покажет он лукаво,
На толки праздные чужих
Людей предаст меня?.. Но, право,
С ума схожу я...

Вот, Андрей
(Теперь мы с вами хладнокровно
Поговорим), как безусловно
Я верю вам. Души моей
Я не скрываю перед вами.
Конечно, знаете вы сами,
Что значит женская печаль...
Я вспомнила, в какую даль
Вас унесло... Мне стало грустно...
И то, что высказать изустно
Я не посмела бы... Меня
Поймете вы! Чтó делать, я
Не слишком счастлива. Но годы
Пройдут — состáреюсь... и той
Любви блаженной, той свободы
Мне не захочется самой.

Я перечла свое маранье...
Андрей, не вздумайте в моем

Письме постыдное желанье
Найти... Но, боже мой! о чем
Могла я к вам писать?.. Мне больно,
Я плачу, жалуюсь невольно...
Но легче мне теперь, ясней...
И сердце после долгой битвы
Желает отдыха, молитвы
И бьется медленней... вольней...

Андрей, прощайте. Дайте руку
Не на свиданье — на разлуку.
Судьба!.. Но если в тишине
Та дружба старая случайно
Еще живет... и если тайно
Хоть изредка... вам обо мне,
О стороне родной, далекой,
Приходят мысли... знайте: там
Есть сердце, полное глубокой
Печалью, преданное вам.
Среди волнений жизни новой
Об участи моей суровой
Вы позабудете... Но вас
Я буду помнить — вечно... вечно...
И в каждый светлый, тихий час
Благодарить вас бесконечно.
Прощайте, добрый, старый друг...
Какое горькое мгновенье!
Мучительно расстаться вдруг...
Но страшно долгое томленье...
От полноты души моей
На жизнь обильную, святую...
И даже — на любовь иную
Благословляю вас, Андрей!»

LIV

Он жадно пробежал письмо глазами...
Исписанный листок в его руках
Дрожал... Он вышел тихими шагами
С улыбкой невеселой на губах...
Но здесь, читатель, мы простимся с вами,
С Андреем и с Дуняшей. Право, страх
Подумать — как давно, с каким терпеньем
Вы нас дарите вашим снисхожденьем.

LV

Что сделалось с героями моими?..
Я видел их... Тому не так давно...
Но то, над чем я даже плакал с ними,
Теперь мне даже несколько смешно...
Смеяться над страданьями чужими
Весьма предосудительно, грешно...
Но если вас не станет мучить совесть,
Когда-нибудь мы кончим эту повесть.

ПОМЕЩИК

I

За чайным столиком, весной,
Под липками, часу в десятом,
Сидел помещик столбовой,
Покрытый стеганым халатом.
Он кушал молча, не спеша;
Курил, поглядывал беспечно...
И наслаждалась бесконечно
Его дворянская душа.
На голове его курчавой
Торчит ермолка; пес лягавой,
Угрюмый старец, под столом
Сидит и жмурится. Кругом
Всё тихо... Сохнет воздух... Жгучий
Почуя жар, перепела
Кричат... Ползет обоз скрипучий
По длинной улице села...

II

Помещик этот благородный,
Степенный, мирный семьянин,
Притом хозяин превосходный,
Был настоящий славянин.
Он с детства не носил подтяжек;
Любил простор, любил покой
И лень; но странен был покрой
Его затейливых фуражек.
Любил он жирные блины,
Боялся чёрта да жены;
Любил он, скушав пять арбузов,
Ругнуть и немцев и французов,
Читал лишь изредка, с трудом,
Служил в архиве казначейства,
И был, как следует, отцом
Необозримого семейства.

III

Он отдыхал. Его жена
Отправилась на богомолье...
Известно: в наши времена
Супругу без жены — раздолье.
И думал он: «В деревне рай!
Погода нынче — просто чудо!
А между тем зайти не худо
В конюшню да в сенной сарай».
Помещик подошел к калитке.
Через дорожку, в серой свитке,
В платочке красном набочо́к,
Шла девка с кузовом в лесок...
Как человек давно женатый,
Слегка прищелкнув языком,
С улыбкой мирно-плутоватой
Он погрозил ей кулаком.

IV

Потом с задумчивым вниманьем
Смотрел — как боров о забор
С эгоистическим стараньем,
Зажмурив глазки, спину тер...
Потом, коротенькие ручки
Сложив умильно на брюшке,
Помещик подошел к реке...
На волны сонные, на тучки,
На небо синее взглянул,
Весьма чувствительно вздохнул —
И, палку вынув из забора,
Стал в воду посылать Трезора...
Меж тем с каким-то мужиком
Он побеседовал приветно
О том, что просто с каждым днем
Мы развиваемся заметно.

V

Потом он с бабой поболтал...
(До баб он был немножко падок.)
Зашел в конюшню, посвистал
И хлебцем покормил лошадок...
Увидел в поле двух коров
Чужих... разгневался немало;



ИЛЛЮСТРАЦИЯ А. А. АГИНА К ПОЭМЕ И. С. ТУРГЕНЕВА «ПОМЕЩИК»

«Петербургский сборник», изданный Н. Некрасовым. СПб., 1846.

Велел во что́ бы то ни стало
Сыскать ослушных мужиков.
Красноречиво, важно, долго
Им толковал о чувстве долга,
Потом побил их — но слегка...
Легка боярская рука...
Пришел в ужасное волненье,
Клялся, что будущей зимой
Всё с молотка продаст именье,—
И медленно пошел домой.

VI

В саду ему попались дети,
Кричат: «Папа́! готов обед...»
«Меня погубят дети эти,—
Он запищал,— во цвете лет!
Адам Адамыч! Вам не стыдно?
Как вы балуете детей!
Помилуйте! Да что́ вы?» Сей
Адам Адамыч, очевидно,
Был иностранный человек...
Но для того ли целый век
Он изучал Санхоньятона,
Зубрил «Республику» Платона
И тиснул длинную статью
О божествах самофракийских,
Чтоб жизнь убогую свою
Влачить среди дворян российских?

VII

Он из себя был худ и мал;
Любил почтительные жесты —
И в переписке состоял
С родителем своей невесты.
Он был с чувствительной душой
Рожден; и в старческие годы
При зрелище красот природы
Вздыхал, качая головой.
Но плохо шли его делишки,
Носил он черные манишки,
Короткий безобразный фрак,
Исподтишка курил табак...
Он улыбался принужденно,

Когда начнут хвалить детей,
И кашлял, кланяясь смиренно,
При виде барынь и гостей.

VIII

Но бог с ним! Тихими шагами
Вернулся под родимый кров
Помещик... Он моргал глазами,
Он был и гневен и суров.
Вошел он в сени молчаливо,
И лани вспуганной быстрей
Вскочил оборванный лакей
Подобострастно-торопливо.
Мной воспеваемый предмет
Стремится важно в кабинет.
Мамзель-француженка в гостиной,
С улыбочкой, с ужимкой чинной
Пред ним присела... Посмотрел
Он на нее лукаво — кошкой...
Подумал: «Эдакий пострел!»
И деликатно шаркнул ножкой.

IX

И гнев исчез его, как пар,
Как пыль, как женские страданья,
Как дым, как юношеский жар,
Как радость первого свиданья.
Исчез! Сменила тишина
Порывы дум степных и рьяных...
И на щеках его румяных
Улыбка прежняя видна.
Я мог бы, пользуясь свободой
Рассказа, с морем и с природой
Сравнить героя моего,
Но мне теперь не до того...
Пора вперед! Читатель милый,
Ваш незатейливый поэт
Намерен описать унылый,
Славяно-русский кабинет.

X

Все стены на манер беседки
Расписаны. Под потолком

Висят запачканные клетки:
Одна с симбирским соловьем,
С чижами две. Вот — стол огромный
На толстых ножках; по стенам
Изображенья сочных дам
С улыбкой сладостной и томной
И с подписью: «La Charité,
La Nuit, le Jour, la Vanité...» [1]
На полке чучело кукушки,
На креслах шитые подушки,
Сундук окованный в угле,
На зеркале слой липкой пыли,
Тарелка с дыней на столе
И под окошком три бутыли.

XI

Вот — кипы пестрые бумаг,
Записок, счетов, приказаний
И рапортов... Я сам не враг
Степных присылок — и посланий.
А вот и ширмы... наконец,
Вот шкаф просторный, шишковатый...
На нем безносый, бородатый
Белеет гипсовый мудрец.
Увы! Бессильно негодуя,
На лик задумчивый гляжу я...
Быть может, этот истукан —
Эсхил, Сократ, Аристофан...
И перед ним уже седьмое
Колено тучных добряков
Растет и множится в покое
Среди не чуждых им клопов!

XII

Помещик мой достойно, важно,
Глубокомысленно курил...
Курил... и вдруг зевнул протяжно,
Привстал и хрипло возопил:
«Эй — Васька!.. Васька! Васька! Васька!!!»
Явился Васька. «Тарантас
Вели мне заложить».— «Сейчас».

---

[1] «Милосердие, Ночь, День, Тщеславие...» (*франц.*)

«А что? починена коляска?»
«Починена-с».— «Починена?..
Нет — лучше тарантас».— «Жена,—
Подумал он,— вернется к ночи,
Рассердится... Но нету мочи,
Как дома скучно. Еду — да!
Да, чёрт возьми — да!» Но, читатель,
Угодно ль вам узнать, куда
Спешит почтенный мой приятель?

XIII

Так знайте ж! от его села
Верстах в пятнадцати, не боле,
Под самым городом жила
Помещица — в тепле да в холе,
Вдова. Таких немного вдов.
Ее супруг, корнет гусарский,
[Соскучившись на службе царской]
Завел охоту, рысаков,
Друзей, собак... Обеды, балы
Давал, выписывал журналы...
И разорился б, наконец,
Мой тороватый молодец,
Да в цвете лет погиб на «садке» *,
Слетев торжественно с седла,
И в исступленном беспорядке
Оставил все свои дела.

XIV

С его-то вдовушкой любезной
Помещик был весьма знаком.
Ее сравнил остряк уездный
С свежепросольным огурцом.
Теперь ей — что ж! о том ни слова —
Лет по́д сорок... но как она
Еще свежа, полна, пышна
И не по-нашему здорова!
Какие плечи! Что за стан!

---

* *Садка* — известная забава охотников. В чистом поле *сажают* волка, лисицу или зайца, пускают собак на пари́, охотники скачут, падают с лошадей и т. д., а по окончании са́дки пируют. (*Примечание Тургенева.*)

А груди — целый океан! *
Румянец яркий, русый волос,
Немножко резкий, звонкий голос,
Победоносный, светлый взор —
Всё в ней дышало дивной силой...
Такая барыня — не вздор
В наш век болезненный и хилый!

XV

Не вздор! И был ей свыше дан
Великий дар: пленять соседей,
От образованных дворян
До «степняков» и до «медведей».
Она была ловка, хитра,
И только с виду добродушна...
Но восхитительно радушна
С гостями — нынче, как вчера.
Пред ней весь дом дрожал. Не мало
Она любила власть. Бывало,
Ей покорялся сам корнет...
И дочь ее в семнадцать лет
Ходила с четырьмя косами
И в панталончиках. Не раз
Своими белыми руками
Она наказывала вас,

XVI

О безответные творенья,
Служанки барышень и бар,
. . . .
. . . .
О вы, которым два целковых
Дается в год на башмаки,
И вы, небритые полки

* Мы бы не решились употребить такое смелое сравнение, если б нас не ободрил пример г-на Бенедиктова. Кто не помнит его превосходных стихов:

...И на этом океане
В пене млечной белизны
Из-под дымки, как в тумане,
Рисовались две волны.

(Примечание Тургенева.)

Угрюмых, медленных дворовых!
Зато на двести верст кругом
Она гремела... с ней знаком
Был губернатор... кавалеры
Ее хвалили за манеры
Столичные, за голосок
(Она подчас певала «Тройку»),
За беспощадный язычок
И за прекрасную настойку.

XVII

Притом любезная вдова
Владела языком французским,
Хоть иностранные слова
У ней звучали чем-то русским.
Во дни рождений, именин
К ней дружно гости наезжали
И заживались и вкушали
От разных мяс и разных вин.
Когда ж являлась до жаркого
Бутылка теплого донского —
Все гости, кроме дев и дам,
Приподнимались по чинам
И кланялись хозяйке,— хором
«Всего... всего» желали ей...
А дети вместе с гувернером
Шли к ручке маменьки своей.

XVIII

А по зимам она давала
Большие балы... Господа!
Хотите вы картиной бала
Заняться? Отвечаю: да,
За вас. Во времена былые,
Когда среди родных полей
Я цвел — и нравились моей
Душе красавицы степные,
Я, каюсь,— я скитался сам
По вечерам да по балам,
Завитый, в радужном жилете,
И барышень «имел в предмете».
И память верная моя
Рядком проводит предо мною

Те дни, когда, бывало, я
Сиял уездною звездою...

XIX

Ах! этому — давно, давно...
Я был тогда влюблен и молод,
Теперь же... впрочем, всё равно!
Приятен жар — полезен холод.
Итак, на бале мы. Паркет
Отлично вылощен. Рядами
Теснятся свечи за свечами,
Но мутен их дрожащий свет.
Вдоль желтых стен, довольно темных,
Недвижно — в чепчиках огромных —
Уселись маменьки. Одна
Любезной важности полна,
Другая молча дует губы...
Невыносимо душен жар;
Смычки визжат, и воют трубы —
И пляшет двадцать восемь пар.

XX

Какое пестрое собранье
Помещичьих одежд и лиц!
Но я намерен описанье
Начать — как следует — с девиц.
Вот — чисто русская красотка,
Одета плохо, тяжела
И неловка, но весела,
Добра, болтлива, как трещотка,
И пляшет, пляшет от души.
За ней — «созревшая в тиши
Деревни» — длинная, худая
Стоит Коринна молодая...
Ее печально-страстный взор
То вдруг погаснет, то заблещет...
Она вздыхает, скажет вздор
И вся «глубоко» затрепещет.

XXI

Не заговаривал никто
С Коринной... сам ее родитель
Боялся дочки... Но зато

Чудак застенчивый, учитель
Уездный, бледный человек,
Ее преследовал стихами
И предлагал ей со слезами
«Всего себя... на целый век...»
Клялся, что любит беспорочно,
Но пел и плакал он заочно,
И говорил ей сей Парис
В посланьях: «ты» — на деле «вы-с».
О жалкий, слабый род! О время
Полупорывов, долгих дум
И робких дел! О век! о племя
Без веры в собственный свой ум!

XXII

О!!!.. Но — богиня песнопений,
О муза! — публика моя
Терпеть не может рассуждений...
К рассказу возвращаюсь я.
Отдельно каждую девицу
Вам описать — не моему
Дано перу... а потому
Вообразите вереницу
Широких лиц, больших носов,
Улыбок томных, башмаков
Козлиных, лент и платьев белых,
Турбанов, перьев, плеч дебелых,
Зеленых, серых, карих глаз,
Румяных губ и... и так дале —
Заставьте барынь кушать квас —
И знайте: вы на русском бале.

XXIII

Но вот — среди толпы густой
Мелькает быстро перед вами
Ребенок робкий и немой
С большими грустными глазами.
Ребенок... Ей пятнадцать лет.
Но за собой она невольно
Влечет вас... за нее вам больно
И страшно... Бледный, томный цвет
Лица — печальный след сомнений
Тревожных, ранних размышлений,

Тоски, неопытных страстей,
И взгляд внимательный — всё в ней
Вам говорит о самовластной
Душе... Ребенок бедный мой!
Ты будешь женщиной несчастной...
Но я не пла́чу над тобой...

XXIV

О нет! пускай твои желанья,
Твои стыдливые мечты
В суровом холоде страданья
Погибнут... не погибнешь ты.
Без одобренья, без участья,
Среди невежд осуждена
Ты долго жить... но ты сильна,
А сильному не нужно счастья.
О нем не думай... но судьбе
Не покоряйся; знай: в борьбе
С людьми таится наслажденье
Неистощимое — презренье.
Как яд целительный, оно
И жжет и заживляет рану
Души... Но мне пора давно
Вернуться к моему «роману».

XXV

Вот перед вами в вырезном
Зеленом фраке — шут нахальный,
Болтун и некогда «бель-ом» [1],
Стоит законодатель бальный.
Он ездит только в «высший свет».
А вот — неистово развязный,
Довольно злой, довольно грязный
Остряк; вот парень средних лет,
В венгерке, в галстуке широком,
Глаза навыкат, ходит боком,
Хрипит и красен, как пион.
Вот этот черненький — шпион
И шулер — впрочем, малый знатный,
Угодник дамский, балагур...
А вот помещик благодатный
Из непосредственных натур.

[1] «красавец-мужчина» (*франц.*).

XXVI

Вот старичок благообразный,
Известный взяточник, а вот
Светило мира, барин праздный,
Оратор, агроном и мот,
Чудак, для собственной потехи
Лечивший собственных людей...
Ну, словом — множество гостей.
Варенье, чернослив, орехи,
Изюм, конфекты, крендельки
На блюдцах носят казачки...
И, несмотря на пот обильный,
Все гости тянут чай фамильный.
Крик, хохот, топот, говор, звон
Стаканов, рюмок, шпор и чашек...
А сверху, с хор, из-за колонн
Глазеют кучи замарашек.

XXVII

Об офицерах, господа,
Мы потолкуем осторожно...
(Не то рассердятся — беда!)
Но перечесть их... Это можно.
Чувствительный артиллерист,
Путеец маленький, невзрачный,
И пехотинец с виду мрачный,
И пламенный кавалерист —
Все тут как тут... Но вы, кутилы,
Которым барышни не милы,
Гроза почтенных становых,
Владельцы троек удалых,
И покровители цыганок —
Вас не видать на тех балах,
Как не видать помадных банок
На ваших окнах и столах!

XXVIII

Превозносимый всем уездом
Дом обольстительной вдовы
Бывал обрадован приездом
Гостей нежданных из Москвы.
Чиновник, на пути в отцовский
Далекий, незабвенный кров

(Спасаясь зайцем от долгов),
Заедет... умница московский,
Мясистый, пухлый, с кадыком,
Длинноволосый, в кучерском
Кафтане, бредит о чертогах
Князей старинных, о . . . . .
От шапки-мурмолки своей
Ждет избавленья, возрожденья;
Ест редьку,— западных людей
Бранит — и пишет... донесенья.

XXIX

Бывало, в хлебосольный дом
Из дальней северной столицы
Примчится борзый лев; и львом
Весьма любуются девицы.
В деревне лев, глядишь, ручной
Зверек — предобрый; жмурит глазки;
И терпеливо сносит ласки
Гостеприимности степной.
В деревне — водятся должишки
За ним... играет он в картишки...
Не платит... но как разговор
Его любезен, жив, остер!
Как он волочится небрежно!
Как он насмешливо влюблен!
И как забудет безмятежно
Всё, чем на миг был увлечен!

XXX

Но мой помещик? Не пора ли
К нему вернуться, наконец?
Пока мы с вами поболтали,
Читатель,— староста, кузнец,
Садовники, покинув тачки,
Кондитор, ключник, повара́,
Мальчишки, девки, кучера́,
Столяр, кухарки, даже прачки —
Вся дворня, словом, целый час
Справляла «ветхий тарантас».
И вот, надев армяк верблюжий,
На козла лезет кучер дюжий;
Фалетор сел; раздался крик

Ребят; победоносно взвился
Проворный кнут — и шестерик
Перед крыльцом остановился.

XXXI

Выходит барин... целый дом
За ним идет благоговея.
Безмолвно — в шляпах с галуном,
Надетых криво, два лакея
Ведут его... Приятель наш
Детей целует, на подножку
Заносит ногу, понемножку,
Кряхтя, садится в экипаж,
И под его дворянским телом,
Довольно плотным и дебелым,
Скрипят рессоры. «Взят тюфяк
На всякий случай! Ты, дурак,
Смотри, под горку тише... Что вы
Мне в ноги положили? стой!
Где ларчик?» — «Здесь».— «А! Ну, готовы?
Пошел!.. Я к вечеру домой».

XXXII

Уехал барин. Слава богу!
Какой веселый, дружный гам,
Какую шумную тревогу
Все подняли! Спешит Адам
Адамыч в комнатку... гитару
(Подарок будущей жены)
Снимает тихо со стены,
Садится, скверную сигару
С улыбкой курит... и не раз
Из голубых немецких глаз
Слеза бежит... и край любимый
Он видит снова — край родимый,
Далекий, милый... и, пока
Еще не высохли те слезы,
В убитом сердце старика
Взыграли радостные грезы.

XXXIII

Помещик едет. Легкий сон,
Надежный друг людей дородных,

Им овладел... не видит он
Равнин окрестных плодородных.
О Русь! Люблю твои поля,
Когда под ярким солнцем лета
Светла, роскошна, вся согрета,
Блестит и нежится земля...
Люблю бродить в лугу росистом
Весной, когда веселым свистом
И влажным запахом полна
Степей живая тишина...
Но дворянин мой хладнокровно
Поля родные проезжал;
Он межевал их полюбовно,
Но без любви воспоминал

XXXIV

О них... Привычка! То ли дело,
Когда в деревню как-нибудь
Мы попадем, бывало... Смело,
Легко, беспечно дышит грудь...
И дорóга нам воля наша,
Природа — дивно хороша,
И в каждом юноше душа
Кипит, как праздничная чаша!
Так что ж? Ужели ж те года
Прошли навек и без следа?
Нет! Нет! Мы сбросим наши цепи,
Вернемся снова к вам, о степи!
И вот — за бешеных коней
Отдав полцарства, даже царство —
Летим за тридевять полей
В сороковое государство!..

XXXV

Раскинувшись на пуховых
Подушках, спит самодовольно
Помещик. Кучер пристяжных
Стегает беспощадно. Больно
Смотреть на тощих лошадей.
Фалетор на кобыле тряской
Весь бледный прыгает. Со связкой
В руках храпит себе лакей.
Бойка дорога. Все ракиты,

Как зимним инеем, покрыты
Тончайшей пылью. Жарко. Вдруг
(Могу ль изобразить испуг
Помещика?) на повороте
Ось пополам — и тарантас
(Прошу довериться работе
Домашней...) набок... Вот те раз!

XXXVI

Поднявшись медленно с дороги,
Без шапки, трепетной рукой
Ощупал спину, нос и ноги
Мой перепуганный герой.
Всё цело... Кучер боязливо
Привстал... и никаких речей
Не произнес... Один лакей
Засуетился торопливо —
То вскочит сам на облучок,
То вдруг возьмется за задок,
То шляпу двинет на затылок...
Но как ни ловок он и пылок —
Напрасно всё... Что делать! Сам
Помещик вовсе растерялся,
Не верил собственным глазам
И, как ребенок, улыбался.

XXXVII

«Ах, чёрт возьми! Ну, что там?» — «Ось
Сломалась». Барин для порядка
Ее потрогал. «Да; хоть брось.
Ох, эта бестия Филатка!
(Филаткой звался старый плут
Каретник.) До деревни сколько?»
«Да будет верст пяточек».— «Только?
Скачи за кузнецом... да кнут
Возьми...» Но взоры в отдаленье
Вперило хитрое творенье,
Лакей... и вдруг он крикнул: «Э!
К нам едет барыня...» — «Где? где?
Какая барыня?» — «Полями.
Знать, оне взяли... Точно так».
«Не может быть!» — «Смотрите сами:
Оне-с...» — «Ну, ну, молчи, дурак!»

XXXVIII

Действительно: в кибитке длинной,
Подушками, пуховиком
Набитой доверху, в старинной
Измятой шляпке, с казачком,
С собачкой, с девкой в казакине
Суконном, едет на семи
Крестьянских клячах «chère amie» [1].
Своей любезной половине
Приятель наш едва ли рад...
Он бросился вперед, назад...
Им овладело беспокойство *,
Весьма естественное свойство
Иных мужей при виде жен...
Кибитка стала... дыбом волос
На нем поднялся... слышит он
Супруги дребезжащий голос:

XXXIX

«Сергей Петрович, это вы?»
«Я, матушка».— «Ах, мой спаситель!
Куда ж вы ехали?» Увы!
Разочарованный сожитель
Молчит уныло. «Верно, к той
Вдове? Уж эта мне вострушка!
Да говорите ж!.. К ней, Петрушка?»
Лакей проворно головой
Кивнул. «Ах, старый греховодник!
Вот я молилась — вас угодник
И наказал... Ну, как я зла!
А я вам просвиру везла!..
Неблагодарный! Отлучиться
Нельзя мне на денек, ей-ей...
Подвинься, Аннушка... Садиться
Извольте к нам — да поскорей».

---

[1] «дорогая подруга» (*франц.*).
* Им овладело беспокойство,
Охота к перемене мест,
Весьма мучительное свойство... («Евгений Онегин» ‹гл. 8, строфа XIII›). (*Примечание Тургенева.*)

XL

Покорный строгому веленью,
Садится муж. В его груди
Нет места даже сожаленью...
Всё замерло. Но впереди
Беду предвидит он. Подруга
Его когда-то молода
Была, но даже в те года
Не думала, что друг для друга
Супруги созданы... нет! муж
Устроен для жены. К тому ж
Неравный бой недолго длился:
Сергей Петрович покорился.
Теперь вѐзет его домой
Она для грозного расчета...
Так ястреб ловкий и лихой
Уносит селезня с болота.

XLI

Вот тут-то я б заметить мог,
Как все на свете ненадежно!
Бог случая, лукавый бог,
Играет нами... Что возможно
Вчера — сегодня навсегда
Недостижимо... Да мы сами
Непостоянны... за мечтами
Гоняемся... Но, господа,
Хоть я воображаю живо,
Как вы следите терпеливо
И добросовестно за ним,
За бедным витязем моим,—
Однако кончить не пора ли?
Боюсь, приелись вам стихи...
За чистоту моей морали
Простите мне мои грехи.

XLII

Я прав. Мои слова — не фраза
Пустая, нет! С *своей* женой —
Заметьте — под конец рассказа
Соединяется герой.
Закон приличья, в том свидетель
Читатель каждый, сей закон

Священный строго соблюден,
И торжествует добродетель.
Но весело сказать себе:
Конец мучительной гоньбе
За рифмами... придумать строчку
Последнюю, поставить точку,
Подняться медленно, легко
Вздохнуть, с чернилами проститься —
И перед вами глубоко,
О мой читатель, поклониться!

СТАТЬИ И РЕЦЕНЗИИ

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ РУССКИМ. С.-Петербург, в тип. III отдел. собственн. е. и. в. канцелярии, 1836 года.

Какое неизъяснимо величественное явление представляет нам история христианства! Двенадцать бедных рыбаков, не ученых, но сильных верою в Спасителя, проповедывают слово божие — и царства, народы покоряются всемогущему призванию, с радостью принимают святое евангелие, и через три столетия после того мгновения, когда совершилось великое дело искупления, уже по лицу почти всей тогда известной земли воздвигаются алтари истинному богу, падают алтари ложных богов... Не то ли же самое явление представляется нам в истории Руси в конце X века? Целый народ, следуя примеру своего князя, толпами стремится принять святое крещение, покидает своих идолов, предания своих отцов и с готовностью принимает новую, дотоле ему неизвестную религию. И этому причиною было могущество истины, непреодолимая сила веры на простые, неиспорченные души... «Будьте как дети»,— сказал Спаситель,— и как дети, послушные зову отца, народ русский последовал князю своему на берега Днепра, где святая вера приняла их в свои объятия. И с тех пор укоренилось благочестие в русском народе, и вместе с ним — та преданность и верность своему государю, то непоколебимое мужество против врагов православной отчизны, которые возвели Россию на столь высокую ступень могущества и славы.

Религия в течение XI века соединила узами веры разноплеменные народы одного славянского корня. Но дух феодализма, дух деления земель, господствовавший тогда по всей Европе и принесенный нордманнами в Россию, не дал великому русскому народу соединиться в одно могущественное государство; судьбы божии совершились: Россия подпала игу народа чуждого. На-

ступило время испытания, ниспосланного на нее богом,— время владычества монголов. Тогда наше духовенство одно поддерживало самобытность России; оно одно не преклоняло главы пред чужеземным игом; им одушевленные, умирали князья, гибнул народ за православную веру, за свободу отчизны — и наконец, после долгого и упорного борения, сокрушил свои узы. Но и впоследствии духовенство принесло России великие услуги: в смутное время самозванцев вторично спасли наше отечество мужи, подобные Гермогену, Дионисию, Авраамию Палицыну. Словом, наше духовенство будет всегда иметь неоспоримое, священное право на признательность и уважение потомков.

Между тем не забудем и того, что едва Русь получила от греков священный дар — веру Христову, как уже в недрах ее явились люди, исполненные любовию к богу и ревностью к церкви, которые сами стремились передать ее другим народам, еще объятым мраком язычества. Жертвуя своею жизнью для распространения учения Христова, преодолевая тысячу опасностей, неустрашимые отшельники удалялись на берега Ледовитого моря, в болота Финские, в степи Приволжские; основывали пустыни на островах необитаемых, среди лесов непроходимых, где жили трудами рук своих. Они не ограничивались святой уединенной жизнью; сильные своей верой, они разрушали капища, истребляли идолы, и простым, диким жителям тех стран отдаленных проповедовали на их языке евангелие, и пример этих новых апостолов, их слова — увлекали многих... То же явление внутри России, около Киева, Новагорода, Владимира, Москвы. Спасаясь от ужасов междоусобий, от ига монголов, люди, проникнутые живой любовью к богу, оставляли всё житейское и удалялись в леса, в пещеры; несмотря на их старанье, они не могли укрыть святой жизни от любопытства, благочестия других. К ним начинали стекаться ученики, готовые во всем следовать примеру наставника, и монастыри стали возникать по всей России. Как должны быть для нас любопытны эти обители, единственные памятники, оставшиеся нам от времен давно минувших, свидетели стольких войн, стольких кровавых междоусобий, с их старинным зодчеством и живописью, с преданиями об их святых основателях! Всё это, и уединенная жизнь

монахов, и эта непоколебимость среди бурь и волнения, как будто самое время охраняло эти святыни,— всё это должно наполнить душу русского умилением. Не забудем и того, что в монастырях мы нашли *Летописи*, сокровища нашей истории; что единственно сим мирным отшельникам мы обязаны тем, что древняя Русь, с славою ее князей, ее битв, ее народов, не погибла для нас. Таким образом, мы должны сознаться, что монастыри должны быть предметом всего нашего уважения и внимания.

Между тем доселе многие монастыри остаются в забвении; известные жителям одной части России вовсе неизвестны жителям другой; иные, посещаемые только усердными богомольцами, ускользают от внимания не только светских людей, но даже и ученых. Такое равнодушие к сим святым местам равно противно и духу веры, и патриотизму, и самой пользе науки. С каким же удовольствием видим теперь писателя, одаренного истинным талантом и согретого любовию к святыне веры и к отечеству, который посвящает свое перо описанию предметов столь драгоценных сердцу христианина и русского. Еще прежде (в 1830 году) посетил он древний Иерусалим и в изящном рассказе передал нам впечатления, которые почувствовал при виде сей земли, где долгое время жил народ избранный, где благоволил явиться бог во плоти человека, где он страдал за нас! Там всякий шаг ознаменован великими воспоминаниями. Иерусалим, гроб Спасителя, был также предметом великой 300-летней борьбы Европы с Азией. Для нас как христиан важны такие воспоминания; но как русские мы с невольным умилением внимаем рассказам о святой жизни наших отшельников и описанию наших обителей, ознаменованных подвигами доблестей духовных и гражданских пред лицом бога и отечества.

Из многочисленных монастырей наших Троицкая Сергиева лавра более всех заслуживает быть предметом внимания русского. Если она по древности далеко уступает Киево-Печерской лавре, соборам Киево-Софийскому, Новогородскому, Ростовскому, даже некоторым церквам московским, зато богата историческими воспоминаниями. Вид ее старых стен переносит нас в то бедственное время, когда необузданные полчища врагов,

возбужденных жаждой добычи, более года осаждали Троицу, и, после многократных приступов, со стыдом, с тяжкой потерей отступили от стен ее! Эта обитель была первою целью путешествия автора в прошлом 1835 году.

«Путешествие по святым местам русским» разделяется на четыре отделения: *Троицкая лавра, Ростов, Новый Иерусалим* и *Валаам* — места, в разное время посещенные автором. Он говорит нам о наружности храмов, об их истории, древностях, и мы считаем приятнейшею обязанностию пред нашими читателями сколько можно ближе ознакомить их с содержанием сего описания. Начнем с Троицкой лавры:

Изложением своих чувствований при виде этой древней обители, в тихую летнюю ночь, при свете луны, озарявшей златые куполы церквей, начинает автор свой рассказ. Он переходит потом к описанию Успенского собора; останавливается перед гробами трех славных мужей: Иосафа Скрипицына, св. Серапиона, архимандрита Дионисия. Великие подвиги, святая жизнь Сергия заставляют благоговеть каждого перед той ракой, где почивают нетленные мощи его, куда притекают «поклонники от всех концов России: одни богатые благами земли; другие — только своею верою и странническим посохом». Небольшой сей собор весь украшен благочестием царей и признательностию людей, исцеленных предстательством чудотворца. Феодор Иоаннович, Иоанн Грозный, Борис Годунов, Михаил Феодорович, императрица Анна — все ревностно старались украшать храм, содержащий в себе эту святыню. Но выше всех драгоценностей две древние гробовые доски с двумя на них образами преподобного, из коих один написан царем Феодором; другой, который поменьше, сопутствовал во всех походах государям Алексию Михайловичу и Петру Великому и носился перед рядами русских ополчений в 1812 году, в знамение предстательства святого угодника за православное его отечество.

От описания собора автор переходит к истории лавры. С умилением читаешь страницы, где он описывает отшельническую жизнь Сергия. Вот он благословляет Димитрия на великое дело избавления отчизны; вот к нему собираются ученики, которые впоследствии, по

велению Сергия, становятся основателями обителей; монастыри: *Андроньевский, Голутвинский, Высоцкий* получают от него своих первых игуменов. Пафнутий Боровский, св. Иосиф Волоколамский, «сия духовная отрасль — говоря словами автора — постепенно происходит от св. Сергия, каждому поколению даруя великого мужа». Но всех роскошнее пустила ветви Симонова обитель, основанная Феодором, племянником Сергия. Из нее вышел св. Кирилл Белозерский, апостол Северного края, учитель Савватия, основателя Соловецкой обители. Так распространялось благочестие, умножались монастыри, и центром этого круга была святая лавра.

И вот лавра уже становится поприщем событий исторических. В соборе ее великий князь Василий Темный в 1446 году сделался жертвой измены, схвачен князем Иоанном Можайским, сообщником врагов его, Шемяки и Косого. Супруга Иоанна III, бездетная царица София, теплыми молитвами к угоднику получает сына, крещенного над его ракой,— Василия. В свою очередь Василий, часто прибегая к угоднику, перед смертию обрадован рождением Иоанна, который, будучи с колыбели посвящен ему, пред своим походом в Казань прибегает к его предстательству; в Казани и в Свияжске, где пленные черемисы видели самого святого старца, сооружает в его имя монастыри, и по возвращении закладывает в Троицкой лавре церковь Сошествия святого духа. Вспомним и то, что и во время гонений и опал грозный Иоанн всегда сохранял уважение к сей обители и ставил ее в пример прочим монастырям (см. письмо Иоанна к игумену Кирилловской обители, стр. 19). В стенах же Троицкой лавры в мире и тишине проводил последние годы своей страдальческой жизни знаменитый Максим Грек, посвятивший жизнь свою для пользы церкви и просвещения.

Троицкую Сергиеву лавру посещали два патриарха: Иеремия, в царствование Феодора Иоанновича, и Феофан, спустя 30 лет, в царствование Алексея Михайловича. Но между сими двумя посещениями лавра претерпела достопамятную осаду (она продолжалась 16 месяцев). Всякий русский знает подробности этой славной для нас осады; по сей причине автор только упоминает о ней: но зато он приводит грамоту воевод

и архимандрита в ответ на предложения Лисовского и Сапеги и отрывок из жития архимандрита Дионисия, где описаны невероятные жестокости поляков против жителей столицы, число умиравших от ран, приносимых в лавру, и помощь, которую иноки подавали сим несчастным страдальцам. Ответная грамота разительна своей силой; она преисполнена верности к царю, несчастному Василию Шуйскому.

Подивиться таким подвигам благочестия и мужества пришел из Иерусалима святитель Феофан. Автор выписал рассказ о посещении Феофана из того же жития Дионисия. Невольно умиляешься при чтении этих страниц, как плакал и молился престарелый Феофан перед ракой св. Сергия; как расспрашивал у иноков подробности долгой осады; как возложил свой клобук на главу Дионисия, еще жившего в то время. Феофан застал еще в живых и двадцать старцев, которые в грозное время осады не слагали с себя оружия, пока Сапега не отступил от лавры; всех их славнее был Афанасий Ощерин, уже пожелтевший в сединах. Как трогателен разговор его с патриархом! Феофан его спрашивает: «О старче старый! на войну ли ты еси исходил и начальствовал пред вои мученическими?». Ощерин ответствует: «Ей, владыко святый, понужден бых слезами кровными!». И на вторичный вопрос его: «Кое ти свойственнее: иночество ли в молитвах особь, или подвиг пред всеми людьми?» — смиренно рассказывает ему, что потерпел и что еще терпит.— «Всякая вещь и дело, владыко святый, в свое время познавается: у вас, святых отец, от господа бога власть в руку прощати и вязати, а не у всех; что творю и сотворих в повелении послушания» — и, обнажив главу свою, поклонися ему и рече: «Известно ти буди, владыко мой! се подпись латынян на главе моей от оружия, еще же в лядвиях моих шесть памятей свинцовых обретаются; а в келлии седя в молитвах, как можно найти было из воли таких будильников к воздыханию и стенанию? А всё се бысть не нашим изволением, но пославшим нас на службу божию». Дивиться ли после сего, что лавра не сдалась врагам, имея в стенах своих таких доблестных воинов царя небесного и царя земного.

Дионисию и Авраамию Палицыну принадлежит вечная слава освобождения Москвы. Они посылали своих

ратных людей на помощь защитникам столицы, действовали увещаниями, деньгами; их грамоты, гонцы рассылались в Калугу, в Коломну, в Тулу, во Владимир, в Нижний; везде возбуждали они любовь к родине, ненависть к врагам; они убедили Пожарского принять начальство над войском; отдавали ризы, стихари за неимением денег; они спасли Москву, спасли Россию. Наконец, они убедили юного Михаила Феодоровича принять царство и, дав России благословенный дом Романовых, тем упрочили навеки ее благополучие и могущество.

Война кончилась. Поляки, в последний раз покусившись, под предводительством Владислава, возобновить угасший спор, были отражены тем же Авраамием. «Торжество мира,— говорит автор,— было торжеством лавры: она одна устояла в пятнадцатилетнюю бурю; ее каждая развалина казалась раною целого отечества; ее каждый инок был витязь: в ней одной стеклись все главнейшие воспоминания долгой войны, и ни единой изменою не запятналась ее слава».

Но еще много великих заслуг России оказала сия святая обитель и в последствии времени: два раза укрыла она юного Петра, и ее стены, остановившие поляков, остановили стрельцов мятежных. Не коснулись сей святыни и французы в 1812 году: они ведали ее богатства, великолепие окладов св. икон, устремились к ней с жаждою добычи и с половины дороги воротились. А между тем защитниками ее были одни иноки, или, лучше сказать, ее защитником был св. Сергий, который еще дважды охранил свою обитель: в 1770 году от язвы, в 1831 от холеры. Ни одного человека не погибло от заразы в ограде лавры, а многие больные, притекавшие к раке преподобного, нашли там исцеление.

Автор переходит к описанию окрестностей лавры и мест, прославленных либо счастливыми вылазками, либо упорным боем. Это описание чрезвычайно занимательно: но следовать за ним довольно трудно, по причине множества любопытных фактов, представляющихся на каждом шагу. Заметим только то, что пивной двор, находящийся вне ограды лавры и почти окруженный станом врагов, во всё продолжение осады не был взят; что главные приступы поляков были со стороны западной ограды... С высоких башен Троицы видна

и церковь села Деулина, известного заключением мира между Россиею и Польшею, и дорога к Хатькову монастырю, куда бежали Сапега и Лисовский, испуганные приближением Скопина-Шуйского, и гора Волкуша, где Дионисий благословлял войско Пожарского на смертный бой с поляками, на освобождение Москвы!

Из церквей Троицы Успенский собор начат Иоанном, окончен Феодором; церковь Сошествия святого духа воздвигнута Иоанном; церковь Рождества — императрицею Елизаветою; церковь Явления божией матери — императрицею Анною Иоанновною; храм Одигитрии Смоленской — графом Разумовским. Богатства, заключающиеся в ризнице монастыря, неоцененны; но всех их превышает первое сокровище Троицкой лавры: простая крашенинная риза, посох, деревянные сосуды — они принадлежали святому угоднику.

Под сводами церквей, на кладбище монастырском, много покоится славных мужей, отдыхающих здесь от житейского волнения: Шеин, Трубецкой, Годунов со всем своим родом и другие.

Автор посетил также Вифанию, приют великого Платона, в недальнем расстоянии от лавры. Здесь всё носит на себе отпечаток души и оригинального ума сего знаменитого архипастыря: и иконостас, устроенный наподобие горы Фавора с алтарем Преображения на горе и с алтарем Вифания внизу под горою, как бы в Лазаревой пещере, и гроб самого митрополита у пещеры, подле дубовой раки св. Сергия, в которой почивал угодник 30 лет до открытия его нетленных мощей, и самое название Вифания, напоминающее Новый Иерусалим Никона, с которым так душевно схож был Платон. Замечательна икона, стоящая на престоле, принадлежавшая Людовику XVI и во время революции привезенная в Россию.

Автор из Троицкой лавры направил путь свой в древний Ростов. Коротко, но занимательно его описание Переславля-Залесского, на пути к Ростову.

С поклонной горы, где поставлен усердием предков каменный крест, открылся Переславль-Залесский во всей древней благочестивой красе своей, на берегу тихого длинного озера, горящий в небе золотом крестов многих обителей и церквей. Неожиданно и вместе очаровательно было зрелище сего города: так приютно прислонился он к мирным водам, издали сово-

купляясь всеми своими храмами в один божий дом; так беспечно летели к нему белые паруса рыбарей по спящей пучине, как бы в безбурный притон, созданный только для упокоения их смиренных лодок и бесстрастных душ. Так мне показалось издали с горы, у подножия поклонного креста, и так могут всегда представляться предметы, если смотреть на них с подобной же точки.

Посетив в Переславле два монастыря: женский Феодоровский и мужской Никитский, где покоятся мощи св. Никиты, столпника XII века, автор переходит к описанию древнего Ростовского собора. Начало его относится еще ко времени св. князя ростовского, Константина Всеволодовича; но уже и во времена Владимира воздвигнута была на этом месте деревянная церковь во имя успения божией матери. Постепенно украшенный епископом Игнатием в XIII веке и митрополитом Ионою, древний сей храм еще доселе поражает нас своим величием; но огромная стена, его окружающая, четыре церкви внутри этой ограды, палаты архиерейские, трапеза, где пировал Петр Великий,— всё в опустении с тех пор, как кафедра архиерейская перенесена в Ярославль. Под сводами древнего собора покоятся четыре великие святителя: св. Леонтий, уничтоживший язычество в Ростове, св. Исаия, преемник его, св. Игнатий, которого нетление просияло прежде предания тела земле, и св. Феодор, племянник Сергия.

В Ростове же был несколько времени митрополитом знаменитый Филарет Никитич Романов. Заточенный Годуновым, возведенный Лжедимитрием на степень митрополита, потом томившийся в темнице в Варшаве, освобожденный оттуда сыном своим, уже державным, советник его во всё остальное время своей жизни,— он в счастии и в несчастии был одинаково тверд и непоколебим. Автор приводит место из соборной летописи Ростова об известном его подвиге: Сапега с своей польской вольницей и жители Переславля, изменившие Василию Шуйскому, ворвались в Ростов и окружили собор, где были собраны почти все граждане с своим пастырем, митрополитом Филаретом, удержавшим их от бегства в Ярославль. Тут он намеревался с ними умереть; но переславцы с литовцами выломили дверь, ворвались в божий храм, избили много народу и самого

Филарета Никитича отослали в Тушино; он был освобожден на дороге войсками князя Михаила Шуйского.

Из числа священных достопамятностей Ростова заметим жезл, хранящийся в Богоявленском монастыре и принадлежавший архимандриту Авраамию, современнику Владимира, тот жезл, которым он сокрушил идола жителей Ростова; мощи св. Петра, ордынского царевича, извлеченного св. Кириллом и принявшего св. крещение: они покоятся в обители Петра и Павла. Мы не говорим о мощах святителя Димитрия в Яковлевском монастыре. Кому в России не известны его великие заслуги церкви, прославленные и по смерти даром чудотворения? Кто из нас не читал его творений и не умилялся теплым чувством, с которым они написаны? В Яковлевском монастыре автор наш имел занимательные беседы с нынешним архимандритом И..., которые являют в сем почтенном старце глубокое смиренномудренное познание жизни.

В четырех верстах от Ростова находится малая обитель св. Троицы; здесь родился и был воспитан св. Сергий. Автор посетил на обратном пути в Переславле еще два монастыря: *Горийский*, древний и уже ветхий, и *св. Троицы*, где покоится св. Даниил, крестивший Грозного над ракой св. Сергия. Какое сближение великих имен! Автор, возвращаясь в Москву, еще раз посетил Троицкую лавру.

Приступая к содержанию третьей главы — «Новый Иерусалим», не излишним полагаем в нескольких словах представить характер его основателя. Патриарх Никон — одно из замечательнейших лиц нашей истории в XVII столетии. Одаренный волею твердою, умом тонким, честолюбием неограниченным, он был вместе с сим своенравен, горд, высокомерен; но вспомним, что он оказал России великие заслуги, усмирил бунт в Новегороде; его ум часто руководил царя в делах государственных; он исправил неверный, во многих местах даже искаженный перевод священного писания и церковных книг, он ввел богослужение, более приличное своему высокому назначению. Его жизнь — разительный пример непостоянства счастия. Сперва мирный отшельник в Соловецком монастыре, постепенно возвышаясь, сделался он наконец другом царя, его советником: без его благословения не начиналось никакое

важное дело; он пользовался уважением и доверием государя — и что же? Низведенный, или лучше сказать, по гордости нисшедший сам с патриаршего престола, он удалился на берега Истры, провел там 10 лет в молитве и начал исполнять свое намерение: воссозидать Иерусалим в России. Вызванный в Москву, осужденный духовенством, 15 лет заточенный на Белом озере, куда его отправили во время жестоких морозов, так что Иосиф, архимандрит Троицкой лавры, из сострадания дал ему свою шубу, наконец помилованный царем Феодором, он умер на возвратном пути и погребен в своей обители, в воздвигнутом им Новом Иерусалиме. Трогательно изобразил автор кончину великого мужа. «Ударили в колокол к вечерне,— говорит он,— Никон стал кончаться! Озираясь, как будто кто пришел к нему, сам он оправил себе волосы и браду, и одежды, как бы готовясь в дальнейший путь; духовник с братиею прочитал отходные молитвы, патриарх же, распростершись на одре и сложив крестообразно руки, вздохнув,— отошел с миром». Мысль — представить в России Иерусалим, сию священную цель стольких войн, стольких благочестивых странствований — достойна Никона и царя Алексия: они оба участвовали в плане сего великого предприятия, что свидетельствует надпись на кресте у Елеонской часовни, находящейся в недельном расстоянии от Нового Иерусалима. Но исполнял этот план один Никон во время своего произвольного 10-летнего заключения на берегу Истры. Автор, который за пять лет перед сим посетил древний Иерусалим, был более всякого другого в состоянии судить о сходстве и несходствах Нового Иерусалима с его подлинником. Главный вид отличен, и едва ли мог быть схожим. Вот слова автора:

Из-под высокой арки святых ворот открывается самый великолепный вид на здания собора с восточной их стороны: это чудная гора малых куполов и глав, своенравными уступами восходящая до двух главных куполов храма, и вся сия гора на разных высотах усеяна золотыми крестами, напоминая житейское крестное восхождение наше. Но хотя зрелище сие великолепно и вполне достойно громкого названия Нового Иерусалима, оно совершенно отлично от образца своего. Правда, и там есть два купола над собором и полукупол над алтарем,

и глава, выходящая из земли над церковью Обретения, но все без крестов, и всё кругом застроено террасами и плоскими крышами соседних монастырей Авраама и Абиссинцев, так что приметны только два купола над собором; всё же здание является в виде огромной, полуразрушенной твердыни!..

Величественный храм Нового Иерусалима был начат Никоном по получении из Палестины модели от старца Арсения Суханова, и в течение 10 лет он, удалившись от света и сложив бремя правления, успел воздвигнуть его по самые своды. Феодор Алексеевич велел продолжать строение, оставшееся в том же виде в продолжение пятнадцати лет — во всё время заточения Никона, и только в 1685 году храм был освящен. Хотя отделение Вифлеем вовсе не сходно с Вифлеемом палестинским, церковь Рождества гораздо менее и не столь богата украшениями, мрачных подземелий храма Иерусалимского здесь вовсе нет, но храм Воскресения невольно поражает душу величественным сходством своим с священным подлинником. Притом же и самый храм палестинский разделен стенами на многие отделения для каждого вероисповедания, и тем нарушено его простое величие; но размеры собора, место Голгофы — всё одинаково. И здесь и там ротунда над гробом Спасителя возвышается свободно и легко и оканчивается высоким раззолоченным куполом с 75 окнами; и здесь камень, отваленный ангелом, и плита, на которой лежало божественное тело, всё было так поразительно своим сходством, что автор на мгновенье думал, что он снова в Палестине, снова под тем священным сводом, который осеняет божественные следы страдания и смерти Христа. То же самое чувство ощущал архиепископ горы Фавора Иерофей, ныне находящийся в России за милостынею. Однако и в самой часовне есть несходство; здесь она украшена простым стенным письмом, а там мрамором; вместо бесчисленных лампад иерусалимских светит одна лампада... Самый собор, по мнению автора, короче, царская арка у́же, иконостас устроен иначе, но вид всего собора с хоров, эти «далекие хоры и извилистые галереи», как говорит автор, эта огромность, эти возвышенные куполы, золотая ротунда над священным гробом и наконец самый гроб, который автор уподобляет малому острову среди пучи-

ны или светлому облаку в эфире,— всё это поражает душу своим величием и заставляет благоговеть перед памятью того, кто возымел эту высокую мысль и привел ее в исполнение.

Тут же, на хорах находится портрет Никона во весь рост. Он изображен вместе с учениками его — архимандритом Германом и другими. Его высокий рост, черные и густые волосы, проницающие душу глаза, всё живо представляет зрителю сего великого мужа, одного из светил нашей церкви.

Автор описывает нам подробно приделы Иосифа и Никодима, Разделения риз, Тернового венца, церковь Гефсимании; он полагает, что строители сего храма не столько думали о сходстве с святым храмом палестинским, сколько о том, чтобы в одном храме совокупить все места, освященные каким-нибудь высоким воспоминанием и рассеянные по всей Иудее. Заметим также, что Новый Иерусалим, при одинаковой широте, длиннее четырьмя саженями.

От обозрения этого прекрасного храма, коего план находится при конце книги, автор переходит к описанию обрядов, совершающихся в нем в подражание древнему. Место нам не позволяет следить рассказ, но мы упомянем только самые трогательные и любопытные обряды. Заметим, что патриаршие певчие во время литургии подымались с хоров на хоры всё выше и выше, так что наконец, во время совершения таинства, они были как бы ангелы на небесах; что плащаницу с Голгофы всегда спускает сам архимандрит на холстах, как Иосиф и Никодим некогда спускали с креста тело Спасителя; что в страстную пятницу двенадцать евангелий о страстях господних читаются на самой Голгофе, перед крестом, на месте и в виду орудия страдания богочеловека. Голгофа в Новом Иерусалиме сделана по образцу Голгофы в древнем ее виде: ибо впоследствии святотатственная рука отсекла угол от древней скалы палестинской Голгофы и воздвигла на нем иконостас. Под Голгофой, в церкви Предтечи покоится вечным сном основатель храма, патриарх Никон.

Целию последнего путешествия сочинителя была обитель, достойная своею древностию обратить на себя внимание людей ученых и путешественников и доселе остающаяся в забвении, обитель Валаамская, на диком,

лесистом острове Ладожского озера. Здесь, посреди лесов, на небольшой скале, обуреваемой волнами огромного озера, божественная вера, в лице смиренных отшельников, нашла себе уже с ранних времен приют от житейских бурь. Древность этой обители не подлежит сомнению: если мы и не согласимся с преданием, полагающим основателем ее самого св. апостола Андрея Первозванного, дошедшего до пустынного острова в сопровождении людей новогородских, то всё же имеем другие памятники о древности Валаама — рукописное житие Авраамия Ростовского, ученика Феоктиста, бывшего уже игуменом Валаама в 960 году, того Авраамия, который, исполненный верой, жезлом разрушил каменные идолы в Ростове. Сверх того, софийский летописец несколько раз упоминает о Валааме. Автор полагает, что житие основателей его, преподобных Сергия и Германа, должно отнести ко временам княгини Ольги. Если это правда, то Валаам есть древнейшая известная нам пустыня в целой России. Недалеко от Валаама находится и Конев остров, где спасался св. Арсений в XIV столетии, пришедший сюда с горы Афонской, и другой остров, где основал пустыню св. Александр, удалившийся впоследствии на берега Свири; в Валааме подвизался также несколько времени Савватий, удалившийся потом на острова Соловецкие; словом, сей малый остров, говоря словами автора, был тем местом, откуда искра христианства блеснула языческому северу.

Но часто мирная тишина обители была нарушаема набегами шведов. Два раза переплыли Ладожское озеро мощи св. Сергия и Германа, и их принимал сперва Новгород, потом Никольский монастырь Старой Ладоги. Наконец, спустя сто лет после вторичного переселения, снова вернулись они на свой остров. Долгое время, до 1785 года, стояла тут одна деревянная церковь над мощами угодников; монахов не было при обители; один игумен с двумя священниками удовлетворяли усердию поклонников. Наконец митрополит Гавриил, тронутый запустением древней обители, повелел соорудить ее снова. Здание не велико и не отличается богатством; собор во имя Спаса Преображения окружен двумя рядами келий. В обновленной обители был поставлен игуменом Назарий, тридцать лет проведший в уединении. Следуя его примеру, ученики его

основали 14 пустыней кругом монастыря, из коих только четыре обитаемы; в одной из них установлено неумолкаемое чтение псалмов, для чего восемь отшельников сменяются каждые два часа.

На этом диком уединенном острове находится, вероятно, мнимый гроб шведского короля Магнуса, будто бы занесенного сюда бурею после битвы и принявшего здесь святое крещение. Надпись, находящаяся на деревянной доске его гроба, в совершенно новом слоге, так что нельзя отнести ее далее половины прошедшего столетия.

Остров Валаам был в августе 1818 года посещаем императором Александром. Победитель Наполеона, герой, даровавший мир и свободу всей Европе, приехал в Валаам один: молился, беседовал с пустынниками, и уехал, осыпав монастырь своими милостями. Игумен Ионафан впоследствии имел всегда свободный вход в государевы покои.

Эта глава, кроме описания обители, замечательна еще каким-то особенным поэтическим чувством. Пустыня, уединение, где, казалось бы, должно увянуть воображение, возбуждают его в высокой степени, и мы с живым удовольствием внимаем автору, когда он плывет через Ладожское озеро, ночью, при духовном пении кормчего-инока, или когда слушает трогательный рассказ игумена о св. царевиче Иоасафе, оставившем царство земное для небесного, и, умиляясь мысленным зрелищем смиренного приюта отшельников, невольно повторяем с автором стихи, которые желает он вложить в их уста:

Моря житейского шумные волны
Мы протекли;
Пристань надежную утлые челны
Здесь обрели.
Здесь невечернею радостью полны,
Слышим вдали —
Моря житейского шумные волны!

ВИЛЬГЕЛЬМ ТЕЛЛЬ, драматическое представление в пяти действиях. Соч. Шиллера. Перевод Ф. Миллера. Москва. В Университетской тип. 1843. В 8-ю д. л., 146 стр.

«Вильгельм Телль» — последнее, самое обдуманное произведение Шиллера. В то время, когда он писал это драматическое представление, он уже изучил Канта и обращал внимание на Фихте — находился под влиянием Гёте... Пылкий юноша, проповедовавший в «Разбойниках» освобождение человечества от тяжкого ига вековых предрассудков, является нам в «Телле» человеком сознательно творящим, с убеждениями истинными, благородными и мирными. Впрочем, это творческое сознание, философски развитое только в весьма немногих гениальных личностях, не сопряжено с некоторою холодностью исполнения; сам Шиллер жалуется в одном из своих писем (кажется, к Бёттихеру), что собственные его создания слишком спокойно и ясно восстают и развиваются перед его глазами. Каждое лицо в «Телле» представляет один из элементов человеческой жизни, одну из сторон человеческого духа; всё обдумано, и обдумано не только умно и художнически, но еще проникнуто сердечной теплотой, истинным благородством, спокойною грацией — всеми качествами прекрасной души Шиллера. Между тем искусство торжествует свою высшую победу только тогда, когда лица, созданные поэтом, до того кажутся читателю живыми и самобытными, что сам творец их исчезает в глазах его,— когда читатель размышляет о создании поэта, как о жизни вообще, и тем самым признает его (разумеется, в кругу человеческой деятельности) достойным подражателем вечного художника. В противном случае, говоря словами Гёте: «Чувствуешь намерение и разочаровываешься» (Man fühlt die Absicht und man ist

verstimmt). С другой стороны, нельзя не признать бесконечной постепенности в достижении художниками этой великой цели, и хотя создания Шиллера далеко уступают в полноте и сосредоточенности созданиям Шекспира и даже Гёте, всё же они вполне достойны общей любви и общего уважения. Притом недостатки человека истинно великого, точно так же, как и его качества и вообще вся его личность, самым тесным образом связаны с недостатками, качествами и личностью его народа. «Телль», любимое произведение немцев, во всех отношениях выражает германский дух; «Телль» не драма, а драматическое представление,— драматического элемента именно и недостает в немцах, что доказывается жалким состоянием их театра. Несмотря на грозное содержание «Телля», всё это произведение проникнуто важной и патриархальной тишиной: восстание швейцарцев против их притеснителя совершается спокойно и неотразимо — и в Германии величайшие перевороты совершались и совершаются, не потрясая наружно обычаев, общественной тишины и порядка. Распадение между мыслящим разумом и исполняющей волей,— распадение, свойственное германскому духу, верно изображено Шиллером в отношениях Телля к прочим сообщникам; он не присутствует на их заседаниях, не клянется спасти Швейцарию, а убивает Гесслера, то есть фактически освобождает ее. Он человек необыкновенный, но вместе с тем филистер: он настоящий немец... Гегель походил лицом, в одно и то же время, на древнего грека и на самодовольного сапожника. Телль — человек набожный, уважает всякую власть, с охотой несет должные повинности и между тем сам же говорит, что любит жизнь только тогда, когда каждый день вновь ее завоевывает. Мы уже имели случай заметить, как глубоко обдумал Шиллер свое произведение: в «Телле» всё, от первой сцены, представляющей вам, в лицах рыбака, пастуха и охотника, главные черты швейцарской жизни, до мысли ввести в пятом акте Иоанна Паррициду,— всё удивительно обдуманно, и эта обдуманность с ума сводит немцев. Для них — читать «Телля» наслаждение, и они не чувствуют, что в факте этого наслаждения заключается сознание и великих их достоинств и великих их недостатков...

Произведение, так верно выражающее характер целого народа, не может не быть великим произведением. Шиллер, более чем Гёте, заслуживал это высшее для художника счастье: выразить сокровеннейшую сущность своего народа. Как человек и гражданин он выше Гёте, хотя ниже его как художник и вообще как личность...

Читатели, вероятно, согласятся с нами, что хороший перевод такого произведения на русский язык вполне бы заслуживал внимания и одобрения. Но переводы... о переводы! Traduttore traditore [1], гласит итальянская пословица. Перевод г. Ротчева давным-давно забыт всеми, и вот является г. Ф. Миллер...

Переводы можно вообще разделить на два разряда: на переводы, поставившие себе целью, как говорится, познакомить читателя с отличным или хорошим произведением иностранной литературы, и на переводы, в которых художник старается воссоздать великое произведение и, смотря по степени собственного творческого таланта, способности проникаться чужими мыслями и чувствами, более или менее приближается к разрешению своей трудной задачи. Дух (личность) переводчика веет в самом верном переводе, и этот дух должен быть достоин сочетаться с духом им воссозданного поэта. От того-то хорошие переводы у нас (да и везде) чрезвычайно редки. Люди с самобытным талантом неохотно посвящают труды свои такому — хоть не неблагодарному, но и не блестящему делу; а люди полуталантливые (которых гораздо более, чем вовсе бездарных) предлагают нам бледные подражания, которые, по словам латинского поэта, не нужны «ни богам, ни людям». Труд г. Миллера принадлежит именно к числу таких переводов; появление подобного труда возможно и не совсем бесплодно только при слабом развитии литературы, и по пословице: «на безрыбье рак рыба» — мы готовы согласиться, что большая масса читателей (то, что французы называют le gros public) даже с удовольствием прочтет этот перевод. Стих вообще гладок и ровен, но слаб, бесцветен и водян; не лишен даже мелодии, напомнившей нам пошлую мелодию русских романсов. В строго художественном отноше-

---

[1] Переводчик — предатель (*итал.*).

нии перевод г. Миллера неудовлетворителен и неверен двоякой неверностью — неверностью *фактической*: много стихов им пропущено, многое совсем ложно переведено — и неверностью *духовной*: переводчик не передал нам Шиллера... Г-н Миллер даже не совершенно твердо знает немецкий язык; он, например, смешивает слово *Heerd* (очаг, по-французски foyer) с словом *Heerde* (стадо) и пишет (на стр. 18): «сразится радостно за дом и *стадо*» вместо: «за своих *пенатов*» (слово *Heerd*, так же как и *foyer*, употребляется в этом переносном значении); «но удержал упорно за собой *все древние свои постановленья*» (на стр. 15) вместо: «не изменяют империи, следуя примеру *почтенных предков*». Г-н Миллер не понял слова: *Altvordern* (предки). Но самая смешная ошибка находится в следующих стихах (на стр. 31):

И у наместника потребую назад
Родительских очей,— *иль у клевретов*
Их вырву сам...—

между тем как в оригинале сказано: «я потребую у наместника родительских очей; я сумею выискать (найти) его (то есть наместника) среди всех его оруженосцев». Г-н Миллер слово: *ihn* (его) отнес к слову *Auge* (глаз), забыв, что Auge по-немецки среднего рода и требовало бы местоимения: *es*. Что̀ за отчаянный человек, как подумаешь, этот Мелхталь! У всех *клевретов* намерен глаза повыдергать! Уж не хотел ли г. Миллер придать энергии характеру Мелхталя? Далее: на стр. 41 в переводе сказано: «В лесах свободных дичь *переведут*»; а у Шиллера сказано: «запретят нам в лесах *охотиться по дичи*», то есть будут сберегать дичь для себя, как это делалось тогда в Германии, а вовсе не *переводить*. Г-н Миллер не понял значение слова *bannen*, которое здесь значит не «изгнать», а «наложить запрещение». Такие детские ошибки непростительны. Слово *Reich* (империя, то есть германская) он переводит словом «государство» (на стр. 40), и т. д. и т. д. В переводе г. Миллера нет никакого характера, никакой энергии; стих его относится к стиху Шиллера, как самые бледные водяные краски к масляным. Г-н Миллер передает нам не мысли Шиллера, но об-

щие места, похожие на эти мысли. Вот пример: в оригинале сказано:

Каждому существу дано
Оружие в тоске отчаяния:
Измученный олень останавливается и показывает
Собакам свои страшные рога,—

а у г. Миллера:

Не каждому ль животному дано
Орудие для собственной защиты?
Олень рогами угрожает псам...

Мы выбрали наудачу первые попавшиеся стихи. Положим, что здесь, как в описании, подобное отступление не так еще важно, но вся драма так переведена: с описаний Шиллера сняты краски,— из речей выжат сок.

И против русского языка попадаются погрешности. На стр. 19: «вам от дела б лишь *отхлынуть*»; «лень в горах *проветривать*»; на стр. 65: *сколозить*; *зыбкие* скалы (на стр. 64); беспрестанно *что* вместо *который*... Впрочем, этих ошибок не так-то много; вообще г. Миллер пишет гладко и легко. Но ошибок против смысла подлинника не перечтешь. Например, г. Миллер переводит (на стр. 41) следующий стих Шиллера: «О, научись же чувствовать, к какому ты принадлежишь поколенью» (народу) вот так:

О, вспомни, вспомни род свой знаменитый! —

между тем как Аттингаузен *тут же* говорит племяннику, что происхождением нечего гордиться! В другом месте г. Миллер переводит следующие два весьма важные стиха,— важные потому, что в них выражается весь характер Телля:

Тогда только наслаждаюсь я вполне жизнью,
Когда я ее каждый день снова себе завоевываю,—

вот каким пошлым образом:

Я тогда лишь жизнью
Своею наслаждаюсь в полной мере,
Когда, *что день, то новые труды*...

На стр. 11 г. Миллер заставляет Телля, представленного у Шиллера набожным и простосердечным

человеком, говорить рыбаку Руоди, который боится поплыть через озеро, потому что «нынче день Симона и Иуды»,—

Оставь *свои пустые предрассудки*,—

между тем как у Шиллера сказано:

Полно тратить слова понапрасну.

Далее у Шиллера Гесслер приказывает бедной Армгарте посторониться «не то,— говорит он,— я забудусь и сделаю то, в чем буду потом раскаиваться». Но г. Миллер, вообразив, что Гесслер совершенный злодей и недоступен раскаянью, переводит так (на стр. 122):

Или я
Забудусь, *и тогда ей будет худо.*

В песенке охотника (на стр. 4) находится чрезвычайно неприятная ошибка; у Шиллера сказано:

Под ногами у него море туманов;
Он уже не различает земных жилищ (городов),—

а у г. Миллера:

Внизу под ногами *туманное море*;
В нем тучи гуляют в раздолье в просторе...

Когда же тучи *гуляют в туманах*, да еще *в раздолье*?

Далее в подлиннике читаем: «там, где дух еще смел и свеж, а сердце не испорчено», а у г. Миллера:

Где
Свободен дух и сердце *не страдает...*

и т. д. и т. д. Мы недаром сказали, что подобных ошибок не перечтешь...

Из всего сказанного следует, что перевод г. Миллера только потому не дюжинный, что у нас на Руси далеко не все так называемые литераторы умеют писать сносным языком. Несмотря на совершенное отсутствие всякого истинно художественного достоинства в произведении г. Миллера, его книгу прочтут, как мы сказали выше, многие. Попытка его может, сверх того, принести еще ту пользу, что мы теперь уже вправе требовать от будущего переводчика Шиллера (так же, как

и от будущего переводчика «Фауста») трудов более совестливых и отчетливых, большего поэтического таланта, потому что они уже лишены предлога «ознакомить читателей» с этими произведениями: читатели уже ознакомлены... правда, посредством плохих переводов, но переводчики, подобные Жуковскому, появляются слишком редко. Жертва богу безвкусия и пошлости принесена; мы признаем ее необходимость и не радуемся ей; но бог красоты и изящного теперь вправе ожидать более достойных приношений, и дело критики — пропустив скрепя сердце одного самозванца, не пропускать других. Круг читателей средней руки с наслаждением прочтет перевод г. Миллера, сразившегося с другим «великаном Германии» и поразившего, впрочем, не его одного, но и нас, грешных... Между тем... вспомнив бессмертные создания г. Молчанова, Куражсковского, Славина и иных, мы, право, не можем не похвалить г. Миллера хоть за то, что он знает грамматику, правила стихосложения и не уродует бедного русского языка.

ФАУСТ, трагедия, соч. Гёте. Перевод первой и изложение второй части. М. Вронченко. 1844. В привилегированной типографии Фишера. Санкт-Петербург. В 8-ю д. л., 17 и 432 стр.

Самым отрадным и утешительным фактом русской литературы прошлого года был, без сомнения, бескорыстный и огромный труд г. Вронченко, перевод главнейшего создания Гёте — «Фауста». Этот, можно сказать, подвиг нашего почтенного литератора, уже усвоившего русской литературе не одно знаменитое европейское произведение, лучше всего доказывает, что любовь и страсть к искусству могут существовать во всякое время и что на избранные души не имеет никакого влияния общее меркантильное или мелочное направление литературы. Даровитый переводчик «Гамлета», «Макбета», «Дзядов» и «Манфреда» посвятил много времени и много труда переводу «Фауста», а не какого-нибудь романа, которому суждено наделать большого шума при своем появлении и быть забытым через год. Не знаем, как оценит публика этот важный и добросовестный труд; что касается собственно до нас, мы выскажем о нем свое мнение со всею искренностью, со всем уважением и к труду и к истине, в следующей книжке «Отеч<ественных> записок». По времени своего выхода «Фауст» в переводе г. Вронченко принадлежит к 1844 году; но как он вышел только в конце этого года, то все журналы, естественно, только в нынешнем году могут высказаться насчет достоинства этого перевода, который, следовательно, по времени толков и суждений о нем будет принадлежать к литературным явлениям наступившего года. Пока заметим, что перевод г. Вронченко можно рассматривать с двух сторон: по отношению между свойством таланта переводчика и сочинением, которое он перевел, и по отношению к воззрению переводчика на переведенное им творение. Доселе г. Вронченко пере-

водил сочинения совершенно в другом духе, нежели «Фауст»; самый «Манфред» Байрона, может быть, навеянный чтением «Фауста», существенно от него разнится. «Фауст» — произведение по преимуществу романтическое и немецкое: для людей, которых склад ума исключительно практический, оно почти недоступно; они поймут не только «Макбета», но и «Гамлета», а «Фауст» всё-таки будет для них странен. И потому очень естествен вопрос: по роду и направлению своего таланта мог ли г. Вронченко с полным успехом воспроизвести на русском языке *туманное* создание Гёте? Этот вопрос можно решить рассмотрением того, как смотрит г. Вронченко на «Фауста». Последнее тем легче сделать, что в особой статье, приложенной к переводу и названной: «Обзор обеих частей „Фауста"», г. Вронченко подробно и утвердительно высказал свое воззрение на это творение Гёте. В отношении к этому воззрению и влиянию, какое имело оно на качество перевода, нам придется сильно поспорить с даровитым переводчиком...

Издание «Фауста» во всех отношениях прекрасно.

ФАУСТ, траг. Соч. Г ё т е. Перевод первой и изложение второй части. М. В р о н ч е н к о. 1844. Санкт-Петербург.

Появление нового перевода «Фауста» возбудило в нас разнообразные размышления насчет нас самих и нашей литературы. Несмотря на почти совершенное отсутствие действительных дарований, на множество слабых и пустых произведений, которыми наводнены наши книжные лавки,— общественное сознание, чувство истины и красоты растет и развивается быстро. Мы не намерены — теперь именно — входить в исследование причин подобного явления... вообще русский человек развивается так особенно, что в немногих словах невозможно представить читателю смысл и законы его внутреннего преобразования; но, например, несколько лет назад при появлении перевода «Фауста» г. Вронченко мы готовы были бы отделаться похвалами, назвать труд переводчика «событием» и т. д.; одно имя «Фауста» производило в нас впечатление довольно смутное и странное; мы чувствовали, что в этом произведении отразилась целая жизнь мыслящего, уже не юного, несколько чуждого нам народа, и — либо с простодушным благоговением склонялись перед созданием Гёте, в котором видели альфу и омегу всей человеческой мудрости, либо с торопливой поспешностью проходили мимо, отделываясь словами: «туманное произведение!..» Впрочем, у нас даже до нынешнего дня слово «туманное» почитается естественным эпитетом всего немецкого. Теперь же... мы не намерены расточать преувеличенные похвалы нашей публике, тем более что она в них вовсе не нуждается; мы не скажем ей, что в последнее время она окончательно поняла и изучила Гёте и дошла, например, до ясного сознания того, что такое «Фауст» как произведение немецкое и в какой степени это произведение должно занимать нас — русских... нет, мы этого не скажем; но сознание

нашей публики в последние годы возмужало и окрепло; время безотчетных порывов и восторгов прошло для нее безвозвратно; она стала вообще холоднее и равнодушнее, как человек, которому надоело шутить и которому нравится одно дельное... Ее теперь едва ли ослепишь блеском великого имени; ее здравый смысл требует положительных доказательств — не в том, что Гёте великий поэт (она знает это лучше нас), но в том, действительно ли «Фауст» такое громадное создание?.. Приступая к разбору этой великой трагедии, мы чувствуем некоторую невольную робость... мы знаем сами, какой великий труд мы взяли на себя...

Разбор *вековых* творений, подобных «Фаусту», или весьма легок, или весьма труден... В первом случае стоит только «воскурить фимиам», употребить восторженные восклицания и т. д.: благо произведение великое, так уж и нечего толковать о нем! Большею частью так и поступают наши господа-критики. Но эти господа забывают, что ни одно великое творение не упало на землю, как камень с неба; что каждое из них вышло из глубины поэтической личности, которая только потому и удостоилась такого счастия, что весь смысл современной жизни отразился в ней не одними преходящими отголосками, но целым, иногда довольно мучительным, развитием характера и таланта; что чем выше, проще и нераздельнее произведение, тем сложнее и разнообразнее условия и процесс его *возникания*... С другой стороны, вовсе не нужно дойти до сознания этого процесса, чтоб вполне наслаждаться великим произведением, точно так же, как не нужно знать химический состав какого-нибудь прекрасного цветка, чтоб быть в состоянии любоваться им; непосредственная, несомненная, общепонятная красота — необходимая принадлежность всякого художественного создания. Но если уж человеческий дух решится понять и оценить то, чем он пленяется невольно, дознаться причин собственного наслаждения, то непростительно ему остановиться на полдороге: бесстрашная добросовестность и отчетливость до конца — вот главные достоинства критики в обширном смысле, которая, несмотря на вопли ее противников, никому еще не сделала зла. Мы не говорим о самолюбивой, робкой или ограниченной критике людей, которым не хочется быть просто непосредствен-

ными натурами и между тем страшно или тяжело дойти до результатов собственных размышлений,— людей, которые целый век твердят дважды-два и никогда не скажут четыре или скажут, наконец, пять и будут хитро и многословно доказывать, что оно иначе и быть не могло... Мы говорим о дельной критике. Вследствие всего сказанного о духе нашей публики мы надеемся удовлетворить ее потребностям, представив ей сначала в коротких словах род исторического изыскания о том, когда, как и почему возникла и созрела мысль о «Фаусте» в душе поэта, а потом и собственное наше воззрение на «Фауста». Историческое изыскание может иногда с успехом заменить чисто логические рассуждения, потому что ничего не может быть логичнее исторического развития, ясно и добросовестно представленного. Мы, бесспорно, можем ошибиться в наших выводах, но уже Лафонтен сказал:

J'aurais du moins l'honneur de l'avoir entrepris[1].

Гёте в записках своих, к сожалению, слишком поздно им начатых, оставил нам довольно верную и подробную картину состояния германской литературы до семидесятых годов прошлого столетия (он сам родился в 1749 году). Великими людьми этой эпохи были Клопшток, Виланд и Лессинг, в особенности Клопшток. Французская классическая школа (Готшед), швейцарская школа (Бодмер и др.) — обе прошли быстро и безвозвратно. Клопшток первый заговорил о народности в литературе, о бардах, об Арминии, о северной мифологии, отбросил рифму. Виланд, этот разнообразный, насмешливый и грациозный талант, своими многочисленными произведениями, переводами с греческого, английского, итальянского и французского, возбуждал и увлекал своих соотечественников; Лессинг, по преимуществу немецкий здравый и острый ум, основывал критику и драму — и, может быть, еще более, чем Клопшток, имеет право называться творцом немецкой словесности; он был одарен чрезвычайно замечательным полемическим талантом и здравым смыслом (впрочем, эти два качества почти неразлучны), и победы, одержанные им над людьми, подобными Клотцу и

[1] Я по крайней мере имел бы честь его предпринять (*франц.*).

другим, спасли возникавшую германскую литературу от гибели, ⟨которая могла ей угрожать в случае победы⟩ ложных направлений. Заслуги этих трех писателей чрезвычайно велики; но ни одному из них не было суждено положительно выразить сущность своего народа и времени. У каждого народа есть своя чисто литературная эпоха, которая мало-помалу приуготовляет другие, более обширные развития человеческого духа; такая эпоха настала для Германии около семидесятых годов. Между тем как во Франции общество уже устарелое, испытанное внешними и внутренними борьбами, не оставлявшее ни одного вопроса без разрешения и не удовлетворенное ни одним из этих разрешений,— между тем как это общество стремительно спешило к собственному разрушению, или, говоря правильнее, к собственному возрождению,— Германия только что приходила к сознанию собственной народности, к сознанию самой себя — не как общества, но как народа, говорящего одним языком и не имеющего на этом языке ни одного литературного памятника. До XVII столетия все немецкие ученые писали полатыни и по-французски, как Лейбниц; поэты держались при дворе в качестве шутов и писали оды на разные торжественные случаи; немногие исключения, как-то: юмористы школы Ганса Сакса — Фишарт, Грифиус, свидетельствуя о добродушно-сатирическом направлении немецкого ума, не имели, впрочем, особенного значения; монархи германские, даже лучшие из них (вспомните Фридриха II) пренебрегали родным языком; одни лишь богословы со времени Лютера говорили и писали по-немецки. Но вот настала первая половина прошлого столетия. Философ Вольф отказался от латинского языка. Немецкая литература, еще юная и не самобытная, устремилась по следам французской. Быстро один за другим начали возникать писатели, которых уже нельзя было, как Готшеда, причислить к сонму бездарных подражателей; Рамлер и Глейм явились в Берлине; начались критические исследования о самом языке, правда, довольно поверхностные, но для того времени чрезвычайно важные. Наконец, явились те замечательные люди, о которых мы говорили выше. Но настоящий переворот,— то, что Гёте назвал революцией германской литературы (ч. 26, стр. 68, изд.



ТРАГЕДІЯ

Соч. Гете.

Переводъ Первой и Изложеніе Второй Части.

М. ВРОНЧЕНКО.

1844.

ВЪ ПРИВИЛЕГИРОВАННОЙ ТИПОГРАФІИ ФИШЕРА.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ КНИГИ: «ФАУСТ, ТРАГЕДИЯ. СОЧ. ГЁТЕ. ПЕРЕВОД ПЕРВОЙ И ИЗЛОЖЕНИЕ ВТОРОЙ ЧАСТИ М. ВРОНЧЕНКО. СПб., 1844»

ЭКЗЕМПЛЯР, ПРИНАДЛЕЖАВШИЙ И. С. ТУРГЕНЕВУ, С ЕГО АВТОГРАФОМ.

Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Академии наук СССР, Ленинград.

1829), совершился между семидесятыми и восьмидесятыми годами прошлого века, в эпоху, которую немецкие критики (правильнее: Litterarhistoriker[1]) называют «периодом бури и стремления» (Sturm- und Drang-Periode).

Жизнь каждого народа можно сравнить с жизнью отдельного человека, с той только разницей, что народ, как природа, способен вечно возрождаться. Каждый человек в молодости своей пережил эпоху «гениальности», восторженной самонадеянности, дружеских сходок и кружков. Сбросив иго преданий, схоластики и вообще всякого авторитета, всего, что приходит к нему извне, он ждет спасения от самого себя; он верит в непосредственную силу своей натуры и преклоняется перед природой как перед идолом непосредственной красоты. Он становится центром окружающего мира; он (сам не сознавая своего добродушного эгоизма) не предается ничему; он всё заставляет себе предаваться; он живет сердцем, но одиноким, своим, не чужим сердцем, даже в любви, о которой он так много мечтает; он романтик,— романтизм есть не что иное, как апофеоза личности. Он готов толковать об обществе, об общественных вопросах, о науке; но общество, так же как и наука, существует для него — не он для них. Такая эпоха теорий, не условленных действительностью, а потому и не желающих применения, мечтательных и неопределенных порывов, избытка сил, которые собираются низвергнуть горы, а пока не хотят или не могут пошевельнуть соломинку,— такая эпоха необходимо повторяется в развитии каждого; но только тот из нас действительно заслуживает название человека, кто сумеет выйти из этого волшебного круга и пойти далее, вперед, к своей цели. Подобная романтическая эпоха настала для Германии во время юности Гёте. Появилось множество так называемых гениальных молодых людей; молодость, непосредственность, природа, самобытность — эти слова звучали в устах у каждого; никому бы в голову не пришло тогда написать «Разбойников» — потому что всякого занимали только собственные радости и страдания,— но многие надеялись попасть прямо в Шекспиры; в то время Виланд и

---

[1] историки литературы (*нем.*).

Эшенбург познакомили с ним Германию и их переводы жадно поглощались читателями. Любовь к Шекспиру пробудила любовь к средним векам, к которым можно чувствовать влечение только тогда, когда в действительности народ вполне от них отторгнулся; а это отторжение совершилось в Германии довольно поздно. Движение умов во Франции — Вольтер, Руссо, энциклопедисты — всё, что так глубоко, так сильно потрясло потом весь мир, в то время находило весьма мало сочувствия в Германии, и ландграфы преспокойно продолжали продавать своих подданных англичанам, воевавшим с непокорными американцами. Вот что говорит сам Гёте в третьей части своей автобиографии:

Когда нам случалось раскрыть одну из частей энциклопедического словаря (известное издание Дидро и Даламбера), нам казалось, что мы зашли в огромную фабрику, где со всех сторон скрипят и вертятся колеса, непостижимым образом двигаются машины, и мы, не понимая цели всех этих движений, приходили в полное отчаяние... Жаркий спор французских философов с духовенством не возбуждал нашего внимания. Запрещенные, к огню присужденные книги, которые тогда делали много шума, не имели на нас никакого влияния... Природа была нашим божеством...

Эти слова Гёте относятся, правда, к кружку страсбургских его приятелей, но он был тогда самым полным представителем молодого поколения; те из его современников, которые шли по другой дороге, не оставили следа своего существования, то есть заблуждались; притом же первые произведения Гёте тотчас поразили и увлекли толпу читателей.

Вся Германия занялась преимущественно, если не исключительно, одними литературными вопросами. Юстус Мёзер, замечательный для своего времени публицист, является нам одиноким исключением. Еще земля не начинала дрожать под ногами людей; еще вся Европа двигалась по прежним направлениям, жила прежними убеждениями и верованиями; сверх того, философский переворот должен был, по духу немецкого народа, предшествовать всякому дальнейшему развитию общественной жизни в Германии — и в самую эту эпоху «бури и стремления», в отдаленном городе на севере, профессор Кант тихо и неутомимо создавал

критическую философию, ту самую философию, которая мало-помалу проникла всю нашу действительность и которая скажет свое последнее слово даже не нашему поколению.

В то самое время, около семидесятых годов, жил на берегах Рейна, то в Страсбурге, то во Франкфурте, молодой человек, которому суждено было выразить собой всю сущность своего народа и своего времени,— Вольфганг Гёте. Биография его до того известна всему читающему миру, что мы считаем себя вправе вовсе умолчать о ней, тем более что она была уже предметом довольно обширной статьи в нашем журнале[1]. Но постараемся в немногих чертах изобразить его личность. Он был — поэт по преимуществу, поэт и больше ничего. В этом, по нашему мнению, состоит всё его величие и вся его слабость. Он был одарен всеобъемлющим созерцанием; всё земное просто, легко и верно отражалось в душе его. С способностью увлекаться страстно, безумно он соединял в себе дар постоянного самонаблюдения, невольного поэтического созерцания своей собственной страсти; с бесконечно разнообразной и восприимчивой фантазией — здравый смысл, верный художнический такт и стремление к единству. Он сам был весь целый, весь — как говорится — из одного куска; жизнь и поэзия не распадались у него на два отдельные мира; его жизнь была его поэзией, его поэзия была его жизнию... «Я,— писал он к графине Штольберг,— даю своим ощущениям превращаться в способности, способностям дорастать до таланта». С такой непосредственной, естественной необходимостью развивалась его жизнь; он почти с детства сознавал сам эту внутреннюю гармонию и могущественную полноту своей натуры и преспокойно позволял обожать себя. Стоит прочесть в «Физиогномике» Лафатера восторженные строки, подписанные под его портретом... Первым и последним словом, альфой и омегой всей его жизни было, как у всех поэтов, его собственное *я*; но в этом *я* вы находите целый мир — и сознание громадности этой личности до того сильно действует на вас, что какая-нибудь небольшая песенка Клер-

---

[1] Отеч. зап. 1842, тт. XX, XXI, XXII. (*Примечание в тексте Отеч. зап.*)

хен, в которой говорится только то, что без любви нет счастия на земле (мысль, изволите видеть, весьма не новая), поражает вас так, как будто ни вам самим, ни другому ничего подобного в голову не приходило. Понятно, почему Гёте, под старость, мог не шутя почитать себя Юпитером Олимпийским; он знал, что он владел природой и человеком: он владел искусством, как не владел никто до него; а людям только того и нужно: воспетые радости, воспетые слезы трогают их более, чем действительные радости и слезы...

Но Гёте был немец — немец ‹во›семнадцатого столетия, сын реформации; его величие состояло именно в том, что все стремления, все желания его народа небесплодно отражались в нем. Как великий немецкий поэт, он создал «Фауста». Мысль воспользоваться этим типом не ему первому пришла в голову: уже один из предшественников Шекспира, Марло (Marlowe), написал «Фауста» — чрезвычайно замечательное произведение, о котором мы когда-нибудь поговорим с нашими читателями; кроме Гёте, Клингер и Ленц, его современники и друзья (если только у Гёте могли быть друзья), сочинили каждый «Фауста». Они оба принадлежали к тому кружку замечательных личностей, которые в то время группировались около Гёте и которых он так мастерски описал в своих «Записках»... И странно: оба они умерли в России — Клингер в Петербурге, генералом, Ленц в Москве, у какого-то сапожника, в бедности и сумасшествии. Но то, о чем так пламенно и так напрасно мечтал оригинальный, фантастический и насмешливый Ленц; то, что было недоступно здоровой и сильной, но не поэтической натуре Клингера,— далось одному Гёте. Вникнув в содержание «Фауста», мы убедимся, что иначе и быть не могло, точно так же, как не Гошу и не Марсо̀, а одному Наполеону было предоставлено право называться, говоря его собственными словами, «l'homme du destin» [1].

Не считаем нужным излагать здесь содержание «Фауста»: вероятно, оно известно каждому из читателей. Приступаем прямо к оценке трагедии Гёте.

«Фауст» есть чисто человеческое, правильнее — чисто эгоистическое произведение. Германия в то время

---

[1] «мужем рока» (*франц.*).

вся распадалась на атомы; каждый хлопотал о человеке вообще, то есть в сущности — о своей собственной личности. Фауст, с начала до конца трагедии, заботится об одном себе. Последним словом всего земного для Гёте (так же, как и для Канта и Фихте) было человеческое *я*... И вот это *я*, это начало, этот краеугольный камень всего существующего, не находит в себе успокоения, не достигает ни знания, ни убеждения, ни даже счастия, простого обыкновенного счастия («И псу не жить, как я живу»,— говорит Фауст). Куда, к чему ему обратиться? Для Фауста не существует общество, не существует человеческий род: он весь погружается в себя; он от одного себя ждет спасения. С этой точки зрения трагедия Гёте является нам самым решительным, самым резким выражением романтизма, хотя это имя вошло в моду гораздо позже. Примирения, действительного примирения, того окончательного аккорда, в котором разрешались бы все предшествовавшие диссонансы, мы не находим в Фаусте, так же, как, например, в Байроне; придуманное старцем Гёте аллегорическое, холодное, натянутое разрешение трагедии не удовлетворяло и не удовлетворит, вероятно, ни одного живого человека; а между тем, оканчивая «Фауста», мы не ощущаем того горького и смутного беспокойства, которое возбуждает в нас каждое творение лорда Байрона, этой надменной, глубоко симпатичной, ограниченной и гениальной натуры, потому что все противоречия à priori примирены в классически спокойной душе Гёте, которая могла, не разрушаясь, даже не страдая, вынести в себе Мефистофеля. Да, Гёте не дошел до положительного, высказанного примирения; но ему оно и не нужно: сознание собственной силы удовлетворяет его... Величавое равнодушие Фауста во второй части — вот настоящее, окончательное примирение всех неразрешенных вопросов и сомнений. Человеку, которому природа отказала в возможности такого априорического успокоения, Гёте не дает никакого ответа. Гёте не признавал ничего вне сферы чисто человеческой; а между тем Фауста волнуют вопросы, которые проистекают не из этой сферы и для которых Гёте не мог найти удовлетворительного разрешения. Эти, говоря языком Канта, трансцендентные вопросы переданы были ему целым предшествовавшим развитием не одного герман-

ского народа, но всей Европы; стремление всего человечества к тому, что находится вне собственной, земной жизни, это стремление, это коренное начало средних веков, которое выразилось во всем: и в самом составе общества, и в истории, и в поэзии, и в искусстве (вспомним готические церкви), отозвалось могущественно и неотразимо в душе Фауста. Фауст — сын своего прошедшего. Но не менее сильно выразилось в нем начало противоположное, начало новейшего времени — автономии человеческого разума и критики. В истории развития человеческого сознания «Фауста» можно почитать самым полным (литературным) выражением эпохи, разделяющей средние века от нового времени. И так как всякое, даже положительное начало должно, при первом появлении своем, носить характер отрицательный (иначе оно себе никогда не завоюет места), то и весьма понятно, почему оно, это начало, у Гёте, современника Вольтера, приняло образ Мефистофеля. Мефистофель — это новое время; это тот XVIII век, на который с таким добродушным ожесточением ослепленные или ограниченные люди сыплют разнообразные проклятия... Под каким бы именем ни скрывался этот дух отрицания и критики, всюду за ним гоняются толпы своекорыстных или ограниченных людей, даже и тогда, когда это отрицательное начало, получив, наконец, право гражданственности, постепенно теряет свою чисто разрушающую ироническую силу, наполняется само новым положительным содержанием и превращается в разумный и органический прогресс. Но мы готовы согласиться с врагами критического начала: действительно, при вступлении своем — не в круг человеческой деятельности, потому что оно никогда не переставало составлять один из элементов этой деятельности, но на поприще общественного развития в Европе — действительно, оно было односторонне, безжалостно и разрушительно; действительно, Мефистофель не представляет ничего отрадного... но сам Фауст, это больное дитя не слишком здоровых средних веков,— разве он в силах стоять на собственных ногах, разве в нем мы не находим всех признаков разрушения? Не стремится ли он сам из своей душной кельи, к которой пригвоздила его бесплодная, самолюбивая страсть к недосягаемым отвлеченностям, на волю, в действи-

тельный, здравый мир, куда он оттого попасть не умеет, что он, как фантазер, только фантазирует о нем и ждет себе здоровья — не от сообщества с живыми людьми, а от... лучей луны.

O möch'ich...

. . . .

Von allem *Wissensqualm* entladen,
In deinem Thau *gesund* mich baden! —

в переводе (не совсем удачном) г. Вронченко:

Когда ж я *возмогу...*

. . . .

Там пить твой свет, твоей росой
От чаду знаний исцелиться!

Не является ли нам Фауст скептиком с самых первых слов своих? И самая его попытка «отважно обратить свой тыл к прекрасному земному солнцу» не есть ли последний, отчаянный и ложный порыв к свободе и гармонии? Сам Фауст — не тот же ли Мефистофель в своем разговоре с Вагнером, этим немцем par excellence[1], этим типом «филистера»? Наконец, он, Мефистофель, не есть ли необходимое, естественное, неизбежное дополнение Фауста?.. И не выговариваются ли в его речах задушевные наклонности и убеждения самого Гёте? Да и сам Мефистофель часто — не есть ли смело выговоренный Фауст?

Гёте начал писать свою трагедию весьма рано, прежде «Гёца фон Берлихингена» и «Вертера». Он начал ее, как он сам сознался, без всякого определенного плана; да и в теперешнем виде «Фауст», как трагедия, не может иметь притязания на округленность, на внешнее единство. Гёте с ранних лет отличался необыкновенной наклонностью к размышлению и систематизированию,— наклонностью, почти всегда несовместной с наивным даром поэтического воспроизведения, которым так щедро был он наделен... Впрочем, надобно прибавить и то, что Гёте как поэт вовсе не дорожил своими воззрениями и системами; он легко и свободно покидал их... его, в сущности, занимало одно: жизнь, возведенная в идеал поэзии («die Wirklichkeit

[1] по преимуществу (*франц.*).

zum schönen Schein erhoben», как говорит он), жизнь во всех ее проявлениях. Он добросовестно, с любовию изучал ее... но, повторяем, не жизнь как жизнь занимала и увлекала его душу, но жизнь как предмет поэзии. Гёте, наконец, дошел до того, что он не пугался страданий, даже не избегал их: они внушали его лире такие новые, такие прекрасные звуки... Да, впрочем, какой же поэт когда-нибудь страдал, страдал действительно, бессловесно, глухо? Все они готовы повторять с Тассо:

Und mir noch über alles —
Sie (die Natur) liess im Schmerz mir Melodie und Rede,
Die tiefste Fülle meiner Noth zu klagen:
Und wenn der Mensch in seiner Qual verstummt,
Gab mir ein Gott zu sagen, wie ich leide... [1]

И, пользуясь этим, у плохих стихотворцев воображаемым, у хороших — действительным преимуществом, авторы до того надоели нам воспеванием своих страданий, что поневоле захочется сказать даже лучшему из них:

Какое дело нам, страдал ты или нет?

Но от поэзии уйти невозможно; слова, сказанные нами, тоже стих, тоже произнесены поэтом...

Итак, Гёте писал своего «Фауста» без всякого плана. Он бросал стихи на бумагу, как невольные признания мыслящего и страстного поэта-эгоиста. В его время, в то переходное, неопределенное время позволительно было поэту быть только человеком; старое общество еще не разрушилось тогда в Германии; но в нем было уже душно и тесно; новое только что начиналось; но в нем не было еще довольно твердой почвы для человека, не любящего жить одними мечтаниями; каждый немец шел себе своим путем и либо не признавал никакой обязанности, либо своекорыстно или бессмысленно покорялся существующему порядку вещей. Посмотрите, какую жалкую роль играет народ в

---

[1] А самое главное — это то, что она (природа) оставила мне в моих страданиях мелодию и речь, в них я могу излить жалобы на всю глубину моей печали. И когда люди умолкают в своих мучениях, бог дает мне возможность сказать, как я страдаю (*нем.*).

«Фаусте»! Это — народ (вспомните сцену, когда Фауст гуляет с Вагнером, и сцену в погребе Ауербаха) вроде народа на картинах Теньера и Остада; Мефистофель хочет дать Фаусту понятие о веселом житье-бытье толпы и показывает ему полдюжину довольно глупых студентов, над которыми они вдвоем потешаются «en grands seigneurs» [1]; народ в произведении Гёте проходит перед нашими взорами не как древний хор в классической трагедии, а как хористы в новейшей опере. Толпа представлена, как водится, объективно, даже символически (в сцене, о которой мы уже говорили, когда Фауст гуляет с Вагнером, все сословия — одно за другим — парадируют перед читателем); она понята; ей отдано то, что ей следует, «man lässt sie gelten» [2],— чего ж ей более? Какое право имеет она, эта глупая толпа, возмущать величественный покой, или одинокие радости, или, наконец, одинокие страдания какой-нибудь гениальной личности? А этот бедный молодой мальчик, этот ученик, который смиренно приходит попросить советов у Фауста,— с какой аристократической, небрежной иронией потешается Гёте над ним и вообще над молодым поколением, которое не может возвыситься до гениальности,— над ограниченной толпой! Все насмешки, все сарказмы Мефистофеля падают на Фауста, как на отдельное лицо; он знает его слабую сторону. Фауст, мы уже говорили это не раз,— эгоист и заботится об одной своей особе. Да, наконец, Мефистофель далеко не «сам великий сатана», он скорее «мелкий бес из самых нечиновных». Мефистофель — бес каждого человека, в котором родилась рефлексия; он воплощение того отрицания, которое появляется в душе, исключительно занятой своими собственными сомнениями и недоумениями; он — бес людей одиноких и отвлеченных, людей, которых глубоко смущает какое-нибудь маленькое противоречие в их собственной жизни и которые с философическим равнодушием пройдут мимо целого семейства ремесленников, умирающих с голода. Он страшен не сам по себе: он страшен своей ежедневностью, своим влиянием на множество юношей, которые, по его милости, или, го-

---

[1] «как знатные господа» (*франц.*).
[2] «ей дают место» (*нем.*).

воря без аллегорий, по милости собственной робкой и эгоистической рефлексии, не выходят из тесного кружка своего милого *я*. Он едок, зол и насмешлив; люди, которые, по словам Пушкина, встречаются с этим демоном, страдают; но их болезненные страдания не возбуждают нашего глубокого участия; притом сколько таких страдальцев, поносившись с своим горем, как «с писаной торбой», внезапно превращаются в добрых и здоровых пошлецов!.. Да и те из них, которые до конца дней своих вянут и сохнут, как надломанная ветка,— признаемся откровенно, и те возбуждают в нас одно лишь преходящее сожаление... Повторяем, Мефистофель страшен только потому, что до сих пор его почитают страшным... Ужасен он для людей, которым собственное счастье дороже всего на свете и которые хотят в то же время понять, почему именно они счастливы... а этих людей всегда будет много, до того много, что мы, вспомнив о их количестве, готовы снова признать величие гётевского чёрта, с которым мы обошлись было довольно бесцеремонно. Но всё же мы должны сознаться, что мы не раз возмущали «другой могучий образ», перед которым бледнел и исчезал Мефистофель, это воплощенное проявление критического начала в ограниченной сфере отдельной личности.

Итак, мы сказали, Фауст — эгоист, эгоист теоретический; самолюбивый, ученый, мечтательный эгоист. Не науку хотел он завоевать — он хотел через науку завоевать самого себя, свой покой, свое счастие. Упорной односторонностью его отвлеченной натуры проникнута вся трагедия, исключая величавого появления Духа Земли в начале первой сцены. В громовых его словах слышится нам голос Гёте-пантеиста, того Гёте, который вне страстного разнообразия человеческого мира признавал одну безразличную, спокойную «субстанцию» Спинозы и уходил в нее как в свое «убежище» (in sein Asyl), когда собственная личность начинала ему надоедать. Эгоизм Фауста особенно проявляется в отношениях его к Гретхен. Наскучив бесплодностию и безотрадностию уединенной жизни, Фауст хочет (в переводе г. Вронченко):

...кипучие желания
В утехах чувственных тушить...

Он жаждет:

бурь, тревог, горчайших из отрад —
Любви враждебной, сладостных досад.
. . . .
Всё испытать попеременно,
Что человечеству присуждено всему...

И вот, обновив при помощи ведьмы свое подержанное тело, Фауст встречается с Гретхен. О самой Гретхен мы не будем много распространяться: она мила, как цветок, прозрачна, как стакан воды, понятна, как дважды два — четыре; она бесстрастная, добрая немецкая девушка; она дышит стыдливой прелестью невинности и молодости; она, впрочем, несколько глупа. Но Фауст и не требует особенных умственных способностей от своей возлюбленной (и потому мы теперь же не можем не заметить г-ну переводчику, что он, при первой встрече Фауста с Гретхен, напрасно заставляет его говорить про нее:

Как недоступна и скромна,
И, кажется, притом *умна*!

В подлиннике сказано: «Und etwas Schnippisch doch zugleich...» Schnippisch — непереводимое слово: оно скорее значит — жеманна в хорошем смысле... но ни в коем случае не умна).

Фауст знакомится с ней решительно и смело, как все гениальные люди; Гретхен в него влюбляется тотчас. Фауст является в ее комнату, восторженно, страстно мечтает о ней — и уходит, глубоко тронутый, не позабыв, однако ж, оставить ей подарок; потом сходится с ней у Марты; но уже сам перед этим свиданьем задал себе вопрос:

Когда, в минуту *ощущенья* [1],
Для новых чувств я и для их волненья
Ищу имен и не могу найти;
Когда потом всё в мире пробегаю,
Сильнейшие из сильных слов *хватаю*.
И огнь, которым так горю,
Зову безмерным, бесконечным,
Неизменимым, вечным,—
Ужели ложь я говорю?

---

[1] Слова, напечатанные здесь косыми буквами, дурно передают смысл подлинника. (*Примечание в тексте Отеч. Зап.*)

У Марты Гретхен сознается ему в любви (нам нечего говорить, что все эти сцены — верх совершенства)... И Фауст,— счастливец Фауст спешит, вы думаете, к наслажденью? Нет, он спешит в леса предаваться новым мечтаниям и благодарит Могучего Духа за то, что он дал ему способность проникнуть в грудь природы, как в сердце друга... Кстати, мы должны обратить внимание читателя на одну весьма важную ошибку г-на переводчика. В своем «Обзоре обеих частей „Фауста“» он говорит следующее:

«Маргарита падает... Вслед за тем опомнившийся Фауст покидает свою жертву, удаляется в пустыню, предается там созерцанию природы и собственной души своей». Это предположение г. Вронченко о времени падения Маргариты неверно, во-первых, психологически, во-вторых, фактически: у Гёте явно сказано, что падение Маргариты совершается после возвращения Фауста; вот его собственные слова в собственном переводе г. Вронченко:

Фауст

Ужель мне никогда с тобою
Минутки быть нельзя спокойно одному,
Грудь с грудью и душа с душою?

Маргарита

Ах! если б я одна спала!
. . . .

и далее:

Едва тебя завижу, вдруг
Я становлюсь твоей покорна воле.
Я столько для тебя уж сделала, мой друг,
Что нечего почти мне делать боле...

Эти слова, неизъяснимо трогательные в устах девушки, которая действительно, по словам г. Вронченко, едва ли понимает, что значит «падение женщины», находятся в сцене, *которая следует за сценой* Фауста в лесу. За этой сценой находится песенка Гретхен, это дивное излияние страстной и стыдливой тоски, которая, несмотря почти на детскую простоту содержания, вероятно никем и никогда не будет даже удовлетворительно передана... За разговором Фауста с Гретхен о религии следует ее падение... и вот — всё кон-

чено... Гретхен сокрушается под бременем своего горя, а Фауст отправляется на Брокен, где с ним разговаривают разные аллегорические лица. Проклятия его, когда он узнает от Мефистофеля, что Гретхен находится на краю гибели, просто отвратительны: он обвиняет других, когда он сам первый виноват или, пожалуй, не виноват, но тогда ему не из чего и горячиться. А последняя сцена в тюрьме... кто ее не читал, кто ее не знает?.. И скажите, читатель, Гретхен, этот бедный, глупый, обманутый ребенок, в этой сцене не в тысячу ли раз выше умного Фауста, который с торопливым смущением умоляет ее бежать вместе с ним, хотя он очень хорошо знает, что комедия с Гретхен разыграна и что вся эта любовь, говоря гётевским слогом, относится к его прошедшему? Да, «он совершил то, что ему следовало совершить» (was er gesollt, hat er vollendet); но он не ожидал кровавой развязки; он испуган, он желает спасти ее, хотя горе ей, если он действительно спасет ее от смерти!.. Но пошлость не восторжествует на этот раз: Гретхен удостоивается трагической кончины, и ее последним, страшным криком заключается вся трагедия...

Многие толковали и толкуют до сих пор, что Гёте не без глубоко обдуманного намерения — именно *так* кончил своего «Фауста»; но нам кажется, что вся первая часть «Фауста» прямо вылилась из души Гёте и что он начал «обдумывать», «округлять» и художнически «оканчивать» свое творение, когда принялся писать вторую часть. Вся первая часть «Фауста», как произведение в высшей степени гениальное, проникнута бессознательной истиной, непосредственным единством. Действительно, размышляя о «Фаусте», вы чувствуете, что в нем всё необходимо, нет ничего лишнего; но ясно ли сознавал сам Гёте гармонию своего произведения? — предоставим другим разбирать психологически этот вопрос.

«Фауст» (мы говорим о первой части) разделяется в наших глазах на две половины: первая представляет зрелище вечной, внутренней борьбы личного духа; в другой разыгрывается перед нами трагикомедия любви. В обеих видим человека, который без веры в счастие стремится к нему. И что ж? Ни собственные убеждения, ни близость другого существа, ни знание, ни лю-

бовь, ничто не может заставить его сказать мгновению: «Не улетай! ты так прекрасно...» Увы! люди гораздо ниже Фауста не раз воображали найти, наконец, блаженство в любви женщины гораздо выше Маргариты,— и вы сами знаете, читатель, каким аккордом разрешались все эти вариации... Гретхен можно сравнить с Офелией; но Гамлет, разрушив ее, разрушается сам, между тем как в начале второй части трагедии Гёте мы видим Фауста, спокойно отдыхающего весной на траве, под пение сильфов, и вполне позабывшего всё свое прошедшее. Ему теперь не до бедной и простой девушки вроде Гретхен... он мечтает о Елене...

«Фауст» — великое произведение. Оно является нам самым полным выражением эпохи, которая в Европе не повторится,— той эпохи, когда общество дошло до отрицания самого себя, когда всякий гражданин превратился в человека, когда началась, наконец, борьба между старым и новым временем и люди, кроме человеческого разума и природы, не признавали ничего непоколебимого. Французы на деле осуществили эту автономию человеческого разума; немцы — в теории, в философии и поэзии. Немец вообще не столько гражданин, сколько человек; у него чисто человеческие вопросы предшествуют вопросам общественным; эпоха, о которой мы говорили выше, вполне соответствовала коренному направлению германского народа, и вот явился поэт, которого недаром упрекали в совершенном отсутствии всяких гражданских убеждений и называли язычником,— поэт, который только потому был немец, что одному немцу дано быть просто человеком, и который из глубины своей всеобъемлющей, но глубоко эгоистической натуры извлек «Фауста». Большая часть «Фауста» была им написана до 1776 года, то есть до переселения в Веймар, где он в течение восьми лет предавался буйной и разгульной жизни, потешался над всем и над всеми (что не помешало ему, однако ж, сделаться Geheimrath'ом [1]) и вообще жил, как говорится, гениально. Бёттихер и другие оставили нам несколько описаний тогдашнего его житья-бытья, и мы, признаемся откровенно, понимаем вполне педантическое негодование

---

[1] тайным советником (*нем.*).

тогдашних веймарских граждан против так называемых «сильных гениев» (Kraftgenies), то есть против Гёте и его сподвижников. Известно, что всё это кончилось,— «Итальянским путешествием»,«классическим успокоением» и появлением множества замечательных, глубоко обдуманных и округленных творений, которым мы все-таки предпочитаем добродушно-страстные и беспорядочные вдохновения его молодости.

Мы назвали «Фауста» эгоистическим произведением... но могло ли быть оно иначе? Гёте, этот защитник всего человеческого, земного, этот враг всего ложно-идеального и сверхъестественного, первый заступился за права — не человека вообще, нет — за права отдельного, страстного, ограниченного человека; он показал, что в нем таится несокрушимая сила, что он может жить без всякой внешней опоры и что при всей неразрешимости собственных сомнений, при всей бедности верований и убеждений человек имеет право и возможность быть счастливым и не стыдиться своего счастия. Фауст не погиб же. Мы знаем, что человеческое развитие не может остановиться на подобном результате; мы знаем, что краеугольный камень человека не есть он сам, как неделимая единица, но человечество, общество, имеющее свои вечные, незыблемые законы. Первая протестация человека против сверхъестественности в художестве должна была носить резкий отпечаток исключительности и эгоизма одностороннего. «Мы не имели,— говорит Гёте в своих записках,— ни желания, ни стремления заниматься предметами богословия или философией...»

Но люди требуют высказанного примирения; первая часть «Фауста» не представляла нам ничего подобного. Да и каким образом может человек, не выходя из сферы лично человеческого, дойти до полного округления своего существования? Этот вопрос мы и теперь разрешить не в силах: что же тогда? Но Гёте жил, и жил долго; после первых восьми лет буйной веймарской жизни наступила для него эпоха «успокоения» и «пластичности»... «Фауст» — это страстное неокругленное произведение его первой молодости не давало ему покоя; он принялся оканчивать свою трагедию — он задумал вторую часть. Поэтическая способность восприимчивости и воссоздания, которая всегда была так

сильно развита в душе Гёте, наконец стала ему дороже самого содержания, самой жизни: он вообразил себе, что стоит на высоте созерцания, между тем как смотрел на всё земное с высоты своего холодного, устарелого эгоизма. Он гордился тем, что все великие общественные перевороты, которые совершались вокруг него, не возмутили ни на мгновение его душевной тишины; он, как утес, не давал уносить себя волнам — и остался назади своего века, хотя его наблюдательный ум старался оценить и понять все замечательные современные явления,— но ведь одним умом не поймешь ничего живого. Он был прав перед самим собою, он не изменил себе, и сограждане его, немцы, даже молодые, любовались им и толпились вокруг него, подобострастно повторяя его вычурно-старческие изречения. Вся жизнь человеческая являлась ему аллегорией, и вот он написал свою великую (правильнее — длинную) аллегорию: вторую часть «Фауста». Суд над этой второй частью теперь произнесен окончательно; все эти символы, эти типы, эти обдуманные группировки, эти загадочные речи, путешествие Фауста в древний мир, хитро сплетенная связь всех этих аллегорических лиц и происшествий, жалкое и бедное разрешение трагедии, о котором так много хлопотали; вся эта вторая часть возбуждает участие в одних старцах (молодых или старых годами) нынешнего поколения; и, право, г. Вронченко мог бы избавить себя от неблагодарного, хотя и полезного труда представить нам эту вторую часть даже в извлечении. Но люди, по-видимому, не могут жить без «примирения жизненных противоречий», и их требования действительно были бы достойны уважения, если бы они не «примирялись» пока... на пустяках. В этой способности удовлетворяться неудовлетворительным скрывается тайна успеха (хотя преходящего) второй части «Фауста». Какой добросовестный читатель поверит, что Фауст, оттого, что его утилитарные затеи удаются, действительно наслаждается «мгновением высшего блаженства» и в силу условия, заключенного с чёртом, принужден расстаться с жизнью? Гёте в одном только отношении остался верен своей натуре: он не заставил Фауста искать блаженства вне человеческой сферы... но как бедно и пошло придуманное им «примирение»! И г. Вронченко обвиняет Гёте за его конец второй ча-

сти; но с его упреками мы согласиться не можем. Он говорит (на стр. 403): «при конце жизни Фауст чувствует, что, связавшись с волшебством (?!!), он проклял тем себя самого и всё, его окружающее... он всего страшится и в то же время полагает, что далее здешнего мира простирать взор не должно: он желает „выбиться на волю“ посредством утилитарности и умирает, мечтая о достижении своей утилитарной цели. По смерти Фауст прощен. Когда ж он перестает мудрствовать? (просим читателей обратить внимание на это слово; мы о нем поговорим впоследствии) когда находит путь истинный? Разглагольствовать тут нечего: пиеса, ясно и явственно, пришла не к тому концу, к которому прийти долженствовала (то есть Фауст не раскаялся в том, что связался с волшебством). Автор это видел и для поправления дела сказал в последней сцене, что прощение заслуживается „беспрерывностью искания“»... с чем г. Вронченко не может согласиться. Мы, с своей стороны, также недовольны «разрешением трагедии», но не потому, что именно это разрешение ложно, а потому, что всякое разрешение Фауста ложно; потому, что не романтизму, только что вышедшему из недр старого общества, дано знать то, чего еще мы сами не знаем; потому, что всякое «примирение» Фауста *вне* сферы человеческой действительности — неестественно, а о другом примирении мы пока можем только мечтать... Нам скажут: такое заключение безотрадно; но, во-первых, мы хлопочем не о приятности, а об истине наших воззрений; во-вторых, те, которые толкуют о том, что неразрешенные сомнения оставляют за собою страшную пустоту в человеческой душе, никогда искренно и страстно не предавались тайной борьбе с самими собою; они бы знали, что на развалинах систем и теорий остается одно неразрушимое, неистребимое: наше человеческое *я*, которое уже потому бессмертно, что даже оно, оно само не может истребить себя... Так пусть же «Фауст» остается недоконченным, фрагментарным, как и то время, которому он служит выражением,— время, для которого страдания и радости Фауста были высшими страданиями и радостями, а ирония Мефистофеля — самой безжалостной иронией! В недоконченности этой трагедии заключается ее величие. В жизни каждого из нас есть эпоха, когда «Фауст» нам является самым

замечательным созданием человеческого ума, когда он вполне удовлетворяет всем нашим требованиям; но приходит другая пора, когда, не переставая признавать «Фауста» величавым и прекрасным произведением, мы идем вперед, за другими, может быть, меньшими талантами, но сильнейшими характерами, к другой цели... Повторяем: как поэт Гёте не имеет себе равного, но нам теперь нужны не одни поэты... мы (и то, к сожалению, еще не совсем) стали похожи на людей, которые при виде прекрасной картины, изображающей нищего, не могут любоваться «художественностью воспроизведения», но печально тревожатся мыслию о возможности нищих в наше время.

Мы в начале статьи напомнили читателям лермонтовский стих: «Какое дело нам, страдал ты или нет?..» Но теперь, переходя собственно к разбору перевода г. Вронченко, не можем не сознаться, что всякий истинно великий поэт имеет право сказать нам, профанам: «Какое дело мне — нравлюсь ли я вам, или нет?» Мы укоряем его в односторонности, в том, что он не удовлетворяет современным требованиям, но талант — не космополит: он принадлежит своему народу и своему времени. Он имеет право существовать, не дожидаясь суждения других. Счастлив тот, кто может свое случайное создание (всякое создание отдельной личности случайно) возвести до исторической необходимости, означить им одну из эпох общественного развития; но велик тот, кто, подобно Гёте, выразил собою всю современную жизнь и в созданиях, в образах проводит пред глазами своего народа то, что жило в груди каждого, но часто не могло высказаться даже словом... Одно лишь настоящее, могущественно выраженное характерами или талантами, становится неумирающим прошедшим...

В старинных учебниках находится всегда параграф о пользе той науки, о которой идет речь. Вероятно, читатели избавят нас от обязанности доказывать пользу перевода «Фауста» на русский язык. Труд г. Вронченко достоин уважения и благодарности, хотя мы уже теперь принуждены сознаться, что его никак нельзя считать окончательным. Но только со времени появления этого перевода наша публика познакомится с «Фаустом» Гёте. Мы боимся одного... мы боимся так

называемого succès d'estime [1], потому что труд г. Вронченко лишен именно того, что по справедливости нравится читателям,— лишен всякого поэтического колорита. А нам бы весьма хотелось, чтоб русская публика прочла — и прочла со вниманием «Фауста»! Несмотря на свою германскую наружность, он может быть понятней нам, чем всякому другому народу. Правда, мы, русские, не через знание стараемся достигнуть жизни; все наши сомнения, наши убеждения возникают и проходят иначе, чем у немцев; наши женщины не походят на Гретхен; наш бес — не Мефистофель... Нашему здравому смыслу многое в «Фаусте» покажется странным и вычурным (например, золотая свадьба Оберона и Титании, это интермеццо, в котором уже начинает проявляться страсть Гёте к аллегориям); но вообще весь «Фауст» должен спасительно на нас подействовать; он в нас пробудит много размышлений... И, может быть, мы, читая «Фауста», поймем, наконец, что разложение элементов, составляющих общество, не всегда признак смерти... Мы не будем бессмысленно преклоняться пред «Фаустом», потому что мы русские; но поймем и оценим великое творение Гёте, потому что мы европейцы... Нас не испугает отсутствие «примирения», о котором мы говорили выше; мы — как народ юный и сильный, который верит и имеет право верить в свое будущее,— не очень-то хлопочем об округлении и завершении нашей жизни и нашего искусства...

Г-н Вронченко, кроме перевода первой части «Фауста» и изложения второй, поместил в своей книге довольно длинную статью под заглавием: «Обзор обеих частей „Фауста“».

Не можем не пожалеть, что почтенный переводчик почел за нужное напечатать эту статью. В этом «Обзоре» неприятно поражает читателя какое-то странное озлобление против философии и разума вообще и против немецких ученых в особенности. Г-н Вронченко называет их «толковниками» и уверяет, «что нет сомнения, и из Бовы-Королевича выйдет подтверждение какой угодно философической системы». Мы очень хорошо знаем, что у каждого народа есть свои слабости; знаем, что, например, вторая часть «Фауста» по-

[1] успеха из уважения (*франц.*).

дала повод некоторым ограниченным головам написать длинные и хитросплетенные книги и что эти книги читались, потому что добросовестные немцы всё читают, мы даже готовы сознаться, что творения гг. Рётчера, Гёшеля и др. пользовались некоторой славой в свое время; но, вероятно, г. Вронченко не думает, что он первый открыл недостатки второй части «Фауста» и ограниченность гг. комментаторов; всё это уже de l'histoire ancienne [1] в Германии; стоит только указать на ряд статей автора книги «О возвышенном и комическом» — Фишера в «Hallische Jahrbücher» 1839 года, под названием: «Die Litteratur über Göthe's Faust». Вообще новейшее, современное движение умов в Германии, как нам кажется, не вполне знакомо г. переводчику: он бы не стал нападать так пространно и с таким жаром (см. стр. 373, 4, 5 и 6) на «толкованья», «толкователей», их «противоречия» и т. д., если б знал, что воюет с мертвыми; статьи того же Фишера, исполненные такой злой и неумолимой иронии, вероятно, отняли бы у него охоту в свою очередь потешаться над «дряхлеющим умом, который, как одетиневший старик, забавляется калейдоскопом мудрствования». И между тем г. Вронченко, несмотря на свою нелюбовь к «подразумению», «толкованию» и «систематизированию», первый впадает в ту же самую погрешность. Решившись руководствоваться «единственно здравым рассудком», г. Вронченко приступает к разбору характера «Фауста», к оценке мотивов трагедии. И что же! г. переводчик сам строит все свои выводы даже не на гипотезе, а на ложном переводе одного слова «streben», несмотря на то, что сам сознается в неточности своего перевода. Слово «мудрствовать», взятое отдельно, не может служить переводом немецкого «streben», говорит он в примечании к стр. 380-й. Разумеется, не может, потому что «streben» по-русски означает «стремиться», не более и не менее; не может, но должно... должно повиноваться здравому рассудку. Дело вот в чем: во втором прологе Дух говорит Мефистофелю:

Es irrt der Mensch, so lang er strebt.

(Т. е. человек заблуждается, пока только стремится).

---

[1] древняя история (*франц.*).

Г-н Врончено перевел этот стих следующим образом:

Человек
Рад мудрствовать во весь свой век,
А мудрствуя, нельзя не заблуждаться. (Стр. 18).

И на этом явно неточном переводе он основывает все дальнейшие свои выводы! Вот собственные слова г. переводчика: «Что автор себе предположил касательно хода и окончания пиесы? На это находим в Прологе ответ самый положительный. Мефистофель будет вести Фауста своим путем, но до цели своей не достигнет: Фауст найдет путь истинный — найдет именно тогда, когда перестанет мудрствовать. Заметим это последнее положение... оно неизбежно истекает... из того, что «мудрствуя, нельзя не заблуждаться». Т. е. г. Врончено привязывается к одному словечку... не точно ли так же поступают те комментаторы, на которых г. переводчик так победоносно нападает? Г-н Врончено до того увлекся своею системою воззрения на «Фауста», что даже в двух или трех местах своего перевода с намерением искажает смысл подлинника, например:

У Гёте (в сцене ученика с Мефистофелем) ученик говорит:

Möchte gern was Rechts hieraussen lernen.
(Т. е. я бы желал здесь чему-нибудь дельному научиться);

г. Врончено переводит:

Хочу чем дельным *голову набить* (стр. 84),—

между тем как слова «голову набить» явно противоречат робкому, неопытному и смиренному характеру ученика. Далее, на стр. 88, он заставляет того же ученика спросить у чёрта:

Не в философию ль *залезть* мне наконец? —

а у Гёте сказано:

Я почти готов заняться философией,

и т. д. Ненависть к «мудрствованию» побеждает в почтенном переводчике собственную его добросовестность, не подлежащую никакому сомнению; он переводит неверно... не переставая руководиться здравым рассудком. Читатель легко поймет из всего нами сказанного выше,

что мы совершенно не согласны с г. Вронченко насчет его воззрения на Фауста, Мефистофеля и т. д.— не потому, что оно слишком просто, а потому, что оно слишком сложно и хитро. Мы, подобно г. переводчику, не любим ни толкований, ни аллегорий, ни комментариев: нас занимает одно чисто человеческое, одно просто истинное; г. переводчик говорит, что Мефистофель есть «олицетворенное отрицание», и мы вполне согласились бы с ним, если б он удовлетворился своим определением и постарался вникнуть поглубже в собственные слова; но вдруг то же самое «олицетворенное отрицание» является у г. переводчика каким-то личным, капризным духом, чем-то вроде Бертрама в «Роберте-Дьяволе», мелодраматическим чёртом, который в одно прекрасное утро говорит самому себе: «Дай-ка погублю я этого добродетельного человека, Фауста!» И вот, по словам г. Вронченко (на стр. 388), «со времени знакомства с Мефистофелем в Фаусте исчезают все утешительные мысли»... Но как же это? ведь Фауст хотел отравиться до знакомства с чёртом? Куда же на это время девались эти *утешительные мысли*?.. Далее (на стр. 389) г. переводчик утверждает, что «сущное дело» для Мефистофеля «завлечь *желаемую свою жертву в губящие* душу преступления». Бертрам, совершенный Бертрам!.. Мы позволяем себе заметить г. переводчику, что борьба демона с человеком годится только в оперы г. Скриба и комп<ании>; что, допустив подобное толкование трагедии Гёте, мы никогда не поймем, почему слова Мефистофеля возбуждают такое глубокое сочувствие в душе Фауста; изъяснять же это сочувствие одним магическим влиянием беса на человека значит превращать великую трагедию в довольно пошлую мелодраму. Да! (и пусть г. переводчик нас упрекает в страсти к толкованиям) Фауст есть тот же Мефистофель, или, говоря точнее, Мефистофель есть отвлеченный, олицетворенный элемент целого человека Фауста, «олицетворенное отрицание», говоря собственными словами г. Вронченко. Всякий не «мудрствующий» не может не чувствовать внутренней, неразрывной связи, соединяющей Фауста с Мефистофелем; он не может не признать в этих двух фигурах проявления одной и той же личности — личности творца их. Мы не думаем вдаваться в «толкования»; напротив, для тех читателей, которые,

может быть, нашли наши рассуждения о Фаусте слишком «хитросплетенными», мы готовы самым простым, самым наивным образом изложить свое мнение о трагедии Гёте: и Фауст и Мефистофель — тот же Гёте; восторженные порывы, страстная тоска фантазирующего ученого так же непосредственно вытекли из сердца поэта, так же дороги и близки ему, как и безжалостная насмешка, холодная ирония Мефистофеля... Позвольте рассказать анекдот, который лучше всяких доводов подтвердит истину слов наших. Во время первого путешествия Гёте с братьями Штольбергами в Швейцарию один из них был страстно влюблен в девушку, на которой не мог жениться; сам Гёте находился под влиянием своей Лили. Где-то за обедом молодые люди разговорились о своих «любезных», стали пить за их здоровье, пришли в восторг — и Штольберг предложил выбросить все стаканы за окошко, для того, чтоб никто другой не мог потом осквернить своими прозаическими губами те стаканы, из которых они пили за здоровье «возлюбленных». Стаканы полетели за окно, и Гёте бросил свой... «но в это время,— говорил он потом,— мне показалось, что Мерк стоит за мною и смотрит на меня»... Вероятно, нашим читателям известно имя этого человека, который послужил Гёте типом Мефистофеля и застрелился на пятьдесят втором году своей жизни. Присутствие элемента отрицания, «рефлексии», в каждом живом человеке составляет отличительную черту нашей современности; рефлексия — наша сила и наша слабость, наша гибель и наше спасенье... Рефлектировать значит по-русски: «размышлять о собственных чувствах». Но, скажут нам, Мефистофель и Фауст в трагедии Гёте являются двумя отдельными лицами, которые действуют друг на друга; кто же нам дает право смотреть на них как на одно нераздельное целое, как на проявление одного, полного человека? На этот вопрос мы сперва ответим собственными словами г. переводчика (на стр. 378): «Мы постоянно должны заботиться еще об одном: не смешивать сущности предмета с его поэтической обстановкою», и прибавим от себя, что слова «поэтическая обстановка» далеко не выражают всей нашей мысли. Гёте, этот по преимуществу творческий гений, не мог не создавать определенных, действительных образов, а потому Мефистофель яв-

ляется у него — в первой части — не бледной аллегорией, но существом живым и деятельным человеком, таким же, как и Фауст. Но разве мы в жизни не стараемся «понять» людей? Почему же нам отказываться от права понимать художественные создания, как бы они ни были живы и действительны? Притом истина нашего воззрения (а мы повторяем только то, что давно сказано немцами, которых мы не позволяем себе не уважать) так и бросается в глаза даже поверхностному наблюдателю. Например, не сам ли Фауст говорит Мефистофелю (в переводе г. Вронченко):

Настанет день — его я с трепетом встречаю;
Я слезы лить готов — я знаю,
Что он пройдет, пройдет, ни одного
Не совершив желанья моего!
Что все надежды наслаждений
Он дерзкою насмешкой истребит
И повседневности уродством исказит
Изящный мир моих видений!

Последние четыре стиха неудовлетворительно переведены; у Гёте сказано:

Der selbst die Ahnung jeder Lust
Mit eigensinn' gem Krittel mindert,
Die Schöpfung meiner regen Brust
Mit tausend Lebensfratzen hindert;

а это по-русски значит:

(День)... который даже предчувствие наслажденья
Ослабляет своей упрямой критикой
И тысячью жизненными вычурами (причудами, развлечениями),
Не дает развиться созданию моей живой груди.

А проклятие Фауста? а слова его:

когда мгновенью я скажу:
«Не улетай, ты так прекрасно!»
Я сам тогда погибнуть буду рад...

А слова Мефистофеля (неудовлетворительно переведенные г. Вронченко):

Und hätt'er sich auch nicht dem Teufel über geben,
Er müsste doch zu Grunde geh'n!

Т. е.:

И если б он даже чёрту не отдался — он бы все-таки погиб,—

не изобличают ли все эти, почти наудачу выбранные нами, места присутствия в Фаусте того самого отрицательного элемента, который олицетворился в Мефистофеле? Впрочем, читателям, разделяющим наше мнение, мы более не станем доказывать то, что̀ в наших глазах ясно само собою; а чтоб читателям, не согласным с нами, дать понятие о том, как *развивает* г. переводчик свое собственное воззрение на Фауста, считаем долгом привести несколько мест из его обзора.

На стр. 387: «Бертрам... виноват,— Мефистофель *не мог иметь охоты* попасть под власть Фауста умышленно, а Фауст *не только не желал* завладеть Мефистофелем, *но и не думал о нем вовсе»...*

На стр. 391: «Мефистофель (познакомив Фауста с Гретхен) *мог бы похвалиться,* что сделал значительный шаг к достижению своей цели; однако ж *он тем не хвалится* — он видит, что вместе с гибельною для Маргариты страстию в сердце Фауста пробудились и другие чувствования, вовсе для чёрта нежелательные: *страх, жалость и раскаяние»...*

Не можем не заметить почтенному переводчику, что он сам опять немного «мудрствует» насчет любви Фауста к Гретхен...

На стр. 393: «Фауст *покидает* Маргариту — покидает потому, что с любовью стал знать и *жалость*, видеть *преступность* своего поведения» и т. д.

А вот оценка поэтического таланта Гёте (на стр. 418):

«Он во всяком сочинении за важное и главное почитал сущность, единство, смысл, направление... *всё же остальное*, отделку и язык, *называл* одеждою, которая может быть сделана *так или иначе*, лучше или хуже, без значительного влияния на достоинства целого».

Неужели это похоже на Гёте, на пластического, пантеистического Гёте, который не допускал разъединения идеи и формы, на того Гёте, который сказал:

Nichts ist innen! Nichts ist aussen!
Denn was innen ist — ist draussen! [1] —

---

[1] Нет ничего только внутреннего! Нет ничего только внешнего! Потому что внутреннее является одновременно и внешним! (*нем.*)

и в глазах которого форма, эта внешняя одежда, по словам г. Врончено, относилась к идее, как тело к душе! Сверх того, на стр. 375 сказано: «Если слушать мистиков, то Фауст ясно и неоспоримо написан в духе мистицизма»; мы покорнейше попросили бы г. переводчика назвать нам этих мистиков по именам... На стр. 427 г. переводчик, говоря об открытиях Гёте, уверяет, что ни одно из мнимых его открытий не признано за дельное и что «все они в ученом мире уже забыты — разумеется само собою». Г-н Врончено позволит нам заметить ему, что Гётева теория о цветах принята почти всеми учеными...

Обратимся, наконец, к самому переводу. Какого бы мнения ни был переводчик об авторе, им переводимом, если он хорошо исполнил свое дело, он прав перед собой и перед читателями. Посмотрим, до какой степени удался г. Вронченко его, повторяем, добросовестный и благонамеренный труд. Всякий перевод назначен преимущественно для не знающих подлинника. Переводчик не должен трудиться для того, чтоб доставить знающим подлинник случай оценить, верно или неверно передал он такой-то стих, такой-то оборот, он трудится для «массы». Как бы ни была предубеждена масса читателей в пользу переводимого творения, но и ее точно так же должно завоевать оно, как завоевало некогда свой собственный народ. Но на массу читателей действует одно несомненно прекрасное, действует один талант; талант, творческий дар, необходим переводчику; самая взыскательная добросовестность тут недостаточна. Что может быть рабски добросовестнее дагерротипа? А между тем хороший портрет не в тысячу ли раз прекраснее и вернее всякого дагерротипа? Заслуга переводчика чрезвычайно велика, но только тогда, когда ее действительно нельзя не признать заслугой. Многие не совсем бездарные, но и не даровитые люди охотно принимаются за переводы; переводя, они избавляются от необходимости прибегать к собственной изобретательности (которая, может быть, уже не раз изменила им); они имеют перед собой готовый материал, и между тем всё же они как будто создают, как будто сочиняют. Но не такими воображаем мы себе истинно хороших переводчиков. Такие натуры попадаются довольно редко. Их нельзя назвать самостоя-

тельными талантами, но они одарены глубоким и верным пониманием красоты, уже выраженной другим, способностью поэтически воспроизводить впечатления, производимые на них любимым их поэтом; элемент восприимчивости преобладает в них, и собственный их творческий дар отзывается страдательностью, необходимостью опоры. Они по большей части бывают люди с тонким вкусом, с развитой рефлексией. Таков был Шлегель, таков был и Фосс. Невольная симпатия привлекает их к тому поэту, которого они стараются передать (вспомним о Жуковском и Шиллере); всякий хороший перевод проникнут любовью переводчика к своему образцу, понятной, разумной любовью, то есть читатель чувствует, что между этими двумя натурами существует действительная, непосредственная связь...

Г-н Вронченко только отчасти удовлетворяет этим требованиям. Мы с удовольствием отдаем полную справедливость его добросовестной отчетливости, его терпеливому трудолюбию; он переводил «Фауста», как говорится, con amore[1] — и многое, в особенности роль Мефистофеля, действительно ему удалось; но он не поэт, он даже не стихотворец; ему недоступно то, что составляет тайную гармонию стиха. Он в предисловии говорит, что «забота о гладкости стихов была делом не главным, а последним...» И мы не хлопочем о гладкости стихов, но о стихе вообще, которого мы — признаемся откровенно — не находим у г. Вронченко. Едкие, прозаичные, отрывистые речи Мефистофеля переданы г. переводчиком, как мы уже сказали выше; часто весьма удачно, хоть иногда промелькивает в них какое-то неприятное *жартованье*, которое совершенно чуждо немецкому Мефистофелю: Мефистофель не юморист... Сцена у ведьмы, сцена в «Доме соседки» (стр. 134) даже очень хорошо переведены, хоть и здесь нам не совсем нравятся слова: «милый простачина» (стр. 141), вложенные в уста Марты. Но, не говоря уже о лирических местах, которыми особенно изобилует начало трагедии, вся роль самого Фауста переведена вообще довольно неудачно, хотя верно. Эта верность не совсем нас радует — мы сейчас объясним, почему. Чем более перевод нам кажется не переводом,

[1] с любовью (*итал.*).

а непосредственным, самобытным произведением, тем он превосходнее; читатель не должен чувствовать ни малейшего следа той ассимиляции, того процесса, которому подвергся подлинник в душе переводчика; хороший перевод есть полное превращение, метаморфоза. Такой перевод не может быть неверным, точно так же, как хорошая копия Рафаэлевой Мадонны не может быть относительно шире, или длиннее, или у́же оригинала; плохие же переводчики напоминают собой детей, которые беспрестанно посредством циркуля сравнивают расстояния от глаза до губ и т. д. в своем рисунке и в оригинале, и сами удивляются, что у них выходит не то. Наше сравнение, конечно, не применяется вполне к труду г. Врониченко... Но его труд — действительно труд... Это не источник, который свободно и легко бьет из недр земли: это колодезь, из которого со скрипом и визгом насос выкачивает воду. Вам беспрестанно хочется воскликнуть: браво! еще одна трудность преодолена!.. между тем как нам бы не следовало и думать о трудностях. Люди, не знающие вовсе подлинника, но одаренные ухом и вкусом, лучшие судьи в этом деле; заставьте их прочесть вот хоть бы эти стихи:

Подобен не богам — да, *ясен жребий мой* —
Подобен червю я, *что в прахе обитает*
И кормится, и там, под *путника стопой*,
Смерть и могилу *обретает*! (стр. 35),—

их, наверное, поразят слова, напечатанные косыми буквами... И действительно, именно эти слова неверно передают подлинник...

У Гёте сказано:

Den Göttern gleich' ich nicht! Zu tief ist es gefühlt...
Den Wurme gleich' ich, der den Staub durchwühlt,
Den, wie er sich im Staube nährend lebt,
Des Wandrers Tritt vernichtet — und begräbt...

то есть:

Я не подобен богам! *Слишком глубоко я это чувствую...*
Я подобен червяку, *который роется в пыли*
И которого, *как он там в пыли*, *кормясь*, *живет*,
Нога *прохожего уничтожает и погребает.*

Как горько повторение этого слова «пыль»! Как грустно звучит последнее слово «begräbt»!.. Нам скажут: перевесть «Фауста» чрезвычайно трудно... Согласны; но посредственность неприятна везде, даже и в переводах.

Повторяем: перевод г. Вронченко верен, но мы уже сказали — какою верностью. Мы не чувствуем единой, глубокой, общей связи между автором и переводчиком, но находим много связок, как бы ниток, которыми каждое слово русского «Фауста» пришито к соответствующему немецкому слову. В ином случае даже самая рабская верность неверна. Например, Маргарита говорит у г. Вронченко о Мефистофеле: «Он мне противен в сердца глубине...» Это переведено слово в слово, и между тем какой неловкий и тяжелый оборот! Г-н Вронченко большей частью переводил слова... одни слова — поневоле скажешь:

Всё есть... одной безделки нет:
Духовная их связь уж улетела (стр. 86).

Впрочем, и у г. Вронченко, кроме речей Мефистофеля, большей частию удавшихся, находятся места, переданные художнически. Мы уверены, что все читатели «Фауста» отрадно отдохнут на следующих стихах (стр. 46):

Взгляни на город — разостлан в долине,
Отсюда он видится, как на картине:
Быстро из узких старинных ворот
Сыплется плотной гурьбой народ —
Всякий на солнце выходит сегодня
Праздновать день воскресенья господня,
Сами, воскреснув душой от трудов,
Забывши о нуждах вседневных заботу,
Все из-под кровель тяжелого гнету,
Из душных рабочих, из тесных домов,
Из храмов торжественно-сумрачной сени,
Из улиц, сжатых рядами строений,
Бегут, чтоб на воле в усталую грудь
Вешний, целебный воздух вдохнуть.
Посмотри, полюбуйся! повсюду, как волны,
Толпа дробится вблизи, вдалеке;
А там, колыхаясь по светлой реке,
Несутся врозь веселые челны;

Вот в пристани, весь дополна нагружен,
Оставался один — и тот отплывает!
Куда ни взгляни, со всех сторон,
Даже с гор, цветная одежда мелькает.

Прекрасно... O, si sic omnia![1] Мы сказали выше, что, по нашему понятию, напрасно г. переводчик заставил Мефистофеля *глумиться*; но уже возможность придать какой-нибудь колорит своему переводу показывает некоторую самостоятельность в переводчике, между тем как всё остальное передано довольно бесцветно. Сверх того, мы заметили, что во всех патетических местах г. переводчик прибегает к славянским словам, к риторической напыщенности, везде неуместной и охлаждающей читателя, но в особенности в «Фаусте». Одно из главных достоинств Гёте, даже в сравнении с Шиллером, состоит в энергически-страстной простоте его слога: в самом «Тассе», в «Ифигении», несмотря на художническую, иногда изысканную отделку стиха, находится гораздо менее архаизмов, чем в позднейших сочинениях Шиллера, потому что у Гёте талант непосредственно вырос из собственной, ежедневной его жизни и весь был проникнут чувством действительности. Ссылаемся на сказанное уже нами о совместимости страстных порывов в душе Гёте с чрезвычайно тонкой и развитой способностью самонаблюдения. Но, например, в первой сцене «Фауста» узнает ли кто патетические, стремительные стихи Гёте в следующих неповоротливых стихах:

Почто вы, звуки, мощны и отрадны,
Меня здесь в прахе ищете? к чему?
Гремите там, где к вам сердца не хладны —
Я слышу благовест, но веры не *иму*...
А чудеса *суть чада* веры!

. . . .

Звучали *вещe* в тьме колокола.

. . . .

В поля, в леса я убегал,
Точил ручьями слезы умиленья...

. . . .

Воспоминаний детских сила
Претит мне предпринять последний, грозный шаг
(стр. 39—40).

---

[1] О, если бы так всё! (*лат.*)

Вообще г. переводчик употребляет множество слов либо устарелых, либо даже нерусских. Слова: «возмогу», «почто», «днесь», «перси», «нарицать», «зане», «некий», «млада» и т. п. попадаются часто... Фауст говорит (стр. 28) Духу:

Снести твой *зрак* я не имею сил...

Сверх того, встречаются слова и обороты вроде следующих: «однак», «враздробь», «никто не весть», «а что *творила*», «дхновение», «пялиться» и т. д. и т. д.; существительное в родительном падеже беспрестанно стоит перед тем словом, от которого оно зависит; например:

Мечтавший
Быть *к вечной истины зерцалу близким...*

Притом мы принуждены повторить, что у г. переводчика нет *стиха*. Например, возьмите известное Посвящение «Фауста». Оно написано у Гёте пятиямбным стихом с цезурой, исключая трех стихов:

Und manche lieben Schatten steigen auf...
Die Seelen, denen ich die ersten sang —
Nach jenem stillen, ernsten Geisterreich [1],—

и вы чувствуете, что отсутствие цезуры как бы условлено самим содержанием этих трех стихов. У г. Вронченко все стихи Посвящения без цезуры и довольно тяжелы... Многим, может быть, наши замечания покажутся мелкими придирками; но мы хотим доказать людям, одаренным музыкальным ухом, что почтенный переводчик едва ли обладает тем чувством гармонии, которое дается каждому поэту. Смысл подлинника передан почти везде верно, исключая некоторых добровольных отступлений и нескольких недобровольных ошибок. В числе первых находятся такие, за которые мы не почитаем себя вправе порицать г. Вронченко, хотя нам кажется, что лучше было бы вовсе пропустить иные места (как, например, речь Мефистофеля во втором прологе и т. д.); но попадаются и такие, в которых явно высказывается либо *презрение к мудр-*

---

[1] И многие милые тени встают... Души, которым я первым пел, после того тихого, строгого царства призраков (*нем.*).

ствованию, либо неуместное желание усилить краски. Например, Фауст у Гёте говорит: «напрасно станет *сухое размышление* (trockes Sinnen) разгадывать эти священные знаки»; у г. Вронченко:

Но в книге знаков смысл толкуя,
Не властен ум их разгадать;

Фауст у г. Вронченко называет Вагнера «ослом» и «глупцом»; Мефистофель толкует о «покойчике» Маргариты, о своей собственной «рожице», о том, что Фауст *«дурит умом»*; один горожанин употребляет слова: *«дуют в рыло»* и т. д. Иные стихи совершенно неверно переданы; например, что такое (стр. 1): «чем бытие земное *изукрашало прежде свой полет»?* На стр. 15:

Моря колеблются; на *бреге*
Недвижны горы и *поля*...

У Гёте сказано: «Вскипает море широкими струями у подножья скал»; на стр. 67: «Там славословие (?) с чистой любовию...» и т. д. и т. д. Встречаются даже ошибки, показывающие незнание языка — не книжного, а разговорного. Вот некоторые из них. На стр. 66: «gute Mähr sagen» совсем не значит: «рассказать сказочку», а просто «поболтать»; на стр. 96 г. Вронченко почел одно весьма обыкновенное выражение: «aus dem letzten Loch pfeifen» («быть при последнем издыхании» — слово в слово: «свистать из последней дырочки») за непристойность и, с важностью добросовестного переводчика, перевел это выражение... как? — извольте справиться сами, почтенный читатель... На стр. 102: «Sie sind vom Rhein», значит: «они родом с Рейна», а не «для них — Рейн был по пути». На стр. 160: слова Мефистофеля к Фаусту: «ну, иногда я позволяю тебе самого себя обманывать», переведены:

Я всё *прочу* (?)
Авось тебя кой-чем приятно поморочу...

На стр. 168:

Вся сила в ощущенье...
Природа ж звук и дым...—

у Гёте сказано: «слово, названье» (Name). *Природа*

здесь не имеет смысла. На стр. 186 слова: «aus dem vergriffennen Büchelchen» — переведены: «по книжке *наобум*» вместо: «по захватанной (от употребления запачканной, старой) книжке». Г-н переводчик смешал слова: «ergreifen» и «vergreifen»! На стр. 221 — почему слова Мефистофеля: «Vorbei, vorbei!» («мимо, мимо!») переведены: «пускай их! едем»? и т. д. По крайней мере рифма этого не требовала.

Неточных выражений также попадается чрезвычайно много. Кстати: напрасно г. Вронченко говорит в предисловии: «в примечаниях означены отступления»... не все отступления означены в примечаниях! Сверх того, мы твердо убеждены, что ни один читатель не запомнит четырех стихов сряду из перевода г. Вронченко. Может ли, например, следующее четверостишие лечь кому-нибудь на память (мы уже не говорим о тех, которые знают подлинник):

Фауст

Да! мертвые глаза... видно, что с участьем
Никто их *веждей* не закрыл...
Вот грудь, *на коей я восторги пил*,
Вот Гретхен, *бывшая мне радостью и счастьем*!

Из всего сказанного мы выводим следующее заключение: всё, что мог только сделать добросовестный и трудолюбивый переводчик, не поэт, исполнено г. Вронченко... но это *всё* не удовлетворяет читателя. Замечательно, что ни один перевод г. Вронченко (его «Макбет», «Гамлет») не считался окончательным; другие, и не безуспешно, принимались именно за те же трагедии. Как работа приуготовительная, его переводы всегда приносили большую пользу: они знакомили публику с произведениями замечательными, возбуждали и поощряли других; его «Макбет», его «Гамлет» отличаются довольно определенным колоритом; мы не можем забыть, что любовь к Шекспиру собственно *им* возбуждена в кругу наших читателей. Но «Фауст» Гёте, сознаемся откровенно, превзошел его силы; такая определенная, страстная, глубоко поэтическая личность могла быть передана только другим поэтом... Бесспорно, перевод г. Вронченко несравненно выше какого-нибудь вялого подражания «Фаусту», написанного пустозвонными ямбами; читатели с удовольстви-

ем и пользою прочтут этот новый перевод; но считать труд г. Вронченко окончательным мы не можем, хотя и будем удовлетворяться им до тех пор, пока не явится der rechte Mann [1], как говорят немцы.

Мнение наше о самом «Фаусте» известно читателям; немцам пора бы оторваться от слишком исключительного поклонения «Фаусту» (мы еще недавно читали стихотворение г. Карриера, в котором он называет «Фауста» das Buch des Lebens [2], потому что своим прошедшим, как бы оно прекрасно ни было, слишком долго любоваться не следует; пора, давно пора немцу Фаусту выйти из своей кельи, в которой он всё еще сидит о̀бок с Вагнером, так же как и император Фридрих, в народных сказаниях, сидит и дремлет под землей; * пора ему перестать заниматься трансцендентальными вопросами... Но на нас, русских, «Фауст» не может иметь подобное влияние: мы вообще не отличаемся определенностью и неподвижностью убеждений; напротив, скорее следует бояться, что «Фауст» пройдет у нас довольно незаметно, не возбудив в нас особенного размышления, тем более что труд г. Вронченко — труд огромный и добросовестный, кроме холодной благодарности, ни от кого не получит другой дани. Как быть! Это пока общая у нас участь всех подобных трудов...

---

[1] настоящий человек (*нем.*).

[2] книгой жизни (*нем.*).

* С тех пор он вышел... даже слишком вышел, по мнению многих. 1879. (*Примечание Тургенева.*)

СМЕРТЬ ЛЯПУНОВА. Драма в пяти действиях в прозе. Соч. С. А. Гедеонова. Санкт-Петербург. 1846. В тип. императорской Академии наук. В 8-ю д. л., 115 стр.

В нынешнем году на Большом театре давали оперу г-на Николаи «Il Templario» [1], которая довольно понравилась публике, несмотря на совершенное отсутствие творческого дара, самобытности, несмотря на бесчисленные подражания. В авторе заметна была ловкость, образованность, музыкальная начитанность, если можно так выразиться; он не впал ни в одну грубую ошибку... Точно такими же достоинствами отличается драма г-на Гедеонова, о которой мы обещали поговорить на досуге, разбирая третий том «Новоселья», где она напечатана. Исполняем теперь это обещание тем охотнее, что в прошлом месяце появилось мало беллетристических произведений, на которые стоило бы обратить особенное внимание.

Драматическое искусство, как и вообще все искусства и художества, занесено было в Россию извне, но благодаря нашей благодатной почве принялось и пустило корни. Театр у нас уже упрочил за собой сочувствие и любовь народную; потребность созерцания собственной жизни возбуждена в русских — от высших до низших слоев общества; но до сих пор не явилось таланта, который бы сумел дать нашей сцене необходимую ширину и полноту. Мы не станем повторять уже не раз высказанные на страницах «Отечественных записок» мнения о Фонвизине, Грибоедове и Гоголе: читатели знают, почему первые два не могли создать у нас театра; что же касается до Гоголя, то он сделал всё, что возможно сделать первому начинателю, одинокому гениальному дарованию: он проложил, он указал дорогу, по которой со временем пойдет наша

[1] «Тамплиер» (Рыцарь храма.– *Итал.*).

драматическая литература; но театр есть самое непосредственное произведение целого общества, целого быта, а гениальный человек все-таки один. Семена, посеянные Гоголем,— мы в этом уверены,— безмолвно зреют теперь во многих умах, во многих дарованиях; придет время — и молодой лесок вырастет около одинокого дуба... Десять лет прошло со времени появления «Ревизора»; правда, в течение этого времени мы на русской сцене не видели ни одного произведения, которое можно было бы причислить к гоголевской школе (хотя влияние Гоголя уже заметно во многих), но изумительная перемена совершилась с тех пор в нашем сознании, в наших потребностях.

История искусства и литературы у нас на Руси замечательна своим особенным, двойственным развитием. Мы начинаем с подражания чужеземным образцам; люди с талантом чисто внешним, говорливые и деятельные, представляют в своих произведениях, лишенных всякой живой связи с народом, одни лишь отражения чужого таланта, чужой мысли — что́ им не мешает самодовольно толковать об оригинальности, о народности; их современники, увлеченные весьма простительным тщеславием, называют их великими писателями, великими художниками, ставят наравне с известными именами... Так, Сумарокова величали русским Вольтером!! Между тем неслышно и тихо совершается переворот в обществе; иноземные начала перерабатываются, превращаются в кровь и сок; восприимчивая русская природа, как бы ожидавшая этого влияния, развивается, растет не по дням, а по часам, идет своей дорогой,— и со всей трогательной простотой и могучей необходимостью истины возникает вдруг, посреди бесполезной деятельности подражания, дарование свежее, народное, чисто русское,— как возникнет со временем русский, разумный и прекрасный быт и оправдает, наконец, доверие нашего великого Петра к неистощимой жизненности России.

Но если в иных отраслях искусства и совершился такой благодетельный перелом, зато в других мы должны еще пока питаться надеждами и беспрестанно встречаться с произведениями, из которых лучшие тем только и хороши, что они не худы, и бороться с крикливыми мнениями людей, которых скорее и основа-

тельнее всякой критики убедило бы появление истинного таланта... Лучшая рецензия на романы г-на Булгарина — «Мертвые души»; всякая рецензия еще напоминает разбираемое сочинение, признает по крайней мере его существование, а «Мертвые души» заставили преспокойно забыть г-д Выжигиных и комп‹анию›. Нравственно-сатирические и исторические романы старого покроя убиты; но исторические драмы существуют... И потому-то мы должны заняться «Смертью Ляпунова» г-на Гедеонова.

Исторический роман, историческая драма... Если каждого из нас так сильно занимает верное изображение развития самого обыкновенного человека *, то какое впечатление должно производить на нас воспроизведение развития нашего родного народа, его физиономии, его сердечного, его духовного быта, его судеб, его великих дел? Вспомните драматизированные хроники Шекспира, «Гёца фон Берлихинген», романы Вальтера Скотта, наконец даже хроники Витте́ и Мериме. Кто решается — не смиренно и терпеливо пересказать судьбы своего народа, следуя современным бытописаниям, но в живых образах и лицах воссоздать своих предков, избегнуть холода аллегорий и не впасть в сухой реализм хроники, действительно представить некогда действительную жизнь,— тому мало даже большого таланта: если в сердце его не кипит русская кровь, если народ ему не близок и не понятен прямо, непосредственно, без всяких рассуждений, пусть он лучше не касается святыни старины... Но великие дела тем и отличаются от малых, что они кажутся легкими для всех, хотя действительно легки для весьма немногих; оттого-то такое множество людей у нас и берется за исторические драмы.

Оно понятно и с другой стороны. Кому не дорог успех, кому не хочется рукоплесканий? В сердце русского живет такая горячая любовь к родине, что одно ее священное имя, произнесенное перед публикой, вызывает клики одобрения и участия. Но, кажется, пора

* Покойный Полевой говорит в своих «Заметках русского книгопродавца», что «на русском языке записок появлялось мало», но какие появлялись, «все почти раскупались хорошо и принадлежали к самым ходким книгам». (*Примечание Тургенева.*)

бы заменить патриотические возгласы действительным драматическим интересом и не присвоивать своему таланту выражения чувств, не им возбужденных.

Ляпунов уже не раз удостоился двусмысленной чести быть героем русской исторической драмы. В изображении его характера до сих пор следовали Карамзину. Со всем уважением к знаменитому историографу мы осмеливаемся думать, что он,— так же, как из лица Грозного,— сделал из Ляпунова лицо фантастическое. Ляпунов был человек замечательный, честолюбивый и страстный, буйный и непокорный; злые и добрые порывы с одинаковой силой потрясали его душу; он знался с разбойниками, убивал и грабил — и шел на спасение Москвы, сам погиб за нее. Такие люди появляются в смутные, тяжелые времена народных бедствий как бы на вторых планах картины; как люди второстепенные, они исчезают перед честной доблестью, ясным и светлым разумом истинных вождей; но их двойственная, страстная природа привлекает драматических писателей... Шекспир любил изображать такие лица. Оттого выбор Ляпунова, как главного действующего лица драмы, нам всегда казался удачным; мы не раз мечтали о той яркой, подвижной картине, которую писатель с дарованьем сумел бы провести перед нашими глазами... Вместо мучительной однообразности или натянутой, еще более мучительной пестроты условных фраз, условных возгласов, условных эффектов он бы дал нам, наконец, услышать голос истины, еще более трогательной и потрясающей в прошедшем, чем в настоящем...

Обратимся же к драме г. Гедеонова. Г-н С. А. Гедеонов — человек образованный и начитанный, в этом нет сомнения; начитанность его высказывается в множестве заимствований, которыми он обогатил свое произведение. Слог его гладкий и чистый — слог образованного русского человека. Как человек образованный и со вкусом, он не впал ни в одну грубую и явную ошибку; план «Смерти Ляпунова» именно такой, какого и ожидать следовало; словом, как произведение эклектическое, драма г. Гедеонова показывает, до какой степени, при образованности и начитанности, можно обходиться без таланта.

Истинный талант создает школу; но до появления

этого таланта обыкновенно в отрасли словесности, ожидающей подобного возобновления, образуется целый ложный род, который в ней существует, несмотря на свою внутреннюю лживость. В нашей литературе упрочилась именно такого рода драма благодаря стараниям покойного Полевого, гг. Кукольника и Ободовского. Г-н Гедеонов не вышел из колеи, проложенной его предшественниками; но он отличается от них совершенным отсутствием самобытности. В «Смерти Ляпунова» легко отыскать и указать следы влияния Шекспира, Загоскина, Шиллера, новейших французских мелодрам, Гёте, Гоголя, Кукольника и т. д. Эта мозаичность составляет в одно и то же время и недостаток и достоинство драмы г. Гедеонова: недостаток потому, что только живое нас занимает, а всё механически составленное — мертво; достоинство — потому, что бесцветное подражание всё же лучше плохой самостоятельности, уже потому лучше, что не может получить никакого влияния.

Приступим к изложению содержания «Смерти Ляпунова».

Первое действие начинается в избе Заруцкого. Казаки пьют.

— Как! — говорит первый атаман,— чтоб честные казаки поддались московскому мужичью? да не будь я Остап Кукубенко...

Заварзин. Ну, ну, успокойся, чёртов сын!.. Да мне-то оттого не легче: погиб кривой Наливайко!

1-й атаман. Кривой Наливайко был хороший казак,

Заварзин. А как же! ходил со мною в Туречину, побывал и в Натолии, съест поляка, закусит татарином; под Дубном ему стрелою глаз выкололо; был славный казак!

Заварзин (*пьет*). Погибли еще Тарасенко да Вертихвист...

«Тарас Бульба» замечательное произведение, не правда ли, читатель?.. Казаки, разъяренные самоуправством Ляпунова, клянутся погубить его. Заруцкий сообщает свои планы своему наперснику. Является гонец с известием о прибытии Марины. Вся эта сцена писана слогом «маленько мужицким», развалистым, как оно и прилично тогдашним казакам; но в следующей сцене Марина говорит уже вот как: «Моск-

ва! Москва! как грустно и как весело смотреть на тебя!» А спутник ее, влюбленный в нее юноша, Симеон Волынский, нечто среднее между Максом из «Валленштейна» и Францем из «Гёца фон Берлихинген», отвечает ей: «Разве час твоего свидания с Москвою не страшный час нашей вечной разлуки?.. О! кто отдаст мне Коломну, кто отдаст мне эти двенадцать светлых дней моей жизни?» Марина требует от него, чтобы он примирил ее с Ляпуновым. Симеон уверяет ее, что это было бы для него «не земное, а райское счастье!» Марина называет его ребенком, а он восклицает: «О, зачем он (Ляпунов) тебя не видит, зачем он тебя не слышит, очаровательница! Какая железная кора не падет перед могучим словом этих алых уст? какой лед не растает от лучезарных очей твоих? Марина! мой разум немеет перед твоей волею!..»

Марина. Симеон, я буду любить тебя!

Симеон. Ты! ты будешь царицею, ты забудешь меня!

Марина. Ребенок... Иди, Симеон.

Симеон (*уходит и возвращается*). Марина! ты не любишь Заруцкого?

Марина. Я презираю его!

Симеон. О! я люблю тебя. (*Убегает в боковую дверь.*)

Марина (*одна*). Тебя любить! нет, Симеон! Марина тебя не любит и не будет любить! Бедный, жалкий человек!.. Цель твоей жизни, твоих действий — поцелуй женщины: правда, эта женщина — царица, а эта царица — я!

Нам особенно нравится то обстоятельство, что влюбленного юношу называют Симеоном. Это славянское, в обыкновенной речи неупотребительное, имя так и дает вам чувствовать, что вы находитесь в области условного и что до истины тут дела нет никакого. Приходит Олесницкий, посол Гонсевского, и Заруцкий. Олесницкий говорит свысока, Марина тоже; по уходе посла Заруцкий снимает личину и «отделывает» Марину.

Разговор происходит между ними следующий:

Марина. Не знаю, что значит: избавиться? (От Ляпунова.)

Заруцкий. Известное дело (*делает знак убийства*). Какая ты стала непонятливая!.. Ну, а как Ляпунов нам петлю на шею наденет?

Марина (*смеясь и схватившись обеими руками за шею*). Моя шея не сделана для петли палача!

Заруцкий. Знаем! она сделана для жидовских объятий.

Марина. Заруцкий!

Заруцкий (*берет ее за руку*). Ну, ну, ну, успокойся! безумная!

Заруцкий уходит, Марина восклицает: «О, вечное правосудие! Ляпунов падет от Заруцкого! Ляпунов, эта высокая, божественная сила, это соединение всего прекрасного и великого!..» и потом объявляет, что: «Заруцкий прав. Прочь сожаление, прочь добродетель! Пусть действует провидение: я ему не помеха».

Первый акт кончается.

Эти сцены до того напоминают слог, манеру, все замашки тех исторических драм, которые дюжинами появляются на сцене Porte St. Martin и Gaîté, что кажутся переводом. Королева Маргарита в «Tour de Nesle»[1] г. Галльярде́ — родная сестра Марине г. Гедеонова.

Второе действие начинается длинным рассказом Ржевского своему наперснику о том, как Ляпунов его оскорбил и как он ему мстить намерен. К удивлению зрителя, Ржевский вдруг потом является самым жарким поклонником Ляпунова и даже гибнет вместе с ним. Потом собираются казаки и русские воины; является писарь Лыкин, «высеченный», говорит кудревато, поносит Ляпунова; ляпуновские побить его хотят, трубецкие защищают... Ну, одним словом, читатели, вспомните появление капуцина в «Лагере Валленштейна». Приходит Заруцкий, держит речь, начинает так: «Вот в рассуждении того теперь идет речь». («Тарас Бульба» — прекрасное произведение...) Понемногу он преклоняет весь народ на свою сторону. «Я, панове, держу эту речь,— повторяет он,— не для того, чтоб в чем обидеть Прокопия Петровича Ляпунова: он у нас такой воевода, каких не найти в целом свете»... And Brutus is an honourable man *. Но les beaux esprits se rencontrent...[2] Толпа, подстрекаемая Заруцким, бро-

---

[1] «Нельской башне» (*франц.*).

* А Брут честный человек. (Из речи Антония в «Юлии Цезаре» Шекспира.) (*Примечание Тургенева.*)

[2] острые умы сходятся... (*франц.*).

сается к дому Ляпунова. Он выходит... всё, разумеется, умолкает и трепещет. Ляпунов говорит им разные горькие истины и уходит. Сцена эффектная.

Второй акт кончается.

В третьем действии мы опять видим Марину, но уже не с Симеоном, а с наперсницей. Марина говорит ей: «Помнишь ли, Юзефа, Са́мбор с его зелеными, с его темными, роскошными садами, с его каштановыми аллеями, где раздавался так часто звонкий смех двух беспечных и счастливых красавиц? Помнишь ли эти внезапные переходы от детского смеха к непостижимой, чудной грусти, когда наша грудь волновалась от неизвестных желаний и лицо горело?» — Вот слог так слог! «А потом, когда вся Польша бросила свое гордое юношество к *ногам* Сендомирской *жемчужины*! Всё читало участь свою в этих глазах, в улыбке этих пламенных уст!.. И я играла любовью!» Юзефа отвечает ей, что «в человеческом сердце есть другие струны». Приходит слуга и доносит, что Ляпунов бежал. Марина разочаровывается, но Заруцкий приходит, объясняет всё дело к собственному стыду и к чести Ляпунова — и Марина сперва объявляет Заруцкому, что он раб ее воли, на что Заруцкий отвечает, что он пойдет домой и выпьет горелки, а сам идет к Ляпунову. «Да! — говорит она,— бывают такие природы! в них всё молчит, в них тлеет сокровенное пламя, доколе (о, доколе! как это «доколе» хорошо!) чужое дыхание не оживит и не разбудит его! Марина сто́ит полтрона! Решено! я иду, иду за шапкой Мономаха!»

Мы в избе Ляпунова. Он беседует со старцем Авраамием, обещает ему избавить Гермогена, спасти Москву. Старец удаляется. «Что́,— говорит Ляпунов,— наша храбрость воинская в сравнении с смиренною твердостью сего мужа? Мы летим в сраженье на борзых конях, покрытые сталью... Звуки труб, дым пороха, алая кровь... всё наполняет душу отвагой... а он!» По поводу этой тирады мы не можем не заметить, что так называемые общие места делятся на избитые и неизбитые; неизбитые ничем не лучше избитых. Являются бояре; начинается спор, как и следовало ожидать; князья унижают Ляпунова, один даже предлагает ему выйти с ним на бой, по старинному русскому обычаю; однако всё приходит в порядок, и воеводы

расходятся друзьями. Ляпунов молится. Входит Марина. «Один, и молится! — говорит она,— я этого не люблю». Начинается разговор между ними. Марина оправдывает свое поведение. Ляпунов ей что-то не верит, однако трогается ее судьбою. Марина старается его обольстить, сулит ему венец, говорит ему: «Оставь убийственное сомненье...» «Змея, змея — шепчет в сторону Ляпунов,— я понимаю тебя...» Марина продолжает с возрастающим жаром: «Любил ли ты когда, Ляпунов? слышал ли когда признание страстной могучей любви из уст женщины — не бесчувственной раскрашенной куклы, каковы ваши русские жены, а женщины, одаренной умом и душою? Что, если б нашлась такая жена, и она взяла бы тебя за мощную руку, и взглянула бы в твои светлые очи, и сказала тебе: друг, я люблю тебя!» Сверх того, Марина предлагает Ляпунову престол, а сына своего хочет удалить... Ляпунов негодует и осыпает Марину проклятьями и укоризнами. «Если же ты пришла сюда искать себе мужа,— говорит он ей, вдохновясь Шекспиром,— есть у меня холоп из татар; я, пожалуй, тебе его уступлю: быть может, он согласится быть супругом твоим». Марина выхватывает кинжал, кричит: «О боже!» — и падает на землю. Ляпунов сперва насмешливо глядит на нее, потом уходит.

Третий акт кончается.

Мы в стане русских. Воины сидят в живописном беспорядке и готовятся к приступу. Старый воин научает молодого не бояться неприятеля. Но вот является Симеон и говорит очень отрывисто. Союз его с Ляпуновым разорван! «Да! — восклицает он,— не будь ты мой Ляпунов... я убил бы тебя, мой Прокоп, и назвал бы Марину своею!» Является Ляпунов: узнает, à la Валленштейн, старого солдата, остается наедине с Симеоном и окончательно превращается в Валленштейна: «Ты стоишь подле меня, как моя молодость»,— говорит он Симеону: «er stand neben mir wie meine Jugend...»,— говорит Валленштейн о Максе. Pereant qui ante nos nostra dixerunt! [1] — Ляпунов расспрашивает Симеона о причине его грусти, узнает, что он любит

---

[1] Да погибнут те, кто раньше нас сказал то, что говорим мы (*лат.*).

чужеземку, и перестает быть Валленштейном; говорит, что в Немечине женщины с обнаженною грудью предаются бесовским увеселеньям и разврату заморскому; потом переходит к Марине и объявляет свое намерение задушить ее собственными руками. Симеон, услышав такие слова, берется одной рукой за кинжал, другою касается груди Ляпунова: «Прокоп Петрович, ты уже в кольчуге?» Ляпунов уходит. Симеон спешит к Марине.

Мы переходим в избу Марины.

Марина толкует с Заруцким о своем намерении послать подложное письмо от Ляпунова к Гонсевскому через Волынского. В этом письме Ляпунов изменяет отечеству; Волынский попадается в плен; Гонсевский его отпустит, а Волынский с письмом возвратится в думу боярскую, обвинит Ляпунова, вследствие чего Ляпунов неминуемо погибнет. Хотя читатель не понимает, каким образом Волынский может вдруг сделаться таким отъявленным негодяем и почему Гонсевский выдает Симеону письмо Ляпунова, но в знаменитых драмах г. Бушарди́ такие ли еще бывают несообразности! Заруцкий сомневается в возможности уговорить Волынского. «Он меня любит»,— отвечает Марина; Заруцкий все еще не убежден; «он любит *меня*»,— повторяет Марина и подчеркивает слово *меня*! Заруцкий более не сомневается и уходит. Марина остается одна... Но всю следующую сцену невозможно не выписать.

Марина (*одна, в ней нет ничего живого*. Она говорит глухим, гробовым, не твердым голосом*). Ко мне, ко мне, змеи адские! Ко мне, черное мщение!

Совершается дело неслыханное! дело темное и кровавое, от которого божьи ангелы отвращают лицо свое!

Ты сам виноват, Прокоп Петрович! Я шла к тебе с любовью, с надеждою и молитвой! Ты отвергнул меня! ты отнял

---

* Это замечание автора о состоянии души Марины напоминает нам замечания автора другой исторической драмы, исполненной высоких... комических достоинств. К сожалению, мы позабыли название этой драмы. Герой перебрасывает с руки на руку голову своего соперника, а сочинитель в выноске замечает: «Страшно!» В этой же драме место действия одной сцены описано следующим образом: «Направо кусты и лужайка; налево великий князь в богатейшем наряде». Но в сочинении г. Гедеонова нет ничего комического. (*Примечание Тургенева.*)

руку свою от Марины. Ты мог и не захотел извлечь ее из бездны позора и преступления!

Как он был хорош в своем гневе! Как благороден! Как я чувствовала, что могу любить! Но жалости он не знает! Не пожалеют и о нем. Убийство и смерть — торжествуют! Всё прекрасное гибнет! Добро есть зло, а зло есть добро!

Я покажу тебе, умею ли мстить за обиды! Был у тебя друг; ты его нежно любил; тебя друг твой продаст, ты падешь от ножа его! Ты любишь свою Русь, безумно любишь ее? Русь назовет тебя изменником, и поздние летописцы проклянут твое имя! Не правда ли, я умею мстить?

Я слышу его! Он идет! Ко мне, змеи адские! Ко мне, черное мщение!

Входит Симеон.

Симеон. Марина!

Марина. Это ты. Спасибо тебе, что пришел! Не бойся! Я призвала тебя не за кровавою местью! Вчерашние оскорбления забыты! Я хотела увидать еще раз, еще в последний раз того, кто любил меня...

Симеон. О боже! Мы расстаемся?

Марина. Навсегда! Я еду в дальний путь, Симеон!

Симеон. Я не хочу понимать тебя, но мне страшно!

Марина. Мог ли ты думать, что я соглашусь быть игрушкой Ляпунова? Что отчаянием и слезами я захочу увеличить его торжество? Мог ли ты думать, что я понесу на срамную плаху преступников мою венчанную голову? У меня есть яд, Симеон!

Симеон. Ты не умрешь!

Марина. Ты любил меня! Исполни же последнюю волю мою! Когда на башнях кремлевских раздастся победное русское «ура» и гордый вождь взойдет в царские палаты — меня уже не будет! Мой сын в Коломне! Спаси его, сокрой его! Не дай лютому врагу упиться невинною кровию младенца!

Симеон. Ты не умрешь!

Марина. Ребенок! не ты ли спасешь меня? Поверь мне, всё кончено: я покоряюсь судьбе своей. Заруцкий меня оставляет! Он слишком дорого продавал мне защиту свою: он требовал этой руки! Я бросилась к Ляпунову: Ляпунов отвергнул меня! ты видишь, добрый друг, я должна умереть!

Симеон. О боже мой!

Марина. Куда бежать? От кого ждать спасения? Ляпунов клялся меня погубить, а ты знаешь, умеет ли он держать свои клятвы!

Симеон. Я убью его!

Марина. О Симеон! он твой друг...

Симеон. Я его ненавижу!

Марина. Он спаситель, надежда твоей Руси...

Симеон. Что мне Русь, что мне дружба, что мне весь свет в сравнении с твоим взглядом! Я живу тобою! дышу тобою! Пусть всё гибнет, всё рушится вокруг меня, лишь бы ты, моя царица, улыбнулась рабу твоему! (*Падает на колена.*)

Марина (*берет его руку*). О боже мой! Эта жизнь так прекрасна! быть так любимой — и умереть!

Симеон. Я спасу тебя! я этим ножом вырву у него сердце из груди. Я спасу тебя, слышишь ли?

Марина. Волынский! из гроба ты вызываешь меня к жизни! Не забудь, что ты делаешь! Не забудь, за что ты берешься!

Симеон. Я сдержу свое слово!

Марина. Еще не поздно, ты можешь вернуться! Судьба моя тяжела! Горе тому, кто захочет ее разделить!

Симеон. Я решился!

Марина. Вспомни, что я требую полного, слепого повиновения! Вспомни, что кто любит Марину, для того нет ни друга, ни отчизны, ни веры! Он должен быть мой, весь мой! Он должен жить моей жизнью, мыслить моею мыслию, любить моим сердцем!

Симеон. Для тебя я убью родного отца.

Марина. Хорошо же. (*Торжественно.*) Отныне ты мой раб, слепой исполнитель воли моей!

Симеон. Царица, повелевай!

Марина. Слушай же! Я не хочу, чтобы Москва была взята в эту ночь!

Симеон. Я могу изменить!

Марина. Вот письмо: приложи к нему печать Ляпунова. Возьми его с собою на приступ. Ты ведешь передовую дружину. Поляки сделают вылазку; отдайся в плен тому, кто скажет тебе мое имя. Завтра ты будешь свободен; завтра ты отдашь это письмо боярам.

Симеон. Это письмо...

Марина. Ты видишь, оно писано Ляпуновым; он объявляет Гонсевскому, что передается полякам; он забыл только печать приложить! Ты колеблешься! Ты бледнеешь! Отдай мне письмо! Я разорву его!

Симеон. Оставь! Ляпунов отжил свой век.

Марина (*опираясь на плечо Симеона и почти обнимая*

его). Я буду тебя ожидать. Приходи завтра; скажи мне: ты свободна; бояться тебе более некого... И ты получишь достойную награду. (*Целует его и убегает.*)

Симеон. О, доживу ли я до утра!..

От смешного к великому тоже шаг один, как и от великого к смешному. Адельгейда в «Гёце фон Берлихинген» говорит Францу при прощании: «und der schönste Lohn wartet dein...[1], а Франц отвечает: «O werd' ich bis zum Morgen leben!..»[2]

Кто ж говорил, что Гёте не знал русского языка?..

Действие пятое.

Ляпунов в отчаянии, приступ не удался. Симеон исчез без вести. Приходит Ржевский и уведомляет Ляпунова об измене Симеона. Ляпунов опять в отчаянии. Являются бояре. Зовут Ляпунова на суд. Он идет. Автор нас переносит на площадь перед домом Масальского. Народ толкует об измене Ляпунова. Заметим кстати, что почти все наши писатели старой школы, с легкой руки г. Загоскина, заставляют говорить народ русский каким-то особенным языком с шуточками да с прибауточками. Русский человек говорит так, да не всегда и не везде: его обычная речь замечательно проста и ясна. Это нам напоминает рассказ Пушкина о том, как он на Кавказе встретил персидского посла, заговорил с ним по-восточному, и как был пристыжен, услышав его простой, вежливый ответ. Итак, народ толкует; является юродивый,— это странное лицо, без которого не обходится ни одна русская драма,— и, как водится, песенками да нелепыми словами предсказывает да предчувствует беду. Как «украшение, в сочинении приятное», это лицо уже слишком избито; усилие же представлять юродивого каким-то всезнающим существом, несмотря на его безумие, доказывает странную уверенность в превосходстве бессознательного вдохновения над простым здравым рассудком. В русских сказках Иванушка-дурачок, которому все удается, совсем не глуп. Приходит Марина «расстроенная», хочет войти в совет, тащит за собой юродивого... выбегает Ляпунов, насмерть раненный. Марина кается пе-

---

[1] «и прекраснейшая награда ожидает тебя...» (*нем.*).
[2] «О, дожить бы мне до утра!..» (*нем.*)

ред ним. Ляпунов благодарит ее и прощает. «А я проклинаю тебя!» — кричит юродивый и убегает. Симеон «продирается сквозь толпу» и зовет Марину с собой, просит Ляпунова сказать ей, что он его сын и что он его зарезал. Он с ума сходит, как вообще в операх всегда сходят с ума примадонны и теноры в затруднительные минуты... Это сумасшествие очень удобно для дюжинных композиторов. Но Моцарт не заставляет донью Анну при виде убитого отца припоминать дни детства и проч., как это делают оперные сумасшедшие. Марина себя обвиняет во всеуслышание; народ бросается на нее с криком... Ляпунов ее спасает, предсказывает Пожарского и умирает.

Из подробного обзора драмы г. Гедеонова читатель может усмотреть, справедливо ли наше мнение об этом произведении. Повторяем: образованному человеку написать такую драму очень легко; но qu'est ce que cela prouve?[1] — как говаривал д'Аламбер. Обогатила ли она нашу душу хотя одним живым и теплым словом, познакомила ли она нас с новым, небывалым воззрением талантливого человека на русскую жизнь, русское сердце, русскую старину? Легко представлять доблестных вождей, «соединение всего прекрасного и великого», коварных и честолюбивых женщин, призывающих «черных змей», влюбленных юношей Симеонов и проч.; легко заставить эти бездушные и бескровные лица говорить языком новейшей французской мелодрамы... ma per che?[2] — как спрашивал граф Альмавива. Мы восставали и восстаем против злоупотребления патриотических фраз, которые так и сыплются из уст героев наших исторических драм,— восставали и восстаем оттого, что желали бы найти в них более истинного патриотизма, родного смысла, понимания народного быта, сочувствия к жизни предков... пожалуй, хоть и к народной гордыне... Это всякому дано ощущать, но не всякому дано выразить. Образцами такого рода драмы могут служить «Генрихи» и «Ричарды» Шекспира. «Старая Англия» (Old England) живет и дышит в этих бессмертных произведениях... Кто нам доставит наслаждение поглядеть на нашу древнюю Русь? Неуже-

---

[1] что это доказывает? (*франц.*)
[2] но для чего? (*итал.*)

ли не явится, наконец, талант, который возьмется хоть за этих двух рязанских дворян, Прокопа и Захара Ляпунова, и покажет нам, наконец, русских живых людей,— говорящих русским языком, а не слогом,— вместо тех странных существ, которые под именами историческими и вымышленными так давно и так безотрадно мелькают перед нашими глазами! Или в pendant малороссу Тарасу Бульбе нам все еще должно удовлетворяться русским Чичиковым?

Да, русская старина нам дорога́, дороже, чем думают иные. Мы стараемся понять ее ясно и просто; мы не превращаем ее в систему, не втягиваем в полемику; мы ее любим не фантастически вычурною, старческою любовью: мы изучаем ее в живой связи с действительностью, с нашим настоящим и нашим будущим, которое совсем не так оторвано от нашего прошедшего, как опять-таки думают иные. Но повторяем: пусть истинный талант,— какие бы ни были его теоретические, исторические убеждения,— передаст нам нашу старину... за нашими рукоплесканиями дело не станет. Что же касается до «Смерти Ляпунова» г. Гедеонова, то вот наше последнее слово об этой драме; мы ее недаром сравнили в начале статьи с оперой: она — не что иное, как оперное либретто.

ГЕНЕРАЛ-ПОРУЧИК ПАТКУЛЬ. Трагедия в пяти действиях, и в стихах. СПб. Сочинение Нестора Кукольника.

«Генерал-поручик Паткуль» назван автором, вероятно, не без причины трагедией, а не исторической драмой. Слово трагедия, хотя и утратило свой первобытный, древний смысл, всё же переносит читателя в ту идеальную сферу искусства, где действующие лица являются представителями великих вопросов, великих событий человечества, где совершается борьба между двумя коренными началами жизни и где, следовательно, трагик имеет право, для большего торжества истины, жертвовать фактами, внешней вероятностью *. В произведении г. Кукольника одно лицо — Паткуль наполняет всю сцену; *пафос* (мы бы весьма желали заменить это слово другим, в угоду тем насмешливым и острым людям, которым оно не нравится, но не находим другого), его пафос — величие Петра, возникающей Руси, нового царства, нового народа... Остальные лица — Август, Карл, любовницы и министры Августа служат только рамой картине. Нам кажется, что автор употребил во зло признанное за ним право изменять события: вся его трагедия исполнена анахронизмов, на которые мы укажем ниже; во всяком случае едва ли следовало заставить Паткуля (на стр. 84) говорить о Мольере, как о живом человеке, тридцать три года после его смерти. Но прежде, чем приступим собственно к разбору произве-

* «Насколько может трагик отступить от исторической истины? Во всем, что не касается до *характера* действующего лица,— насколько угодно. Но *характеры* должны быть ему священны. Малейшее *существенное* изменение, всякое внутреннее противоречие уничтожает причину, почему выбрано именно это историческое лицо; а нам не может нравиться то, чему причины мы не находим».

Лессинг. Гамб‹ургская› драм‹атургия›, ч. 1, стр. 105. (*Примечание Тургенева.*)

дения г. Кукольника, нам хочется поговорить о самом Паткуле как об историческом лице.

Графиня Кёнигсмарк* говорит у г. Кукольника, что

> Царя Петра великое лицо
> Испуганной Европе представляет
> Великий Паткуль...—

и хоть тогда, за три года до Полтавской битвы, Европа не могла «пугаться» Петра,— но мысль противопоставить юную Русь старой Европе, показать нам представителя нашего великого царя среди блестящего и развратного двора Августа, эта мысль действительно могла бы служить основанием замечательного художественного произведения. Как ее выполнил г. Кукольник — увидим ниже, но теперь мы должны объявить, что в наших глазах Паткуль не заслуживает чести быть *таким* представителем Петра. Рожденный с сердцем горячим и благородным, с умом изворотливым и тонким, он в молодости своей смело восстал за права своей родины — и пострадал за свою смелость; осужденный на позорную казнь, если не раскаялся в своей опрометчивости, то по крайней мере всячески старался загладить ее дурные последствия, просил, писал умоляющие письма; раздраженный отказом, напрасным унижением, старался отмстить шведскому правительству сперва сочинениями, потом делами;** вел жизнь непостоянную и беспокойную, пока Флемминг его не завербовал в саксонскую службу; увлеченный величием Петра и, быть может, патриотическим желанием упрочить судьбы своего отечества, поступил в число служителей русского царя, не разрывая, впрочем, связи с саксонским двором; интриговал, запутывал и распутывал дела, беспрестанно путешествовал, вступал в сношения с правительствами австрийским, прусским, датским, а при восшествии юного Карла на престол хлопотал о помиловании. Паткуль принадлежал к числу тех странствующих второстепенных дипломатов, космопо-

---

*У г. Кукольника графиня Кёнигсмарк в 1706 году добивается аббатства Кведлинбургского, которое, по истории, она получила в 1698 году. (*Примечание Тургенева.*)

** Ответ шведского правительства на манифест 1702 года был публично сожжен в Москве по наущению Паткуля. (*Примечание Тургенева.*)

литических государственных людей, которыми тогда полна была Европа. Таков был известный Гёрц, таков был знаменитый Альберони, его современники; но Паткулю до них, «как до звезды небесной», далеко. Страшная, мученическая смерть Паткуля возбудила к нему справедливое участие историков и, может быть, одна вывела из мрака, обессмертила его имя. Он предан был Петру потому, что чувствовал его превосходство и предугадывал его могущество; служил ему усердно, горячо, но действовал единственно из личных выгод. Героем же он не был, хотя рисковал своей головой не раз — c'était le mauvais côté du métier[1], как говорят французы *. Читатели могут усомниться в справедливости нашего мнения; мы им представим доказательство неотразимое: собственные признанья Паткуля. Капеллан Гиельмского полка, при котором находился пленный Паткуль, Лаврентий Гаген (Hagen), а не *Гагар*, как его называет г. Кукольник, оставил необыкновенно трогательное, поражающее своей истиной, описание *последнего дня* бедного Паткуля, которому он служил исповедником. Чтение этого документа, писанного на другой день казни, так сильно подействовало на нас, что мы решаемся поделиться нашими впечатлениями с читателем. Этот документ чрезвычайно интересен и в психологическом отношении: читая простой рассказ почтенного пастора, мы как будто присутствуем при предсмертных муках человека страстного, много пережившего, не слабого, но и не сильного, умного, но не необыкновенного, каким и был Паткуль... Такие люди ближе и понятнее нам, в них больше принимаешь участия. Вот этот рассказ (пастор говорит о себе в третьем лице).

...Полковник за тайну сказал пастору, что Паткуля казнят на следующий день, и поручил ему объявить это пленнику и приготовить несчастного к христианской кончине. Согласно с этим приказанием, капеллан отправился к Паткулю в третьем

---

[1] это дурная сторона ремесла (*франц.*).

* Известно, что и Гёрца казнили (гораздо с большей несправедливостью, чем Паткуля) после смерти Карла. «Mors regis, fides in regem mors mea» («Смерть короля — и моя смерть: я ему верен»),— сказал про себя Гёрц. Он умер с замечательной твердостью, чего тоже нельзя сказать про Паткуля. (*Примечание Тургенева.*)

часу дня и нашел его лежащим на постеле. Поклонившись ему, пастор попросил его не пенять на него за нежданное посещение, тем более, что он (пастор) не сомневается в том, что в бедственном его положении ему необходимы увещания и утешения божественного слова. «Я очень рад,— отвечал Паткуль,— и очень вам благодарен; поверьте, г-н пастор, ни одно посещение не могло мне быть более приятным. Ну,— прибавил он,— что нового?» Капеллан отвечал, что он должен ему нечто сказать наедине; Паткуль встал и обратился к дежурному офицеру. Капеллан тоже подошел к офицеру и шёпотом сообщил ему приказание полковника. Как только тот вышел, Паткуль взял пастора за руку... «Ах, г-н пастор,— начал он чрезвычайно взволнованным голосом,— что вы такое мне хотите объявить?» — «Милостивый государь,— возразил пастор,— я прихожу к вам с поручением Иезекии, я должен вам сказать, что Исаия сказал этому царю (Исаии, XXXVIII, 1): „Устрой в дому твоем, умираеши бо ты и не будеши жив!"» — Услышав эти слова, Паткуль снова лег, и слезы потекли у него из глаз. Пастор начал его утешать и сказал ему, что так как он искусен во всех науках, то, вероятно, хорошо знаком и с главнейшей из всех наук, с религией, и что поэтому не следует ему принимать с такой горестью и с таким волнением известие, которого он притом должен был ожидать. «Ах,— сказал Паткуль,— я знаю старинную обязанность людей — умереть когда-нибудь; но эта смерть будет мне слишком тяжка». И он заплакал горько. Желая подкрепить его, пастор сказал ему, что еще неизвестно, какой род смерти ему назначен, но что она будет тем спасительнее для его души, чем страшнее для тела. Тогда Паткуль привстал на постеле и, сложа руки, воскликнул: «Господи Иисусе, пошли мне праведную смерть». Потом, обратившись к стене, продолжал: «Ах! редукция* в Швеции и Ливонии была причиной всех моих бедствий». Капеллан попросил его оставить все земные помыслы, которые притом не могли не быть ему неприятными, и подумать о небе и вечности. «Увы, добрый господин пастор! — отвечал он,— моя душа — старая язва, наполненная гноем; позвольте мне сперва выкинуть вон всё, что у меня на сердце; всё это должно выйти вон. Эта редукция, которая разорила столько людей,— продолжал он,— эта редукция причина всех

* Эта «редукция» состояла в конфискации многих казенных имений, которые дворянство себе присвоило или получило в дар более ста лет тому назад. Огромные земли, между прочим десять графств и пятьдесят баронств, подверглись этому конфискованию. (*Примечание Тургенева.*)

моих несчастий. Покойный король ударил меня по плечу и сказал мне: «Паткуль, защищайте права вашей родины, как следует честному человеку». Что же мне было делать? Но злые люди всё перетолковали в дурную сторону. Да простит господь Гастёру. Он много содействовал к моему несчастию. Сначала он заманил меня, потом совсем ослепил, потом сделался моим врагом и стал меня преследовать. Скоро я увижу тебя, вместе с моими другими обвинителями, перед престолом вечного судии. Борггейм тоже много мне повредил; но он по крайней мере действовал по приказанию. Швеция! Швеция! не со смехом и плясками покинул я тебя, бог тому свидетель! Но куда мне было деться? Не мог же я спрятаться в могиле вместе с мертвыми. Я не хотел пойти в монастырь: моя религия мне этого не позволяет; у союзных держав я не был в безопасности. Мне говорят: ты пошел к нашим врагам, следовательно, ты причиною этой кровавой войны. Но какой ложный вывод! Я пришел к ним как несчастный изгнанник, не как злой советник и бунтовщик. Тогда никто не полагал меня способным к тому делу, и действительно, я к этому не был способен. Когда я прибыл в Саксонию, всё уже было сделано, и конвенция с Московией была подписана, прежде нежели я что-нибудь значил...»

Пастор снова посоветовал ему не вдаваться слишком в житейские дела; но Паткуль взял его за руку и сказал: «Позвольте мне проститься с ними, с тем, чтоб уж никогда больше о них не говорить. Какой вы нации, господин пастор?» — «Я швед,— возразил тот,— родом из Штокгольма».— «Тем лучше,— отвечал Паткуль,— я очень бы желал, чтобы шведы тоже узнали истину обо мне. Господин пастор, *сердце у меня всегда было шведское*, хотя этому не хотели верить; но бог тому свидетель. Можно судить о моем расположении к шведам по тому, как я услужил некоторым, главным из них. Эти услуги такого рода, что, скажу без хвастовства, кроме меня, никто бы на них не решился. Часто желали меня вознаградить деньгами, но я не соглашался; я просил хотя одного рекомендательного слова при шведском дворе, с тем, чтобы опять попасть в милость. Но увы! врата кротости были постоянно заперты для меня, бедной заблудшей овцы. Я не переставал, однако, употреблять всяческие усилия; с этой же целью поехал в Москву, когда наши посланники там были. Вы ведь слышали об этом»,— прибавил он, обращаясь к пастору. «Да,— отвечал тот,— я даже имел тогда честь быть капелланом при посольстве; я вас там видел».— «А! вы там были! То-то мне и хотелось сперва ска-

зать, что я вас где-то видел. Да, г-н пастор,— продолжал он,— я старался попасть в милость через посредство царя. Но когда я узнал, что посланникам короля было приказано сыскать меня и требовать моей выдачи, я принужден был спрятаться и жить инкогнито. Тогда распустили слух, что я отвратил царя от заключения мира. Но это сделал Н.; креатура Н. * и другие тут участвовали, которых я знаю. Я же, с своей стороны, советовал согласиться на мир, сколько мог, советовал; и в первый же год я довел дело до того, что король шведский получил бы Курляндию, польскую Лифляндию и бо́льшую часть Самогитии, если бы хотел согласиться на мир. Полагали, что царь не захочет подписать такие условия; но, напротив, когда я ему предложил свой проект, он очень обрадовался, обнял меня и благодарил за совет. Но шведский король не согласился. Бедные пленные шведы, которых тогда было в Москве несколько сотен, могли бы тоже свидетельствовать в мою пользу. Я могу сказать, что я истратил более ста тысяч талеров, чтобы снова попасть в милость шведского короля. Ах, если бы я так же старался заслужить божие милосердие!»

Он снова заплакал. Пастор начал опять его утешать, уверяя, что еще есть время, но что не надобно медлить, что врата божьей благости еще открыты для него. «В этом все мои надежды,— отвечал он.— Ты мой бог, ты не человек: гнев твой не вечен... Но сердце мое разрывается при мысли, что я лучше служил людям, чем богу...» Он еще прибавил несколько слов и, кончая, сказал: «Potentes potenter tormenta patientur (сильные будут наказаны сильно)». «Но, господин пастор,— продолжал он,— я, может быть, вас задерживаю своими скучными речами. Теперь, если вам нужно что-нибудь сделать... я бы желал остаться немного наедине. Попросите, также, пожалуйста, г-на полковника, чтобы меня не прерывали... я это сочту за милость». Пастор обещал исполнить его просьбу и удалился.

Когда он возвратился к пленнику, вечером в семь часов, Паткуль сказал ему с веселым и довольным видом: «Милости просим, господин пастор; я на вас гляжу, как на ангела небесного. Теперь благодаря бога у меня тяжелый камень с сердца свалился, я чувствуют большую перемену в своей совести. Я рад тому, что должен умереть. Лучше умереть, чем долго томиться в тюрьме. Ах! лишь бы эта смерть была сносна! Не знаете ли вы, как я должен умереть?» Капеллан отвечал ему, что нет; но что,

---

* Трудно догадаться, на кого метил Паткуль. Не на Меншикова ли? (*Примечание Тургенева.*)

вероятно, всё будет исполнено без шума, потому что до сих пор в полку никто об этом не знал, кроме полковника да его (пастора). «И это милость,— сказал Паткуль.— Но разве вы не видели моей сентенции? Неужели ж меня казнят, не выслушавши, даже не сообщив мне приговора?» Пастор отвечал ему, что, вероятно, есть сентенция, но запечатанная, которую откроют только на месте. «Может быть,— сказал Паткуль,— лишь бы меня не долго мучили». Пастор подкрепил его, как только мог,— и он сам старался утешить себя словами священного писания. Между прочим, он сказал по-гречески стих из Деяний апостольских (XIV, 22): «Многими скорбьми подобает нам внити в царство божие», и из Послания к римлянам (VIII, 18): «Непщую, бо, яко недостойны страсти нынешнего времени к хотящей славе явитися в нас». Он спросил потом, может ли он получить бумаги и чернил. Когда же пастор сказал ему, что да, он попросил у него позволения продиктовать ему следующее:

«Завещание, или Последняя моя воля, которую я хочу, чтобы исполнили после моей смерти.

Во-первых, чтобы мои родственники, находящиеся в шведском войске, получили должные мне суммы, в силу существующих облигаций, и чтобы его величество, шведский король, сделал милость, помог им в получении...»

Продиктовав эти строки, он сказал пастору: «Остановимся тут, это мне будет приятнее, и от времени до времени станем молиться,— что они и сделали.— Теперь,— примолвил он,— слава богу, я чувствую себя всё лучше и лучше. Ах! лишь бы меня не долго мучили! Как бы я охотно отдал всю кровь мою до последней капли, если б я мог выкупить ею свои грехи! Не правда ли, король — милосердый государь»? — «Да,— отвечал ему капеллан,— мы должны благодарить бога за то, что он нам дал короля милосердого и благочестивого».— «Это главное,— сказал Паткуль,— где страх божий, там и другие добродетели... Справедливо говорит Давид, что страх божий начало премудрости. Окружен ли он честными людьми?» — продолжал он, говоря о короле. Капеллан отвечал утвердительно. «А первый министр, граф Пипер,— что, он вельможа, боящийся бога?» На это капеллан ответил, что граф тоже неоднократно доказал свою набожность. «Слава богу,— продолжал Паткуль,— со мной, следовательно, поступят правосудно. Счастливо то царство, где господствует благочестие и правосудие!» Он начал расспрашивать капеллана о Швеции, университетах, ученых, богословских сочинениях доктора Мейера. Потом он заговорил о Галле и в

особенности о профессоре Франке и докторе Брейтгаупте, спрашивая мнение пастора о них, а также, где он учился. «Да,— сказал он, наконец, с глубоким вздохом,— да, да! есть у меня там и сям друзья, которые пожалеют обо мне и заплачут, узнав о моей смерти! Что скажет вдовствующая курфирстша и фрейлина Левольде и, в особенности, моя бедная невеста? (Паткуль был сосватан с одной саксонской дамой, по имени Эйнзидлен.) О! какое горькое известие для нее! Добрый мой господин пастор,— прибавил он, пожав ему руку,— могу я вас обеспокоить одной просьбой?» — «Охотно,— ответил ему пастор,— если я только в состоянии вам чем-нибудь услужить».— «Будьте так добры, напишите бедной госпоже Эйнзидлен, моей невесте; поклонитесь ей от меня в последний раз и скажите ей, что моя смерть, как она ни позорна, все же счастлива и спасительна для меня. Это ее немного утешит, особенно если она получит письмо от того, кто был при мне в последние мгновения моей жизни. Подумайте о моей верной любви. Моя невеста теперь свободна и ничем не связана, а я умираю, преданный и благодарный ей...»

Пастор обещался исполнить его желание. Паткуль достал кошелек и разделил свои деньги на три свитка. «Завтра,— сказал он,— если угодно богу, я не хочу ничем заниматься житейским». Он предложил пастору один из этих свитков, в котором было сто червонцев. Когда же тот начал отказываться, говоря, что он этого не заслуживает,— «Ах! г-н пастор,— воскликнул Паткуль,— я часто давал по тысяче червонцев за временную услугу; вы же мне теперь оказываете неоцененное расположение и приязнь, и я бы желал быть в состоянии достойнее возблагодарить вас! Впрочем, господин пастор, я хочу подарить вам самое драгоценное мое сокровище — Новый Завет греческий, с комментарием Ария Монтана. Эта книга была неразлучна со мной во время моего изгнания. Она находится теперь у майора Гротгузена; вы можете послать за ней». Пастор поблагодарил его и обещался хранить ее всю жизнь из любви к нему. Паткуль попросил пастора поклониться майору от его имени и благодарить его за все оказанные снисхождения. Потом он взял другую книгу и сказал: «Это я написал сам. Возьмите и эту книгу, г-н пастор, на память обо мне. Она докажет вам мою веру. Я бы очень желал, чтобы эта книга как-нибудь попала на глаза королю». Пастор сказал Паткулю, что он отдаст ее полковнику, с тем чтобы тот представил ее королю. «Ах, как это было бы хорошо! — воскликнул Паткуль.— Милая книга, желаю, чтобы ты была счастливее меня. Я говорю тебе, что Овидий говорил своим «Tristes», посылая их к Августу, из места

своего изгнания: «Ступай, моя книга, и выхлопочи мне то, чего я сам не мог выхлопотать». Потом он попросил пастора прочесть ему молитвы предсмертные, в особенности ту, которая начинается так: «Вечному богу вручаю я мою душу...» Он сам повторил ее с большим вниманием и тут же заговорил о суете мирской. «Бог мне свидетель,— сказал он,— что среди всех благ земных у меня сердце всегда стеснялось и что теперь, когда я знаю, что должен умереть завтра,— я спокойнее и веселее, чем бывало, на больших пирах. Munde immunde vale, то есть прощай, нечистый мир! Г-н пастор, уверяю вас, что часто, особенно в последние годы, я старался освободиться от мира, но не мог. Я слишком был кругом опутан. О Иисусе! буди благословен навсегда ты, разрывающий сети диавола! Сети разорваны, моя душа свободна; это дело рук могущественного Карла. Благодарение богу!.. Справедливо сказал святой Павел (к Рим. посл. VIII, 27): «Вемы же, яко любящим бога вся поспешествуют в благое». «Господин пастор,— продолжал он,— я вас задерживаю; уже становится поздно, вы устали». Пастор отвечал, что нет, помолился еще с ним и кончил вечернею молитвой. «Посоветуйте мне, г-н пастор,— спросил его Паткуль,— должен ли я отдохнуть теперь немного? Я очень уже давно не спал... я очень слаб. Сегодня я не ел ничего и выпил только несколько глотков воды». Пастор ему присоветовал отдохнуть. «Итак,— продолжал он,— мое тело может теперь успокоиться на время... Завтра мне нужны все мои силы. Я должен и хочу завтра подкрепить свою душу святым причастием». Тогда он заметил время на своих часах, лег на кровать, и пастор удалился.

На другой день, 30-го числа *, около четырех часов утра, капеллан опять явился к нему. Паткуль тотчас услышал его приход, встал и поблагодарил бога за хорошо проведенную ночь. «Уже давно,— сказал он,— я так хорошо не спал». Они оба начали молиться, и автор этого рассказа сознается, что должен искренно похвалить его набожность. Около шести часов Паткуль сказал пастору: «Во имя Иисуса, приступим к священному действию, пока шум дневный не увеличится и не помешает нам». Он стал на колени и исповедался с большим уничижением. Начало его исповеди было в особенности замечательно тем, что он привел стих из Быт. XLIV, 16: «Что отвещаем господину, или что возглаголем, или чим оправдимся? Бог же обрете неправду рабов своих». Потом он причастился —

* 30/20 сентября 1707 года. (*Примечание Тургенева.*)

и, причастившись, попросил пастора читать ему благодарственные молитвы и сам повторял их за ним. Он особенно одушевился при стихе:

«Подкрепи меня духом твоей радости»,

который, по его словам, был всегда его любимым изречением.

Солнце начало всходить. Он взглянул в окно и сказал: «„Salve festa dies!" — ты день моего брака. Я надеялся было праздновать другую свадьбу об эту пору; но этот брак счастливее. Сегодня душа моя будет введена в чертог уготованный, к предвечному жениху своему, Иисусу Христу. Как я рад! С каким нетерпением ожидал я этого дня!» — Тогда он во второй раз спросил у пастора, какою смертию ему суждено умереть. Когда же тот опять объявил ему, что он об этом ничего не знает, он стал просить его не покидать его, как бы казнь ни была ужасна. «Кричите мне святое имя Иисуса,— повторил он,— это облегчит мои муки.— Взглянув в окно,— ах, г-н пастор,— воскликнул он,— вот уже закладывают телегу... Слава богу, они торопятся; мне надоело жить.— Потом, взглянув на бумагу, где капеллан начал было писать его завещание,— это всё исполнят,— сказал он. Пастор спросил его, не хочет ли он подписаться,— нет,— произнес он со вздохом,— я не могу написать это ненавистное имя. Мои родственники и без того найдут, что́ я им оставил. Всё в порядке, господин пастор; поклонитесь им, когда вы их увидите». Он снова начал молиться, пока дежурный лейтенант не пришел за ним. Тогда он сказал, обращаясь к пастору: «Вот и подтверждение вашего печального поручения; ну, пойдемте,— прибавил он,— пора,— и надел плащ.— Вы сядете со мной,— сказал он пастору,— не покидайте меня». Он сел в телегу и заставил капеллана поместиться сзади. Он обнимал и целовал его, просил не забыть поклониться невесте, благодарил его...

Таким образом они прибыли на место казни, окруженное тремя стами пеших солдат. Когда Паткуль увидал уже готовые копья и колеса, он страшно испугался, бросился на грудь капеллана и простонал: «Ах, г-н пастор, молите бога, чтобы я не впал в отчаяние». Пастор его начал утешать, напоминая ему распятого Христа... Тут его взяли, и пока с него снимали цепи, он читал молитву:

«О, агнец божий, ты, который, хотя невинный, был принесен в жертву на кресте...»

Когда же его привели к самому месту истязания, капитан Гиельмского полка произнес громким голосом следующую речь:

«Да будет ведомо всем и каждому, что по нарочитому приказанию его величества, нашего всемилосердого государя и короля, сей человек, который изменил своему отечеству, в возмездие за его преступления и в пример другим, долженствует быть колесован и четвертован. Пусть же каждый боится измены и верно служит своему королю». При словах «изменил своему отечеству» Паткуль пожал плечами и взглянул на небо. Потом он спросил: «Где мне стать?» И когда палач указал ему место, он сел на землю и, пока его раздевали, закричал капеллану: «Молите бога, чтобы он подкрепил меня в эту минуту...» Пастор помолился и, обратившись к народу: «Милые мои дети,— сказал он им,— скажемте „Отче наш" за этого бедного человека».— «Да, ах, да,— сказал Паткуль,— молитесь...»

В эту минуту палач ударил его в первый раз. Паткуль закричал изо всех сил: «Сжалься надо мной, Иисусе!» Однако же он получил от четырнадцати до пятнадцати ударов. Он имел дело с палачом неопытным, и казнь его была продолжительна и жестока. Во всё время казни он кричал раздирающим голосом, беспрестанно призывая Христа Спасителя. «Ко мне, ко мне, Иисусе,— кричал он,— вручаю дух мой в руки твои». После того, как его два раза ударили по желудку, он уже более не кричал, он сказал прерывающимся голосом: «Отрубите голову...» — и так как палач медлил, он сам положил ее на плаху. Только с четвертого удара ему ее отрубили... Потом его четвертовали и воткнули члены его в разных местах на копья.

Мы не прибавим никаких замечаний к этому рассказу: он сам говорит за себя. Если нам возразят, что капеллан с намереньем неточно передал слова Паткуля, то мы сошлемся, во-первых, на чувство каждого читателя, а во-вторых, заметим, что шведу, желавшему оправдать своего короля, следовало бы вложить совсем другие речи в уста пленнику. Нам возразят, что Паткуль говорил под влиянием страха, близкой казни. В этом мы вполне согласимся, да мы только и желали доказать, что Паткуль не был героем. Что министры Августа и сам Август поступили с ним противозаконно, бесчеловечно, бессовестно, согласно с тем, что тогда называлось тонкой политикой, дипломатической наукой; что Паткуль своей смелостью, рвеньем и деятельностью оскорбил и запугал их — в этом нет никакого сомнения; но он пострадал не за одну свою смелость. Читатели позволят нам сообщить несколько исторических подробностей, касающихся до заключения

Паткуля. Известно, что, будучи кассиром русских войск, находившихся в Польше, генерал-поручиком русской службы и посланником, Паткуль состоял также в распоряжении короля Августа, который, между прочим, в октябре месяце 1704 года (за год с небольшим до его заключения) послал его вместе с генералом Брантом и двенадцатитысячным войском взять Познань. Осада ему не удалась; он отступил. Враги его воспользовались этой неудачей и, вероятно, уже тогда повредили ему в уме короля. Притом Август, по весьма понятным причинам, не верил в добросовестность и готов был подозревать всех и каждого: человек судит о других по самом себе. В декабре 1705 года Август имел свидание в Гродне с Петром, и *именно из Гродно* он послал в Дрезден приказ посадить Паткуля в *Зонненштейн* (его после перевели в Кёнигштейн) — в самое то время, когда, казалось, он окончательно скреплял союз свой с русским царем. Этот махиавеллический образ действия был, впрочем, совершенно в духе августовской политики. Тогда же поднялись различные толки о причинах этого приказания. Саксонский двор обвинял Паткуля в заключении тайного трактата с императором германским (что́ даже довольно вероятно), в желании разъединить союзников (Петра и Августа), в оскорбительных отзывах о самом Августе. Но под этими явными обвинениями таились другие, невысказанные. Трудно проникнуть в эту мглу, распутать сети всех этих дипломатических интриг, личных неприязней, измен и подкупов, но, по всей вероятности, Паткуль, который видел вблизи двуличность и ненадежность Августа и хотел, может быть, загладить свои прежние вины, попытался устроить то, что́ десять лет спустя удалось Гёрцу, то есть сблизить Петра с Карлом; а Август, с своей стороны, предчувствуя неизбежный конец войны с шведским королем и подстрекаемый своими наушниками, врагами Паткуля, желал себя обеспечить, тем более, что Паткуль сам едва ли был очень разборчив на средства. Посадив в тюрьму посланника русского царя, он подвергался (и действительно подвергся) гневу Петра; но, вероятно, успел — если не очернить совершенно Паткуля в глазах его монарха, то по крайней мере оправдать его заключенье на время, потому что хотя сначала Меншиков и выступил из Польши обратно в Россию, и сам Петр не

хотел дать никакого ответа епископу Куявскому, посланному к нему от Августа, пока не освободят Паткуля, но в сентябре 1706 года (то есть девять месяцев после заключения Паткуля в тюрьму) мы снова видим Меншикова и Шереметева в распоряжении Августа перед Калишем. Петр никак не мог ожидать постыдной выдачи Паткуля Карлу; узнав о ней, закипел негодованием, употребил все средства к избавлению своего посланника, хлопотал в течение целого года (Паткуль был выдан в сентябре 1706, а казнен в конце сентября 1707); но при известном упрямстве и гордости Карла никакие представления помочь не могли. Ничто не бросает такого яркого света на характер Августа, как его поведение под Калишем. Вероломный Альт-Ранштадтский трактат был уже подписан, а он — правда, нехотя — напал на Мардефельда (которого г. Кукольник упорно называет Мардофельдом), дал ему знать под рукой о грозящей ему опасности — и не посмел объявить Меншикову о заключенном уже мире. Август не был злым человеком, но совесть, кажется, в нем молчала постоянно. Двуличность его является, между прочим, в приказании, отданном также *под рукою* — кёнигштейнскому коменданту,— выпустить Паткуля; гнев Петра страшил Августа... Когда же Паткуля, по недоразумению, по упрямству или по корыстолюбию, выдали шведам, коменданту тайком отрубили голову.

Из всего сказанного нами мы заключаем, что Паткуль был человек умный, ловкий, может быть, слишком ловкий, искусный дипломат и хороший слуга Петру. Страшной смертью своей искупил он все прежние прегрешения и справедливо заслуживает наше сожаление и участие... Паткуль не мог не презирать Августа, его двор, его главных служителей; он чувствовал, что Петру нельзя было положиться на такого легкомысленного и вероломного человека, и старался на всякий случай упрочить за собой новых союзников; в надежде на свою посланническую неприкосновенность пустился в слишком смелые и слишком многочисленные интриги — и сам запутался в своих сетях. Мы, в приличном месте, постараемся оценить также права Карла, судьи Паткуля, а теперь обратимся к самому произведению г. Кукольника.

Уже давно (и весьма благоразумно) принято за

правило, что критик не имеет права спрашивать у автора: зачем он выбрал *такой* предмет, придерживается *такого-то* мнения? — но должен сперва сам понять, какую себе автор поставил задачу, а потом рассмотреть, *как* он ее выполнил. Если г. Кукольнику угодно было сделать из Паткуля вдохновенного пророка величия России, представителя петровской мысли и силы, мы можем протестовать во имя исторической истины, но мы сперва должны доказать, что с художественной точки зрения автор не выполнил собственного намерения, чтобы иметь право произнести приговор над его произведением. Мы приступаем к подробному разбору сочинения г. Кукольника.

Акт первый. Действие происходит около Калиша. Входят граф Шулембург *, саксонский генерал, известный своим незаслуженным поражением при Фрауштадте (в 1706 году) и знаменитой защитой Корфу против турок в 1716 году в качестве фельдмаршала венециянских войск,— и Смигельский, польский генерал. Смигельский, перехватив копию мирного трактата, посланного к Августу, грозится отдать «эти бумажки» Паткулю (который, заметим мимоходом, уже около года сидит в крепости); Шулембург хочет его арестовать, но Смигельский уходит с угрозами. Входит Август с свитой. Король в нетерпении ждет трактата, беспрестанно примешивает французские слова ** ради «couleur locale» [1]; великий гетман коронный, Синявский, упрекает его в медлительности, с примесью латинских слов. Мы находим, что автор мог бы искуснее вывести польских магнатов, окружавших тогда Августа (тем более, что они уже не являются на сцену),— но дело не в том. Все стараются уговорить Августа вступить в битву; Август колеб-

---

* Напрасно Август у г. Кукольника называет Шулембурга стариком: Шулембургу было в 1706 году 45 лет; он родился в 1661 году. (*Примечание Тургенева.*)

** Заметим кстати, что почти все наши стихотворцы, помещая французские слова в свои стихи, не считают e muet за гласную. Так и г. Кукольник в comme c'est beau! вместо четырех (com-me c'est beau) — видит три слога (ком се бо) — в Bonjour, comtesse, четыре (бон-жур кон-тесс) вместо пяти (bonjour, com-tes-se). Правда, эти последние слова произносит княгиня Тэшен *рассеянно*, до того рассеянно, что говорит contesse. (*Примечание Тургенева.*)

[1] местной окраски (*франц.*).

лется. Является Паткуль, убеждает короля, дает ему денег в *билетах*. Надобно «разменять»; приходит жид Леммель; Август покупает у него на все деньги разные подарки дамам. Смигельский приходит с известием о поражении шведов. Август отправляется спасать их остатки. *Явление второе.* Роза, невеста Паткуля, гуляет с своей служанкой. Шведы нападают на них. Август поспевает на помощь, избавляет Розу, поражается ее красотой, волочится за ней и предлагает ей ехать в Дрезден. Роза узнает, кто он, «теряется» и смотрит уже на себя, как на жертву. Август ей говорит, между прочим:

Облитая вечернею зарей,
Вы будете...

Роза отвечает: «я буду спать». Они уезжают. Неужели, думали мы по окончании этой сцены, любовник второй руки, этот мешковатый добрый малый — Август, тот пышный, великолепный, изящный Август, удачнейший подражатель Людовика XIV-го, тот венчанный вельможа, о котором нам говорит история? Неужели Август когда-либо произносил такие речи:

Инкогнито спасительный покров,
Смотри же, Фюрстенберг, не выдавать!
En homme privé [1] мы сделаем conquête... [2]
С такими grâces [3] ходили ваши руки...
Au doux *plaisir de revoir*, ma Rose! [4]

Автор переносит нас в калишский замок и знакомит с любовницами Августа: графиней Эстерлэ, княгиней Тэшен, графиней Кёнигсмарк — хотя мы, признаемся, не слишком ради этому знакомству, помня стихи:

Не дай нам бог сойтись на бале
С семинаристом...

Графиня Эстерлэ «забавляется пока над полькой» (княгиней Тэшен). «*Отделала* порядком, будет помнить!» — говорит она другой даме в присутствии

---

[1] Как частное лицо (*франц.*).
[2] победу (*франц.*).
[3] изяществом (*франц.*).
[4] До приятной встречи, моя Роза! (*франц.*).

княгини; потом уходит. Княгиня Тэшен сообщает г-же Кёнигсмарк, что она разлюбила Августа и влюбилась в Паткуля. Вдруг вбегает графиня Эстерлэ, объявляет, что у ней от сырого воздуха *лицо и руки посинели* и что приехал Август. Август возвращается с победы, раздает свои подарки. Является Паткуль — и что тут следует?.. что тут следует, читатели? известно, что: обычное распекание à la Ruy Blas, дешевый, но несомненный coup de théâtre[1], необходимое заключение первого акта. Август, как опытный, со всеми пружинами драматических представлений знакомый актер, выслушивает до конца красноречие Паткуля. Но Паткуля удовлетворить не легко. «Я,— говорит,— понимаю ваше положенье; вам стыдно у этих дам подарки отнимать; не беспокойтесь: я сам». Княгиня Тэшен и графиня Кёнигсмарк добровольно покоряются, у графини Эстерлэ, отличающейся странным упорством говорить безграмотно по-французски, Паткуль вырывает футляр с брильянтами — и первому акту конец.

Второй акт. Мы в кабинете короля Августа. Флемминг просит графиню Кёнигсмарк вести интригу с Розой Эйнзидлен в пользу его (Флемминга). Графиня соглашается. Какой искусный намек на придворную «галантерейность»! Входит Август. Флемминг убеждает его велеть «скорее спрятать» Паткуля и при этом случае дважды называет самого себя «лисицей». Вообще наивность — одно из главных качеств трагедии г. Кукольника. Все действующие лица друг другу тотчас верят на слово, все вслух высказывают свое мнение. В силу этой наивности графиня Кёнигсмарк тотчас выдает Августу тайну любви графини Тэшен, и Август ей тотчас верит и ревнует.

Поплатятся и Паткуль и княгиня! (*Восклицает Август.*)
Сегодня же на бале дам отставку... (*Княгине.*)
А Паткуля...

Входит Имгоф и Пфингстен (которого г. Кукольник, неизвестно по каким причинам, перекрестил в *Финкштейна*) и приносят трактат Альт-Ранштадтский. Август на все соглашается; но в *сепаратном* пункте тре-

[1] театральный эффект (*франц.*).

буют выдачи Паткуля... Заметим кстати, не в сепаратном, но в II-м пункте трактата; всех пунктов было 22 и 1 сепаратный, в котором, напротив, сказано, что если даже все ручательства со стороны короля Августа не будут доставлены, трактат все-таки остается в полной силе. Август не соглашается. Флемминг прячет трактат за пазуху, боится, что «бабы» * разболтают. Начинается бал. Кн. Тэшен *машинально* протягивает руку и говорит: «Чуть-чуть церемонияла не забыла». Но Август восклицает: «Pardon, madame!» — и уходит с другой дамой; княгиня Тэшен остается одна, говорит: «Отдайте мне невинность! честь отдайте! стыд мужа!» Является Паткуль.

Ах,— говорит она,— вашу руку, благородный Паткуль!
Теперь нужна мне твердая рука,
Чтобы сойти со скользкой высоты,
Куда меня насилие *втащило...*

и т. д. — постоянно придерживаясь слога воспитанников старинных духовных заведений. Они оба идут па бал.

В «большой проходной комнате» Август рассуждает с графиней Кёнигсмарк о своем затруднительном положении. В самом деле, потерять всё — из-за Паткуля — неприятно. Но вот и он сам является с княгиней Тэшен, которая обещает *обождать* его на террасе. Паткуль опять пристает к королю... не все драгоценности выданы: нет головного убора, который Август подарил Розе. Король негодует. Но Паткуль еще не того требует. Где трактат Альт-Ранштадтский? И, не говоря худого слова, запускает руку в карман Флемминга, достает трактат, «и уж тут не шутка!» садится и читает. Флемминг «тихо» советует Августу посадить Паткуля в тюрьму. Но Паткуль вскакивает «вне себя». «Нет,— говорит,— и хочется и колется... Вы, государь, со мной протанцевали pas de deux». Но вдруг является Роза в головном уборе. Паткуль кри-

* В числе этих баб находится знаменитая Кёнигсмарк, названная Вольтером самой замечательной женщиной двух столетий!! И это говорит придворный Августа!!! (*Примечание Тургенева.*)

чит: «Брависсимо», хлопает в ладоши и дико хохочет. «Рогов носить не буду» (продолжает он):

У каждой двери будут два арапа,
А у постели пес медиоланский!
Сон, что мне сон? я в нашей спальне, Роза,
Поставлю письменный мой стол, всю ночь
Нельзя писать и нечего, так перья
Чинить я стану; на постеле брачной
Разброшу книги, письма и ландкарты...
Вы спите, Роза, спите, почивайте!..
Форнарина Рафаэля...
Эту грудь разбей надвое...

Ах, извините, читатель: это из «Доменикина»... Роза отвечает: «Жан, ради бога, Жан!» Жан ее спрашивает: «Невинна ты?» Роза: «Бог защитил меня». Жан: «Молчи!» Потом Жан представляет ее Августу, как свою невесту, а король, исполненный ревности, отдает Флеммингу ключ от Кёнигштейнской башни.

Акт третий. Мы в доме Паткуля — в Дрездене. В первой сцене он прощается с русским полковником, которому сообщает, между прочим, что у него две руки и два уха. Потом является Роза, отец ее и мать (без речей, как сказано в списке действующих лиц). Отец второпях благословляет дочь свою, мать без речей тоже ее благословляет, и все, кроме Паткуля, уходят в церковь. Паткуль остается один... Входят — Флемминг, Фюрстенберг и tutti quanti [1]. Они пришли арестовать Паткуля. Паткуль передает Флеммингу записку Карла, купленную им, как говорит он, «за незначительную сумму». Флемминг видит из записки, что и ему Имгоф и *Финкштейн* готовят гибель (о чем, разумеется, история не говорит ни слова; напротив того, Флемминг их погубил, воспользовавшись ими), и, верный системе наивности, проведенной по всей драме, приходит в бешенство и предлагает Паткулю уехать с ним в *Данциг.* Но Паткуль не соглашается ни на какие предложения, зовет своих людей. Они являются из потаенной двери, за которой видны три трупа шпионов. «Видите ли, — говорит он, — я свободен!

---

[1] все прочие (*итал.*).

Моя квартира с множеством секретов...
. . . . . . хочу — пойду в темницу,
Хочу — к Петру поеду на почтовых!..
Перед моей забрызганной каретой
Вы факелы покорно понесете...»

И, вероятно из дилетантизма, отправляется в тюрьму. «Боже мой! — опять подумали мы, окончив эту сцену,— неужели ж этот маркиз Фанфарон, этот новый капитан Пистоль, этот многошумный господин, который говорит постоянно „In King Cambyses' vein“ *,— Паткуль, даже тот Паткуль, каким его изобразил г. Кукольник?»

А вот вам и замашки à la Шекспир:

Мы по старшинству
На Карла будем брызгать нашей кровью;
Мир испытает с пятнами горячку:
Но будет ли кровопусканье в пользу? —
Европа дряхлая не ослабеет,
Проспится и опять на старом месте
Откроет старую свою цирюльню...
На место, Имгоф! (*Кричит Паткуль.*)
По плутовству в комиссии вы первый,
По старшинству шестой... Сидите смирно...
Есть у меня пилюли и для вас!
. . . .
Не вам ли, куклам, слабым и щедушным,
Арестовать меня...

Знай наших!

В следующей сцене Август подписывает трактат, получает от русского царя курьера — и отправляет к нему посла. Входит Роза. Она просит о Паткуле — и через несколько мгновений принуждена сказать: «Я вас не понимаю, государь».— «Вот то-то же»,— отвечает Август.

И я не понимал,
Чего хотелось Шарлю от меня...
А как *прижал* — невольно догадался!

---

* «Король Камбиз» — одна из английских трагедий до Шекспира. Там один из героев говорит, между прочим, что: «Я затоплю все планеты волнами моей крови...» (*Примечание Тургенева.*)

Роза остается залогом свободы Паткуля. Подобные сцены писались тысячу раз и всегда одинаково... Кажется, не для чего на них останавливаться.

Мы переносимся в темницу Паткуля. Он собирается писать свои записки, потом говорит о своих заслугах. И здесь вычурные или неточные выражения на каждом шагу неприятно поражают читателя. Приходит комендант и предлагает Паткулю купить себе свободу — Паткуль отвечает ему речью, испещренною словами: «Крепко не хотелось», «выжить», «бабы...», отказывается, дает ему деньги и остается один. Паткуль вспоминает о Петре, который, видно, забыл его. Вдруг входит Роза. Опять обыкновенная в таких случаях сцена. (См. хоть «Marion de Lorme» В. Гюго.) Но Гюго не заставляет Дидие схватить Марион *за шею* — и *вытащить у ней из-за пазухи* (как у Флемминга) письмо. В этом письме (украденном Розой у Августа) Петр пишет:

Пока свободы Паткуль не получит,
Петр с Августом иметь не хочет дела...

Паткуль кричит: «Ура! я не забыт!» — Это восклицание могло быть и верным и потрясающим, если б г. Кукольник тотчас же не заставлял Паткуля прибавить:

И цепи — мой венец, и стыд — порфира.
Позор в лучи величья перелился... и т. п., —

так что поневоле согласишься с замечанием одного остроумного русского критика, что слабая сторона русской литературы — вкус — и (прибавим мы) чувство меры. Пока Паткуль кричит и декламирует, входят шведы и берут его. Роза падает без чувств. Паткуль прощается с ней; но читатель не тронут: вольно ж было Паткулю декламировать. Третий акт кончается.

Акт четвертый. Мы в Альтранштадте, на квартире Пипера. Послы всех держав у него в гостях. (Заметим, между прочим, что герцог Марлборуг был прислан к Карлу в августе месяце 1707 г., а не в сентябре 1706, когда был подписан трактат. Но это еще небольшая историческая ошибка; у г. Кукольника Паткуль ходит на свободе в Калише в то время, когда он, по истории, уже с год сидит в Кёнигштейне. Но к чему было такое великое лицо, как Марлборуг, если вся его роль ограничивается следующими словами: «Уехал!», потом че-

рез несколько страниц: «Себя, несчастный Паткуль, пощадите» — и только.) Является Карл п...

Мы никак не можем согласиться с воззрением г. Кукольника на Карла. Шведский Александр у него представлен каким-то сумасшедшим и кровожадным грубияном, который то и дело толкует о колесованье — всех и каждого... «Эх, Пипер, — начинает он, — вечно гости у тебя!..»

> *Дурь* из костей я выбью колесом...
> Насмешливой улыбки
> Я не прощаю... этих генералов (австрийских)
> Прислать ко мне... А! Безанваль,
> Сидишь, как жид...
> У этой мерзкой девки Кёнигсмарк?
> Вот я вас, погодите!
> Сначала колесую президента,
> А там и членов тайного союза!.. (Саксонских.)

Карла просят о Паткуле... А он «кричит, топнув ногой»:

> Все (между прочими и Марлборуг) по домам!
> Не то я вам квартиры другие отведу...

Карл XII * был самолюбив, горд и высокомерен, но сосредоточен и холоден. Когда он гневался, он только хмурил брови и бледнел. Впрочем, он был набожен, прост, обходителен, строго соблюдал данное слово, любил правду и терпеть не мог лести, говорил мало, вел жизнь самую воздержную и правильную, отличался бескорыстием и щедростью. Трудно решить, что́ в нем более поражало: храбрость или хладнокровие. Он весь и всегда был сжат и спокоен (хотя смеялся часто и охотно); страшное упрямство выражалось в его молчаливой решительности. И этот-то человек, который в веселый час говорил своим приближенным: «Maledicamus de rege» (давай клеветать на короля), которого поход в Россию даже не так безрассуден, как уверяют многие со слов Вольтера, — этот человек у г. Кукольника является каким-то полупьяным палачом, разъяренным буйволом, сумасбродным мужиком... Хотя бы вспомнил автор благоразумный совет Аристо-

* Ссылаемся на Норберга, де Лимие, Адлерфельда, Вольтера — на всех историков. (*Примечание Тургенева.*)

теля — не выводить в трагедии человека совершенно злого или совершенно добродетельного! Отвращение — не трагическое впечатление. А Карл XII г. Кукольника возбуждает именно это чувство.

> Область сжечь (говорит Карл приехавшему Августу)
> Не так приятно, как посла Петрова
> Разбить в куски, как стклянку, колесом...

Потом, опять-таки ради couleur locale, заставляет его говорить с Августом о *сапогах* своих — между тем как по истории известно, что он принял его великолепно и радушно и сам съездил к нему в Лейпциг, а потом в Дрезден. Мы также не думаем, чтобы умный и тонкий кн. Д. М. Голицын выражался так несносно неуклюже, как его заставил говорить г. Кукольник:

> А ты куда, Навуходоносор!..
> Цыплята льстят, а ты и петушишься:
> Да мы тебе не курицы...

Странное дело! Все лица трагедии г. Кукольника очень похожи друг на друга: все тяжеловаты, мешковаты и грубоваты. Почему г. автор решился придать им всем одинаковый колорит, мы, может быть, и могли бы растолковать, но мы лучше поговорим о смерти Паткуля. Вся наша душа возмущается при мысли о мученической его казни, но не один Карл тогда колесовал своих бунтовщиков. С точки зрения *права* Карла обвинить решительно нельзя. Паткуль был приговорен к смертной казни его отцом; не явился, когда изданы были авокатории при вступлении нового короля на престол шведский; будучи подданным Карла, явно восстал против него, вел с ним войну... след<овательно>, изменил своему государю. С своей стороны, Паткуль был прав: он желал, как мы сказали выше, упрочить судьбы Лифляндии; но мало ли споров, в которых обе стороны правы? Если бы Карл велел тотчас казнить Паткуля, история не имела бы права заклеймить его неизгладимым пятном. Гораздо большего сожаления по-настоящему достоин лифляндец *Пайкуль*, которого около того же времени присудили к смертной казни. Пайкуль (генерал короля Августа) доказал, что он уже на пятнадцатом году вместе с родителями своими оставил Лифляндию, никогда не был на шведской

службе, одиннадцать лет до войны продал свое имение в Лифляндии — и все-таки был казнен (в Швеции, в 1707 году). Но именно это обоюдное право (Карла и Паткуля) и могло бы придать трагедии истинное ее значение.

Вместо того г. Кукольник заключает четвертый акт следующей сценой: Паткуль стоит среди лагеря, прикованный к столбу. Приходит Карл и *ругается* над ним. Паткуль просит Карла велеть его казнить, но не мучить. Карл отвечает: «Спасибо за совет — помилования тебе не будет». Паткуль вдохновляется и рифмованными стихами предсказывает ему гибель... Карл сперва «с бешенством» кричит: «Довольно! завяжите рот ему!», потом топает ногами — вопиет: «Граф, ружья зарядить! где палачи?» — потом стреляет из пушки, бросается к барабану, бьет тревогу...

Чувство тяжелое и неприятное овладевает читателем... Точно целый оркестр заиграл на разлад... Страшно громко и страшно фальшиво.

В пятом акте сперва мы видим Августа с Флеммингом, потом является весь его двор (между прочими и князь Голицын). Август торжественно лишает своей милости Имгофа и *Финкштейна* и посылает их в крепость. (По истории Имгоф, более виновный, заплатил 40 000 тал. и сидел до 1714 года, Пфингстен — до своей смерти, до 1733 года.) Но кн. Голицын не удовлетворен и требует бумаг посольских... Вдруг является Роза. Мы выписываем всю следующую сцену.

Роза

(*протянув руку к Августу*)

Пожалуйте на церковь, государь!
Там целый холм его обрызган кровью;
Крик Паткуля на площади, как ветер,
Встает и ходит, просится в дома,
Детей пугает. Надо успокоить,
Собрать в одно разрозненные члены.
В гроб уложить, похоронить с почетом
И церковь над могилою воздвигнуть!
Над гробом надпись: *Salve festa dies!* [1]
Он этим словом встретил солнце смерти...
Пожалуйте на церковь, государь!..

---

[1] Здравствуй, радостный день! (*лат.*)

Август

(*тихо*)

Не смею оглянуться, подозвать
Кого-нибудь...

Роза

Столбы, колеса, плахи,
Разнообразные орудья пытки...
Я помню их, я вижу их, смотрите:
На площади они стоят, как звери;
Шипят, железными когтьми поводят...
Народ любуется — и я любуюсь...
Смеются, я смеюсь, и вы смеетесь...
Не правда ли, забавно и смешно?..
Где Паткуль? Вот идет в плаще, без шляпы,
Смотрите: молятся, и я молюсь,—
И вы молитесь! Salve festa dies!..
Бух! В грудь удар! И небо потемнело...
Зазеленел и заструился воздух,
Ночная птица голосом ужасным
Святое имя бога прокричала!
Два, три, четыре, пять, шесть, семь ударов!

(*Плача.*)

Я вся избита, посмотрите, пятна
И в голове и в сердце; я оглохла;
Ужасно больно! И сама не знаю,
Как я перенесла... Ужасно больно!

(*Ровно, громко, но отрывисто.*)

Пятнадцать! Вся природа задрожала,
Все чувства, словно дети, разбежались;
Мешок с костьми остался и кричит
Вот этак, страшно: «Голову отрежь!»

Княгиня Тэшен

Небесный отче!

Голицын

Господи, помилуй...

Роза

А тут и расходились звери...
Махнуло колесо, и высоко

Огромная рука затрепетала!
Смотрите... вот другую оторвало...
Нога, нога... еще нога!.. Темно!

(*Идет и чего-то ищет.*)

Свети, Жером, свети! Поправь фонарь!
Найдешь траву, обрызганную кровью,
Сам не срывай, скажи, сорву и спрячу...

(*Остановясь.*)

Как! палец, только палец и с кольцом,
С моим кольцом! А труп! Труп птицы разнесли!
Ищи, Жером! ищи!..
Всё совершилось!

(*Упав на колени.*)

Пожалуйте на церковь, государь!

Эта сцена может служить примером того, что называется ложной натуральностью, гениальничаньем, напряженным усилием самоуверенного таланта, далеко, впрочем, не оправдывающего подобную самоуверенность. Является Фюрстенберг с известием о прибытии Петра... Голицын говорит Августу: «К ответу, государь, зову к ответу...» Роза бежит к царю навстречу и падает на пороге главных дверей...

Великий (*говорит она*)
И справедливый судия, суди нас!

Занавес падает.

Мы не совсем довольны этим концом, во-первых, потому, что ожидания, им возбужденные, не оправданы историей, а во-вторых, и потому, что роль такого deus ex machina[1] едва ли прилична великому преобразователю России.

Но не одной развязкой грешит эта трагедия. И в ней, как и во многих других произведениях русской сцены, характеристика, уменье вести диалог, представить зрителям игру страстей и выгод — пожертвованы декламации, иногда довольно удачной, иногда напыщенной, всегда неестественной и однообразной. Низар некогда назвал новейшую французскую литературу —

---

[1] *Буквально* — бога из машины (*лат.*).

littérature facile[1]; нам то же хочется сказать и о драматических произведениях, подобных «Паткулю». Уже ли же так трудно вместо живых людей, «ondoyants et divers»[2], как говорит Montaigne, безвозвратно преданных одной великой цели или покоренных собственными страстями, но живых, действующих, борющихся и погибающих, представлять фигуры условные, впрочем, приспособленные к известным театральным эффектам, противоречащие самим себе, как неловкое исполнение противоречит задуманному намерению? Кто может наслаждаться литературным или художественным произведением, несмотря на то, что чувство истины в нем оскорблено, тот, разумеется, с нами не согласится; но мы пишем не для него. Тщетно станете вы искать во всех длинных пяти актах «Паткуля» хотя что-нибудь непредвиденное, невольно потрясающее, какой-нибудь, хотя далекий, отголосок тех «простых и сладких звуков», которыми так богат Шекспир... Опять Шекспир? — спросите вы. Да, опять Шекспир, и всегда Шекспир — и не только он, но и Корнель, и даже Расин и Шиллер... Не умрут эти поэты, потому что они самобытны, потому что они *народны* и понятны из жизни своего *народа*... А пока у нас не явятся такие люди, мы не перестанем указывать на те великие имена, *не для того, чтобы подражали им*, но для того, чтобы возбудить честное соревнование и оправдать нашу критику. Понятно, почему русские во время младенчества нашей словесности говорили о своих Мольерах и Вольтерах; но теперь мы возмужали; и, с гордостью глядя на свое прошедшее, с доверенностью на будущее, мы можем, в надежде на собственные силы, сознаться, в чем еще мы бедны... *У нас нет еще драматической литературы и нет еще драматических писателей...* Эта жила в почве нашей народности еще не забила обильным ключом, а неловко скрытое подражание в состоянии радовать только тех, которые внутренно согласны с г-жою Сталь, что: la littérature en Russie est l'amusement de quelques gentilshommes[3], и совершенно удовлетворены такой невинной забавой.

---

[1] литературой легкой (*франц.*).
[2] «колеблющихся и разных» (*франц.*).
[3] литература в России есть развлечение нескольких дворян (*франц.*).

ПОВЕСТИ, СКАЗКИ И РАССКАЗЫ КАЗАКА ЛУГАНСКОГО. Санкт-Петербург. В Гутенберговой тип. 1846. Четыре части. В 12-ю д. л. В I-й части 474, во II-й – 477, в III-й – 488, в IV – 529 стр.

Читателям «Отечественных записок», может быть, со временем представится подробная и по мере возможности полная оценка сочинений В. И. Даля; теперь же мы намерены ограничиться общею характеристикой этого замечательного и самобытного дарования. Помнится, какой-то плохой стихотворец воскликнул однажды, что если б небо позволило ему избрать свой жребий, он пожелал бы сделаться не действительным статским советником, не миллионером – а именно народным писателем. Небо не всегда внимает молениям смертных; оно оставило стихотворца при его рифмах, а Казаку Луганскому, вероятно, без всякой с его стороны просьбы, определило быть писателем действительно народным. Мы более всего ценим в таланте единство и округленность: не тот мастер, кому многое дано, да он с своим же добром сладить не может, но тот, у кого всё свое под рукой. А г. Далю и многое дано, и владеет он своим талантом мастерски, особенно там, где он у себя дома.

Мы назвали г. Даля народным писателем и должны оправдать это название. У нас еще господствует ложное мнение, что тот-де народный писатель, кто говорит народным язычком, подделывается под русские шуточки, часто изъявляет в своих сочинениях горячую любовь к родине и глубочайшее презрение к иностранцам... Но мы не так понимаем слово «народный». В наших глазах, тот заслуживает это название, кто, по особому ли дару природы, вследствие ли многотревожной и разнообразной жизни, как бы вторично сделался русским, проникнулся весь сущностью своего народа, его языком, его бытом. Мы употребляем здесь слово «народный» не в том смысле, в котором оно может быть применено к Пушкину и Гоголю, но в его исключительном, ограниченном значении. Для того, чтоб за-

служить название народного писателя в этом исключительном значении, нужен не столько личный, своеобразный талант, сколько сочувствие к народу, родственное к нему расположение, нужна наивная и добродушная наблюдательность. В этом отношении никто, решительно никто в русской литературе не может сравниться с г. Далем. Русского человека он знает, как свой карман, как свои пять пальцев. Когда, лет десять назад, появились первые россказни Казака Луганского — они обратили на себя всеобщее внимание читателей русским складом ума и речи, изумительным богатством чисто русских поговорок и оборотов. Нельзя было признать в них особенно художественного достоинства со стороны содержания, но своим неподдельным и свежим колоритом они резко отличались от пошлого балагурства непризванных народных писателей. Как первые опыты сильного таланта, эти сказки замечательно хороши; но такого рода сочинения не имеют еще истинно литературного значения... И автор не остановился на них: Казак Луганский стал Далем. Г-н Даль находится теперь в самом расцвете своего таланта, и лучшие его произведения появились в последних годах.

Постараемся определить составные элементы его таланта. Г-н Даль очень умен,— в этом нет сомнения; но он еще более смышлен, смышлен русской смышленостью. На своем веку он, должно быть, видал и смекал многое. У него мало юмора, но русского, игривого остроумия у него бездна. Он, как говорится, себе на уме, смотрит невиннейшим человеком и добродушнейшим сочинителем в мире; вдруг вы чувствуете, что вас поймали за хохол, когти в вас запустили преострые; вы оглядываетесь,— автор стоит перед вами как ни в чем не бывало... «Я, говорит, тут сторона, а вы как поживаете?» Русскому человеку больно от него досталось — и русский человек его любит, потому что и Даль любит русского человека, любит дворника с его съедомым утиральником и с грязной щеткой, на которую он в раздумье опирает свою бороду. Слог у Даля чисто русский, немножко мешковатый, немножко небрежный (и нам крайне нравится эта мешковатость и небрежность), но меткий, живой и ладный. Казак Луганский (недаром казак!) не поднимается на ходули, не говорит нам: «Я, господа, вам расскажу то и то;

я презлой, преумный и пренасмешливый человек...» Куда! Послушать его — он ниже травы, тише воды. Но в его рассказах то и дело попадаются вещицы, от которых так и хочется подпрыгнуть, между тем как в произведениях тех ученых и красноречивых господ всё есть, кроме непредвиденного... А нас, грешных людей, буквоедов, только непредвиденное и радует. Даже иногда обидно становится читателю: за что ж русский человек отдан весь во владение этому казаку? А делать нечего!.. Иногда, правда, казак балагурит немного, щеголяет «словечками»... но за кем греха не водится! Надобно также признаться, что г. Далю не всегда удаются его большие повести; связать и распутать узел, представить игру страстей, развить последовательно целый характер — не его дело, по крайней мере тут он не из первых мастеров; но где рассказ не переходит за черту «физиологии», где автор пишет с натуры, ставит перед вами или брюхача-купца, или русского мужичка на завалинке, дворника, денщика, помещика-угостителя, чиновника средней руки — вы не можете не прийти в упоение... Произведения г. Даля, переведенные, едва ли могли бы понравиться иностранцам: в них уже чересчур пахнет русским духом, они слишком исключительно народны; но мы любуемся ими, не потому только, что вот, мол, как верно списано это лицо,— а потому, что русскому всё русское любо, как бы оно ни было подчас смешно. Мы, грешные люди, сознаёмся, находим особенную прелесть в том, что мужики на святой не вспахали-таки земли́, несмотря на свои разумные речи,— в том, что денщик делит весь мир на две половины, на своих и на несвоих, и так уж и поступает с ними... В русском человеке таится и зреет зародыш будущих великих дел, великого народного развития...

Г-н Даль, должно быть, провел некоторые годы своей жизни на юге и на востоке России... да, впрочем, где он не бывал! Молдаване, жиды, цыгане, болгары, киргизы — это всё ему знакомый народ. Быт их, обычаи, города и селения, разнообразную природу нашей Руси рисует он мастерски, немногими, но меткими чертами. У г. Даля гораздо более памяти, чем воображения; но такая верная и быстрая память стоит любого воображения. Мы, пожалуй, готовы согласить-

ся, что, проживи г. Даль весь свой век в одном городе, талант его не развился бы и вполовину; но мало ли людей, которые изъездили всё российское государство вдоль и поперек и — ничего не видали, ничего не слыхали и ничего не помнят, или помнят совершенные пустяки. Разве не талант — уменье одним взглядом подметить характеристические черты края, народонаселения, уловить малейшие выражения разных — говоря высоким слогом — личностей и, среди всякого рода дрязгов и мелких хлопот, сохранить неизменную, непринужденную веселость? Замечательно, что г. Даль, вероятно, сознавая свою собственную резко выраженную оригинальность, не дает ей слишком разыграться и редко впадает в манеру, не так, как, например, г. Вельтман, с которым у него, впрочем, довольно много общих черт. Одно ему не совсем далось, как и почти всем нашим писателям, даже Гоголю,— женщины... Иногда мы также желали бы найти в г. Дале больше вкуса; не следовало бы такому богатому автору, как он, гоняться за такими бедными шутками, как, например, следующие надписи над главами Вакха Сидоровича Чайкина: «От метлы с фонарем и до самого полковника и дальше...» «От стряпчего Неирова *вплоть* до девиц Калюхиных...»

Но всё же нельзя от души не поздравить русской публики с появлением полных сочинений В. И. Даля. Пусть их успех поощрит его дарить нам еще более повестей вроде «Колбасников и бородачей», еще несколько очерков вроде «Дворника», «Денщика», «Мужика», и пусть он, как с играми не совсем еще зрелой юности, расстанется с своими сказками и притчами в рифмованной прозе и в особенности с произведениями вроде «Ночь на распутье», которая, несмотря на множество удачных подробностей, не в выгоду даровитого автора напоминает «Сон в летнюю ночь» Шекспира. Г-н Даль уже занял одно из почетнейших мест в нашей литературе: пусть он окончательно упрочит это место за собою.

СОВРЕМЕННЫЕ ЗАМЕТКИ

Мы ленивы и нелюбопытны, справедливо сказал об нас Пушкин. Мы весьма мало заботимся о том, что происходит около нас. Но мы похожи на скупцов, которые, если решаются, наконец, угостить кого-нибудь, бросают деньги за окно и летом топят комнаты; если чему-нибудь удалось занять наше любопытство, мы только об этом и толкуем, делимся на партии, спорим с жаром, спорим с убежденнем и через несколько времени погружаемся опять в обычное наше равнодушие. Теперь нас преимущественно занимают и волнуют цирки...

Мы ленивы и нелюбопытны, правда; но мы неравнодушны к нашим словам. Мы даже в этом отношении готовы впасть в другую крайность и, вероятно, с намерением доказать старой Европе, что и мы от нее не отстали, не скупимся на названья: гений, гениальный человек, талант, великий талант, нечто необыкновенное и проч. Парадокс Бюффона: гений есть терпенье — часто сбывается у нас; кто больше работает, кто чаще напоминает о себе, тот у нас и великий человек; но живут между нами действительно гениальные люди, которыми со временем не мы одни, русские, будем гордиться. К числу таких несомненно славных имен принадлежит имя Витали. Все русские знают это имя, но далеко не все знакомы с его произведениями. Мы намерены сообщить нашим читателям несколько сведений об них и о самом г. Витали.

Г-н Иван Витали родился в Петербурге от италиянских родителей в 1794 году, молодость провел в Петербурге, потом переехал в Москву, где занимался лепными работами; в 1835 году, во всей силе и зрелости своего таланта, возвратился опять к нам на север. России он никогда не покидал — что, может быть, еще более упрочило самобытность его дарования. Впрочем, этим мы нисколько не хотим сказать, будто бы поездка в Италию, классическую страну искусства, бесполезна для начинающих художников; напротив, она необходи-

ма. Такие счастливо одаренные природы, как г. Витали, слишком редки; в другой стране верный и здравый смысл, чувство истины и простоты, отличительные качества дарования г. Витали, ни в каком случае не дали бы ему впасть в подражание, в манеру, принять условные типы школы. Как бы ни было сильно впечатление, произведенное на людей с самостоятельным талантом образцами великих мастеров, оно никогда в них не проявится рабской подражательностию. В мастерской г. Витали видели мы, например, модель богородицы с Христом и Иоанном Крестителем — группу, от которой веет Рафаэлем (а именно его Альбской мадонной), и между тем это прекрасное произведение в художественном смысле — собственность г. Витали. Всем жителям Петербурга знакомы его два знаменитые барельефа на фронтонах Исаакиевской церкви: «Поклонение волхвов» и «Благословение св. Исаакием императора Феодосия». В особенности поразителен своей обдуманной гармонией, единством действия, характеристикой каждого лица и высокой красотою — первый. Помещение барельефа в фронтон затрудняется необходимостью согласоваться с покатостью верхних линий; крайние фигуры в обоих углах треугольника поневоле должны быть представлены сидящими или лежащими, между тем как само содержание барельефа не всегда этого требует. Заставить забыть зрителя об этом неудобстве, не только не казаться стесненным условиями данного пространства, но, напротив, извлечь из них красоту — это большое торжество, которое не далось ни Лемеру, ни Давиду (в фронтонах Мадлены и Пантеона). Правда, самый сюжет южного фронтона Исаакиевской церкви «Поклонение волхвов» представил художнику в *этом* отношении менее затруднений, но достоинство непринужденной и гармонической группировки только одно из достоинств этого барельефа. Как целомудренна и прекрасна вся фигура богородицы! Какого страстного обожания исполнена фигура распростертого царя! Как хороши пастухи, пришедшие на поклонение Спасителю! (г. Витали соединил поклонение волхвов с пришествием пастухов в Вифлеем). Какое, наконец, мастерство в драпировке! Другой барельеф г. Витали отличается, может быть, еще большею обдуманностью, бо́льшим искусством, но не производит на нас такого

полного впечатления, как «Поклонение волхвов». Связь отдельных лиц в одно целое, в одну группу, не так ясна для зрителя опять-таки вследствие содержания барельефа. Но и этот барельеф образцовое произведение. Главная группа: император с женой перед св. Исаакием — поразительна, хотя, может быть, несколько переходит за черту ваяния, спокойного пластического искусства. Вообще мы должны заметить, что кое-где, весьма, впрочем, редко, видно в произведениях г. Витали влияние господствующей у нас живописной школы, которая, несмотря на все свои несомненные достоинства, грешит иногда театральностию и стремлением за эффектом, а такой недостаток более всех других противоречит самой сущности ваяния. Зато, когда г. Витали предается собственному вдохновению, он до того прост, грациозен, величав и трогателен, что мы решительно ставим его выше всех современных ваятелей, всех ваятелей нынешнего столетия. Например, мы ничего не знаем прекраснее его барельефа: «Христос, входящий в Иерусалим», который будет находиться над великолепными дверьми церкви. Г-н Витали — реалист, в хорошем смысле этого слова; в трудах его незаметно влияния старых условных форм, от которых и сильные таланты не всегда могут вполне отрешиться; он действительно свободный художник: все его фигуры живы, человечески прекрасны; кто-то очень метко сравнил его с Пуссеном. Он в высокой степени одарен чувством меры и равновесия; его художественный взгляд ясен и верен, как сама природа. Никаких «замашек», никакой манерности, никаких претензий, ни одной способности, развитой на счет других,— счастливая организация! Мы не могли видеть его апостолов (их теперь отливают), но смело надеемся на победу нашего соотечественника над Торвальдсеном, который, при всей силе своего таланта, до конца не мог достигнуть наивной простоты, выпутаться из множества ложных или полуистинных художественных и жизненных воззрений. Между множеством прекрасных моделей в мастерской г. Витали заметили мы превосходный барельеф: «Исаакий, уносимый на небо тремя ангелами», над которым мы застали художника; бюст покойной великой княжны Александры Николаевны, так рано похищенной смертию; известную его богородицу с ребенком-Христом...

Столько грации при такой силе! Невольно вспомнишь стих Гёте:

Nur aus vollendeter Kraft blicket die Anmuth hervor[1].

Желаем г. Витали долгие годы счастливой деятельности... Мы это желаем ему — и России.

Вышли в свет рисунки к священной истории Ветхого завета, сделанные нашим известным художником г. Сапожниковым. Мы успели только взглянуть на них и потому не можем дать обстоятельного отчета об их художественном достоинстве. Но и при первом взгляде мы убедились, что это издание займет у нас одно из первых мест между изящными произведениями своего рода. Самая мысль употребить свой талант на такой высший предмет, как события библейские, есть мысль счастливая и общеполезная. Желаем всевозможного успеха этому столько же назидательному, сколько и изящному труду. Мы надеемся еще возвратиться к нему, чтобы поговорить подробнее и точнее.

Скажем кстати несколько слов о предприятии, которое во всяком случае достойно похвалы, если не за исполнение, по крайней мере за намерение и добросовестный труд. Мы говорим о рисунках к «Мертвым душам» Гоголя. Браться за типы, созданные этим великим мастером, страшно... И мы не можем скрыть от г. Агина, что они ему не вполне дались. Мы помним его рисунки к «Тарантасу», к «Помещику»: типы те приходились его таланту по плечу,— и нельзя было не радоваться его работе. Со стороны внешнего исполнения рисунки к «Мертвым душам» чрезвычайно удовлетворительны; рисованы и резаны на дереве очень хорошо... иные даже приближаются к истине, но только приближаются, только намекают на настоящее понимание. Мы не знаем, покидал ли г. Агин когда-нибудь Петербург, но все его лица — чисто петербургские и вовсе не провинциальные. Манилов смотрит юным здешним чиновником, охотником до бильярдной игры и литературных занятий; мужики являются петербургскими дворниками, содержателями постоялых дворов (см. вып. 1-й, лист 2); Селифан превратился в чухон-

---

[1] Только совершенная сила может таить в себе такую гармонию (*нем.*).

ца, Ноздрев так, да не так (что́ чрезвычайно неприятно)... Но главный промах — фигура Чичикова. Это толстое, коротконогое созданьице, вечно одетое в черный фрак, с крошечными глазками, пухлым лицом и курносым носом,— Чичиков? да помилуйте, Гоголь же сам нам говорит, что Чичиков был ни тонок, ни толст, ни безобразен, ни красив. Чичиков весьма благовиден и благонамерен; в нем решительно нет ничего резкого и даже особенного, а между тем он весь с ног до головы — Чичиков. Уловить такой замечательно оригинальный тип, при отсутствии всякой внешней оригинальности, может только весьма большой талант. Иные лица: Порфирий, Мижуев довольно порядочны... но ни Собакевич, ни жена его, ни Коробочка, ни Плюшкин не дались г. Агину. Что делать?

Tel brille au second rang qui s'éclipse au premier [1].

Но мы все-таки должны похвалить гг. издателей за их доброе намерение, трудолюбие и отчетливость.

Вот, например, г-ну Степанову удались его фигурки. Он истинный карикатурист. Подметить смешные стороны человека, безжалостно вытащить их на свет божий, не нарушая, впрочем, его личности, так что всякий с первого взгляда узнает жертву, должно быть, превеселое занятие, и мы воображаем себе г-на Степанова самым счастливым человеком в мире. Иные фигурки до того удались, что на них, как на индюшек у Гоголя, противно смотреть. Для этих фигурок со времени выдумки г-на Степанова началось потомство (если предположить, что потомство будет ими заниматься); справедливый суд произнесен уже над ними, несколько строгий, правда, суд... Но потомство едва ли будет церемониться со своими предшественниками.

От одного искусства до другого шаг невелик. От живописи и ваяния перейдем к музыке. Но не успели мы написать это слово, как следующий странный вопрос возник в нашем уме: «Музыкальный ли город С.-Петербург?» — «Как? — скажете вы,— можно ли в этом сомневаться после четырех сезонов итальянской оперы?» — Мы не то, что сомневаемся, а так, признаться, немного смутились от собственного вопроса — чисто

[1] Иной блистает во втором ряду, но меркнет в первом (*франц.*).

современная черта! Сколько раз нам случалось почтительно прислушиваться к речам благородных юношей, с убежденьем и достоинством толкующих о какомнибудь возвышенном предмете,— и вдруг один из них, помолчав немного, обратится к своим товарищам с вопросом: полно, не чепуха ли вышеупомянутый возвышенный предмет?.. Что вы думаете? на него с негодованием восстанет всё собрание? Напротив: большей частью все с ним тотчас согласятся. И потому не удивляйтесь, почтенные читатели, если мы спросим себя в другой раз: «Музыкальный ли город Петербург?» — Отвечать на этот вопрос можете вы сами, если заблагорассудится...

В нынешнем году на итальянском театре мы слышали: «Лучию», «Лукрецию», «Элизир», «Дочь полка» — Донизетти; «Норму». «Пуритан» — Беллини; «Темплацио» — Николаи; «Эрнани», «Ломбардцев» — Верди; «Сороку-воровку», «Карла Смелого» — Россини.

Что в наше время музыка в упадке — в этом, вероятно, многие согласятся. Виртуозы, концерты, хроматические галопы, гениальничанье и претензии ее убили. Когда г-н Берлиоз, этот тип мудреной и сложной бездарности, может безнаказанно перед целым Парижем заставить хор чертей в своем «Фаусте» петь следующие слова:

Has! marakarai
Obaï maraïbo
Meriadec marakara...

Чего же ждать? После Моцарта и Глука — Россини, после Россини — Беллини и Донизетти; после них — Верди... Уверяют, что человечество идет вперед; согласны... но, видно, и человечеству случается иногда «отступить, чтобы лучше прыгнуть». Как мы прыгнем лет через пять!

Однако мы не желаем прослыть за отчаянных поклонников старины и, например, охотно готовы отдать справедливость и г-ну Верди. Г-н Верди, как и г-н Фелисиан Давид, автор «Пустыни»,— человек очень искусный и ловкий, «rompu au métier», как говорят французы, хороший аранжёр, как и г-н Лист. Arranger значит по-французски — приводить в порядок; эти господа «приводят в порядок» чужие идеи — довольно

приятное и выгодное занятье. Не ищите в них наивности, простоты, даже неловкости начинающего, не овладевшего собой таланта: они ловки, чрезвычайно ловки и очень сложны. Чего нет, например, в г-не Верди? И Россини, и Беллини, и Донизетти, и Мейербер — все тут. В самом важном, в самом естественном признаке музыкального призванья отказала ему природа: в даре мелодий. Но его инструментовка рачительна: он умеет владеть большими массами голосов, хорами (замечательно хороши его квинтето в 1-м акте «Набукко», трио в «Эрнани» и в «Ломбардах»); нельзя отрицать оригинальности иных его музыкальных фраз (не мелодий: у него их нет), особенно в кабаллетах, хотя они большей частью состоят из так называемых «tours de force». Итальянцы в особенности хвалят его хоры; иные действительно хороши; он придал им драматическое движение; впрочем Верди часто достигает этой цели весьма простым образом: он заставляет множество голосов петь арию, иногда крайне пошлую; но с непривычки слушатель поражен. Вообще г-н Верди не боится избитых мотивов; «Марш Ломбардов» (правильнее Лонгобардов, ибо ломбардов, финансовых учреждений, не существовало во время крестовых походов), этот марш — не что иное, как уличный, плясовой мотив. Но слава никому не дается ни за что даром; в Италии, кроме Верди, никого слушать не хотят; в Париже и Лондоне его оперы нравятся; следовательно у него есть талант и — пока — он первенствует. Но дай бог, чтобы это музыкальное междуцарствие прекратилось как можно скорее! Этого в особенности должны желать несчастные певцы и певицы, которых Верди губит сотнями, заставляя их кричать без умолку и толку (у нас звучат еще в ушах страшные финалы 1-го акта «Ломбардов»)! Новейший «canto spianato», «растянутый напев», прекрасная вещь, положим, но нам жутко думать, что в скором времени некому будет петь россиниевских опер, и несколько, правда, устарелые алмазы и жемчуги какой-нибудь «Сороки-воровки» заменятся фольгой и шумихой г-на Верди и комп⟨ании⟩.

Но если «Сорока-воровка» действительно устарела, скажите, читатели, знаете ли вы что-нибудь свежее, несокрушимее россиниевского «Карла Смелого»?

Впрочем, в последнее время не одна музыка зани-

мала жителей «Северной Пальмиры». Нас забавляли ученые птицы г. Галюше, материнская нежность и ухватки обезьяны, о благополучном разрешении которой появлялись в ведомостях такие трогательные извещения,— ухватки, не слишком, впрочем, приятно напоминавшие нам, людям, владыкам вселенной и аристократам, что мы состоим в довольно близком родстве с этими плебейцами, четверорукими тварями и пр. В числе других иностранных фокусников посетил нас г. Андерсон, «великий северный колдун» (the Great Wizard of the North), далеко, впрочем, уступающий в искусстве известному Боско. Гораздо больше, чем все проделки г. Андерсона с картами, часами и пр., потешило нас следующее обстоятельство: «Как сказать по-русски двенадцать платков?» — спросил он по-английски у зрителей. «Двенадцать платков»,— отвечали ему. «А! хорошо!.. Ваш платков»,— с приятной улыбкой продолжал г. Андерсон, обращаясь к одной даме. «Вот мой платок»,— отвечала она. Великий северный колдун — должно отдать ему справедливость — тотчас сообразил, что «платков», вероятно, множественное число слова «платок»,— и, перейдя к следующей даме, произнес уже: «Ваш платок?» Когда же все двенадцать платков, положенные в кадки, оказались вымытые и раздушенные одеколоном — в жаровне, г. Андерсон с торжеством воскликнул, показывая их зрителям: «Вот ваши платков!» — «Наши платки»,— отвечал ему кто-то... Великий северный колдун, видимо, смутился и, должно быть, получил в ту минуту престранное понятие о русском языке.

От г-на Андерсона перейдем к графу Сюзору. Граф Сюзор читал нам, северным варварам, лекции о французской литературе, о том, какие у французов были умные люди, и как эти умные люди приятно писали, и как все другие нации им подражали и должны подражать, и как это всё хорошо и приятно. Уменье разговаривать — отличительное качество французов; но оригинально и грациозно разговаривать и у них умеют немногие. Вести «диалог» — великое искусство... Монологи держать гораздо легче, особенно если в вашем распоряжении находится довольно большое количество дешевого энтузиазма — и если добродушные слушатели расположены внимать вашим разглагольствова-

ниям... Впрочем, всё обстоит у нас благополучно. Солнца мы давненько не видали, по обыкновению, но фантастическое освещенье петербургской вечерней зари повторяется каждый день. У Излера расстегаи так же хороши, г-жи Лойо и Кюзан так же обаятельны, литература идет своим порядком, рисунки в «Иллюстрации» так же изящны,— чего еще желать?

Lieber Mond, du gehst so stille,
Gehst so stille, lieber Mond;
Gehst du stille, lieber Mond —
Lieber Mond, dann gehst du stille! [1]

Упомянув об Лежаре и Гверре, нельзя не войти в некоторые подробности: предмет слишком интересующий в настоящее время петербургскую публику. Мы, однако ж, нисколько не намерены смотреть на него свысока и тяжеловесно подтрунивать над публикою, называя ее увлечение «лошадино-циркоманиею» или каким-нибудь еще более неуклюжим словцом. Мы не видим ничего худого в том, что публике нравятся цирки. Подумаешь, читая иной фельетон, презрительно издевающийся над цирками, что мы и бог знает как богаты и потребностию художественных наслаждений и возможностию наполнять ими жизнь нашу... Ничуть не бывало! Какой-то поэт, не печатающий своих стихов и, вероятно, «озлобленный на новый век и нравы», сказал об нас:

Уныло мы проходим жизни путь.
Могло бы нас будить одно — искусство,
Но редко нам разогревает грудь
Из глубины поднявшееся чувство,—
Затем, что наши лучшие певцы
Всем хороши, да петь не молодцы;
Затем, что наши русские мотивы,
Как наша жизнь, и бедны и сонливы,
И тяжело однообразье их,
Как вид степей пустынных и нагих...

Не весел день и долог вечер наш,
Однообразны месяцы и годы;

---

[1] Милый месяц, ты плывешь так тихо,
Плывешь так тихо, милый месяц;
Плывешь ты тихо, милый месяц —
Милый месяц, плывешь ты тихо! (*нем.*)

Обеды, карты, дребезжанье чаш,
Визиты, поздравления и — — — —
Вот наша жизнь! Ее постылый шум
С привычным равнодушьем ухо внемлет,
И в действии пустом кипящий ум
Суров и сух, а сердце глухо дремлет;
И, свыкшись с положением таким,
Другого мы как будто не хотим,
Возможность исключений отвергаем
И словно по профессии зеваем...

Явись случай к наслаждению — малому ли, большому, к развлечению, мы не предадимся ему безотчетно и доверчиво; мы боязливо осматриваемся, выжидаем, прислушиваемся; нам прежде нужно знать: какого оно рода? да в тоне ли? да ездит ли высший свет? А не ездит высший свет, так будь оно хоть как раз нам по вкусу и по карману,— мы, пожалуй, и не поедем. Мы веселимся не столько для себя, как для других. Мы ходим, говорим, одеваемся — не для себя, а для других. Мы часто даже обедаем, спрашиваем лишнюю бутылку вина, распекаем слугу, как будто не для себя, а для других. Благоприятные обстоятельства, к счастию, отклонили от гг. Лежара и Гверры пагубное влияние нашей щепетильности: цирки их почти всегда полны. В цирк Гверры привлекает посетителей в особенности г-жа Каролина Лойо. Соответственное амплуа в цирке Лежара занимает г-жа Полина Кюзан. Общий голос присуждает первенство г-же Каролине Лойо. В самом деле, ловкость ее в управлении лошадью, постоянная уверенность и спокойствие и, наконец, грациозность, которою запечатлено каждое ее движение, поразительны. Она сама занимается приездкой лошадей. После нее, по ловкости и отсутствию переслащенных улыбок и натянутых поз, в цирке г. Гверры — замечательна г-жа Чиниэелли. Маленький Карл Прис чудо своего рода. Искусством своим он обязан отцу, с которым вместе и является обыкновенно на сцене. Глядя на изумительные фокусы ловкого, сильного, неутомимого мальчика, невольно начинаешь разделять мнение тех, которые утверждают, что из человека можно всё сделать — и музыканта, и фокусника, и поэта,— если вовремя и с уменьем за него приняться,— мнение в сущности нелепое...

ПИСЬМА ИЗ БЕРЛИНА

Письмо первое, 1 марта н. ст. 1847.

...Вы желаете услышать от меня несколько берлинских новостей... Но что прикажете сказать о городе, где встают в шесть часов утра, обедают в два и ложатся спать гораздо прежде куриц,— о городе, где в десять часов вечера одни меланхолические и нагруженные пивом ночные сторожа скитаются по пустым улицам да какой-нибудь буйный и подгулявший немец идет из «Тиргартена» и у бранденбургских ворот тщательно гасит свою сигарку, ибо «немеет перед законом»? Шутки в сторону, Берлин — до сих пор еще не столица; по крайней мере, столичной жизни в этом городе нет и следа, хотя вы, побывши в нем, все-таки чувствуете, что находитесь в одном из центров или фокусов европейского движенья. Наружность Берлина не изменилась с сорокового года (один Петербург растет не по дням, а по часам); но большие внутренние перемены совершились. Начнем, например, с университета. Помните ли восторженные описания лекций Вердера, ночной серенады под его окнами, его речей, студенческих слез и криков? Помните? Ну, так смотрите же, помните хорошенько, потому что здесь все эти невинные проделки давным-давно позабыты. Участие, некогда возбуждаемое в юных и старых сердцах чисто спекулятивной философией, исчезло совершенно — по крайней мере в юных сердцах. В сороковом году с волненьем ожидали Шеллинга, шикали с ожесточеньем на первой лекции Шталя, воодушевлялись при одном имени Вердера, воспламенялись от Беттины, с благоговением слушали Стеффенса; теперь же на лекции Шталя никто не ходит, Шеллинг умолк, Стеффенс умер, Беттина перестала красить свои волосы... Один Вердер с прежним жаром комментирует логику Гегеля, не упуская случая приводить стихи из 2-й части «Фауста»; но увы! —

перед «тремя» слушателями, из которых только один немец, и тот из Померании. Что я говорю! Даже та юная, новая школа, которая так смело, с такой уверенностью в свою несокрушимость подняла тогда свое знамя, даже та школа успела исчезнуть из памяти людей. Бруно Бауер живет здесь, но никто его не видит, никто о нем не слышит; на днях я встретил в концерте человечка прилизанного и печально-смиренного... Это был Макс Штирнер. Впрочем, понятно, почему их забыли; Фейербах не забыт, напротив! Повторяю: литературная, теоретическая, философская, фантастическая эпоха германской жизни, кажется, кончена. В последнее время, вы знаете, богословские распри сильно волновали немецкие души... Законное существование «немецких католиков» (Deutsch-Katholiken), наконец, признано; до сих пор еще не решен спор о непринятии д-ра Руппа (немецкого католика) в Общество Густава-Адольфа (Gustav Adolf's-Verein), учрежденное для поддержания *протестантских* приходов в католических землях, хотя общее мнение выразилось в пользу Руппа... Генгстенберг все еще хлопочет о привитии кальвинизма к евангелическому вероисповеданию... Так; но вы ошибетесь, если примете все эти движения, споры и распри за чисто богословские; под этими вопросами таятся другие... Дело идет об иной борьбе. Вы легко можете себе представить, какие смешные и странные виды принимает иногда, говоря словами Гегеля, *Логос* (или Мысль, или Дух, или прогресс, или человечество — названий много в вашем распоряжении), добросовестно, медленно и тяжко развиваемый германскими умами... но от смешного до великого тоже один шаг... Особенно теперь все здесь исполнены ожиданья...

На днях появилась здесь книга пресмешная и претяжелая, впрочем, очень строгая и сердитая, некоего г. Засса; он разбирает берлинскую жизнь по частичкам, и за недостатком других «элементов или моментов» общественности, с важностью характеризует здешние главные кондитерские... Первое издание этой книги уже разошлось. Это факт замечательный. Он показывает, до какой степени берлинцы рады критическому разбору своей общественной жизни и как им бы хотелось другой...

Искусство здесь — увы!.. Представители искусства

в Берлине все старики (Корнелиус, Раух, ваятель Тик, Шадов, Бегас — уже ветераны); от их произведений веет холодом и смертью, смертью уже потому, что они почти все заняты сооружением и украшением могильных склепов, надгробных и других памятников. Возле собора воздвигается «Campo Santo» на манер итальянских (как, например, в Пизе, Болонье); Корнелиусу заказаны фрески... Я видел некоторые из них. Их без особого комментария понять нельзя; композиция иногда довольно удачна, но Корнелиус *презирает* колорит — и, как почти все нынешние художники, — эклектик, аллегорист и подражатель, хотя видно, что ему очень бы хотелось быть оригинальным. «Ich trinke gern aus dem frischen Quell» [1], — говорит Гёте, то есть я лучше пойду любоваться фресками Микель-Анджело или Орканьи... Что мне из этого «пленной мысли раздраженья»? — Со времени моего пребывания здесь фасад музеума раскрасили альфреско, и довольно плохо, нечего сказать. Тут же поставили «Амазонку» Кисса; эта группа очень хороша, особенно лошадь. Новых зданий в Берлине не видать. Театр перестроен после пожара 1843 года. Он отделан очень, даже слишком богато, но во многом грешит противу вкуса. В особенности неприятны искривленные статуи à la Bernini, поставленные между главными ложами. Приторно-сладкий, голубоватый фон картин на потолке тоже вредит общему впечатлению. Над сценой находятся портреты четырех главных немецких композиторов: Бетговена, Моцарта, Вебера и Глука... Грустно думать, что первые два жили и умерли в бедности (могила Моцарта даже неизвестна), а Вебер и Глук нашли себе приют в чужих землях, один в Англии, другой во Франции. — Я с большим удовольствием увидел и услышал снова Виардо. Голос ее не только не ослабел, напротив, усилился; в «Гугенотах» она превосходна и возбуждает здесь фурор. Знаменитая Черито тоже здесь. Она очень мила, но до Талиони, до Эльслер, даже до Карлотты Гризи, ей, «как до звезды небесной», далеко. Дрейшок дал здесь два концерта: это барабанщик, а не пианист; но техника его изумительна.

Здесь с прошлого года существует заведенье, кото-

---

[1] «Я пью охотно из свежего источника» (*нем.*).

рого недостает в Петербурге. Это огромный кабинет для чтения с 600-ми (говорю — шестью стами) журналами. Из них, разумеется, две трети (почти все немецкие) очень плохи; но все-таки нельзя не отдать полной справедливости учредителю. Немецкая журналистика действительно теперь никуда не годится.

Вот пока всё, что я могу вам сообщить любопытного. Повторяю: я нашел в Берлине перемену большую, коренную, но незаметную для поверхностного наблюдателя: здесь как будто ждут чего-то, все глядят вперед; но «пивные местности» (Bier-Locale, так называются комнаты, где пьют этот недостойный и гнусный напиток) также наполняются теми же лицами; извозчики носят те же неестественные шапки; офицеры так же белокуры и длинны и так же небрежно выговаривают букву *р*; все, кажется, идет по-старому. Одни Eckensteher (комиссионеры) исчезли, известные своими оригинальными остротами. Цивилизация их сгубила. Сверх того, завелись омнибусы, да некто г-н Кох показывает странное, допотопное чудище — Hydrarchos, которое, по всей вероятности, *питалось* акулами и китами. Да еще — чуть было не забыл! В «Тиргартене» другой индивидуум, по прозванию Кроль, выстроил огромнейшее здание, где каждую неделю добрые немцы собираются сотнями и «торжественно едят» (halten ein Festessen) в честь какого-нибудь достопамятного происшествия или лица, лейпцигского сраженья, изобретенья книгопечатания, Ронге, Семилетней войны, столпотворенья, мироздания, Блюхера и других допотопных явлений.

В следующем письме я вам еще кой-что расскажу о Берлине; о многом я даже не упомянул... но не всё же разом.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ, НЕ ОПУБЛИКОВАННЫЕ ПРИ ЖИЗНИ

И. С. ТУРГЕНЕВА

1834—1849

СТИХОТВОРЕНИЯ

〈ЮНОШЕСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ〉

〈1〉 ЗАГАДКА

Я быстрой молнией лечу,
Пространства много пробегаю,
Однако ж всё бегу, бегу
И никогда мой бег не замедляю.

Газета, журнал

〈2〉

Сей памятник огромный горделивый
Благословенному поставлен был
И Николая век счастливый
Собою сам ознаменил.

Из недра скал гранитных преогромных
Рукою мощной он исторгнут был
Затем, чтоб Александра незабвенных
Он дел позднейшему потомству вспомянил.

В полночный час, когда луна взойдет
И звезды яркие на небе заблистают,
Сей храбрый гренадер мимо ее идет,
И слабые мечты Париж ему являют.

И в сердце града, середине силы
Воздвигнут памятник царем
И, на него смотря, как милы
Воспоминания и браней гром.

Россия, ты славна, огромна, величава,
Богата ты сынами днесь,
Воскликни ж: богу слава! —
И принеси царю подданства честь.

‹3›

Тебе, мой друг, я посвящаю
Мою любовь, всего себя,
И с сей причиной помещаю
Я в твой альбом: люблю тебя!

Да будь тебе залогом верным
Моя любовь и здесь, и там.
Я чаю быть неизмененным
И предаю сие стихам.

Ты есь один, кому я посвящаю
Мою любовь, всего себя,
Сие пред небом заверяю
И остаюсь твой навсегда.

‹4› ПОРТРЕТ

Губки твои розы алее,
Щечки огнем пурпуровым горят,
Темные глазки ночи чернее,
И жаркий поцелуй уста твои манят.

‹5› ЖИЗНЬ

Едва успели мы родиться,
Как стали жить и тосковать,
С страстями начали крутиться
И тут немного горевать.

Пришла и юность молодая
С руками, полными забот,
Но и прошла она не замедляя —
Не обратится к нам опять она владычицей.

За ней вслед мужество угрюмо
На нас свой простирает взор,
И вслед толкает всех, и чинно
Заводит с нами длинный спор.

⟨6⟩

Mein bester, theurer Freund,
Ich schenke dir mein Herz sehr gerne,
Nur bitt' ich dich, sey mir kein Feind
Und liebe mich mit ebener Wärme.

⟨ПЕРЕВОД

Мой лучший, дорогой друг,
Я с радостью дарю тебе мое сердце,
Только прошу тебя, не становись моим врагом
И люби меня с такой же теплотой.⟩

⟨7⟩ ПЕСНЯ

Шуми, шуми, пловец унылый,
Шуми угрюмо ты веслом;
По морю вечером носимый,
И в думу мрачную ты погружен.

И стал тянуть он невод полный,
Потом запел и затянул
Про деву милую, что где-то в волны
Убийца-варвар с горы столкнул.

И долго шум ее паденья
По волнам зыби воздымал —
Но всё умолкло, одно затмение
Луны поток изображал.

⟨8⟩ ПЕСНЯ

Что, мой сокол светлый, ясный,
Чернобровый, черноглазый,
Что не весело сидишь?
Что не радостно глядишь?

Что, повеся жалобно головушку
На одну сторонушку,
Ты не порхаешь по лесам
И не скачешь по долам.

Аль кручина на сердечушке
По родимой стороне лежит,
Или ноет по подружке матушке
Сердце твое ретивое?

Ноет, ноет мое сердечушко,
Изнывает мое бедное
О драгоценной моей матушке,
Пригоженькой молоденькой
Моей подруженьке.

МОЯ МОЛИТВА

Молю тебя, мой бог! Когда
Моими робкими очами
Я встречу черные глаза
И, осененная кудрями,
К моей груди приляжет грудь,
О дай мне силу оттолкнуть
От себя прочь очарованье.
Молю — да жгучее лобзанье
Поэта уст не осквернит
И гордый дух мой победит
Любви мятежной заклинанье.

Разыгрались снова силы,
В сердце пышет легкий жар...
Здравствуй, Май, ребенок милый,
Что ты мне приносишь в дар?

⟨ОТРЫВКИ И НАБРОСКИ⟩

⟨1⟩

Грустно мне, но не приходят слезы,
Молча я поникнул головой;
Смутные в душе проходят грезы,
Силы нет владеть больной душой.
Смотрит месяц в окна, как виденье,
Долгие бегут от окон тени;
Грустно мне — в тоске немого мленья
Пал я на дрожащие колени.
Бог мой, бог! Коснись перстом [творящим]
[До груди] разрозненной моей,
Каплю влаги дай глазам палящим,
Удели мне Тишины твоей.
И, тобой, творец, благословенный,
Бледное чело я подыму —
Всей душой, душой освобожденной,
Набожно и радостно вздохну.
Первый звук из уст моих дрожащих,
Первый зов души моей молящей
Будет песнь, какая б ни была,—
Песнь души, веселый гимн творенья,
Полный звук — как звуки соловья.

⟨2⟩

Малейший шум замолкнет в мирной [тени],
Зари вечерней гаснет свет дневной.
В моей душе в тот час благословенный,
Как цвет ночной, все чувства расцветут.
О как легко, как полно льется слово!
Как радостно ложатся мысли в речи,
Как весело больной моей душе!
О как я горд и смел и силен щедро!
Я голову до неба [подымаю],
Я пью избыток жизни

Со дна души — я верю, верю в бога
Зову его могучим зовом...
Какой обман!..

⟨3⟩

Смотрите — вот одна: к губам рукой усталой
Она склоняет край широкого фиала.
На губки полные, вдоль [смуглых щек],
[Луч трепетный бросает мягкий ток]

⟨4⟩

Что ты, сердце, мое сердце,
Разливаешься тоской?
Что ты бьешься так тревожно,
Что поделалось с тобой?
[Овладели ль] страсти снова?
Разгулялись ли пожить?
И, как прежде, ты готово
Ненавидеть и любить?
Так даю ж тебе я волю
[Мчи меня] вперед, вперед,
И посмотрим, ты ли, сердце,
Иль судьба свое возьмет?
За минутное волненье ⟨?⟩
Иль найди себе ⟨*нрзб.*⟩
Или в бездну упоенья ⟨?⟩
Погру⟨зись⟩ ⟨?⟩

⟨5⟩

Барабан гремит [протяжно]

⟨6⟩

И мимо вождя, как волна за волной,
Проходят ряды за рядами.
На клик их он машет приветно рукой,
Игравшей в дни ⟨?⟩
[И знамя, как] ⟨.....⟩ [1]
⟨. . . . .⟩ [2]
Железные лица бойцов обра⟨тились⟩ ⟨?⟩
С любовью сыновней к нему;
Он держит в руках

[1] *Конец стиха уничтожен сыростью.*
[2] *Несколько стихов уничтожены сыростью.*

НЕМЕЦ

Ich lag im hochgewachs'nen dunklen Kraute,
Es duftete so lieblich rings umher,
Der Felsen stieg steil abwärts, der ergraute,
Es schillerte weithin das grüne Meer.
Vom Süden kamen Schwäne hergezogen,
Im Eichenlaub leis wispelte der Wind...
Ich dacht' an sie, an sie, die ich betrogen,
Und weinte wie ein Kind.

Die Sonne schien und tausend zarte Fädchen
Von Halm zu Halm — sie wehten her und hin;
Es war so schön; doch das verlassne Mädchen
Es kam mir nicht, es kam nicht aus dem Sinn.
Das Herz zerfloss in tausend heisse Thränen,—
Ich wusste nicht wie's enden konnte gar,
Und mich ergriff ein mächtig dringend Sehnen
Nach dem, was längst entschwunden war.

Als ich zog hin, wie war sie bleich und traurig!
Wie bitter still verschlossen war ihr Mund!
Es wurde Nacht — der Wind blies dumpf und schaurig;
Ich fühlte wohl — ihr Herz war blutend wund.
Sie wusste nicht — was sagen und was lassen;
Es zitterten die Lippen ihr so sehr;
Sie liebte mich — und konnte sich nicht fassen;
Ich liebte sie nicht mehr.

Was ich ihr sagt' im Scheiden — längst vergessen
Ist es von mir; doch war's kein freundlich Wort.
Ich war vergnügt und fröhlich, ja vermessen;
Und leichten Sinns und muthig zog ich fort.
Aus meiner stillen Öde zog mich mächtig
Ein Heer von Jugendträumen bunt und licht,

Und ich vergass — die Zukunft schien so prächtig —
Ob eines Mädchens Herz brach — oder nicht.

Doch als mein Fuss berührte meine Schwelle —
Da brach es los in herber Qual und Lust;
Sie lief mir nach mit wilder Liebesschnelle
Und hielt mich heftig weinend. Durch die Brust
Erinn'rung zuckte wie verklung'ner Lieder
Gelinder Nachhall, da sie mich umfing.
Doch was entschwand, das kehrt ja niemals wieder*—
Ich küsste leis die Stirn ihr und ich ging.

Und hatt' ich das — o! hatt' ich das geschworen
In jener schönen, ewig-schönen Nacht,
Als taumelnd fast, liebtrunken und verloren
Sie gab mir hin der jungen Glieder Pracht?
Ach, unter meinen Thränen, meinen Küssen
Blieb sie so stumm. Ich schwur, sie sah mich an:
«Auch du wirst mich noch einst verlassen müssen...»
Und ich, ich hab's gethan!

Und jetzt... da jeder Hoffnung ich entsage,
Da von dem Kampf ich kehre, matt und wund —
Mit bitt'rer Reu gedenk ich jener Tage,
Des lieben Kinds und mancher gold'ner Stund.
Vergessen hat sie mich!.. O Gott, verwehr' es!
Doch ich verdien's — was Deine Hand mir bot,
Stiess ich zurück... Ich lieg am Rand des Meeres
Und wünsche mir den Tod.

‹ПЕРЕВОД

Я лежал в высокой темной траве,
Так нежно пахло вокруг,
Седая скала круто обрывалась вниз,
Вдали мерцало зеленое море.
С юга пролетали лебеди,
В дубовой листве тихо шелестел ветер...
Я думал о ней, о той, которую сбманул,
И плакал как дитя.

---

* Что было, то не будет вновь. (*Примечание Тургенева.*)

Сияло солнце, и тысячи тонких нитей
Колыхались — протягиваясь от стебелька
к стебельку;
Было так хорошо; но мысль о покинутой девушке
Никак, никак не оставляла меня.
Сердце истаивало в потоках горячих слез,—
Я не знал, когда же это кончится,
И меня охватила страстная тоска
О том, что давно исчезло.

Когда я уходил, как она была бледна и печальна!
Как горько сомкнулись в молчании ее уста!
Настала ночь — ветер выл глухо и жутко;
Я чувствовал — сердце ее истекает кровью.
Она не знала — что говорить и что делать;
Губы ее так дрожали;
Она любила меня — и не могла побороть себя;
Я ее больше не любил.

То, что я сказал ей при расставании,— давно
Забыто мной; но это не были ласковые слова.
Я был доволен собой и весел, даже дерзок;
И с легким сердцем, бодро я ушел.
Из моего тихого уединения меня властно влекла
Толпа юношеских мечтаний, пестрая и светлая,
И я забыл — таким великолепным казалось мне
будущее —
Разбилось или нет сердце девушки.

Но когда нога моя коснулась моего порога —
Вырвалась наружу жестокая мука и страсть;
Она бросилась за мной в неистовом порыве любви
И остановила меня, горько плача. В моей груди
Мелькнуло воспоминание, как слабое эхо
Отзвучавших песен, когда она обняла меня.
Но что прошло, то никогда не возвратится,—
Я тихо поцеловал ее в лоб и ушел.

И разве не клялся я — о! разве не клялся
В ту прекрасную, навеки прекрасную ночь,
Когда почти без сил, опьяненная любовью и
не владея собой,
Она отдала мне прелесть юного тела?

Ах, несмотря на мои слезы, мои поцелуи,
Она оставалась молчаливой. Я поклялся,
она взглянула на меня:
«И тебе когда-нибудь придется меня покинуть...»
И я, и я сделал это!

И теперь... когда я отказался от всякой надежды,
Когда я возвратился усталый и израненный
в борьбе —
С горьким раскаянием вспоминаю я те дни,
Милое дитя и золотые мгновенья.
Она меня забыла!.. О боже, не допусти!
Но я это заслужил — то, что твоя рука давала мне,
Я оттолкнул... Я лежу на берегу моря
И желаю себе смерти.〉

РУССКИЙ

Вы говорили мне, что мы должны расстаться,
Что свет нас осудил, что нет надежды нам;
Что грустно вам, что должен я стараться
Забыть вас,— вечер был; по бледным облакам
Плыл месяц; тонкий пар лежал над спящим садом;
Я слушал вас и всё не понимал:
Под веяньем весны, под вашим светлым взглядом—
Зачем я так страдал?

Я понял вас; вы правы — вы свободны;
Покорный вам, иду — но как идти,
Идти без слов, отдав поклон холодный,
Когда нет мер томлениям души?
Сказать ли, что люблю я вас... не знаю;
Минувшего мне тем не возвратить;
От жизни я любовь не отделяю —
Не мог я не любить.

Но неужель всё кончено — меж нами
Как будто не бывало милых уз!
Как будто не сливались ⟨мы⟩ сердцами —
И так легко расторгнуть наш союз!
Я вас любил... меня вы не любили —
Нет! Нет! Не говорите да! — Меня
Улыбками, словами вы *дарили* —
Вам душу предал я.

Идти — брести среди толпы мне чуждой
И снова жить, как все живут; а там
Толпа забот — обязанности, нужды,—
Вседневной жизни безотрадный хлам.
Покинуть мир восторгов и видений,
Прекрасное, святое сердцем понимать

Не в силах быть — и новых откровений
Больной душе печально ждать —

Вот что осталось мне — но клясться не хочу я,
Что никогда не буду знать любви;
Быть может, вновь — безумно полюблю я,
Всей жаждой неотвеченной души.
Быть может, так; но мир очарований,
Но божество, и прелесть, и любовь —
Расцвет души и глубина страданий —
Не возвратятся вновь.

Пора! иду — но прежде дайте руки —
И вот конец и цель любви моей!
Вот этот час — вот этот миг разлуки....
Последний миг — и ряд бесцветных дней.
И снова сон, и снова грустный холод...
О мой творец! не дай мне позабыть,
Что жизнь сильна, что всё еще я молод,
Что я могу любить!

Я всходил на холм зеленый,
Я всходил по вечерам;
И тебя, мой ангел милый,
Ожидал и видел там.
Помнишь шёпот старых сосен,
Шелест трав и плеск ручья...
Ах! с тех пор, как околдован,
У холма скитаюсь я.

Загорятся ль в небе звезды,
Светляки в лесу, в траве —
Я бегу на холм знакомый
Через поле по росе.
Бледный месяц! милый месяц,
Поленись, не выходи...
Из-за моря, через горы,
Ветер! тучи нанеси!

Я стою... и сердце бьется.
Что за шорох? — сонный сук
Закачался... вот — промчался
Надо мной вечерний жук.
По деревне лай и пенье...
Замелькали огоньки...
Месяц близок... иль он хочет
Подсмотреть детей земли?

Слышу, по песку дорожки
< . . . . >[1]

Торопливо мчатся ножки,
Ножки [милые] твои,
И тебя я подымаю
[И ношу, как мать дитя...]
Ах, с тех пор, как околдован,
У холма скитаюсь я!

[1] *Стих не написан.*

⟨А. Н. ХОВРИНОЙ⟩

Что тебя я не люблю —
День и ночь себе твержу.
Что не любишь ты меня —
С тихой грустью вижу я.
Что же я ищу с тоской,
Не любим ли кто тобой?
Отчего по целым дням
Предаюсь забытым снам?
Твой ли голос прозвенит —
Сердце вспыхнет и дрожит.
Ты близка ли — я томлюсь
И встречать тебя боюсь,
И боюсь и привлечен...
Неужели я влюблен?..

⟨ПЕСНЯ КЛЕРХЕН
ИЗ ТРАГЕДИИ ГЁТЕ «ЭГМОНТ»⟩

Одной лишь любовью
Блаженна душа.
Радостей,
Го́рестей,
Дум полнота.
Стремлений,
Томлений
И мук череда:
То неба восторги,
То смерти тоска...
Одной лишь любовью
Блаженна душа.

К А. Н. Х.

Луна плывет над дремлющей землею
Меж бледных туч,
Но движет с вышины волной морскою
Волшебный луч.

Моей души тебя признало море
Своей луной,
И движется и в радости и в горе
Тобой одной.

Тоской любви и трепетных стремлений
Душа полна;
И тяжко мне; но ты чужда смятений,
Как та луна.

Долгие, белые тучи плывут
Низко над темной землею...
Холодно... лошади дружно бегут,
Еду я поздней порою...

Еду — не знаю, куда и зачем.
После подумать успею.
Еду, расставшись со всеми — совсем,
Со всем, что любить я умею.

Молча сидит и не правит ямщик...
Голову грустно повесил.
Думать я начал — и сердцем поник,
Так же, как он, я невесел.

Осень... везде пожелтела трава,
Ветер и воет и мчится.
Дрожью сокрытой дрожит вся душа,
Странной тоскою томится.

Смерть ли я вспомнил? иль жаль мне моей
Жизни, изгаженной роком?
Тихо ямщик мой запел — и темней
Стало на небе широком.

Осенний вечер... Небо ясно,
А роща вся обнажена —
Ищу глазами я напрасно:
Нигде забытого листа
Нет — по песку аллей широких
Все улеглись — и тихо спят,
Как в сердце грустном дней далеких
Безмолвно спит печальный ряд.

Дай мне руку — и пойдем мы в поле,
Друг души задумчивой моей...
Наша жизнь сегодня в нашей воле —
Дорожишь ты жизнию своей?
Если нет, мы этот день погубим,
Этот день мы вычеркнем шутя.
Всё, о чем томились мы, что любим,
Позабудем до другого дня...
Пусть над жизнью пестрой и тревожной
Этот день, не возвращаясь вновь,
Пролетит, как над толпой безбожной
Детская, смиренная любовь...
Светлый пар клубится над рекою,
И заря торжественно зажглась.
Ах, сойтись хотел бы я с тобою,
Как сошлись с тобой мы в первый раз.
«Но к чему, не снова ли былое
Повторять?» — мне отвечаешь ты.
Позабудь всё тяжкое, всё злое,
Позабудь, что расставались мы.
Верь: смущен и тронут я глубоко,
И к тебе стремится вся душа
Жадно так, как никогда потока
В озеро не просится волна...
Посмотри... как небо дивно блещет,
Наглядись, а там кругом взгляни:
Ничего напрасно не трепещет —
Благодать покоя и любви...
И в себе присутствие святыни
Признаю, хоть недостоин ей...
Нет стыда, ни страха, ни гордыни,
Даже грусти нет в душе моей...
О, пойдем — и будем ли безмолвны,
Говорить ли станем мы с тобой,

Зашумят ли страсти, словно волны,
Иль уснут, как тучи под луной,—
Знаю я, великие мгновенья,
Вечные с тобой мы проживем.
Этот день, быть может, день спасенья,
Может быть, друг друга мы поймем.

КОГДА Я МОЛЮСЬ

[Когда томительное, злое
Берет раздумие меня...
Когда, как дерево гнилое,
Всё распадается святое,
Чему так долго верил я...
Когда так дерзко, так нахально
Шумит действительная жизнь —
И содрогается печально
Душа — без сил, без укоризн...
Когда подумаю, что даром
Мой страстный голос прозвенит —
И даже глупым, грубым жаром
Ничья душа не загорит....
Когда ни в ком ни ожиданья,
Ни даже смутной нет тоски,
Когда боятся так страданья,
Когда так правы старики... —
Тогда — тогда мои молитвы
Стремятся пламенно к нему,
Стремятся жадно к богу битвы,
К живому богу моему.]

ИСПОВЕДЬ

Нам тягостно негодованье,
И злоба дельная — смешна,
Но нам не тягостно молчанье:
Улыбка нам дозволена.
Мы равнодушны, как могилы;
Мы, как могилы, холодны...
И разрушительные силы —
И те напрасно нам даны.

Привыкли мы к томленью скуки...
Среди холодной полутьмы
Лучи живительной науки
Мерцают нехотя... но мы
Под ум чужой, чужое знанье —
Желанье честное Добра —
И под любовь,— и под страданье —
Подделываться мастера.

Радушьем, искренней приязнью
Мы так исполнены — бог мой!
Но с недоверчивой боязнью
Оглядывает нас чужой...
Он не пленится нашим жаром —
Его не тронет наша грусть...
То, что ему досталось даром,
Твердим мы бойко наизусть.

Как звери, мы друг другу чужды...
И что ж? какой-нибудь чудак
Затеет дело — глядь! без нужды
Уж проболтался, как дурак.
Проговорил красноречиво
Все тайны сердца своего...
И отдыхает горделиво,
Не сделав ровно ничего.

Мы не довольны нашей долей —
Но покоряемся... Судьба!!
И над разгульной, гордой волей
Хохочем хохотом раба.
Но и себя браним охотно —
Так!! не жалеем укоризн!!
И проживаем беззаботно
Всю незаслуженную жизнь.

Мы предались пустой заботе,
Самолюбивым суетам...
Но верить собственной работе
Неловко — невозможно нам.
Как ни бунтуйте против Рока —
Его закон ненарушим....
Не изменит народ Востока
Шатрам кочующим своим.

К. А. ФАРНГАГЕНУ ФОН ЭНЗЕ

Теперь, когда Россия наша
Своим путем идет одна
И, наконец, отчизна ваша
К судьбам другим увлечена —
Теперь, в великий час разлуки,
Да будут русской речи звуки
Для вас залогом, что года
Пройдут — и кончится вражда;
Что, чуждый немцу с колыбели,
Через один короткий век
Сойдется с ним у той же цели,
Как с братом, русский человек;
Что, если нам теперь по праву
Проклятия гремят кругом —
Мы наш позор и нашу славу
Искупим славой и добром...
Всему, чем ваша грудь согрета,—
Всему сочувствуем и мы;
И мы желаем мира, света,
Не разрушенья — и не тьмы.

‹ПЕСНЯ ФОРТУНИО ИЗ КОМЕДИИ МЮССЕ «ПОДСВЕЧНИК»›

Не ждете ль вы, что назову я,
Кого люблю?
Нет! — так легко не выдаю я
Любовь свою.

Но я скажу вам (я смелее
Среди друзей),
Что спелый колос не светлее
Ее кудрей.

Живу, ее покорный воле,
И для нее
Я жизнь и, если нужно боле,
Отдам я всё!

Любви отверженной мученья
До траты сил,
До горьких слез, изнеможенья
Переносил.

И, в сердце сдавленном скрывая
Любовь свою,
Погибну я, не называя,
Кого люблю.

ЭПИГРАММЫ И ШУТОЧНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

⟨Н. С. ТУРГЕНЕВУ⟩

Напрасно, добрый милый брат,
[Ты распекаешь брата Ваньку:]
Я тот же [толстый] кандидат
И как ни бьюсь напасть на лад,
А всё выходит наизнанку.

Поверь, умею я [ценить]
Всю пользу дружеских нападок,
Но дух беспечен — плоть слаба,
[Увы!] к грехам я слишком падок!

Пока напиток жизни сладок...
Я всё тяну... и не гляжу,
Не много ль уж я разом пью.

Мужа мне, муза, воспой; с пределов далекой Финляндьи
Даже до града Берлина [скитавшийся] долго и разно,
Много он бед претерпел, а боле от жен нечестивых.
Был он женолюбив и склонен к различным потехам,
Хитр и пронырлив весьма и в деле житейском искусен —
Слогом кудряв и речист, в ином и проворен и ловок.
Но пиит сих его похождений,
Выбрав одно, он смиренно на лире нестройной
Хочет пред вами воспеть, как в известнейшем граде Берлине
Разным беда́м и напастям подвержен был юный Неверов.
В граде Берлине, под кровом семейного мира,
Юная дева жила, и дородством, и ростом, и станом
Равная [Зевса супруге]. Но гордость ее погубила.
Впрочем, *смиренной* работой она занималась — и даже
Лестницы мыла и в прочем служила усердно.
Даже и в [низком] быту сияя красою небесной,
Всех привлекая сердца — но сама оставалась холодной;
В брак не вступала желанный и всех женихов презирала;
Многие с горя женились, другие пустились в писаки:
Так-то мы терпим и горе и ну́жду от жен нечестивых.
Было ей имя — Шарлотта, звучное, полное имя!
[Твердо] решилась Шарлотта остаться век — старою девой,
Но — что значат решенья людей пред вечною волею Зевса!

Он повелел; и в Берлин, по долгом и разном скитанье,
Юный Неверов явился, цветущий, как мак пурпу́ровый.
Злая судьба им обоим напасти готовит,
В доме одном поселила и деву и мужа.
Пламенной страстью к ней душа возгорелась скитальца;
Искра запала любви в сердце доселе холодном
Северной Девы — и скоро веленьем Эроса
Бурным стало пожаром — и часто *унылая дева*
Долго мечтала о юном и *стройном* скитальце;
Слезы из глаз воловидны⟨х⟩ бежали струями,
Белую грудь воздымало дыханье; и юный Неверов
Также томился и млел и, на помощь богов призывая,
Впрочем, на хитрость свою, на искусство надеялся твердо.
Козней коварных и слов увлекательных много,
Много вздохов и слез расточал перед нею скиталец;
Строго в сердце любовь таила злая Шарлотта —
Мнила, не хитрый ли дух ей готовит измену и горе,
Образ принявший людей, — и с страстью боролась успешно...
Жертва судьбы... крутобокой подобно телушке,
В храм свой жрецом на закланье ведомой, проворно,
Бодро идет, головой и хвостом помавает,
Полная жизни и сил — и рогами цвета [1]

---

[1] *На этом рукопись обрывается.*

⟨ОТРЫВКИ⟩

⟨1⟩

Не раз почешет он затылок,
Не раз себе ударит в лоб,
При виде девок и бутылок,
Кутить он снова

⟨2⟩

Полуэкспромт — полуработа,
Где всё ж под лаком остроты
Заметны жилочки ⟨?⟩ ⟨и⟩ пота
Неистребимые следы

⟨3⟩

[Но всё изменится — приеду
Я к вам философом, друзья]

⟨4⟩

[Ты помнишь ли, Ефремыч благодатный,
Как в Риме мы с тобой по вечерам
Беседой нашей, светской и приятной]

На Альбанских горах — что за дьявол такой? —
Собрались и нависли туманы;
Разгуляться хотят молодецкой грозой,
Затопить города и поляны.
С африканской степи на широкой груди
Через море примчал их сирокко;
— Дальше мне не летать, хоть и здесь благодать,—
Молвил он да вернулся в Марокко.
На Альбанских горах, в башмачках да в очках —
Вижу — два forestiero [1] гуляют;
Им твердит чичерон [2]: «Здесь родился Катон!»
Скажут: «Si?» [3], отойдут да зевают.
Хоть они не сыны той смешной стороны,
Что́ зовут: Inghiltrissa [4], но всё же
«Север — край наш родной, край холодный, сырой» —
На любой напечатано роже.
Двое их; первый толст; цвет лица — старый холст;
Кривоног и высокого роста,—
А второй, сибарит, слоем жира облит,
Как кусочек capretto arrosto [5].

Эх ты, старый вулкан! был ты силен и рьян —
И сверкал и гремел в свое время;
Но замолк и потух — и под заступ и плуг
Преклонил ты послушное темя.
За три тысячи лет о тебе вести нет;
Схоронил ты суровое пламя,

---

[1] иностранца (*итал.*).
[2] проводник (*итал.*).
[3] Да? (*итал.*)
[4] Англия (*итал.*; шутливое, вместо «Inghilterra»).
[5] жареного козленка (*итал.*).

АВТОГРАФ СТИХОТВОРЕНИЯ И. С. ТУРГЕНЕВА
«НА АЛЬБАНСКИХ ГОРАХ...»

Институт русской литературы (Пушкинский Дом)
Академии наук СССР, Ленинград.

Но проснись, взговори, горным пеплом дохни,
Разверни ты кровавое знамя.
Для незваных гостей ты себя не жалей,
Угости их, старик мой, на славу!
И навстречу друзьям по широким холмам
Покати красногрудую лаву!
О, тогда! господа — оробев и глаза
Растопырив — куда твои плошки!
Контенанс потеряв, в панталоны...
Навострят неуклюжие ножки —
Двадцать раз упадут, нос и ... разобьют,
Задыхаясь, не взвидевши света;
И, примчавшись домой, отведут страх такой
Разве 5-й бутылкой орвьето.

⟨М. В. БЕЛИНСКОЙ⟩

Отец твой, поп-бездельник,
Облопавшись кутьи,
Зачал тебя в сочельник
От гнусной попадьи.

Хоть и рожден болваном,
Пошел однако впрок
На масле конопляном
Взлелеянный цветок.

. . . .

И что ж? теперь наш пастырь,
Наш гений, наш пророк
Кладет на брюхо пластырь
И греет ей пупок!

⟨ПОСЛАНИЕ БЕЛИНСКОГО К ДОСТОЕВСКОМУ⟩

Витязь горестной фигуры,
Достоевский, милый пыщ,
На носу литературы
Рдеешь ты, как новый прыщ.

Хоть ты юный литератор,
Но в восторг уж всех поверг:
Тебя знает император,
Уважает Лейхтенберг,

За тобой султан турецкий
Скоро вышлет визирей.
Но когда на раут светский,
Перед сонмище князей,

Ставши мифом и вопросом,
Пал чухонскою звездой
И моргнул курносым носом
Перед русой красотой,

Как трагически недвижно
Ты смотрел на сей предмет
И чуть-чуть скоропостижно
Не погиб во цвете лет.

С высоты такой завидной,
Слух к мольбе моей склоня,
Брось свой взор пепеловидный,
Брось, великий, на меня!

Ради будущих хвалений
(Крайность, видишь, велика)
Из неизданных творений
Удели не «Двойника».

Буду нянчиться с тобою,
Поступлю я, как подлец,
Обведу тебя каймою,
Помещу тебя в конец.

ПОЭМЫ

СТЁНО

ДРАМАТИЧЕСКАЯ ПОЭМА

Счастлив, кто с юношеских дней,
Живыми чувствами убогой,
Идет проселочной дорогой
К мечте таинственной своей etc. .

Языков.

But we, who name ourselves its sovereigns we
Half dust, half deity, alive unfit
To sink or soar, with our mix'd essence make
A conflict of its elements and breathe.
The breath of degradation and of prides...etc.

Manfred. Byron[1].

...fly; while thou'rt bless'd and free...

Shakespeare. Timon of Athens[2].

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Стéно.
Джакоппо, рыбак.
Джулиа, сестра Джакоппо.
Антонио, монах.
Риензи, доктор.
Маттео, слуга Стено.

Действие в Риме.

---

[1] Но мы, называющие себя его властителями, мы,
Наполовину прах, наполовину божество, не способные при жизни
Погружаться или парить, вызываем своею смешанной сущностью
Столкновения его элементов и выдыхаем
Дыхание вырождения и гордыни . . . и т. д.

Манфред. Байрон (англ.).

[2] . . .беги; пока ты счастлив и свободен . . .

Шекспир. Тимон Афинский (англ.).

СЦЕНА I

Ночь. Колизей.

Стено *(один)*

Божественная ночь!.. Луна взошла;
Печально смотрит на седые стены,
Покрыв их серебристой дымкой света.
Как всё молчит! О, верю я, что ночью
Природа молится творцу... Какая ночь!
Там вдалеке сребрится Тибр; над ним
Таинственно склонились кипарисы,
Колебля серебристыми листами...
И Рим лежит, как саваном покрыт;
Там все мертво и пусто, как в могиле;
А здесь угрюмо дремлет Колизей,
Чернеясь на лазури темной неба!
. . . .
Прошли века над Римом чередой
Безмолвной и кровавой; и стирала
Их хладная рука всё то, что он хотел
Оставить нам в залог своей могучей,
Великой силы... Но остался ты,
Мой Колизей!..
Священная стена!
Ты сложена рукою римлян; здесь
Стекались властелины мира,
И своды вековые Колизея
Тряслись под ними... между тем как в цирке,
Бледнея, молча умирал гладиатор
Или, стоная,— раб, под лапой льва.
И любо было римскому народу,
И в бешеном веселье он шумел...
Теперь — как тихо здесь! В пыли
Высокая работа человека!
[Ленивый лазарони равнодушно
Проходит мимо, песню напевая,
И смуглый кондоттиери здесь лежит,
С ножом в руке и ночи выжидая.]
. . . .
. . . .
Быть может,

Чрез двести лет придет твоя пора,
Мой древний Колизей,— и ты падешь
Под тяжкою рукой веков... как старый,
Столетний дуб под топором. Тогда
Сюда придут из чуждых, дальних стран
Потомки любопытные толпой
Взглянут на дивные твои останки
И скажут: «Здесь был чудный храм. Его
Воздвигнул Рим, и многие века
Стоял он, время презирая. Здесь,
Да, здесь был Колизей»...

Мгновение молчания.

Передо мной, как в сумрачном виденье,
Встает бессмертный Рим, со всем, что было
В нем грозного и дивного. Вот Рим!
Он развернул могучею рукою
Передо мною свою жизнь; двенадцать
Столетий был он богом мира. Много,
О, много крови на страницах жизни
Твоей, о Рим! но чудной, вечной славой
Они озарены, и Рим исчез! о, много
С ним чудного погребено!..
Мне больно;
Мне душно; сердце сжалось; голова
Горит... О, для чего нам жизнь дана?
Как сон пустой, как легкое виденье,
Рим перешел... и мы исчезнем так же,
Не оставляя ничего за нами,
Как слабый свет луны, когда, скользя
По глади вод, он быстро исчезает,
Когда найдет на нее туча...О!
Что значит жизнь? что значит смерть? Тебя
Я, небо, вопрошаю, но молчишь
Ты, ясное, в величии холодном!
Мне умереть! зачем же было жить?
А я мечтал о славе.. о безумный!
Скажи, что нужды в том, что, может быть,
Найдешь ты место в памяти потомков,
Как в бездне звук! Меня, меня,
Кипящего надеждой и отвагой,
Вскормила ль мать на пищу червякам?..
Да, эта мысль меня теснит и давит:



Драматическая Поэма

Сочиненіе

И. Тургенева

Начата 21го Сентябрѧ 1834го
Окончена 13го Декабря 1834го года.

1834.

АВТОГРАФ ОБЛОЖКИ И ЗАГЛАВНОГО ЛИСТА ПОЭМЫ
И. С. ТУРГЕНЕВА «СТЕ́НО», 1834.

Британский музей, Лондон.

Счастливъ кто, съ младенческихъ дней
Избѣгнувъ губительныхъ утѣхъ
Идетъ проселочной дорогой
Къ ... мирной долѣ. &c

Дубовъ.

But we, who name ourselves its sovereigns, we
Half dust, half deity, alike unfit
To sink or soar, with our mix'd essence make
A conflict of its elements and breathe
The breath of degradation and of pride... &c

Manfred. Byron.

.... fly; while thou art blessed and free....

Shakespeare. Timon of Athens

Въ Декабрѣ надписано мною
А. Л. Г. —

Н. В.

Мгновение — и грудь, в которой часто
Так много дивного и сильного бывает,
Вдруг замолчит — на вечность! Грустно!
Грустно!..
Быть так... ничем... явиться и исчезнуть,
Как на воде волнистый круг... и люди —
Смешно — гордятся своим бедным,
Пустым умом, существованьем жалким
И требуют почтенья от такой же
Ничтожной грязи, как они... Но, Стено,
Что за могилой?..
Когда я был молод,
Я свято верил в бога; часто слушал
Слова святые в храме; верил я.
Меня судьба возненавидела,— и долго
Боролся я с моим врагом ужасным...
Но, наконец, я пал; тогда вокруг
[Меня всё стало иначе... мне тяжко,]
Мне грустно было веру потерять,
Но что-то мощно мне из сердца
Ее с любовью вырвало... и я
Моей судьбе неумолимой
Отдался в руки... с этих пор
Я часто думал возвратить молитвой
Огонь и жизнь в мою холодную
Нагую душу... Нет, вотще! Во мне
Иссохло сердце и глаза! Уж поздно!
. . . .
Я сделал шаг, и вдруг за мною тяжко
Низринулась скала — и преградила
Мне шаг назад: и я пошел вперед,
Пусть сбудется, чему должно! Вперед!

Минута молчания.

Мне дурно, сердце ноет... всё темнеет...
Вокруг меня... О... Стено... это смерть!

(Падает без чувств.)

За сценой слышен голос Джулии, она поет:

Тихо солнце над водами
Закатилось. Под окном
Кто-то стукнул и тайком
Ярко-черными очами

Заглянул в мое окно...
Я ждала тебя давно!

(Входят Джулиа и Джакоппо.)

Джулиа

Кто здесь лежит, о боже!

Джакоппо

Где?

Джулиа

Мадонна!
Как бледен он!

Джакоппо

Он умер.

Джулиа

Нет, о нет!
Смотри, смотри.. он дышит! На челе
Холодный пот... уста полураскрыты.
Джакоппо...

Джакоппо

Джулиа?

Джулиа

Наш дом так близок;
Мой друг... снесем его туда...

(Джакоппо поднял Стено.)

Джулиа

Но тише
Бери его. Ты видишь, он так слаб...
В очах нет жизни...

Джакоппо

Пойдем... он легок...

Джулиа

Как чудно бледен он; луна
Сияет прямо ему в очи... Боже,
Как холодно его чело...

Джакоппо

Сестра…
Скорей, скорей, я зябну…

Стено *(сквозь сон)*

Горе… горе…

Джулиа

Что он сказал…

Джакоппо

Не знаю… но недвижно
Он всё лежит… Пойдем…
(Про себя.)
Сказал он: горе!
(Уходят.)

СЦЕНА II

Неделю спустя.
Море. Стено, Джулиа.

Джулиа

Ты грустен, Стено?

Стено

Я? Да, Джулиа.

Джулиа

Грустен?
Молчишь… угрюм… и чем я…

Стено

Джулиа, Джулиа,
Я никогда не знал веселья.

Джулиа

Ты?

Стено
(подходя к берегу)

О, я люблю смотреть на это море,
Теперь оно так тихо и лазурно,

Но ветр найдет, и, бурное, восстанет,
Катя пенистые валы, и горе
Тому, кого возьмет оно в свои
Безбрежные, могучие объятья...
Изменчивее сердца девы
Оно.

Джулиа

О Стено, Стено!

Стено

Да.
Моя душа — вот это море, Джулиа,
Когда, забыв мои страданья, я
Вздохну свободно после долгой
Борьбы с самим собой — я тих и весел
И отвечаю на привет людей...
Но скоро снова черными крылами
Меня обхватит грозная судьба...
Я снова Стено. И во мне опять
Всё то, что было, разжигает душу,
И ненавистно мне лицо людей,
И сам себе я в тягость...

Джулиа

Стено,
Когда найдет на душу мрачный час
И душно тебе будет средь людей,
Приди ко мне... люблю тебя я, Стено,
И более, чем брата... ты мне всё.
В тебя я верю, как бы в бога,
Твои слова я свято берегу...
С тех пор, как я тебя нашла
Без чувств, холодного, у Колизея,
Мне что-то ясно говорит: вот он,
Кого душа твоя искала...
И я поверила себе... О Стено,
Мне упоительно дышать с тобой!
Люби меня... и буду я тебя
Лелеять, как мать сына... и когда
Свое чело горячее на грудь
Ко мне ты склонишь, я сотру лобзаньем
Твои морщины... Стено...

Стено

Джулиа, Джулиа!
Мне больно тебя видеть!

(Джулиа, бледнея, падает на колена, устремляя глаза на Стено и обняв его ноги.)

Итак, и ты, несчастное созданье,
В мою ужасную судьбу вовлечена.
Любви ты просишь? Джулиа, это сердце...
В нем крови нет... Давно, давно
Оно иссохло, Джулиа... В моей власти
Всё, всё, но не любить... Послушай...
Но, может быть, тебя разочаруют
Мои слова... ты еще веришь в счастье...
Мне, дева... жаль тебя...
Оставь меня... я, я любви не стою.
Мне ль, изможденному, принять тебя,
Кипящую любовью и желаньем,
В мои холодные объятья... Нет!
Прости мне, Джулиа... будь мне другом...
Но не теряй своей прелестной жизни.
Любить меня...

Джулиа

О Стено... я умру.

Стено
(поднимает ее и сажает к себе на колени)

Не умирай, Джулиетта... О, подумай,
Мне ль перенесть ту мысль, что я, несчастный,
Проклятый небом, твой убийца... Нет!
Я буду слишком тяжко проклят небом!..
Тебе так хорошо?

Джулиа

О, я готова
Здесь умереть. Но расскажи мне, Стено,
Молю тебя как друга, твою жизнь!
Ты еще молод, а морщины резко
Змеятся на челе твоем... И... можно ль
Мне как сестре его поцеловать?
(Целует его.)

Стено

Джулиа! Джулиа!
Много ночей не спал я; много горя
Я перенес в свою короткую,
Но тягостную жизнь... Послушай...
Я долго жил, как живут дети
Без горя и сознанья в горе мира.
Я был невинен, как ты, Джулиа,
И добр. И я любил людей,
Любил, как братьев. Я узнал их после...
Не знал я мать... Но я любил природу,
Не знал отца... но бога я любил.
И знал я одну деву... для меня
Она была всем... миром... и она
Меня любила. О, я ее помню!
Ты на нее похожа; но глаза
Твои чернее ночи; у моей
Небесной были очи голубые,
Как это небо... Я ее любил,
Любил, как любят в первый раз, любил,
Как бога и свободу...

(Закрывает лицо руками.)

О!

Джулиа

Ну что же?

Стено

Ни слова более; мне больно, Джулиа,
Растравливать былые раны.

Джулиа

Слушай,
Ты меня знаешь; я перед тобой
Открыла свою душу, и холодно
Ты мне внимал; мое моленье
Отверг ты, Стено... Я не в силах видеть
Тебя и не любить... Итак, прости.
Ты отравил жизнь девы... Но прощаю
Тебя я, Стено... Ты молчишь. Прости!
А ты любил!

(Уходит Джулиа.)

Минута молчания.

Стено
(всё сидя на камне)

Когда я был еще ребенком... помню
Я этот день... однажды к нам взошла
Старуха... и потухшие глаза
Она на мне остановила... Тихо
Взглянула в очи мне и молвила печально:
«Он много горя испытает; много
Заставит горя испытать другим».
И тихо удалилась... предсказанье
Сбылось!..

Молчание.

Как это небо ясно! Чудным
Оно нагнулось сводом над землей;
Там тихо всё; а на земле всё бурно,
Как это море в непогоду... Чем-то
Родным сияет небо человеку
И в голубые, светлые объятья
Неслышным голосом зовет. Но нас
К себе земля землею приковала,
И грустно нам! . . . .
. . . . . .Вот снова я, проклятый,
Еще одно прелестное созданье
Своим прикосновением убил.
О, если б мне, мне одному сносить
Тяжелое ярмо моего горя!
Его б носил я гордо, молчаливо,
Без ропота, покаместо оно
Меня бы раздавило... Я бы умер
Так, как я жил... Но видеть, что в свое
Проклятие других я завлекаю,
Но разделять свое ярмо — нет, лучше
Пускай оно меня убьет!

Долгое молчание.

Темнеет.
О, мне отрадней ночью! Тогда тёмно
Всё на небе и здесь, как в моем сердце.
Но тихо всё покоится, когда
На небо ляжет ночь... а мне она
Не принесла мгновения покоя!
Как здесь пустынно всё! Едва, едва
Доходит до меня шум Тибра,

Носимый ветром. Море спит, и ясно
В нем отражается луна. Вон там
Мелькнула барка, как пред бурей
Над морем чайка... Тихо, тихо
Колышется угрюмый лес. Роса,
Как небу фимиам земли, прозрачной
Туманной пеленой по глади моря,
По лесу стелется... Всё тихо... Я один
В сем океане тишины и мира
Стою, терзаемый самим собой...

. . . .

Вон вьется ворон. Может быть, летит
Он к своим детям; он их любит.
Но, Стено, что *ты* любишь? Ко всему
Я чувствую невольное презренье
Не потому, что лучше я людей...
Нет, нет! Я хуже их! Какой-то демон
Отнял у меня сердце и оставил
Мне жалкий ум!

Минутное молчание.

Пора домой.

СЦЕНА III

Дом Джакоппо.

Джулиа *(одна)*

Я долго не любила; долго, долго
Меня лелеяла судьба... о, неужели
Жить и страдать одно и то же... Вот
Однажды что-то новое во мне
Проснулось, и — что это было,
Я выразить не в силах; но я знаю,
Что с той поры мне что-то говорило,
Что я вступаю в жизнь иную. Я
С доверчивостью робкой в новый мир
Взошла. И вот *он* предо мной
Стоял во всем величии мужчины,
Как царь, как бог. О, до того мгновенья
Душа ждала любви, не понимая
Любовь!.. Но он был здесь, и глубоко запала
Она мне в грудь... Я жадно, с наслажденьем
Ей предалась, дышала ей, а он!..

Минута молчания.

Как чуден он! Под мраморным челом
Приветливо сияют его очи,
Как море голубые. Бледен он;
И я люблю, когда мужчина бледен.
Я слышала, что это признак гордой
И пламенной души... О Стено, Стено,
Мне долго жарко будет ложе
И беспокоен сон! . . . .
. . . . Но мне ли,
Мне ль, слабой деве, обратить вниманье
Царя людей... Когда я с ним, во мне
Сжимает сердце робкий ужас... Что-то
Мне говорит, что с мощным духом я.
И никогда мой взор не снес сиянья
Его очей!..

(Входит Джаконпо).

Джаконпо

Я рад тебя найти,
Послушай, сядь поближе... Помнишь, Джулиа,
Ты смерть отца?

Джулиа

Джаконпо?

Джаконпо

Перед смертью
Он нас позвал и молвил: «Мне недолго
Осталось жить. И я довольно пожил!
Мне семьдесят три года. Пора к богу!»
И мне сказал он: «Слушай, тебе Джулию
Невинной девой я отдал... Смотри,
Отдай ее невинной в руки мужа!»
Я это помню.

Джулиа
(встает с негодованием)

Джаконпо!

Джаконпо

Но, сестра,
Я должен был тебе сказать всё то,
Что мне давно на сердце тяготило.

И я не мог молчать. Для этого я слишком
Тебя люблю. Но мне отец сказал:
Придет он из могилы, если
Не сохраню его завета — я!
Ему поклялся я — он умер.
И я сдержу, клянусь святою девой,
Этот обет. И мне ли, мне ль снести,
Чтобы... патриций от безделья
Тебя бы смял и бросил... Я молчу.
(быстро)
Ты любишь Стено?

Д ж у л и а *(задумчиво)*

Да...
(быстро)
Нет, нет, Джакоппо!
Не верь мне — нет!

Д ж а к о п п о

Бедняжка! понимаю.
Тебе, должно быть, тяжело; но, Джулиа,
Пойду к нему я; прямо, откровенно
Я всё ему скажу, и если ты доселе
Была *моею* Джулией...

Д ж у л и а

Не ходи;
О, не ходи! Мой добрый друг, Джакоппо,
Тебе ли сделать то, чего...

Д ж а к о п п о

Ну что ж...

Д ж у л и а

Я — сделать не могла!

Д ж а к о п п о

А, *вы* с ним объяснялись?

Д ж у л и а

Невинна я, невинна, мой Джакоппо!
Не говори так с бедною сестрой,
Я уж и так страдаю!

Джакоппо

(пылко)

О!

Меня ты знаешь, Джулиа; я готов
За тебя дать всю мою кровь, и даже —
А это много, Джулиа,— мою честь.
Но слушай. Да, ты его любишь,
Я это знаю. Сохрани, мадонна,
Когда глядит он на тебя с одним
Желанием мгновенным или, страшно
Подумать мне...

(шёпотом)

с презреньем...

Джулиа

О, мой друг,
Меня не любит он.

Джакоппо

Тебя не любит он?

Джулиа

Он мне сказал, что в его сердце
Страстей уж нет; что я ему жалка!..
И... говорил... что он любил когда-то
И с той поры он перестал любить.

Джакоппо

И... ты ему жалка? Мне это слово
Не нравится, сестра... Но если он
Тобою презирает — неужели
В тебе нет гордости довольно, Джулиа,
Презреть им?

Джулиа

Я его забуду.

Джакоппо

Джулиа...
Ну, до свиданья!

(про себя)

Я его спрошу,

Спрошу его, клянусь мадонной, что
Он понимал под словом «жалко»; боже!
Не дай погибнуть Джулии!

(Уходит Джаконно.)

Джулиа

О мадонна!
Пойдет он к Стено... брата знаю я,
Он вспыльчив... и... мне сердце замирает...

(бросается на колена)

О боже мой... Тебя я умоляю,
Спаси... спаси... кого? О, я сама не знаю!

(шёпотом)

Спаси... *его*!

(вскакивает)

О! что сказала я!
И вот как *жить* я начала... О сердце!
Его холодною рукою раздавила
Моя судьба... а мне шестнадцать лет!

Конец первого действия.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

СЦЕНА I

Ночь. Внутренность готической церкви. Стено один.

Стено

Когда мне тяжко быть одним с собою
И в сердце вкрадется тоска... я часто
Хожу сюда. Мне здесь отрадно. Нынче
Меня томил мой демон, и хотя
Привык я с ним бороться — но я должен
Был уступить... В моей груди так бурно —
А здесь как дышит всё покоем... Да!
Здесь что-то есть гораздо выше нас!

Минута молчания.

Передо мною прямо, слабым светом
Лампады озаренное, я вижу
Изображение святого Павла.

Он строго, зорко смотрит на меня
Как будто с укоризной...

(улыбаясь)

Стено!.. Чудный,
Прекрасный старец! На его челе
Читаешь ясно его веру. Важно
Его бесстрастное чело... Художник
Исполнил дивно свою мысль!..
. . . . .Как тёмно!
Едва змеится свет лампад по мрачным
И низким сводам церкви... и луна
Сияет в узкие окошки, ясно
Рисуя их на каменном полу.
Да, это чудно... но на это я
Не променяю — нет — моего неба,
Моего неба с ясными звездами,
Моего моря с белыми валами,
О, это ближе мне!

(Входит Антонио.)

А н т о н и о

Благословен
Да будет бог!

С т е н о
(с досадой)

Опять! и это
Монах!

А н т о н и о
(подходя к нему)

Мой сын...

С т е н о

Оставь меня, старик;
(взглянув на него)
Не говори со мною, друг... Твоей
Молитвы ждет твой бог.

А н т о н и о

Я это знаю;
Но я люблю уединенье...

Стено

А!
Ты меня гонишь вон... я вижу —
Да, ты *монах*!

Антонио

Я?.. Ты сюда пришел
Не к богу.

Стено

О, ты думаешь, что святость
Твои глаза довольно изощрила,
Чтобы читать в моих?

Антонио

Нет; я не свят,
Но я в твоих глазах читаю.

Стено

Слушай,
Ты стар. Я это вижу. Перед богом
Ты долго был во прахе... Но поверь...
Я больше жил, чем ты. В твоей груди
Давно погасли страсти, а в моей
Убито всё — и доброе, и злое...
Теперь здесь пусто... да!

Антонио

Я тебя понял.

Стено

Нет!
Ты думаешь, что я убил безумно
В начале жизни мою жизнь? О нет!
Во мне она погасла... Верь мне, старец...
Послушай... ты уверен сильно,
Что в сердце человека вместе с жизнью
И вместе с кровью вера есть. Но я,
Как неба, жажду веры... жажду долго,
А сердце пусто до сих пор. О, если
Ты мне ее, мой старец, возвратишь,
То я готов всю жизнь тебе отдать...
Всё!.. всё — но ты не можешь!

Антонио

Ты мне жалок.

Стено

Тебе я жалок!.. Твое имя?

Антонио

Имя
Мое — Антонио.

Стено

Ты боишься ль смерти,
Антонио?

Антонио

Нет.

Стено

А я ее боюсь. Но, старец,
Не думай, что, как робкое дитя,
Боюсь я жизнь покинуть. Видит небо!
Она была мне в испытанье! Но
Что будет — о скажи мне,— когда тело
Придет назад в объятия земли,—
Что будет там? и будет ли, скажи мне,
Антонио, это там?

Антонио

Скажи мне, Стено,
Что тебе сердце говорит?

Стено

Молчит.

Антонио

Ты произнес свой приговор.

Стено

О старец!
Смотри... ни перед кем под небом и над ним
Не преклонял колена Стено. Видишь —
Я пред тобой... Старик, я умоляю

Тебя твоим спасеньем... О, подумай
О том, что ты ответишь мне... Но ты...
(Пристально взглянув ему в глаза.)
Не в силах... нет!
(Встает быстро.)

Антонио

Я слабый смертный, Стено,
И мне ли, грешному, произнести
Губительное слово приговора!..
Молись!

Стено
(быстро, с негодованием)

Я это знал!
Молиться!
О, если б видел ты, монах, как долго
Во тьме ночей, в тоске прошу я бога
Мне силу дать молиться. Но напрасно
Слова святые я произношу...
Они в душе ответа не находят...
Ее им не согреть, Антонио!

Антонио
(схватив его руку)

О, наконец я понял тебя, Стено!
Как трудно, тяжко тебе жить,
Ты мог бы быть великим, дивным
И... боже!

Стено

О Антонио!.. Я готов
Отдать всю мою кровь по капле,
Но дайте мне мгновение покоя,
Но дай мне слезы! Больно мне, Антонио,
Но я не знаю друга. В этом мире,
В этом огромном мире я один. И люди
Меня прозвали злым... Но это мне не нужно,
Я выше их и мненья их. В моей
Груди есть мир: теперь он мир страданья,
Он мог быть миром силы и любви!

Минутное молчание.

Антонио

Зачем сюда пришел ты, Стено?

Стено

Я?
Мне эти своды веют миром.

Антонио

Стено,
Останься здесь.

Стено

На жизнь?

Антонио

Да.

Стено

Нет.
Я здесь бы умер: я люблю свободу.

Антонио

Свободу? ты?

Стено

О, знаю я, Антонио,
Что я свободен так же, как убийца,
Которому над плахой сняли цепь.
Я не живу; но я произрастаю,
Но я дышу...

Антонио

И это жизнь, о Стено?

Стено

Нет. Но, Антонио, — мне жизнь эту
Покинуть страшно. Смерти жажду я,
И смерти я боюсь... И в этой, старец,
Подумай, в этой тягостной борьбе
Живу я... но мне трудно. Я слабею.
И эту мысль в могилу понесу я,
Что, когда это сердце разорвется,
Измученное горем и тоской,
Всё то, что хоронил я в своей груди,
Что мыслил я высокого, все думы

Моей души и всё, что на земле
Я выстрадал,— вся моя жизнь, Антонио,
Исчезнет безответно в молчаливых,
Безмолвных недрах вечности... Мой старец,
Как *ты* счастли́в!

Антонио

Послушай, Стено,
И я, как ты, знал горе. Вот, ты видишь,
Моя глава уж побелела — но,
Поверь мне, друг,— здесь страсти бушевали,
Как и в твоей. Мне восемьдесят лет,
И *человек* давно убит во мне,
Но часто грусть меня берет невольно
И давит слезы из потухших глаз. О, бурно
Провел я молодость. Но, наконец,
Мне надоел разврат и надоела
Мне жизнь. Вот, Стено. Я однажды
Увидел деву... Стено, это было
Давно тому назад — но све́жо помню
Я мою Лору. О! она была
Прелестней неба. Ожил я. Мне снова
Приветно улыбнулась жизнь.
Я полюбил. Но не хотел творец,
Чтоб я ее, нечистый, осквернил,
И взял к себе на небо. И я понял
Здесь божий перст. И с той поры к нему
Я бросился с любовию в объятья,
Как сын к отцу. И стал я снова жить.
Узнал я сон и сладость быть слугою
Того, кто создал необъятное одним
Всесильным словом. И с тех пор я здесь,
Мне здесь отрадно.

Стено

О Антонио!
Я жил не так, как ты. Я мирно
Провел те годы, где ты бурно жил.
Молчит у меня совесть. И ты видишь,
Как я страдаю. Я скажу тебе
Мое проклятье. О старик, старик!
Молись, да не постигнет и тебя
Оно, старик, это сомненье.

(Уходит.)

Антонио

Стено...

Он уж ушел. Как много силы в нем!
Как много в нем страданья. В нем творец
Нам показал пример мучений
Людей с могучею душой, когда
Они, надежные на свои силы,
Одни пойдут навстречу мира
И захотят его обнять.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Комната Стено.

Стено

(один)

Мне легче. Всё, что в моей груди
Я горя и страдания носил,
Я вылил в грудь чужую. Этот старец —
Он меня понял. О, по крайней мере
Я буду знать, что есть под этим небом
Одно живое существо, кому
Я, может быть, могу себя доверить.
До этих пор мои страданья я
Безмолвной ночи доверял. О, если б
Она могла пересказать всё то,
Что здесь

(кладя руку на грудь)

лежит, как камень на могиле,
Ей люди б не поверили. Нет, нет,
Они б меня не поняли. Меня
С душой обыкновенной люди,
Нет — не поймут. Я им высок. Когда
Я молод был душой и верил
В любовь, я знал одно создание,
Которое мне было равно. О,
Ее не позабыть мне никогда!
Душами были мы родные,
И мы друг друга понимали. Двое
Мы составляли мир — и он был чуден,
Как всё, что на земле не человек.
В ее очах читал я ее душу,
В моих очах была моя душа...

Но дух ее для тела нежной девы
Был слишком мочен и велик.
Он разорвал с презрением препону
Его могучих сил. А я... проклятый,
Остался здесь. И с этих пор напрасно
Я душу сильную, великую искал.
Всё это так ничтожно перед нею.
С своими мелкими страстями люди
Мне опротивели. *Мой* мир мне опустел,
А этот мир мне тесен был. Во мне
Восстало гордое желанье, чтобы
Никто моих страданий не узнал,
И я вступил в борьбу с своей судьбою.
И если я паду — тогда узнают люди,
Что значит воля *человека.* Низко
Поставили они названье это,
И я хочу его возвысить — несмотря
На то, что люди этого не стоят.

Молчание.

(Подходит к окну.)

На небе буря. Ветер гонит тучи
Своими черными крылами. Вот порой
Взрывает молнья небо. Море ходит
Высокими пенистыми волнами,
Как будто негодуя, что нельзя
На землю ему ринуться. О, чудно!
Как я люблю, когда Природа гневно,
Могучая, все силы соберет
И разразится бурей. Что-то есть
Родное мне в мученьях диких неба,
И молньей загорится вдохновенье
В святилище души, и мое сердце
Как будто вырваться готово из груди...
О, я люблю — люблю я разрушенье!

(Входит Маттео.)

Маттео

Синьор.— Молчит. Опять! Какой-то странник
Вас хочет видеть.

Стено

Что людям до меня,
А мне до них? Кто он?

Маттео

Он умоляет
Вас тем, кто спас вас некогда.

Стено

А, это
Джакоппо! Ну... введи его.

(Ух⟨одит⟩ Маттео, вх⟨одит⟩ Джакоппо.)

Стено

Джакоппо,
Тебя не ждал я.

Джакоппо

Право, синьор?

Стено

Право?
Что за вопрос, рыбак?

Джакоппо

Да, я рыбак.
И слава богу! Я не так, как вы,
Не знаю то, что хорошо и худо
Между людьми. И я свободен, синьор,
Мне весело на божий мир смотреть
И на людей. Мне жить привольно,
Но у меня сестра.

Стено

А! Джулиа!

Джакоппо

Лучше —
Клянусь святым Геннуарием *— лучше б было,
Когда б не знали ее имя вы!
Да, синьор. И с таким презреньем — гордо
Вы не смотрите на меня. Я чист
Пред богом и людьми и смело
Ваш встречу взор. Покоен я.

---

* Святой, покровительствующий рыбакам. (*Примечание Тургенева.*)

Стено

Послушай...
Ну — продолжай.

Джакоппо

Вы, может быть, забыли,
Что я вас некогда принес в свой дом
Без жизни и холодного. Я бога
Благодарил за то, что он позволил
Мне сделать доброе. И, синьор, вы
Мне показались добрым. До тех пор
Не знали горя мы. Моя Джулиетта
Была резва и весела. Однажды
Я на глазах ее застал слезу
И грусть на молодом челе. И я
Узнал, что она любит. Вы... *вы*, Стено,
Ей отвечали, что она жалка
Вам... синьор. Я поклялся богом,
Что я узнаю всё от вас. Я здесь
И жду ответа.

Стено

Слушай. Хладнокровно
Тебе внимал я. И мне жалко стало
Тебя. Я понимаю. Но клянуся,
Что Джулиа невинна. Я не в силах
Ее любить... Джакоппо, не понять
Тебе меня,— но я любви не знаю.
Прощай!

Джакоппо

Я верю вам. Но моя Джулиа...
О, сколько бед вы причинили, Стено!
Ее это убьет. И предо мной
Она завянет. Боже! Боже — ты
Послал на нас годину испытанья,
Но я клянусь вам, если моя Джулиа...
Если ее не станет — о, тогда
Не нужно будет мне знать, кто виновен.
Тогда — пусть судит бог меня!

(Уходит.)

Стено

Джакоппо...
. . . . .Он мне жалок. На него
Смотрел я, как на идеал того,
Чем человек был некогда. И я
Вложил ему огонь мученья в грудь
И стал меж ним и счастьем. Стено,
Да, тебе тяжко будет умирать...
. . . .

(Громко и повелительно.)

Маттео!

(Вх⟨одит⟩ Маттео.)

Маттео

Синьор...

Стено
(глухо и порывисто)

А!.. останься здесь!..
Останься здесь, Маттео... Страшно мне
Быть одному... и тайный ужас грудь
Теснит и жмет... Мне сердце говорит,
⟨Что⟩ что-то грозное ко мне подходит...
Ко мне идет... мой демон...

Маттео

Синьор, синьор,
Мне жутко...

Стено
(всё диче и диче)

Свечка гаснет.

Близок он. На меня веет,
Маттео... чем-то неземным...

Маттео

Ave Maria! [1]

Стено

О... замолчи! Неслышными шагами
Подходит он, и горе мне!.. Но, Стено,
Тебе ль, как робкой деве... О, мне стыдно —

---

1 Радуйся, Мария! (*лат.*)

Пусть моя кровь в груди оледенеет
И высохнут глаза при встрече с тем,
Кому нет имени... Но я... вот он!

Маттео

Мадонна... помоги!

(Падает в обморок.)

В вышине слышен звук, как будто лопнула струна. Во мраке постепенно образуется белая окровавленная фигура.

Голос

(слабо)

Стено... Стено... Стено...

Стено

(оперся на стол)

Кто ты?

Молчание.

. . . . .О, именем того,
Кто власть имеет над тобою,— всем,
Что тебя выше, заклинаю я
Тебя — кто ты?

Молчание.

Моим познанием...
Моим мученьем заклинаю я
Тебя — кто ты?

Голос

Твой демон.

Стено

Ты... мой демон,
И эта кровь...

Г ‹олос›

Твоя.

Стено

Моя!

Г ‹олос›

Я взял
Чистейшую кровь твоей груди.

Стено
(шёпотом)

Страданье!

Г ⟨о л о с⟩
(пение)

В тебе я видел дивный ум,
Кипящий силой, полный дум.
И я сказал: ему не быть великим.
Моим губительным дыханьем
Я его душу оскверню.
Он будет мой, иль я его... С тобой
Мне труден был упорный бой,
Но я исполнил предсказанье...
Я твой владыка!

Стено

Ты... владыка Стено!
И это ты мне говоришь! Проклятье!
Я ведаю — есть тайна, пред которой
Ты бледный раб!
Но в мире силы нет, перед которой
Я бы колена преклонил. И даже,
Когда в моей груди раздавят сердце,
Которое страдает так, — я буду Стено.
Исчезни!

Всё исчезает.

О, мне дурно! Он исчез,
Но знаю я, что здесь он. Не хочу
Минуты я унизиться до скорби;
Но тяжело мне вечно быть под ним.
Мученье! и этак жить! нет, лучше,
О, лучше умереть! мне слишком тяжко!
(После минуты молчания.)

Но, Стено... ты подумай... что избрать —
Ничтожество или страдание?

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТИЕ

Утро. То же место, как в явлении 2-м действия 1-го.

Стено

(один)

Мне всё он отравил. Да — всё. И это небо,
Так ясное и светлое, меня
Не радует. Всё, что еще могло
В моей груди убитой скорбь и горе
Утишить на мгновение,— теперь
Мне кажется покрытым чем-то мрачным.
Я чувствую, что надо мною он,
На меня веет холодом. Да — правда,
Судьба ожесточилась на меня
И не дает минуты мне покоя.
Пускай! Пока паду — стоять я буду,
Но если я паду — не встану я.
. . . .
Одна дорога мне осталась. Да!
Я не один, преследуемый роком,
Но люди есть, которые тогда
Всё доброе в своей груди задавят
И станут ниже человека. Правда,
Тогда они несчастья не узнают,
Но оттого, что слишком станут низки
Они — чтоб быть предметом гнева
Судьбы. И мне ли, мне, который
Так долго с ней боролся, избежать
Ударов моего врага — упав,
Как подлый раб, к ее ногам. Мне стыдно,
Что я мгновенье это думать мог.
. . . .
Но нет! Когда я полные тоскою
На небо очи подымаю — мне
Всё еще веет чем-то дивным, светлым
От синего его шатра. Я знаю,
Мне говорит мой ум, что за могилой
Нет ничего, что всё, что я желал,
Что всё, что я мечтал,— обман и сон.
Но что-то есть во мне, какой-то
Неслышный голос — он мне говорит,
Что моя родина не здесь. Скажи,
Скажи мне, небо, о, зачем так светло,

Там высоко стоишь ты над землей.
В мою истерзанную грудь желание
Врывается к тебе, к тебе лететь,
И я горю, и что же? Бренной цепью
К земле прикован я — и нету сил
Ее порвать могучею рукою...
Как я смешон с моим умом!

(Вх‹одит› Джулиа, не замечая Стено.)

Джулиа

Давно
Уж встало солнце, а Джакоппо нет.
Тоска лежит на сердце. Боже, боже!
Что со мной будет, если он, который
Меня так горячо любил... о, если
Его уж нет — мне не снести той мысли,
Что его убийца — боже — Стено!

(Стено не примечает Джулии и стоит в раздумье.)

Мне что-то говорит: бежи! Но сердце
Невольно говорит: постой... Меня
Не видит он... И... я теперь могу
Упиться его дивной красотою.
Я не могла... тогда... глядеть на Стено...
Всегда встречала его очи я. Он чуден!
Бездумье гордое в его очах лежит,
Но на челе его страдание... Да — в нем,
В нем страждет сердце...

Минута молчания.

Где ты — где ты,
Мой друг, мой брат?

(шёпотом)

Как бледен он! Он что-то
Невнятно говорит.

Стено

(глухо)

Антонио... да — я должен
Быть у него. Когда я с ним, мне легче,
И если он меня не остановит,
Не укротит моих мучений — я
Решен. В ничтожной этой грязи
Мне надоело ползать. И пускай

Между людьми, которые меня
Понять не могут и не в силах,
Про Стено скажут, что он — робкий мальчик,
Не мог снести тяжелое ярмо
Своего горя — своей жизни, что
Он от нее ушел в могилу,— мне
Всё это так ничтожно! Не хочу
Я жить в их памяти; мне было б стыдно
Быть славным у людей...

Джулиа

Я ничего не слышу,
Едва уста он шевелит — поближе.

Стено

Вот он опять; над морем он стоит,
Покрытый кровью; прямо в очи
Мне смотрит он. Печальная насмешка
В его глазах, и в них бессмертье муки...
Куда я ни смотрю, он предо мной!
Но пусть мои глаза заплачут кровью,
Я не закрою их.

Джулиа

Как дико он
Глядит на море. На его челе
Лежит презрение и ужас...

Стено

Он
Исчез. Но если б он еще одно
Мгновенье бы остался — я бы умер:
Он своим взглядом тянет мне из сердца
Всю кровь...

Джулиа

О Стено!

Стено
(вздрагивая)

Кто здесь? Джулиа? ты?
Зачем ты здесь?

Д ж у л и а

Я думала, что вы
Давно забыли, синьор, мое имя.

С т е н о

Зачем ты здесь? и...

Д ж у л и а
(быстро)

О, скажите мне,
Где мой Джакоппо?

С т е н о

Я не знаю.

Д ж у л и а

Богом
Молю я вас, что сделали вы с ним?

С т е н о

Я его видел. Мы расстались мирно,
И он придет.

Д ж у л и а

Зачем же вы так грустны...
Я здесь давно.

С т е н о

Давно?

Д ж у л и а

О, не сердитесь,
Я вас не понимала никогда;
Вы слишком для меня высоки; что-то
Вы говорили тихо... Я молчала...
И против воли вырвалось из груди
Из непокорной — ваше имя...

С т е н о

Джулиа...
Ты ничего не видишь там... над морем...

Д ж у л и а

Я, Стено? Ничего.

Стено

Нет? А... я вижу...
И что теперь передо мной — дай бог
Тебе, дитя, не видеть!

Джулиа

(берет за руку Стено)

Стено...
Твоя рука холодней льда. Ты болен.
Пойдем ко мне.

Стено

(мрачно)

Прочь! Прочь! Мое дыханье
Губительно. Подходит он... подходит...
Я с ним могу бороться. Но ты, Джулиа...
Иди, иди.

Джулиа

Нет, я останусь здесь.

Стено

Кто тебе право дал?

Джулиа

Моя любовь!

Стено

Твоя любовь?

Джулиа

Да... да. Пред этим небом,
Перед тобой тебе я говорю —
Люблю тебя я, Стено... если ж ты
Меня с бесчувственным презреньем
Отринешь прочь...

Стено

(пронзительно глядя на нее)

Ну, что же?

Джулиа

(падая на колени)

О мой Стено!
Люби меня!

Стено

Ха! ха!

(Уходит.)

(Джулиа остается на коленях и прячет руками лицо.)

Джакоппо

(вбегая)

Мне верить ли глазам!
Моя сестра лежит пред ним в пыли,
И он... А, он ушел! И ты могла
Унизиться — ты, Джулиа,— до моленья!
И это видел я! Нет, это слишком... слишком.
Теперь что остается мне? Мой нож,
Мой верный нож — приди, приди ко мне,
Не измени мне!

Джулиа

(с криком вскакивает)

О Джакоппо!

Джакоппо

Да!
Пойдем! А — Стено до свиданья.

(Оба уходят.)

Конец второго действия.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТИЕ

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Келья Антонио. На столе череп и библия. В углу распятие.

Антонио

(один)

Уж скоро полночь. Лампа догорает,
Но сон меня не клонит. Я привык,
Когда всё тихо и темно, сидеть
Один и думать думу. В эти
Полночные часы ко мне слетают
Явленья странные и чудные, и я
Ясней читаю в книге жизни. Да —

Мои глаза, потухшие давно,
Привыкли разбирать во тьме видений
Слова великих тайн. Но тот,
Которого я встретил в церкви,— да,
Он выше стал меня и глубже
Проник в грудь мира. Но — безумец!
Он жизнию купил страданья. Нет,
Такого знанья не хочу я. Люди
Мне еще братья до сих пор.

Слышен стук в дверь и Голос говорит:

Антонио!

Молчание.

Антонио!

Антонио

Кто там?

Голос

Стено.

(Антонио молча отворяет дверь — входит Стено.)

Стено

Я пришел
К тебе, старик, за делом тайным...
Твой тесен дом, Антонио.

Антонио

Гроб теснее.

Стено

Но там нет человека... В этой келье
Он есть, и он тут весь... А! этот череп!
Зачем он у тебя, монах?

Антонио

Мне он
О мне самом напоминает.

Стено

Да —
Под этой желтой костью, может быть,
Таилось много дум и много силы.
И, может быть, здесь страсти бушевали —
И это мертвое чело огнем

Любви горело... а теперь!..
Кто знает?
И череп мой к монаху попадет,
И он его положит подле библии
У ног креста. Его возьмет другой
И то же скажет, что я говорил
Теперь...

Антонио

Мой сын...

Стено

Да, я забыл. Антонио,
Садись и слушай. Но, старик, когда
Во время моего рассказа здесь
Свидетель будет третий — и твои
Подымутся на голове власы,
И тайный ужас в грудь тебе заляжет, —
Не прерывай меня, будь тверд, Антонио.

Минута молчания.

Антонио

Я слышал — говори.

Стено

И так да будет!
С тобой идем мы в страшный тайный бой,
Ты с верой, друг, я с<о> своим познаньем
И с муками моими. Слушай, старец,
Перед тобой я душу раскрывал
Тогда, как, помнишь,— в церкви я увидел
Тебя впервые. Но я приподнял
Тебе один конец завесы; я
К тебе пришел, самим собой гонимый,
И всю ее открыть перед тобой
Хочу теперь. Моя душа холодна,
И в сердце жизни нет. Но я хочу
Дышать свободней и в чужую грудь
Излить всё мое горе и страданья.
В удел я получил при колыбели
Высокий ум. И вот когда, впервые
Смотря на небо — я себя спросил —
Кто создал этот дивный свод лазурный,

Во мне проснулся он. Тогда еще
Во мне душа была яснее неба,
И я пошел за богом с теплой верой,
С горячей, пылкой верой. И тогда
Узнал я деву — на призыв любви
Ее душа отозвалась моей. Она
Мне по душе давно была родная,
И после бога я ее любил.
Однажды я ее искал — и долго
Не находил я моей девы. Мне
Вдруг стало безыменно грустно. С той
Поры ее я не видал. И что-то
В меня чужое вкралось... Жутко стало
Мне слушать в церкви гимны богу;
Наперекор судьбы хотел я стать
И вверился уму. Вокруг меня
Всё изменялось быстро — я людей
Познал, и глубоко. Всё, что прекрасно,
Что дивно мне казалось на земле,
Мне опротивело. И стал я мрачен,
Я чувствовал, как застывала кровь
В моей груди — во времена былые
Столь пламенной и чистой — как чело
Мое браздилось от глубоких дум.
Я счастье стал терять, и больно-больно
Мечтать мне было о былом. Но я
Тогда увидел, что напрасно
Мечтать мне было о невозвратимом.
О, лучше быть раздавленным, Антонио,
Чем побежденным, и не стал я верить.
И с той поры я умер для того,
Что любят люди. Я уж не страдал,
Во мне убито было чувство горя.
Мой дух окаменел. И думал я:
«Судьба меня оставит. Я довольно
Терпел». И вот однажды я в груди
Застал давно погасшее волненье
И тайный ужас. Надо мною что-то —
Я это чувствовал — ужасно тяготило...
И это был мой демон. Ты не веришь,
Антонио, но знай же, что он здесь,—
Мне сердце говорит. И этот демон
Всё то, о чем во тьме ночей я думал,

О чем так долго, долго я мечтал,
Мне осветил, как будто мимоходом.
И предо мной расторгнул на мгновенье
Покров, лежащий на святом челе
Природы. Что же? Я увидел — бездну
Меж мной и знаньем. Ожил я — мой взор,
Мой жадный взор хотел проникнуть тайны
Души и мира... но они так быстро...
Мелькнули предо мной — и я не мог
Постигнуть их. Но я познал ничтожность
Того, что прежде думал я. О! О!
Здесь

(положил руку на чело)

хаос — а в душе страдание!
Как будто бы, смеяся надо мною,
Завесу мне на миг он приподнял,
И снова она пала между мною
И целым миром. О, это мученье
Ужасней ада. Как? Перед тобой
Лежит мета твоей несчастной жизни,
Ты к ней... ты ее видишь — и нельзя!
Так близко быть и так далеко! Нет!
Пусть терпит раб — не Стено. Если
Меня не нужно смерти — я насильно
Отдамся ей!

Антонио

О Стено! Никогда
Смерть не приходит слишком поздно.

Стено

Нет!
Я не хочу — не должен жить. И что
Меня так тянет к жизни? Я не нужен
Ни одному творенью на земле. И мне
Не нужно ничего. Мне в тягость жизнь. И я
Хочу, желаю смерти.

Антонио

Я молчу.
Когда ты сам упал, то неужели
Ты думать мог, что я, я, слабый старец,
Тебя рукою дряхлой подыму. Иди

Один по трудному — тернистому пути
Бесцветной и холодной твоей жизни,
И если ты дойдешь...

Стено
(вскакивая)

Молчи — молчи!
Твоя рука дрожит. Не правда ли, мой старец,
Ты видишь, там стоит — он! он! всё он — с рукой
Поднятою — с безжизненно-холодной
Улыбкой на сухих устах! Меня
Зовет он — я иду.

Антонио

О Стено, Стено —
С твоим умом как низко ты упал!

Стено

Да, я упал. И эта мысль меня
Убьет. Тем лучше. Что я медлю!
Прощай! И если есть за гробом
Другое время — другой мир — тогда
Мы с тобой свидимся, Антонио!
(Ух‹одит› Стено.)

Антонио

Нет.
С тобой не будет мне свиданья,
И если ты насильственно взойдешь
Туда, где судия нас ожидает,
Не искупят тебя твои страданья,
И с горестью обнимешь ты тогда
Тобой давно желанное познанье.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Комната Джакоппо.

В глубине кровать, покрытая занавеской. На авансцене стоят Джакоппо и Риензи.

Джакоппо

Надежды нет?

Риензи

Надежды?.. Мало.

Джакоппо

Риензи,
Вы говорите брату.

Риензи

Да, я знаю,
Вам грустно, больно; но я должен, должен,
Мой бедный друг, вас разочаровать.

Джакоппо
(схватив себя за голову)

О, этот Стено!..
И давно ли, боже,
Моя Джулиетта в очи мне глядела
С улыбкой на устах! Она кипела жизнью,
И жизнью девы... А теперь — о Риензи,
У вас была сестра?

Риензи

Нет.

Джакоппо

О мой друг,
Если б вы знали, что у меня тут
(показывая на голову)
И в сердце. Боже! Боже!

Риензи

О, молчите!
Вы слышите ль ее дыханье?

Джакоппо
(остается недвижим; шёпотом)

Я?
Нет!
(С пронзительным криком бросается к кровати и раздергивает занавес.)

Джулиа! Джулиа!

Джулиа
(слабо)

Стено...
(Умирает.)

Джакоппо

Риензи, Риензи,
Скажите мне... скорей...

Риензи

Закройте ей глаза.

Джакоппо

О!

(Падает без чувств на труп Джулии.)

Долгое молчание.

Еще одно, еще одно дыханье,
Молю тебя, сестра, еще одно.
Подумай — ты мне, своему Джакоппо,
Ни слова не сказала. Джулиа... встань,
Скажи мне слово перед смертью, Джулиа,
Которое я б мог хранить как клад...
Меня всегда ты горячо любила
И на привет приветом отвечала.
Теперь молчишь ты — да! молчишь!
И твои руки так холодны, Джулиа?
Зачем глаза полузакрыла ты?
Ты знаешь, я люблю смотреться в них,
Они так чисты, так лазурны —
Как небо... Джулиа, Джулиа, отвечай...
О, она холодеет!

(Быстро вскакивает и схватывает Риензи.)

Стой! Ты от меня,
Убийца, не уйдешь! А что ты сделал
С моей сестрой.

(Таща его к кровати.)

Смотри—она мертва,
Но на щеках румянец не погас,
Ее глаза еще сияют негой,
И ты ее убил. О! деву... деву
Тебе не жалко было умертвить!
О, я тебя убью у ее ног.

(Вынимает кинжал.)

Риензи

(вырываясь)

Джакоппо! я Риензи!

Джакоппо

Ха! ха! ха!
Как будто я не знаю Стено!
Но не уйдешь ты от меня,
Вот тебе жертва, Джулиа!..

(Бросается на Риензи.)

Риензи

(становится на колени)

О, пощади!
У меня есть отец, жена и дети!
Я их люблю, Джакоппо,— моей кровью,
Невинной кровью, нож не обагряй,
Она падет на твою душу!

Джакоппо

О!
У тебя есть жена и дети, Стено,
Теперь могу я мстить сестру! Меня,
Ничтожный, ты ее лишил! Ни слова —
Тебе пощады нет!

Риензи

(вскакивая)

О, если так,
И если все моления напрасны...
На помощь мне, отчаянье!

(Схватывает руку Джакоппо и смотрит ему в глаза.)

Я Риензи!
Смотри!

Джакоппо

(с иронической улыбкой)

А, право!

(хладнокровно)

Ты умрешь!

(отталкивает его — и с бешенством)

Прочь!

Р и е н з и

(трясет дверь)

Дверь заперта! и нет спасения!
Мадонна! помоги мне!

Д ж а к о п п о

Ты зовешь
Мадонну! высоко до неба!

(Убивает Риензи.)

Р и е н з и

(падая)

Мои дети!

(Умирает.)

Молчание.

Д ж а к о п п о

(опомниваясь)

На ноже кровь.
Чья это кровь? Не знаю.
Что было здесь? Кто это там лежит
С кровавой раной в левой груди?
И кровь течет на белый пол,
Журча невнятно... Джулиа!.. Молчание.

(Оглядывается назад.)

О, вот она!

(Бежит и обнимает ее.)

Теперь я понимаю...
О боже... я убийца... Риензи... Риензи,
Мой добрый друг, о встань! Нет, нет.
Удар был слишком верен. Сердце... сердце...
Зачем это всё мне!

Молчание.

Чу! они идут...
Ко мне! Куда мне скрыться... нет спасенья...
Находят труп кровавый... меня ищут...
Я здесь... я здесь... убийца здесь!
Меня убейте, как убил я Риензи!

Молчание.

На площади я вижу эшафот.
На нем лежит... блестит секира,

В тележке с палачом сидит
Убийца. И народ стоит
Вокруг него бесшумными толпами...
Пора! пора! палач зовет,
В последний раз взгляни на небо!
И вот идет он. На его челе
Лег ужас мрачной тучей... Вот кладет
Он голову на плаху... Стой! палач!
Этот убийца я!
Я вижу —
Передо мной стоит отец. Он страшен,
И дыбом на его главе стоят
Его седые волосы. На Джулию
Он кажет мне, и дик и грозен
Огонь его очей. О, пощади!
Отец; я не умел ее сберечь,
Как ты велел мне, умирая...
Ее отмстить сумею я!

(Сильно.)

И если
Моя рука убила друга... я
Еще не отомстил сестру. Клянуся небом,
И если б капля крови его там
Давила душу каменной горою —
Мне кровь его нужна. Да, Стено
От мести брата не уйдет. Клянусь.
Невинной этой кровию, клянуся
Я смертью Джулии моей,
Я не сомкну своих очей,
Пока с его потухшими очами
Не встретятся они. Тогда
Пойду я к судне. Ему
Скажу я: синьор, я убийца,
Меня судить не нужно. Палачу
Отдайте рыбака Джакоппо,
И с радостью на плаху я склоню
Мою усталую главу.
Я смело стану перед богом.
Он видит всё. И если мне и там
Удел другой, тяжелый, будет дан,
Роптать не буду я на небо,
Я искуплю своею вечной мукой

Мою сестру. И я решен. Нет, нет!
Мне не забыть кровавый свой обет...
Пора, пора, мне шепчет голос тайный,
Мой нож — ты здесь — пойдем.

(Уходит Джакоппо.)

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТИЕ И ПОСЛЕДНЕЕ

Комната Стено.

Стено *(один, у окна)*

Проходит ночь. Луна бледнеет. Темя
Высоких гор, покрытое снегами,
Алеет понемногу. Рим встает
С его семью холмами. Тихо, тихо
День гонит ночь. И звезды убегают
С своей царицею-луной. Как чудно
Всё на небе и на земле. По Тибру
Скользят неслышно лодки рыбаков.
Вокруг ладьи рябятся волны. В них
Мешается и слабый свет денницы,
И умирающий свет звезд. Вот солнце.
Как царь, как бог, взошло оно на небо,
И от него волнами света
На землю льется жизнь.

. . . .

Прошло вчера. Настало нынче. Завтра
Не будет нынешнего дня. Идет
Мгновенье за мгновеньем и проходит
Неслышно и незримо. Вечный круг
Есть твой символ, Природа. Грустно! грустно!
Но если ты, прекрасная, всегда
Одна и та же, о, всегда ты дивна!
Как велика ты для людей...
Они тебя не понимают — люди!
Какое жалкое творенье человек!..

. . . .

Он входит в мир. Он дышит. Вместе с жизнью
Его встречает боль. Вот он растет,
Не зная сам, зачем он в мире. Но...
Он любит всё, что видит он; ему —
Жить и любить одно и то же. Вот
В нем разум понемногу разгоняет

Его мечты любви. В нем мысль впервые
Зажглась, как молнья в туче. Он живет.
Он начал жить и уж узнал страданье,
Но в нем еще всё молодо и свежо,
Он верит в свою силу и вперед
Идет бесстрашно — полный веры. Он
Еще не познал *сердцем* горя,
Он для судьбы еще так мал. Он видит
На небосклоне тучи — и, надежный,
Он их зовет. Ему сразиться любо,
Он весь — огонь и сила. Наконец —
Идет судьба. Могучая, в объятья
Берет его и мочною рукой
Она пред ним открыла жизнь нагую...
И вот он узнает, что всё, что думал он
О добром, о высоком на земле —
Мечта. О, знаю я, как горько
Терять так быстро всё, чему мы верим,
К чему прилипли мы душой. И вот
Она его сломала и потом
С усмешкой бросит на путь жизни —
Живи! . . . .
И если в нем нет силы и презренья
К земле, куда прикован он,
Пойдет вперед он, изможенный
И будет жить, пока угаснет он.
Но если в нем душа горда и смела,
Он разорвет свои оковы... Мне ль
Дышать, согбенному рукою
Судьбы? Нет! нет! Пора, пора!
. . . .
И для чего я жил? О, для того ли,
Чтобы познать, как эта жизнь низка,
Чтобы встречать бездушных тварей в людях,
Не в состоянии понять, что я
Им говорил из глубины души...
Им слишком были темны мои речи...
Они не в силах думать... Ни одной
Не встретил я высокой думы
Между миллионами людей. И вот
Кому дана в владение Природа!

(Он впадает в задумчивость.)

Передо мною вижу я порог —
Он жизнь и вечность разделяет,
Я у него стою. Напрасно очи
Туда за ним я устремляю. Всё,
Что там нас ждет,— подернуто туманом.
О, если б мог я тайну разгадать,
Я б отдал за нее всё мое знание.

. . . .

Но если я на миг остановлюсь
И оглянусь... я вижу мою жизнь...
Я вижу всё — как жил я, что я думал,
И глубоко я грустен этим взглядом.
Как мало было в этой жизни
Отрадного... О, для кого же жизнь?
И неужели этим людям? Им?
Им, столь ничтожным? им, столь низким?
А между тем тому, кто над толпой
Поднимется, ее глубоко презирая,
И к нему смело полетит,
Исполненный отвагою и силой,—
Тому один обман! Тому жизнь в наготе!
Как будто бы мы пасынки судьбы,
А эти люди ее дети!

(Стено подходит к столу
и берет с него заряженный пистолет.)

Приди ко мне. Я не беру тебя,
Как многие — с отчаяньем и горем,—
Нет — я тебя беру как друга.
Ты разрешишь мне тайную задачу —
Ты мне откроешь всё. О, легче мне
Быть под тяжелым игом вечной скорби,
Чем жить одно мгновенье, как я жил!

(Подходит к окну.)

Итак, мне будет этот день последним,
Такого дня не стою я. Со мной
Прощается Природа. Но напрасно
Она так щедро расточает
На небо и на землю свет и жизнь...
Меня не может это удержать. Прекрасно
Лазоревое небо надо мной,
Лазоревое море подо мной,
Меня не может это удержать. Прости,

Земля, со всем твоим чудесным,
Прости, прости! О, не сияй мне в очи
Ты, золотое око неба. Всё,
Что я любил, ты мне воспоминаешь.
Прочь! прочь!

(Он отходит от окна и лицо закрывает руками.)

Я вижу мою мать. Зачем, скажи, зачем
Ты смотришь с укоризною на сына?
Давно душою умер я. Зачем,
Зачем мне жить в разлуке с нею?
К тебе—к тебе—скорей. Возьми к себе,
О моя мать, твоего Стено!
Чело мое горит... О, этот пламень
Пора на вечность погасить!
Моя душа нетерпеливо ждет —
Я это чувствую — свое освобожденье,—
Ей тесно здесь. Туда, туда ее
Влечет неотразимое желанье.
Свободы час настал!
Я чувствую, пора стряхнуть мне цепи,
Обнять все тайны мира! Я готов!
Свободен я — тебе привет мой, небо!

(Стреляет и падает мертвый.)

М а т т е о
(вбегает)

О боже, боже! Синьор! он убит,
И нет спасенья—нет! Его чело
Раздроблено. Мой бедный-бедный барин!
Но очи его целы,— как он страшен,—
Его глаза закрою я...

Слышен голос Д ж а к о п п о:

Где Стено?

М а т т е о
(вскакивая)

Вам нужен Стено. Вот он!

Д ж а к о п п о

Где он? где он?
А, он меня предупредил!..
. . . . Холодный,

С раздробленным челом лежит он предо мной,
И эта кровь мне шепчет: примиренье!
Холодную возьму я твою руку —
Прости мне, Стено,— мне пора!

(Уходит.)

Маттео

Пойти к отцу Антонио.

(Уходит.)

Всё делается мрачно. В вышине слышно:

1-й голос

Под скалою воет море,
Над скалою я летал —
Тайну мрачную свершал;
И роптало: горе! горе!
Вечно стонущее море!

2-й голос

Ветер, мой ветер, тучи гони!
Черными волнами, море, шуми!
Тихо! всё тихо! луна не сияет!
Мрачно! всё мрачно! звезда не блистает.
Отвсюду, отвсюду я тайных зову.
Скорее, скорее, на небе молчанье
Он найдет, его ждет здесь:
Вечность! страданье!

1-й голос

Тайна свершилась. Молчанье! Молчанье!

Конец.

ПОП

ПОЭМА

[Смиренный сочинитель сказки сей]
В иных местах поделал варианты
Для дам, известных строгостью своей,
Но любящих подобные *куранты*.

I

Бывало, я писал стихи — для славы,
И те стихи, в невинности моей,
Я в божий мир пускал не без приправы
«Глубоких и значительных» идей...
Теперь пишу для собственной забавы
Без прежних притязаний и затей —
И подражать намерен я свирепо
Всем... я на днях читал *Pucelle* и *Беррэ.*

II

Хоть стих иной не слишком выйдет верен,
Не стану я копаться над стихом;
К чему, скажите мне на милость? Скверен
Мой слог — зато как вольно под пером
Кипят слова... внимайте ж! я намерен —
Предупредив читательниц о том —
Предаться (грязная [1] во мне природа!)
Похабностям [2] различнейшего рода.

III

Читатели найдутся. Не бесплодной,
Не суетной работой занят я.
Меня прочтет Панаев благородный
И Веверов любезная семья;
Белинский посвятит мне час свободный,
И Комаров понюхает меня...

[1] легкая
[2] Любезностям

Языков сам столь влажной, столь приятной
Меня почтит улыбкой благодатной.

IV

[Ну — к делу! Начинайся, пышный эпос,—
Пою попа соседа, попадью,
Ее сестру... Вы скажете: «Нелепо-с
Воспеть попов»... но я попов пою;
Предмет достойный эпоса — не репа-с
В наш подлый век... но что я говорю?
И мне ли, мне ль при жизни Комаришки
В политику пускаться, вроде Жижки?]

V

Итак, друзья, я жил тогда на даче,
В *чухонской* деревушке, с давних пор
Любимой *немцами*... Такой удаче
Смеетесь вы... Что делать! Мой позор
Я сам глубоко чувствовал — тем паче,
Что ничего внимательный мой взор
Не мог открыть в числе супруг и дочек
Похожего на лакомый кусочек.

VI

Вокруг меня — всё жил народ известный:
Столичных немцев цвет и сок. Во мне
При виде каждой рожи глупо-честной
Кипела желчь. Как русский — не вполне
Люблю я Честность... Немок пол прелестный
Я жаловал когда-то... но оне
На уксусе настоенные розы...
И холодны, как ранние морозы.

VII

И я скучал, зевал и падал духом.
Соседом у меня в деревне той
Был — кто же? поп, покрытый жирным пухом,
С намасленной, коротенькой косой,
С засаленным и ненасытным брюхом.
Попов я презираю всей душой...
Но иногда — томим несносной скукой —
Травил его моей легавой сукой.

VIII

Но поп — не поп без попадьи трупёрдой,
Откормленной, дебелой... Признаюсь,
Я человек и грешный и нетвердый
И всякому соблазну поддаюсь.
Перед иной красавицею гордой
Склоняюсь я — но всё ж я не стыжусь
Вам объявить (известно, люди слабы...):
Люблю я мясо доброй русской бабы.

IX

А моего соседушки супруга
Была ходячий пуховик — ей-ей...
У вашего чувствительного друга
Явилось тотчас множество затей;
Сошелся я с попом — и спился с круга
Любезный поп по милости моей;
И вот — пока сожитель не проспится,
В блаженстве я тону, как говорится.

X

Так что ж?.. скажите мне, какое право
Имеем мы смеяться над таким
Блаженством? Люди неразумны, право.
В ребяческие годы мы хотим
Любви «святой, возвышенной» — направо,
Налево мы бросаемся... кутим...
Потом, угомонившись понемногу,
Кого-нибудь ⟨...⟩ — и слава богу! [1]

XI

Но Пифагор, Сенека и Булгарин
И прочие философы толпой
Кричат, что человек неблагодарен,
Забывчив... вообще подлец большой...
Действительно: как сущий русский барин,
Я начал над злосчастной попадьей
Подтрунивать... и на мою победу
Сам намекал почтенному соседу.

---

[1] Мы с кем-нибудь живем

Кого-нибудь мы *любим*, слава богу.

XII

Но мой сосед был человек беспечный.
Он сытый стол и доброе вино
Предпочитал «любови скоротечной»,
Храпел — как нам храпеть не суждено.
Уж я хотел, томим бесчеловечной
Веселостью, во всем сознаться... но
Внезапная случилась остановка:
Друзья... к попу приехала золовка.

XIII

Сестра моей любовницы дебелой —
В разгаре жизни пышной, молодой,
О господи! — была подобна спелой,
Душистой дыне, на степи родной
Созревшей в жаркий день. Оторопелый,
Я на нее глядел — и всей душой,
Любуясь этим телом полным, сочным,
Я предавался замыслам порочным.

XIV

Стан девственный, под черными бровями
Глаза большие, звонкий голосок,
За молодыми, влажными губами
Жемчужины — не зубки, свежих щек
Румянец, ямки на щеках, местами
Под белой, тонкой кожицей жирок —
Всё в ней дышало силой и здоровьем...
Здоровьем, правда, несколько коровьим.

XV

Я некогда любил всё «неземное»,
Теперь — напротив — более всего
Меня пленяет смелое, живое,
Веселое... *земное* существо.
Таилось что-то сладострастно-злое
В улыбке милой Саши...[1] Сверх того
Короткий нос с открытыми ноздрями
Не даром обожаем 〈...〉 [2]

---

[1] Мою поповну звали Сашей,
Прошу внимательных друзей
Не смешивать ее с Парашей,
[Постывшей] Побочной дочерью моей.

[2] Шалунами.

XVI

Я начал волочиться так ужасно,
Как никогда — ни прежде, ни потом
Не волочился... даже слишком страстно.
Она дичилась долго — но с трудом
Всего достигнешь... и пошли прекрасно
Мои делишки... вот — я стал о том
Мечтать: когда и как?.. Вопрос понятный,
Естественный... и очень деликатный.

XVII

Уж мне случалось, пользуясь молчаньем,
К ее лицу придвинуться слегка —
И чувствовать, как под моим лобзаньем
Краснея, разгоралася щека...
И губы сохли... трепетным дыханьем
Менялись мы так медленно... пока...
Но тут я, против воли, небольшую —
Увы! — поставить должен запятую.

XVIII

Все женщины в любви чертовски чутки...
(Оно понятно: женщина — раба.)
И попадья злодейка наши *шутки*
Пронюхала, как ни была глупа.
Она почла, не тратив ни минутки,
За нужное — уведомить попа...
Но как она надулась — правый боже!
Поп отвечал: «<...> ее? Так что же!» [1]

XIX

Но с той поры не знали мы покоя
От попадьи... Теперь, читатель мой,
Ввести я должен нового героя.
И впрямь: он был недюжинный «герой»,
«До тонкости» постигший тайны «строя»,
«Кадетина», «служака затяжной»
(Так лестно выражался сам Паскевич
О нем) — поручик Пантелей Чубкевич.

---

[1] Зевая, поп ответил ей: «Так что же?»

XX

Его никто не вздумал бы Ловласом
Назвать... огромный грушевидный нос
Торчал среди лица, вином и квасом
Раздутого... он был и рыж и кос —
И говорил глухим и сиплым басом:
Ну, словом: настоящий малоросс!
Я б мог сказать, что был он глуп как мерин
Но лошадь обижать я не намерен.

XXI

Его-то к нам коварная судьбина
Примчала... я, признаться вам, о нем
Не думал — или думал: «Вот скотина!»
Но как-то раз к соседу вечерком
Я завернул... о гнусная картина!
Поручик между Сашей и попом
Сидит... перед огромным самоваром —
И весь пылает непристойным жаром.

XXII

Перед святыней сана мы немеем...
А поп — сановник; я согласен; но...
Сановник этот сильно — под шефеем...
(Как слово чисто русское, должно
«Шефе» склоняться)... попадья с злодеем
Поручиком, я вижу, заодно...
И нежится — и даже строит глазки,
И расточает «родственные» ласки.

XXIII

И под шумок их речи голосистой
На цыпочках подкрался сзади я...
А Саша разливает чай душистый,
Молчит — и вдруг увидела меня...
И радостью блаженной, страстной, чистой
Ее глаза сверкнули... О друзья!
Тот милый взгляд проник мне прямо в душу...
И я сказал: «Сорву ж я эту грушу!..»

XXIV

Не сватался поручик безобразный
Пока за Сашей... да... но стороной

Он толковал о том, что к «жизни праздной
Он чувствует влеченье... что с женой
Он был бы счастлив!.. Что ж? он не приказный
Какой-нибудь!..» Притом поручик мой,
У «батюшки» *спросив благословенья*,
Вполне достиг его благоволенья.

XXV

«Но погоди ж,— я думал,— друг любезный!
О попадья плутовка! погоди!
Мы с Сашей вам дадим урок полезный —
Жениться вздумал!!.. Время впереди,
Но всё же мешкать нечего над бездной».
Я к Саше подошел... В моей груди
Кипела кровь... поближе я придвинул
Мой стул и сел... Поручик рот разинул.

XXVI

Но я, не прерывая разговора,
Глядел на Сашу, как голодный волк...
И вдруг поднялся... «Что это? так скоро!
Куда спешите?» — Мягкую, как шелк,
Я ручку сжал. «Вы не боитесь вора?..
Сегодня ночью...» — «Что-с?» — но я умолк —
Ее лицо внезапно покраснело...
И я пошел и думал: ладно дело!

XXVII

А вот и ночь... торжественным молчаньем
Исполнен чуткий воздух... мрак и свет
Слилися в небе... Долгим трепетаньем
Трепещут листья... Суета сует!
К чему мне хлопотать над описаньем?
Какой же я неопытный «поэт»!
Скажу без вычур — ночь была такая,
Какой хотел я: тёмная, глухая

XXVIII

Пробила полночь... Время... Торопливо
Прошел я в сад к соседу... под окном
Я стукнул... растворилось боязливо
Окошко... Саша в платьице ночном,
Вся бледная, склонилась молчаливо

Ко мне...— «Я вас пришел просить»...— «О чем?
Так поздно... ах! Зачем вы здесь? скажите?
Как сердце бьется — боже... нет! уйдите»...

XXIX

«Зачем я здесь? О Саша! как безумный
Я вас люблю»...— «Ах, нет — я не должна
Вас слушать»...— «Дайте ж руку»... Ветер
шумный
Промчался по березам.— Как она
Затрепетала вдруг!!.. Благоразумный
Я человек — но плоть во мне сильна,
А потому внезапно, словно кошка,
Я по стене... вскарабкался в окошко.

XXX

«Я закричу»,— твердила Саша... (Страстно
Люблю я женский крик — и майонез.)
Бедняжка перетрусилась ужасно —
А я, злодей! развратник!.. лез да лез.
— «Я разбужу сестру — весь дом»...—
«Напрасно»...
(Она кричала — шёпотом.) — «Вы бес!»
— «Мой ангел, Саша, как тебе не стыдно
Меня бояться... право, мне обидно».

XXXI

Она твердила: «Боже мой... о боже!»
Вздыхала — не противилась, но всем
Дрожала телом. Добродетель всё же
Не вздор — по крайней мере не совсем.
Так думал я. Но «девственное ложе»,
Гляжу, во тьме белеет... О зачем
Соблазны так невыразимо сладки!!!
Я Сашу посадил на край кроватки.

XXXII

К ее ногам прилег я, как котенок...
Она меня бранит, а я молчок —
И робко, как наказанный ребенок,
То ручку, то холодный локоток
Целую, то колено... Ситец тонок —
А поцелуй горяч... И голосок

Ее погас, и ручки стали влажны,
Приподнялось и горло — признак важный!

XXXIII

И близок миг... над жадными губами
Едва висит на ветке пышный плод...
Подымется ли шорох за дверями,
Она сама рукой зажмет мне рот...
И слушает... И крупными слезами
Сверкает взор испуганный... И вот
Она ко мне припала, замирая,
На грудь... и, головы не подымая,

XXXIV

Мне шепчет: «Друг, ты женишься?» Рекою
Ужаснейшие клятвы полились.
«Обманешь... бросишь»... — «Солнцем и луною
Клянусь тебе, о Саша!»... Расплелись
Ее густые волосы... змеею
Согнулся тонкий стан...— «Ах, да... женись»...
И запрокинулась назад головка...
И... мой рассказ мне продолжать неловко.

XXXV

Читатель милый! Смелый сочинитель
Вас переносит в небо. В этот час
Плачевный... ангел, Сашин попечитель,
Сидел один и думал: «Вот-те раз!»
И вдруг к нему подходит Искуситель:
— «Что, батюшка? Надули, видно, вас?»
Тот отвечал, сконфузившись: «Нисколько!
Ну смейся! зубоскал!.. подлец — и только».

XXXVI

Сойдем на землю. На земле всё было
Готово... то есть — кончено... вполне.
Бедняжка то вздыхала — так уныло...
То страстно прижималася ко мне,
То тихо плакала... В ней сердце ныло.
Я плакал сам — и в грустной тишине,
Склоняясь над обманутым ребенком,
Я прикасался к трепетным ручонкам.

XXXVII

«Прости меня,— шептал я со слезами,—
Прости меня»...— «Господь тебе судья»...
Так я прощен!.. (Поручика с рогами
Поздравил я.) — ликуй, душа моя!
Ликуй — но вдруг... о ужас!! перед нами
В дверях — с свечой — явилась попадья!!
Со времени татарского нашествья
Такого не случалось происшествья!

XXXVIII

При виде раздраженной Гермионы
Сестрица с визгом спрятала лицо
В постель... Я растерялся... Панталоны
Найти не мог... отчаянно в кольцо
Свернулся — жду... И крики, вопли, стоны,
Как град — и град в куриное яйцо,—
Посыпались... В жару негодованья
Все женщины — приятные созданья.

XXXIX

«Антон Ильич! Сюда!.. Содом-Гоморра!
Вот до чего дошла ты, наконец,
Развратница! Наделать мне позора
Приехала... А вы, сударь,— подлец!
И что ты за красавица — умора!..
И тот, кому ты нравишься,— глупец,
Картежник, вор, грабитель и мошенник!»
Тут в комнату ввалился сам священник.

XL

«А! ты! Ну полюбуйся — посмотри-ка,
Козел ленивый — что? что, старый гусь?
Не верил мне? Не верил? ась?.. Поди-ка
Теперь — ее сосватай... Я стыжусь
Сказать, как я застала их... улика,
Чай, налицо» (... in naturalibus —
Подумал я),— «измята вся постелька!»
Служитель алтарей был пьян как стелька.

XLI

Он улыбнулся слабо... взор лукавый
Провел кругом... слегка махнул рукой
И пал к ногам супруги величавой,

Как юный дуб, низринутый грозой...
Как смелый витязь падает со славой
За край — хотя подлейший, но родной,—
Так пал он, поп достойный, но с избытком
Предавшийся крепительным напиткам.

XLII

Смутилась попадья... И в самом деле
Пренеприятный случай! Я меж тем
Спокойно восседаю на постеле.
«Извольте ж убираться вон...» — «Зачем?»
— «Уйдете вы?»...— «На будущей неделе.
Мне хорошо; вот видите ль: я ем
Всегда — пока я сыт; и ем я много»...
Но Саша мне шепнула: «ради бога!..»

XLIII

Я тотчас встал. «А страшно мне с сестрицей
Оставить вас»...— «Не бойтесь... я сильней»...
— «Эге! такой решительной девицей
Я вас не знал... но вы в любви моей
Не сомневайтесь, ангелочек». Птицей
Я полетел домой... и у дверей
Я попадью таким окинул взглядом,
Что, верно, жизнь ей показалась адом.

XLIV

Как человек, который «взнес повинность»,
Я спал, как спит наевшийся порок
И как не спит голодная невинность.
Довольно... может быть, я вас увлек
На миг — и вам понравилась «картинность»
Рассказа — но пора... с усталых ног
Сбиваю пыль: дошел я до развязки
Моей весьма не многосложной сказки.

XLV

Что ж сделалось с попом и с попадьею?
Да ничего. А Саша, господа,
Вступила в брак с чиновником. Зимою
Я был у них... обедал — точно, да.
Она слывет прекраснейшей женою
И недурна... толстеет — вот беда!
Живут они на Воскресенской, в пятом
Эта́же, в нумере пятьсот двадцатом.

ФИЛИППО СТРОДЗИ

В отчизне Данта, древней, знаменитой,
В тот самый век, когда монах немецкий
Противу папы смело восставал,
Жил честный гражданин, Филиппо Стродзи.
Он был богат и знатен; торговал
Со всей Европой, заседал в судах
И вел за дело правое войну
С соседями: не раз ему вверяла
Свою судьбу тосканская столица.
И был он справедлив, и прост, и кроток;
Не соблазнял, но покорял умом
Противников... и зависти враждебной,
Тревожной злобы, низкого коварства
Не ведал прямодушный человек.
В нем древний римлянин воскрес; во всех
Его делах, и в поступи, во взорах,
В обдуманной медлительности речи
Дышало благородное сознанье —
Сознанье государственного мужа.
Не позволял он называть себя
Почетными названьями; льстецам
Он говорил: «Меня зовут Филиппом,
Я сын купца». Любовью беспредельной
Любил он родину, любил свободу,
И, верный строгой мудрости Зенона,
Ни смерти не боялся, ни безумно
Не радовался жизни, но бесчестно,
Но в рабстве жить не мог и не хотел.
И вот, когда семейство Медичисов,
Людей честолюбивых, пышных, умных,
Уже давно любимое народом
(Со времени великого Козьмы),
Достигло власти наконец; когда
Сам император — Пятый Карл — родную

Дочь отдал Александру Медичису,
И, сильный силой царственного тестя,
Законы нагло начал попирать
Безумный Александр — восстал Филипп
И с жалобой не дерзкой, но достойной
Свободного народа, к венценосцу
Прибег. Но Карл остался непреклонным —
Цари друг другу все сродни. Тогда
Филиппо Стродзи, видя, что народ
Молчит и терпит, и страшась привычки
Разврата рабства — худшего разврата,—
Рукою Лоренцина погубил
Надменного владыку. Но минула
Та славная, великая пора,
Когда цвели свободные народы
В Италии, божественной стране,
И не пугались мысли безначалья,
Как дети малолетные... Напрасно
Освободил Филипп родную землю —
Явился новый, грозный притеснитель,
Другой Козьма. Филипп собрал дружину,
Друзей нашел и преданных и смелых,
Но полководцем не был он искусным...
Надеялся на правоту, на доблесть
И верил обещаньям и словам
Не как ребенок легковерный — нет!
Как человек, быть может, слишком честный...
Его разбили, взяли в плен. Октавий
Разбил же Брута некогда. Как муху
Паук, медлительно терзал Филиппа
Лукавый победитель. Вот однажды
Сидел несчастный после тяжкой пытки
Перед окном и радовался втайне:
Он выдержал неслыханные муки
И никого не выдал палачам.
Сквозь черную решетку падал ровный
Широкий луч на бледное лицо,
На рубище кровавое, на раны
Страдальца. Слышался вдали беспечный,
Веселый говор праздного народа...
В окошко мухи быстро залетали,
И с вышины томительно далекой
Прозрачной, светлой веяло весной.

С усильем поднял голову Филиппо:
И вспомнил он любимую жену,
Детей-сироток — собственное детство...
И молодость, и первые желанья,
И первые полезные дела,
И всю простую, праведную жизнь
Свою тогда припомнил он. И вот
Куда попал он наконец! Надеждам
Напрасным он не предавался... Казнь,
Мучительная казнь его ждала... Сомненье
Невыразимо горькое внезапно
Наполнило возвышенную душу
Филиппа; сердце в нем отяжелело,
И выступили слезы на глаза.
Молиться захотел он, возмутилось
В нем чувство справедливости... безмолвно
Израненные, скованные руки
Он поднял, показал их молча небу,
И без негодованья, с бесконечной
Печалью произнес он: где же правда?
И ропотом угрюмым отозвался
Филиппу низкий свод его тюрьмы...
Но долго бы пришлось еще терзаться
Филиппу, если б старый, честный сторож,
Достойный понимать его величье,
Однажды, после выхода судьи,
Не положил бы молча на пороге
Кинжала... Понял сторожа Филипп, —
И так же молча, медленным поклоном
Благодарил заботливого друга.
Но прежде чем себе нанес он рану
Смертельную, на каменной стене
Кинжалом стих латинской эпопеи
Он начертал: «Когда-нибудь восстанет
Из праха нашего желанный мститель!»
Последняя, напрасная надежда!
Филиппов сын погиб в земле чужой —
На службе короля чужого; внук
Филиппа заживо был кинут в море,
И род его пресекся, Медичисы
Владели долго родиной Филиппа,
Охотно покорялись им потомки
Филипповых сограждан и друзей...

О наша матерь — вечная земля!
Ты поглощаешь так же равнодушно
И пот, и слезы, кровь детей твоих,
Пролитую за праведное дело,
Как утренние капельки росы!
И ты, живой, подвижный, звучный воздух,
Ты так же переносишь равнодушно
Последний вздох, последние молитвы,
Последние предсмертные проклятья,
Как песенку пастушки молодой...
А ты, неблагодарная толпа,
Ты забываешь так же беззаботно
Людей, погибших честно за тебя,
Как позабудут и твои потомки
Твои немые, тяжкие страданья,
Твои нетерпеливые волненья
И все победы громкие твои!
Блажен же тот, кому судьба смеется!
Блажен, кто счастлив, силен и не прав!!!

Дверь отворилась... и вошел Козьма...

ГРАФИНЯ ДОНАТО

Начало поэмы

I

Был светлый летний день, когда с охоты знойной
В свой замок, вдоль реки широкой и спокойной,
Графиня ехала. Сверкал зеленый луг
Заманчиво... но ей всё надоело вдруг —
Всё: резкий звук рогов в излучинах долины,
И сокола полет, и цапли жалкий стон,
Стальных бубенчиков нетерпеливый звон,
И лесом вековым покрытые вершины,
И солнца смелый блеск, и шелест ветерка...
Могучий серый конь походкой горделивой
Под нею выступал, подбрасывая гривой,
И умной головой помахивал слегка...
Графиня ехала, не поднимая взора,—
Под золотом парчи не шевельнется шпора,
Скатилась на седло усталая рука.

II

Читатель! мы теперь в Италии с тобой,
В то время славное, когда владыки Рима
Готовили венец творцу Ерусалима,
Венец, похищенный завистливой судьбой;
Когда, в виду дворцов высоких и надменных,
В виду озер и рек прозрачно голубых,
Под бесконечный плеск фонтанов отдаленных,
В садах таинственных, и темных, и немых,
Гуляли женщины веселыми роями
И тихо слушали, склонившись головами,
Рассказы о делах и чудесах былых...
Когда замолкли вдруг военные тревоги —
И мира древнего пленительные боги
Являлись радостно на вдохновенный зов
Влюбленных юношей и пламенных певцов.

III

Графиня ехала... Вдали, полузакрытый
Густою зеленью и солнечным лучом,
Как будто золотом расплавленным облитый,
Встает ее дворец. За ней на вороном
Тяжелом жеребце — покрытого плащом
Мужчину видим мы. Чета собак проворных
Теснится к лошади. Среди рабов покорных
Идет сокольничий, суровый и седой;
Но птицы резвые напрасно бьют крылами...
Красивый, стройный паж поспешными шагами
Бежит у стремени графини молодой.
Под шапкой бархатной, надвинутой на брови,
Его глаза блестят; колышутся слегка
На шее локоны; румянцем юной крови
На солнце весело горит его щека.

IV

Графиня ехала... А в замке под окном
Стоял ее супруг и, прислонясь лицом
К холодному стеклу, глядел на луг широкий.
И был то человек упорный и глубокий;
Слывя задумчивым, всё наблюдал кругом,
Не требуя любви, ни от кого совета
И помощи не ждал, чуждался лишних слов;
Но светлый взор его, исполненный привета,
Умел обманывать, умел ласкать врагов.
И был он окружен послушными слугами,
Друзей удерживал обильными дарами,
И гневного лица его не знал никто.
Донато не спешил и в мести... но зато
Во тьме его души созревшие решенья
Напрасно никогда не ждали исполненья...

ПРОЗАИЧЕСКИЕ НАБРОСКИ

⟨НАБРОСОК АВТОБИОГРАФИИ⟩

Мне 17 лет было тому с неделю. Я хочу написать всё, что я знаю о себе,— всю мою жизнь. Для чего я это делаю — две причины. Во-первых, читал недавно «Les Confessions» de J. J. Rousseau[1]. Во мне возродилась мысль написать и свою Исповедь; во-вторых, написав свою жизнь теперь, я не стану трогать этой тетради лет до пятидесяти (если доживу), и тогда мне наверное приятно будет вспомнить, что думал, что я мечтал в то время, когда я писал эти строки. Итак, сделав exordium[2], необходимое всюду, я начинаю.

Я родился 1818-го года, 28-го октября, в Орле — от Сергея Н. Тургенева и Варвары Петровны Т., бывшей Л. Про свои ребяческие лета знаю я только то, что я был баловень,— был однако собой дурен — и лет четырех чуть-чуть не умер; что меня тогда воскресило старое венгерское вино и потому, может быть, я люблю вино. Женщина, имевшая обо мне тогда самые нежные попечения, была одна А. И. Л., которую я, несмотря на многие ее не очень хорошие свойства, люблю до сих пор.

---

[1] «Исповедь» Ж. Ж. Руссо (*франц.*).
[2] введение (*лат.*).

№ 32

МИХАЙЛА ФИГЛЕВ

Рост: высокий.
Глаза: карие.
Волосы: белокурые.
Лета: 18.

С умом второстепенным, но довольно проницательным. Впрочем, более природный нежели приобретенный ум. Добр, откровенен и честен; главная слабость: страх de paraître ridicule[1]. Он не может действовать один, не имея перед глазами образца; впрочем, не хочет чтобы это замечали. Любит женщин вообще; но более для того, чтобы об нем думали как о любезном молодом человеке. Высшая его награда — услышать где-нибудь чтобы его так называли. Впрочем, не старается *прослыть* любезным; он хочет только, чтобы им занимались. Амбиции к первенству нету; он довольствуется вторым местом. Он решительно не гений. C'est un homme placé plus haut que la médiocrité et plus bas que le génie[2]. Хороший друг и товарищ; aimant les femmes avec ardeur, incapable de haïr[3]. Он будет счастлив. Он никогда не будет иметь довольно гордости идти против мнения света; но он не знаком с ложным стыдом. Une âme forte peut le subjuguer facilement; un homme ordinaire mais habile peut se faire suivre par lui[4]. Впрочем, благороден до глубины души. Il n'est pas homme à s'élever au dessus du malheur;

---

[1] показаться смешным (*франц.*).

[2] Это человек, стоящий выше посредственности и ниже гения (*франц.*).

[3] пылко любящий женщин, неспособный ненавидеть (*франц.*).

[4] Личность сильная легко может его подчинить; человек обыкновенный, но ловкий может его заставить следовать за собой (*франц.*).

mais aussi le malheur ne l'abattra-t-il pas facilement[1]. Он подвержен предрассудкам своего века. Детей будет воспитывать хорошо; они его будут любить и уважать. К жене будет слишком слаб. Дай бог ему не слишком умную жену! Il aime à faire croire aux autres qu'il a certaines intrigues; du reste il est assez sobre ce qui regarde les femmes. Il cache mal et sa douleur et sa joie; même je dirais qu'il est plus renfermé en soi-même dans la douleur[2]. Его еще пленяет блеск мундира; впрочем, если будет служить, будет хороший офицер и хороший начальник. Его всегда будут любить. Религия — более внутренняя, нежели наружная; в этом отношении он первой степени. Il y a des hommes, pour lesquels il sent une méfiance involontaire; à d'autres il s'abandonne trop[3]. Он не горяч и не зол; но ему, очевидно, неловко быть с тем, кто ему как-то не понравится. Его характер более веселый — il est entièrement fait pour cette vie[4].

Resumé[5]

Человек второго класса, второго отделения, третьей степени.

---

[1] Он не принадлежит к числу людей, способных возвыситься над несчастьем; но и несчастью также не легко его победить (*франц.*).

[2] Он любит внушать другим, что у него есть кое-какие интрижки; в действительности же он довольно скромен с женщинами. Он не умеет скрыть и свою печаль и свою радость; я даже сказал бы, что в своей печали он более замкнут (*франц.*).

[3] Есть люди, к которым он чувствует невольное недоверие; другим он слишком доверяется (*франц.*).

[4] он весь создан для этой жизни (*франц.*).

[5] Заключение (*франц.*).

ПОХОЖДЕНИЯ ПОДПОРУЧИКА БУБНО́ВА

РОМАН

Алексею Александровичу
Бакунину,
потомку Баторием,
ныне недоучившемуся студенту,
будущему министру и андреевскому кавалеру
в знак
уважения и преданности
СЕЙ
посильный труд,
плод глубоких размышлений
с
некоторым родом подобострастья
посвящает
сочинитель.

Подпоручик Бубно́в гулял однажды по одной из улиц уездного городка Ч...... Во всю длину этой улицы находилось только 3 дома — 2 направо, 1 налево. Улица эта была без малого с вёрсту. Так как до вечера оставалось часа два, не более, то старые мещанки, хозяйки упомянутых домов, заблаговременно заперли ставни, загнали кур и улеглися спать. Подпоручик Бубнов шел, заложа руки в карманы и предаваясь, по обыкновению, любимым размышлениям — о том, что́ бы он стал делать, если б он был Наполеоном?

К подпоручику Бубнову совершенно внезапным образом подошел человек небольшого роста — в весьма странной одежде; Бубнов принял было его за помещика Телушкина, только что приехавшего из-за границы; сам он, правда, и не имел чести лично знать г-на Телушкина, но успел уже наслышаться о мудреных и чудных заморских его нарядах... Однако при первом слове незнакомца он совершенно разуверился... Незнакомец, подойдя к подпоручику Бубнову, произнес небрежно и скороговоркою:

— Я чёрт.

Подпоручик тотчас подумал: «Либо он пьян, либо я пьян — во всяком случае неприлично оставаться».

Но незнакомец не дал ему отойти двух шагов и проговорил с улыбкой:

— Вы не пьяны, любезный Иван Андреич,— но я чёрт.

Иван Андреич опять подумал: «Либо он сумасшедший, либо я сумасшедший — так зачем же нам оставаться вместе!»

Незнакомец поймал его за полу и сказал громко и решительно:

— Бубнов, что б ты сделал, если б был Наполеоном?

Подпоручик Бубнов успокоился и подумал: «Он точно чёрт...»

— Что вам угодно? — промолвил он довольно решительно.

— Во-первых, мне угодно убедить вас, что я точно чёрт. Эй вы, крапивы, чего зазевались? Нуте-ка — казачка — да хорошенько.

Все крапивы, в изобилии растущие вдоль полусгнивших заборов, отхватили казачка на славу.

— Хорошо,— сказал чёрт,— пока довольно. Впрочем, за мной дело не станет.— И тут он сразу выкинул несколько удивительных штук: положил себе обе ноги в рот и протащил их сквозь затылок; взял свои собственные глаза в обе руки и с приятностью бросал их на воздух; наконец, подарил свой нос Ивану Андреевичу на память. Подпоручик Бубнов расстегнул свой сертук и положил нос чёрта в боковой карман.

— Теперь вы верите, что я чёрт?

— Верю. Чего же вам от меня хочется?

— Ничего, Иван Андреевич, ничего особенного. Со скуки, знаете, пришел поболтать с вами. А не угодно ли вам погулять со мной немного?

— С моим удовольствием.

И пошли они рядышком, как добрые приятели.

«Однако,— подумал Иван Андреевич,— какое странное происшествие! Мне кажется, я в белой горячке».

Он схватил себя за ус и дернул что было силы... Голова у него заскрыпела, как деревянная.

— Напрасно изволите беспокоиться, Иван Андреевич. Пожалуй, голову с плеч долой стащите... а без головы — вы сами знаете — нехорошо. Да вот позвольте испытайте сами.

Чёрт схватил подпоручика Бубнова за хохол и снял с него голову. Подпоручик Бубнов хотел было удивиться — да без головы удивляться невозможно. Чёрт повертел головой Ивана Андреевича, поднес ее к носу и чихнул в нее. Потом поставил ее опять на туловище подпоручика. Бубнов точас разинул рот и проговорил:

— Желаю здравствовать.

Таким образом, приятно препровождая время, вышли они из города и очутились в большом лесу.

— Послушайте, однако,— проговорил Иван Андреевич,— вы не заведете меня в овраг к козулям? Я терпеть не могу козуль!

— Как можно! — отвечал чёрт.

Они подошли к большому, старому, засохшему дубу. На дубу сидел старый ворон и каркал протяжно. Этот ворон был в сущности ворониха или в самой сущности чёртова бабушка. У чёрта не было никогда матери, но бабушка есть. Каким образом это приключилось, не известно даже, впрочем, и самому чёрту.

— Позвольте мне вас представить моей бабушке,— сказал он Ивану Андреевичу.

— Я в сертуке,— заметил Бубнов.

— Ничего-с,— подхватил чёрт.— Позвольте вас попросить не креститься ни в каком случае — вы бы нас лишили вашей приятной беседы,— да еще, сделайте одолжение, откусите кончик моего хвоста.

Сказавши эти достопамятные слова, чёрт поднес кончик своего хвоста, пушистый и мягкий, как кошачьи лапки, к самым-таки к губам Ивана Андреевича...

— Не стану я кусать вашего хвоста! — закричал Иван Андреевич.

— Отчего же?

— Вам будет больно.

— Мне? помилуйте! Сделайте одолжение, без церемоний. Прошу вас...

А между тем проклятый чёртов хвост так и лезет в рот Ивану Андреевичу...

— Но разве это непременно нужно?

— Непременно.

Подпоручик Бубнов схватился было правой рукой за чёртов хвост, да вдруг остановился, посмотрел через плечо на чёрта и промолвил:

— А, должно быть, ваш хвост на вкус прескверный?

— Нимало! Извольте пожелать — какое вы кушанье любите? Такого вкуса будет и мой хвост.

Подпоручик задумался и, наконец, вскрикнул:

— Хочу огурца с медом!

И откусил... действительно! чёрт был прав — хвост отзывался огурцом с медом... и чуть-чуть серой — но кто же станет обращать внимание на такую безделицу!

Не успел подпоручик Бубнов хорошенько проглотить кусок хвоста, как вдруг очутился он в довольно опрятной комнате. На больших старинных креслах сидела старуха с огромным носом и щелкала орехи. Чёрт с вежливостью подвел к ней Ивана Андреевича и промолвил:

— Бабушка,— Иван Андреевич Бубнов, подпоручик. Иван Андреевич,— моя бабушка.

Представив их друг другу, он подал стул подпоручику, а сам пошел надеть свои рога.

Подпоручик не знал, с чего начать, не оттого, что он не умел, как говорится, *вести разговор,* но он не знал имени и отчества чёртовой бабки и не мог придумать, как ее назвать: «Сударыней просто?» Неловко... Наконец, он решился и начал было:

— Милостивая государыня...

Но старуха странным образом разинула рот и чрезвычайно хриплым голосом проговорила:

Без лишних слов!
Без лишних слов!
Подпоручик Иван Бубнов!

Ивану Андреевичу показалось, что слова старухи летели к нему винтом — вот как летают турманы... Но он давно перестал смущаться и только тряхнул головой. Старуха продолжала щелкать орехи и глядела на него во все глаза — как будто ожидая его слов. Но Иван Андреевич пришел в тупик и сидел молча — как истукан. Старухе, видно, скучно стало: она вдруг вскочила, схватила Ивана Андреевича за руки и пустилась

с ним плясать по комнате с неимоверною быстротой, приговаривая:

Подпоручик!
Мой амурчик,
Попляши со мной, голубчик!

У Бубнова закружилась голова — и он с отчаянием закричал:

— Чёрт, чёрт, твоя бабушка с ума сошла!

Чёрт взошел с рогами на голове, схватил свою бабушку под мышки и посадил ее с почтением на место. Потом в униженных выражениях просил у Ивана Андреевича прощения за бабушку.

— Но,— прибавил он,— я хочу вам доставить большое удовольствие: познакомлю вас с моей внучкой; моя внучка еще очень молода — хвостик у ней еще очень крошечный, но вы благородный человек: вы не воспользуетесь ее неопытностью... Бабебибобу, поди сюда.

Из соседней комнаты вышла чёртова внучка. Она с приятностью присела Ивану Андреевичу, сказала: «Ах!» — и стыдливо бросилась на шею прабабушке. Иван Андреевич поклонился и щелкнул шпорами.

— Как вы ее называете? — спросил он чёрта.

— Бабебибобу'ой,— отвечал чёрт.

— Бабеби... и так далее — не русское имя,— заметил подпоручик.

— Мы иностранцы,— возразил дедушка Бабебибобу'и...

Иван Андреевич оправился и подошел к ручке Бабебибобу. Она протянула ему свою лапку. Подпоручик успел заметить, что ноготки ее, впрочем, очень миленьких пальчиков слегка загнуты вниз в виде когтей; да, сверх того, в самое мгновенье поцелуя его как будто кольнуло в губы.

— Не угодно ли вам погулять со мною по саду,— сказала Бабебибобу шёпотом.

— С моим удовольствием,— отвечал Бубнов.

Старуха пошепталась с чёртом и, по-видимому, не соглашалась на прогулку. Но чёрт пожал плечами и отвернулся... Бубнов с чёртовой внучкой вышли из комнаты.

Сад у чёрта, как все сады; ничего нет отличитель-

ного; однако Иван Андреевич заметил одну странность: все растенья, вырастая, кряхтят. Так уж заведено у чёрта.

Бабебибобу шла долго молча — наконец, подняла головку, посмотрела на Ивана Андреевича и сказала со вздохом:

— Я люблю тебя, Бубнов!

Подпоручик вспомнил наставление ее дедушки и сказал ей с отеческим добродушием:

— Успокойтесь.

Чёртова внучка еще нежнее проговорила:

— Я люблю тебя, Бубнов! Полюби меня — и я венчаю тебя маком, красным, как мои щеки, накормлю тебя самыми свежими желудями, упою тебя соком папоротника — и мы будем счастливы и добродетельны! Бубнов, я люблю тебя!

Бубнов посмотрел на нее... и хотел было сказать: «И я люблю тебя, Бабеби...» — но вдруг ему показалось, что у Бабебибобу глаза стали сжиматься и расширяться, как у кошки, ноздри раздуваться, зубы завостряться... Ему вдруг показалось, что он мышь, что она кошка...

— Нет,— сказал он вдруг...— Я не воспользуюсь вашим благорасположением — вернемтесь домой.

— Да где дом? — сказала она странным голосом.

Иван Андреевич оглянулся...

Он стоял на самой верхушке высочайшего столба — и то на одной ноге, другая его нога развевалась по ветру, как флаг. По столбу, намыленному и обмазанному маслом, с большим усилием всползали разного вида чертенята; все они старались добраться доверху... Нет сомненья! Иван Андреевич назначен наградой победителю... Бабебибобу носилась около него по воздуху и язвительно смеялась...

— Чёрт! ты, выходишь, подлец,— проговорил с усилием подпоручик...

— Дети! Дети! заблудились вы, что ли? — раздался голос чёрта.

И Иван Андреевич и Бабебибобу очутились опять в саду... Невдалеке от них стоял чёрт и приятно улыбался...

— Не умеешь ты занять дорогого гостя, Бабебишка! — Так он ее называл, когда гневался.— Пожалуй-

те сюда, ко мне, Иван Андреевич,— оставьте эту глупую девчонку.

— Как бы не так! Девчонка! — отвечала Бабебибобу,— у меня уж рога пробиваются...— И, нагнувши голову, она разобрала волосы и показала Ивану Андреевичу маленькие миленькие рожки.

Иван Андреевич, в жизнь свою не учившись танцевать, вдруг прыгнул, повернулся трижды на одной ноге — сделал glissade, jetée assemblée, pas de zéphire [1], нагнулся и поцеловал кончик правого рожка Бабебибобу, но рог, как будто обрадовавшись такому происшествию, вдруг вырос и больно ушиб подпоручика...

Через полчаса все они сидели за столом...

«Посмотрю я,— подумал Иван Андреевич,— что́ ест этот народ!»

А сидели они в следующем порядке:

На главном месте: старуха — чёртова бабушка.

Направо от нее: Иван Бубнов, подпоручик.

Налево от старухи: внук ее, чёрт.

Налево от чёрта
и напротив Бубнова
(vis-à-vis sont des amis [2]). } Бабебибобу.

Большая, большая закрытая миска взошла в комнату, пододвинулась к столу, присела и прыгнула на стол.

«Что-то они едят? — подумал Бубнов...— посмотрим!»

Старуха обратилась к внуку:

— Любезный внучек, не правда ли — мы женим подпоручика Бубнова на Бабебибобу?..

— Женим, женим,— отвечал внучек.

Жениться на внучке чёрта — странная мысль! Странная участь подпоручика Бубнова!

«Ну, а если у меня будут дети? — подумал он,— какого они будут звания? Дворяне, что ли? или что за люди? Их не примут ни в какой кадетский корпус! Презатруднительное положение! Зачем я ел чёртов хвост!»

— Впрочем,— заметил черт,— без взаимного согласия мы их не женим... Я добрый дедушка и люблю Бабебибобу; также по многим причинам уважаю Ивана Андреевича... Бабебибобу, скажи мне, нравится ли тебе подпоручик Бубнов?

---

[1] балетные термины (*франц.*).

[2] сидящие друг против друга — друзья (*франц.*).

— Как не нравиться! — вскричала старуха,— посмотри на нее — она уже теперь облизывается....

И в самом деле, чёртова внучка, прищурив глазки и улыбаясь, водила красным, красным язычком по острым и белым зубкам...

— Она меня съест,— закричал Бубнов.

— На здоровье,— заметил чёрт.

— Как на здоровье? Что значит — на здоровье? Я офицер! Я гость! Разве офицеров едят? Разве гостей едят?

— Вы хотите доказательств,— возразил чёрт,— извольте! Тотчас! У меня в доме живет немецкий доктор обоих прав, который вам докажет как дважды два четыре, что съесть вас можно, должно, прилично и приятно.

— Будь он семидесяти прав доктор, ничего он мне не докажет! Ничего! решительно ничего! — подпоручик рассвирепел и замахал руками, как ветряная мельница.— Я уйду! Чёрт с вами! Я уйду! Нужно ж мне было, дураку, есть ваш хвост! Уйду!

Иван Андреевич попытался встать — не тут-то было: кресло, на котором он сидел, превратилось в уродливого паука и вцепилось в него с истинно бесовскою силой... Чёрт и его семейство помирали со смеху, глядя на исступленные и напрасные усилия подпоручика... Смех старухи был чрезвычайно похож на блеяние старого козла,— Бабебибобу взвизгивала от удовольствия.

— А! так-то! — простонал Иван Андреевич,— так сгинь же бесовское племя во имя...

— Стой! держи! — закричал чёрт,— не давай ему креститься...

Бабебибобу бросилась с кровожадной улыбкой на подпоручика и разом откусила ему правую руку... В то же мгновение с миски соскочила крыш<к>а и бедного подпоручика подхватили и бросили в миску... приправили его уксусом, маслом, горчицей, тертым порохом, серой и клюковным морсом и съели, съели до последней косточки... Во всё время обеда играли грешники-музыканты разные увертюры... Бабебибобу с особенным удовольствием скушала сердце подпоручика, а сам чёрт чуть не подавился эполетой...

На другое утро нашли подпоручика Бубнова в той же улице уездного города Ч...... Он лежал лицом к забору и был красен, как рак. Его привели в чувство; он с испугом долго глядел кругом; начал болтать всякий вздор, уверял, что он чувствует себя в трех вовсе ему чуждых желудках, и только к вечеру пришел в себя. Он никогда не мог забыть своего знакомства с чёртом и часто поговаривал:

— Если б я был Наполеоном, уничтожил бы я всех чертей!

Впрочем, жил до глубокой старости, не вышел в отставку и умер младшим поручиком.

НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ В ПИРЕНЕЯХ

29-го июля н. с. мы выехали из Парижа в половине восьмого вечером. К ночи мы уже были в Орлеане и тотчас отправились далее. Мы сидели в дилижансе с двумя аббатами и молодым человеком благонамеренной наружности, большим поклонником Кузе́на. Он между прочим объявил нам, что г-жа Санд мало занималась психологией и смешивает «le libre arbitre avec le libre examen» [1]. Ночью мы проехали через историческое Блуа (Blois) и к утру попали в Тур, столицу бывшей провинции Турёны, «сада Франции». Тур довольно красивый городок с огромным мостом через Луару. Турёна действительно прекрасная сторона; длинной цепью тянутся крутые меловые и глинистые горы, в которых, иногда в два этажа, вырыто множество жилищ, довольно подобных стрижиным гнездам; долины покрыты сливовыми деревьями (отсюда получается лучший чернослив); везде попадаются длинные и флегматические англичане, которых здесь пропасть. Погода была серая и тихая. Обедали мы в Поатие, старом и грязном городе с прескверной мостовой, к вечеру добрались до Ангулэма, еще более старого и грязного города, и на другой день в 2 часа прибыли ⟨в⟩ Бордо́. Не доезжая Бордо, в Кюбзаке любо⟨ва⟩лись мы чрезвычайно высоким, узким и необыкновенно длинным ⟨м⟩остом из чугуна на Дордонье. Купеческие кора⟨бл⟩и на полных парусах шли далеко внизу под нами, и мост, казалось ⟨нам⟩, качался от ветра. Скоро после Ангулэма начинают⟨ся⟩ Ланды (les Landes). Французские степи не могут сравниться с на⟨шим⟩и. Куда ни глянешь, везде fougère [2] с своей тёмной, неприя⟨тной⟩ зеленью. Кой-где торчат уединенные, бедные фермы; пастухи ⟨на⟩ высоких ходулях

---

[1] «свободу воли со свободой совести» (*франц.*).
[2] папоротник (*франц.*).

толкутся за овцами да вяжут синие чулки. Но скоро вы начинаете догадываться, что приближа⟨етес⟩ь к Бордо; море виноградников со всех сторон вас обнимает. И здесь, как на Рейне, не дают лозам разрастаться; но на Рейне лозы предпочитаются молодые, здесь чем они старее, тем лучше, и шишкова⟨ты⟩е, толстые, ползут по земле короткими отрубками. Бордо — красивый город, с столичной физиономией, но пустеет, бледнеет и умирает с каждым днем. Гавр и Марсель его убили. У великолепной гавани стояло три, четыре корабля, меж тем как во время моего пребывания в Гавре, я помню, вся гавань, все каналы были запружены ими и сам город уподоблялся страшно полнокровному человеку, которого вот-вот прихлопнет паралич. Но зато нигде, даже в Париже, не едят, как в Бордо. После превосходного обеда, вследствие которого наш сластолюбивый приятель Б⟨откин⟩ плакал от умиления на белом жилете повара, пошли мы в театр, где давали «Роберта-Дьявола», для дебюта двух новых певцов, которых ошикали и освистали с ожесточением и бешенством. 2-го августа мы покинули Бордо и после скучного и утомительного [1]

[1] *На этом рукопись обрывается.*

СЮЖЕТЫ

1) Галерную гавань или какую-нибудь отдаленную часть города.

2) Сенную со всеми подробностями. Из этого можно сделать статьи две или три.

3) Один из больших домов на Гороховой и т. д.

4) Физиономия Петербурга ночью (извозчики и т. д. Тут можно поместить разговор с извозчиком).

5) Толкучий рынок с продажей книг и т. д.

6) Апраксин двор и т. д.

7) Бег на Неве (разговор при этом).

8) Внутреннюю физиономию русских трактиров.

9) Какую-нибудь большую фабрику со множеством рабочих (песельники Жукова) и т. д.

10) О Невском проспекте, его посетителях, их физиономиях, об омнибусах, разговоры в них и т. д.

ВАНЬКА [1]

Зимняя ночь. Пустой и глухой переулок. У забора, сверху запушенного снегом, тускло горит фонарь на высоком пестром столбе. Человек в енотовой шубе идет по скрыпучему снегу, останавливается и кричит:— Извозчик! (*Молчание.*) Извозчик!

---

[1] *В рукописи под названием «Ванька» зачеркнуто:* Разговор.



ПРИЛОЖЕНИЕ

НЕСКОЛЬКО ЗАМЕЧАНИЙ О РУССКОМ ХОЗЯЙСТВЕ И О РУССКОМ КРЕСТЬЯНИНЕ

Прежде нежели я приступлю к изложению моих мыслей насчет русского крестьянина и русского хозяйства, не излишним почитаю заметить, что хоть я исключительно не занимался политической экономиею, но знаком со всем, что, принадлежа собственно к науке государственного хозяйства, входит в область истории и географии; сверх того, мне известно довольно значительное количество отдельных фактов, собранных мною на опыте и посредством чтения. А потому замечания, которые я намерен предложить в следующей статье, могут только служить залогом моих ревностных будущих занятий по части государственного хозяйства, изучению которого я решился посвятить все мое время.

Состояние русского крестьянина составляет предмет постоянного внимания нашего монарха: доказательством такого высочайшего внимания служат, кроме многих других указов, указы об определении отношений помещиков к крестьянам, о воспитании сельского юношества и т. д. Все русские с надеждою и уверенностию взирают на распоряжения правительства и убеждены, что переход от прежнего патриархального состояния русских крестьян и русского хозяйства к новому, более прочному и стройному — совершится благополучно; уже во многих периодических изданиях слышатся голоса опытных хозяев — предлагаются изменения и нововведения... (смотри статью г. Хомякова в «Москвитянине» нынешнего года и возражения симбирского помещика).

И действительно — вопрос *о значении земледельческого класса* уже сам по себе чрезвычайно важен; им деятельно занимались и занимаются, кроме России, и во Франции, и в Англии, и в Германии. Но когда мы вспомним, что наше отечество по своему географическому положению — внутреннему и внешнему — есть государство по преимуществу земледельческое; когда мы вспомним, что бо́льшая и важнейшая часть России представляет нам обширную, плодоносную равнину, протекаемую великими реками, самыми естественными

и надежными путями сообщения (сверх того, наша канализация превосходна), то мы должны согласиться, что этот вопрос для нас, русских, один из самых важных и первостепенных. Он сопряжен с вопросом о будущности России вообще.

Притом хотя мы можем заимствовать у иностранцев много и отдельных полезных сведений по части земледелия, но решить этот вопрос, определить условия, от которых зависит благоденствие русского хозяйства, можем только *мы* — собственными силами, потому что ни в каком другом государстве не встретим мы ничего подобного. В чужих краях этот вопрос получает совершенно другое значение; например, системы фурьеристов о разделе земель и равенстве имений везде нелепы, но в России даже невозможны, тогда как во Франции можно по крайней мере объяснить причину их появления. Далее: в Англии класс хлебопашцев принадлежит собственно к аристократии, которая владеет большею частью земель и в системе *уравновешивания*, на которой основано всё политическое существование Англии, противодействует промышленному классу, между тем как в России все эти отношения существуют совершенно иначе.

Если земледелие так важно для России, то любопытно бросить взгляд на состояние земледельческого класса в нашем отечестве. История нам показывает, каким образом образовался у нас крестьянский быт. На Западе дворяне принадлежали к победившему племени, хлебопашцы — к побежденному; это различие двух племен мы находим везде: в Италии, во Франции, в Англии — и хотя в течение времени это различие почти совершенно сгладилось, но чем выше мы всходим, чем более мы приближаемся к эпохе возникновения новых централизаций на развалинах древнего мира, тем явственнее мы можем различить эти два составные коренные элемента всех европейских государств.

В России напротив: наши дворяне и наши крестьяне одного и того же племени; говорят одним языком, у тех и у других один и тот же склад лица; правда, много наших дворян происхождения иностранного — татарского, литовского и т. д., но они явились в Россию *выходцами*, не победителями, принимали нашу веру, наши обычаи, и уже дети их были чисто русские. Удельная система тем и отличается так резко от феодальной,

что вся проникнута духом патриархальности, мира, духом семейства. Мы вправе сказать, что нашими русскими дворянами были единственно князья, происходящие от Рюрика, многочисленность которых нас приводит в удивление *, родовые князья, наследовавшие Русь, ‹к› которым в последствии времени примешались дворяне другого происхождения. Князь, умирая, делил свои отчины между своими сыновьями, и они множились и плодились на благодатной земле русской, окружаемые своими детьми, своими слугами... Тогда как на Западе семейный круг сжимался и исчезал при непрестанном расширении *государства*,— в России всё государство представляло одно огромное семейство, которого главой был царь, «*отчич и дедич*» царства русского, недаром величаемый царем-батюшкой...

Нам могут заметить, что и наши князья были чуждого происхождения; но, во-первых, это различие чрезвычайно рано исчезло, во-вторых, никогда не имело того феодального значения, как на Западе. При распространении русского владычества много других племен, иначе образовавшихся, подчинилось власти великоруссов... И теперь нашему правительству предстоит разрешить вопрос о земледельческом классе (который везде более или менее требует разрешения) и у них... Я ограничусь одними великоруссами, которых я знаю более других и к которым всё вышесказанное относится.

Это патриархальное состояние России, которому мы, с одной стороны, обязаны чистотою наших нравов, нашей религиозностью, но которое, с другой стороны, препятствовало гражданскому развитию России, не могло не измениться. Петр Великий первый вывел Русь из прежнего ее состояния, и благодаря своим великим правителям (Россия еще более Пруссии всем *обязана* своим государям) наше отечество занимает едва ли не первое место в союзе европейских держав. Но много еще осталось не разрешенных вопросов, со многим должны мы расстаться, многое усовершенствовать, многое приобресть; и если есть люди, которые с некоторым сожа-

---

* Нельзя не заметить, как много пресеклось княжеских фамилий. Из двадцати князей различных родов, которых мы находим в «поезду» князя Холмского, на свадьбе его с дочерью Иоанна III-го в 1500 году, *ни один* не оставил потомства, дошедшего до наших дней. (См. Древ. вив‹лиофика›, том XIII.) (*Примечание Тургенева.*)

лением и страхом оглядываются назад, люди, которые в противоречии с самими собой не хотели бы, например, ограничить нашу литературу одними народными песнями, но со всем тем желали бы остановить развитие народа, то мы почитаем себя вправе называть такое сожаление безверием — безверием в промысел, так дивно руководивший нас доселе, безверием в наше настоящее и в наше будущее.

Как бы то ни было, этот переход начинает совершаться и в нашем хозяйстве; старое изменяется, хотя и упорствует,— новое часто впадает в односторонность, но постепенно вводится и торжествует. Любопытно наблюдать картину такого перехода, и потому постараюсь в кратких словах изобразить замечательнейшие черты настоящего положения. Я вырос и жил довольно долгое время в деревне, находящейся в одной из плодороднейших губерний России, в Орловской, и имел случай познакомиться с русским крестьянином и с русским помещиком.

Пределы моей статьи не позволяют мне входить в подробную характеристику русского крестьянина. Скажу только, что при ближайшем знакомстве с ним нельзя не оценить его сметливости, его добродушия, его природного ума; но, повторяю, прежние его отношения к помещику изменились. Простодушная патриархальность прежних времен исчезла, не замененная еще доселе законностью и твердостью отношений. Нельзя сказать, чтобы быт наших хлебопашцев был вполне обеспечен. Промышленные обороты, основанные на расчетах и личной сноровке, могут доставить значительное благосостояние, даже роскошь, но по сущности своей не надежны. Земледелие, напротив, должно быть прочно и незыблемо, как сама земля, и, не даруя излишнего, вполне обеспечивать жизнь хлебопашца. Необходимость, святость этой незыблемости, прочности — чувствовали всегда все народы, недаром у греков земледелие почиталось непосредственным даром божества; а потому фантазии некоторых утопистов, желающих насильственно втянуть земледелие в круг промышленности, т. е. пахать землю паровыми машинами, устраивать компании для возделывания земель, словом, уничтожить класс хлебопашцев — такие фантазии и безрассудны и *безнравственны*.

Но до этой прочности, до этого полного обеспечения жизни людей, предавшихся земледелию, русское хо-

зяйство далеко еще не дошло. Земля большею частию обрабатывается худо и не дает ни помещику, ни крестьянину всего, что при других условиях она была бы в состоянии дать. Важнейшие неудобства нашего хозяйства следующие.

Во-первых, недостаток положительности и законности в самой собственности, так называемая чересполосность владений. Размежевание земель, деятельно теперь производимое во всей России, принесет в этом отношении величайшую пользу; уничтожение *общих владений* есть первый шаг к водворению разумного хозяйства в России; каждый помещик узнает свои границы, свои средства, свои выгоды; все дальнейшие улучшения не могут быть приводимы в исполнение, пока *собственность* не определится.

Во-вторых, недостаток законности и положительности в отношении помещиков к крестьянам. Эти отношения почти ничем не определены и большей частью зависят от прихоти владельцев. Они бывают двоякого рода, смотря по тому, деньгами ли, работою ли взыскивает помещик повинность с крестьянина,— и называются: оброк или барщина. Величина оброка определяется качеством и количеством земли, близостью города и т. д. Но, во-первых, помещик иногда возвышает оброк, не соображаясь с средствами крестьян, а во-вторых, мужики не освобождены от различных работ, часто отнимающих у них драгоценнейшее время, как-то: обязанность ходить на барский покос (иногда в отдаленную деревню), езда с обозами в столичные и губернские города зимою и т. д. Барщина еще неопределеннее оброка; крестьяне, находящиеся на барщине, живут большею частью, так сказать, на хлебах у своих господ. Не успевая тщательным образом заняться обработкою своего участка, не имея вообще в сущности ничего *своего*, крестьянин обыкновенно уже весною начинает занимать свое продовольствие у помещика. Спешу заметить, что у многих помещиков крестьяне благоденствуют, но это благоденствие есть плод личных качеств господина, а не законного, неизменного порядка. И потому указ его императорского величества насчет определения отношений дворян к крестьянам должен принести величайшую пользу.

В-третьих, весьма неудовлетворительное состояние науки земледелия, а также и скотоводства и лесовод-

ства в нашем отечестве, происходящее, с одной стороны, от нерадения богатых владельцев, часто проживающих в отдалении от своих имений и как бы пренебрегающих собственным добром, с другой стороны, от бедности мелкопоместных дворян, не поддерживаемых общим рвением и потому долженствующих, как они говорят, начинать всё на *свою руку*, для чего недостает у них ни средств, ни времени. Истина неоспоримая: если возделывающий своими руками землю, если крестьянин не удовлетворен и не обеспечен, владелец богатым быть не может. Стоит взглянуть на Ирландию: там огромные поместия ценятся гораздо ниже таких же или даже меньших шотландских или английских поместий, несмотря на то, что в Ирландии почва земли превосходнее шотландской. Я бы мог сравнить наше хозяйство с плодоносной землей... но если испарения этой земли не падают на нее обратно живительным дождем,— она непременно иссохнет и запустеет. И какая малая, незначительная часть доходов у нас в России обращается вновь на улучшение имений! Несмотря на то, что малейшее улучшение, малейшая сноровка и наблюдательность помещика вознаграждаются с избытком. Не говорю о тех нововведениях, которые не заслуживают имени улучшений, о нововведениях необдуманных, осуществляемых без всякого соображения, без всякого размышления об удобностях и потребностях края.

В-четвертых, не совершенное уравновешение торговли и земледелия. Сколько раз случалось мне слышать от одних и тех же людей жалобы на дурной урожай, на невозможность прокормить крестьян, а в следующем году на слишком обильный урожай, на дешевизну цен! Что касается до бедствия, посетившего недавно Россию, а между прочим и Орловскую губернию — до голода, то должно надеяться, что благодетельная мера правительства: учреждение запасных магазинов — и бдительный надзор за исполнением этой необходимой меры — навсегда уничтожат возможность возвращения такого ужасного зла. Неопределенность и непрочность в сбыте сельских произведений тесным образом связаны со всеми вышеупомянутыми неудобствами нашего теперешнего хозяйства: ко всем этим неудобствам должны мы присоединить не вполне удовлетворительное состояние наших дорог, затруднительное доставление сельских произведений на крестьянских

лошадях, недостаток денег, необходимых для быстрых и успешных оборотов.

В-пятых, весьма слабое развитие чувства гражданственности, законности в наших крестьянах. Русский крестьянин состоит, как и все мы, под покровительством законов, но бессознательно; он не чувствует себя гражданином. Никто более меня не убежден в смышлености и сметливости русского человека, но, с одной стороны, нельзя не пожелать уменьшения именно этой сметливости, которая напоминает — прошу извинить мое сравнение — сметливость и изворотливость лисицы, но не достойна человека, живущего в благоустроенном обществе. Впрочем, тот же самый крестьянин, прибегающий к подобным уловкам под управлением господина, которому он не доверяет, становится самым разумным, понятливым и расторопным человеком под руководительством помещика, радеющего о его благосостоянии. И потому нельзя не радоваться появлению высочайшего указа о воспитании сельского юношества. Человек грамотный, хотя бы он умел только читать и писать, пользуется бесконечными преимуществами в сравнении с безграмотным; ему открыты глаза, он чувствует, что он вступил в общество. Нельзя, однако ж не заметить, что одно знание грамоты не дает того чувства гражданственности, о котором мы говорили выше; есть департаменты в средней Франции, в которых пропорция умеющих читать и писать к неумеющим вовсе не превышает этой пропорции у нас. Но развития этого чувства мы должны ожидать от времени, от постепенного распространения понятий, а главное, от благодетельных распоряжений правительства. Теперь же мы должны заметить, что крестьянин, чувствующий шаткость и ненадежность своего положения, часто с небрежением, почти с нелюбовью обращается с собственным достоянием — часто предается пьянству, и за несколько часов самозабвения, приобретенных им на счет здоровья, проводит остальную жизнь в нужде и бедности.

В-шестых, вообще все устарелые учреждения, завещанные нам прежним патриархальным бытом, теперь уже неуместные и отяготительные: избыток дворовых людей и т. д., также все неминуемые последствия необеспеченного продовольствия крестьян: конокрадство, порубка леса; и наконец, —

В-седьмых, недостаток общественного духа в дворянах.

Мне кажется, неудобства современного состояния хозяйства в России изложены мною довольно подробно. Я бы мог еще упомянуть изредка проявляющееся отчуждение некоторых дворян от собственных крестьян, которое, к счастию, с каждым днем уменьшается. Другие неудобства, не столь важные, я не почел за нужное упоминать; но зато я должен здесь сказать несколько слов об одном возражении, которое я не могу почитать за истинное. Именно: некоторые желали бы прекратить у нас раздробление имений и ввести, по примеру английского законодательства, майораты в пользу старших сыновей. Кроме того, что все такие заключения по аналогии уже потому неверны, что всякое аналогическое заключение предполагает различие и, следовательно, само себя опровергает,— но вообще аристократия, как она существует в Англии, есть учреждение совершенно чуждое русскому духу. Аристократы английские всё аристократы *божьею милостью,* так же как и король; они происходят от свободных нормандских рыцарей, сопровождавших Вильгельма Завоевателя на известных условиях; он *должен* был разделить между своими товарищами землю, покоренную их мечами. Напротив, в России, как уже я заметил, наши удельные князья потому только считались *господами* и истинными владельцами земли, что они происходили от Рюрикова племени, от которого происходил и сам царь; они не были независимыми баронами, но почтительно-покорными слугами царя, их главы, который был властен над их жизнью и их достоянием. И дворянский класс в России имеет совершенно другое происхождение и назначение, чем английские дворяне. Против истории своего народа, против той необходимой последовательности, которая проникает все проявления народной жизни, невозможно и грешно действовать. Да и, сверх того, русская земля по своей обширности требует, чтобы владельцев было много, чтобы они пристально и трудолюбиво занимались ее обрабатыванием; весь наш сельский быт должен измениться (а сельский наш быт обнимает гораздо большую часть нашего народонаселения; известно, что в Европейской России только десятая часть всех жителей живет в городах), и это превращение должно совершаться медленно, постепенно; и не совершится, если не всё дворянское сословие будет участвовать в этом перевороте.

Словом, в этом отношении, я полагаю, всякая централизация едва ли не вредна.

Каким же образом достигнем мы этой цели? Какими средствами? Полное разрешение этого вопроса обрадует, может быть, только следующее поколение... Ограничусь некоторыми замечаниями, которых покорно прошу принять снисходительно.

Разбирая неудобства нашего хозяйства, я с намерением не упомянул *крепостного состояния* наших хлебопашцев. Их так называемое рабство было предметом многих довольно пустозвонных разглагольствований, показывающих часто совершенное неведение истинных потребностей России. Мы желаем законности и твердости в отношении помещиков к крестьянам; законность исключает прихоть владельца, а потому и то, что называют рабством. Рабство есть нехристианское понятие, и потому в христианском государстве существовать не может и никогда не существовало; но не в том дело. Не говоря уже о том, что, например, ремесленники в Англии едва ли не более наших крестьян заслуживают названия рабов, считаю долгом заметить, что многие несколько поспешно предлагаемые улучшения не только не уничтожают, но даже упрочивают рабство. Еще недавно в Мекленбурге (в стране, где позже всех других германских государств прекратилось крепостное состояние хлебопашцев), в соседстве Нейбранденбурга, было совершено убийство над особой помещика, убийство, сопровожденное ужасающими подробностями,—доказывающее ожесточение, которое мы не ожидаем найти в свободных людях... В Мекленбурге крестьяне, хотя и лично свободные, в сущности находятся в тесной зависимости оттого, что немногочисленные помещики того края как бы сговорились не принимать ни одного крестьянина, отошедшего от своего господина. Во время моего пребывания в Богемии мне не раз удавалось быть свидетелем притеснений свободных крестьян писцами помещичьими по так называемым патримониальным судам. Уже потому нам нельзя брать пример в этом отношении с иностранцев, что все наши учреждения, настоящие и будущие, имеют совершенно другой источник, другой характер.

Между русским *«миром»* и русским старостою и немецкой Gemeinde и немецким Schulze разница огромная; тем не менее справедливо, что изучение форм зем-

ледельческого быта в Германии может быть чрезвычайно полезно, так же как и изучение науки земледелия, дошедшего в чужих краях до высокой степени совершенства.

Много нам придется услышать предложений насчет улучшения крестьянского быта, много предстоит затруднений, хотя бы, например, насчет учреждения суда и судебного порядка в крестьянских общинах, а также и насчет усовершенствования их внутренней администрации. Замечу кстати, что этот недостаток определенного судебного порядка весьма понятен: семейные отношения по духу своему не определяются законом, а отношения наших помещиков к крестьянам так были сходны с семейными... Далее с вопросом о будущности земледельческого класса сопряжено много других равно важных вопросов: о будущности, о значении нашего дворянства и т. д. Кроме того, что нашему дворянству вручены судьбы наших хлебопашцев и что, следовательно, нашим помещикам предстоит разрешить великую задачу о будущности крестьян, собственный их быт должен измениться. Прежнее, для крестьян и для владельцев равно бесполезное, *проживание* дворян в своих имениях должно будет уступить место положительной деятельности, желанию и *умению* усовершенствовать состояние хозяйства, потому что до сих пор многие помещики, не имея положительных сведений о сущности и потребностях земледелия, часто прибегали к эмпирическим мерам и потом при неизбежной неудаче упадали духом.

Я постарался изобразить в немногих словах современный быт русского крестьянина. Мы видим, что состояние нашего хозяйства неудовлетворительно и требует улучшения; хотя, с другой стороны, мы обязаны сказать, что сами были свидетелями многих улучшений, утешительных признаков приближения новой эпохи.

Благоразумные помещики всё более и более стараются преобразовать прежние состарившиеся отношения: они уже убедились, например, что их фабрики, несмотря на ничтожное жалованье людей, на возможность безденежного доставления фабричных произведений, редко выдерживают состязание с фабриками купцов, они убедились, что работа, не вознаграждающая работника, не вознаграждает и заставляющего работать...

Говоря о неудовлетворительном состоянии хозяй-

ства, мне бы следовало подкрепить мое мнение статистическими выводами, подробным разбором упущений по части земледелия, скотоводства, лесоводства и т. д., но мои познания в науке политической экономии еще слишком недостаточны, и потому я частию основываюсь на мнении знатоков, частию на собственном опыте.

Я уже сначала объявил, что буду говорить об одних великоруссах; мне бы следовало прибавить: об одних помещичьих крестьянах; потому что я ни слова не сказал ни об однодворцах, которые составляют весьма важную часть сельского народонаселения и резко отличаются от прочих хлебопашцев, ни об удельных и казенных крестьянах; не говорил также с достаточною подробностью о дворянском классе, но я не мог иметь и мысли написать статью, обнимающую *все* важные вопросы нашего хозяйства.

Я сказал выше, что вопрос о значении земледельческого класса в России тесно сопряжен с вопросом о значении русского народа вообще. А о будущности нашего народа размышляем не мы одни — размышляет вся Европа.

Особенно в Германии с некоторого времени стараются понять и оценить славянский элемент, который теперь уже нельзя не признать одним из главных деятелей на поприще истории. В Германии, стране учености, совестливого трудолюбия и истинно изумительной способности проникать во все тайны человеческого духа, в каких бы образах, в какой бы народности он ни выражался, гораздо более понимают и ценят нас, чем, например, во Франции. Но и во Франции начинают чувствовать, что старинная метафора: «Colosse aux pieds d'argile» [1] — нелепа, что Россию одна лишь бессильная досада может сравнить с теми огромными государствами, которые так быстро возникали и еще быстрее исчезали в Азии; что в русском народе нельзя не признать крепкого, живого, неразрушенного начала; что пока об нас отзывались с поддельным презрением, под которым, может быть, скрывалось другое чувство,— мы всё росли и растем доселе... Что же касается до мнения англичан о нас, то мы знаем, что они нас уважают, потому что признают нас достойными соперниками; недавно мне попалась весьма любопытная статья

[1] «Колосс на глиняных ногах» (*франц.*).

в газете «Times», в которой находилось сравнение английского народа с русским и выводилось заключение, что великие характеры теперь чаще всего проявляются в Англии... да в России. Хотя вся статья носит отпечаток тесного самолюбия англичан и хотя много выводов совершенно ложны, но тем не менее эта статья замечательна для нас, русских. Словом, что бы ни говорили иностранцы об нас — ни один не в состоянии отрицать спокойную силу нашего правительства, могущества нашей веры, единство, проникающее все сословия русского народа. Но сокровенный смысл славянской народности недоступен западным ученым; им невозможно доселе знать, в чем же именно состоит особенность русского характера, русской жизни, потому что мы сами еще не дошли до той определенной самостоятельности, которая не может не быть признанною и чуждыми племенами, которая выражается во всем: в произведениях искусства, науки... Мы народ не только европейский; мы недаром поставлены посредниками между Востоком и Западом; недаром наши границы касаются древней Европы, Китая и Северной Америки, трех самых различных выражений общества. С другой стороны, сохрани нас бог впасть в слепое поклонение всему русскому потому только, что оно русское; сохрани нас бог от ограниченных и, скажу прямо, неблагодарных нападок на Запад, особенно на Германию,— тем более неблагодарных, что часто из Германии (хотя мои слова могут показаться странными) возвращаешься с большей верой в силу и будущность наших учреждений... Вернейший признак силы — знать свои недостатки, свои слабости; и потому, признавая счастием принадлежать русскому народу и жить во время царствования государя, подобного нашему,— мы все перед ним и отечеством должны принять торжественное обязательство посвятить всю жизнь служению правды... Наши братья, русские земледельцы, вправе ожидать от своих более образованных соотечественников деятельной, усердной помощи, а под руководством нашего правительства мы и в этом отношении можем повторить слова поэта:

В надежде славы и добра
Глядим вперед мы без боязни...

Кандидат философии *Иван Тургенев.*

Писано 23-го, 24-го и 25-го декабря 1842-го года.



ПРИМЕЧАНИЯ

ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ ПРИ ЖИЗНИ И. С. ТУРГЕНЕВА 1836—1849

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

Тургенев начал свою литературную деятельность как поэт, автор стихотворений и поэм; сохранилась его черновая тетрадь 1834—1835 годов с первыми стихотворными опытами. К 1837 году у юного Тургенева накопилось уже около ста мелких стихотворений и несколько поэм (неоконченная «Повесть старика», «Штиль на море», «Фантасмагория в лунную ночь», «Сон»), о чем писал он 26 марта (7 апреля) 1837 г. профессору А. В. Никитенко (см. наст. изд., Письма, т. I). В том же письме Тургенев говорит о большом стихотворении «Наш век», еще не законченном («я работаю теперь над ним»): «„Наш век“ — произведение, начатое в нынешнем году в половине февраля в припадке злобной досады на деспотизм и монополию некоторых людей в нашей словесности». Стихотворение «Наш век» было задумано, по всей вероятности, как отклик на гибель Пушкина — возможно, не без влияния лермонтовского стихотворения «Смерть поэта», которое стало широко известно в середине февраля 1837 г. Говоря о «деспотизме и монополии некоторых людей в нашей словесности», Тургенев, очевидно, имел в виду Булгарина, Греча и Сенковского — реакционных журналистов, которых называли «монополистами», поскольку наиболее влиятельные и распространенные органы печати были в их руках.

В письме к А. В. Никитенко Тургенев просит не говорить о его стихах П. А. Плетневу (бывшему в то время профессором и ректором Петербургского университета): «Я обещал *ему* — перед знакомством с Вами — доставить мои произведения и до сих пор не исполнил обещания». Как видно из этого же письма, Тургенев «с год назад» давал читать Плетневу свою драматическую поэму «Сте́но»: «Он мне повторил то, что я давно уже думал,— что всё преувеличено, неверно, незрело».

Большинство ранних стихотворных опытов Тургенева не

сохранилось, но в настоящем томе печатаются по автографам восемь стихотворных набросков, относящихся к 1838 году. В апреле того же года в «Современнике», редактором которого был тогда Плетнев, появилось стихотворение «Вечер»,— «первая моя вещь,— как говорит Тургенев,— явившаяся в печати, конечно, без подписи» («Литературные и житейские воспоминания», 1869 г.). В октябре того же года в «Современнике» было напечатано второе стихотворение Тургенева — «К Венере Медицейской». Затем наступила пауза: Тургенев путешествовал и учился в Берлинском университете. В 1841 году в «Отечественных записках» появились новые стихотворения Тургенева — «Старый помещик» и «Баллада». В 1842 году написаны четыре стихотворения, которые не были опубликованы и известны лишь по названиям («На станции», «Рыбаки», «Зимняя прогулка», «Встреча»), упомянутым Тургеневым в его письмах к Бакуниным от 3(15) апреля, 8—17 (20—29) апреля и 30 апреля (12 мая) 1842 г. (наст. изд., Письма, т. I). С того же года и до 1847 Тургенев систематически печатает свои стихотворения в «Отечественных записках» Краевского и в «Современнике» Плетнева. Тогда же выходят отдельными изданиями или в сборниках его поэмы: «Параша» (1843), «Разговор» (1844), «Помещик» (1845), «Андрей» (1846). В письме Тургенева к В. Г. Белинскому от 14(26) ноября 1847 г. содержится упоминание еще об одной поэме, которая обещана была Н. А. Некрасову в задуманный им в качестве приложения к «Современнику» «Иллюстрированный альманах» (наст. изд., Письма, т. I). Это — рассказ в стихах «Маскарад», который не был написан Тургеневым, хотя значился в списке материалов, уже находившихся в распоряжении редакции «Современника» (см.: *Некрасов*, т. X, с. 62, 73, 93, и т. XII, с. 112).

В раннем стихотворном творчестве Тургенева легко уловить отзвуки произведений Державина, Жуковского, Козлова, Пушкина и Лермонтова. Тургенев начинает с типично романтических мотивов, постепенно переходя от них к темам в духе новой «натуральной школы». Сопоставляя зрелое поэтическое творчество Тургенева конца 30-х — 40-х годов со стихотворениями В. И. Красова, И. П. Клюшникова и других поэтов его поколения, печатавшихся в журналах того времени, можно отметить большую его самобытность. Настроения, выраженные в стихотворениях Тургенева, те же, но они глубже и значительнее, чем у многих его современников.

В стихотворениях Тургенева, при всей их традиционности, сказывается стремление к новой психологической разработке

старых тем романтического одиночества, разочарования и т. п. Основной герой его лирики — человек, страдающий самоанализом, утративший способность к непосредственному чувству и потому не знающий ни настоящей любви, ни подлинного счастья; но он уже не гордится этим своим отличием от «беспечных людей», а скорее завидует им. На этом характерном для Тургенева противопоставлении построено стихотворение «Нева», и особенно отчетливо оно выражено в стихотворении «Толпа».

Стихотворный цикл «Деревня» свидетельствует об усилении реалистических тенденций в лирике Тургенева. Идейную основу этой лирической сюиты, посвященной описанию русской деревни, составляет мысль, высказанная поэтом в первом же стихотворении цикла: «Задумчиво глядишь на лица мужиков — и понимаешь их; предаться сам готов их бедному, простому быту» (см. подробнее: Рот Т. А. Деревня в лирике Тургенева.— В кн.: Вопросы истории русской литературы и методики преподавания ее в средней школе. М., 1964, с. 116—127).

Современники высоко ценили лирику Тургенева. И. И. Панаев вспоминал впоследствии, что стихотворения его «всем нам тогда очень нравились, не исключая Белинского» («Литературные воспоминания». М., 1950, с. 250). А. А. Фет, по его собственному признанию, «восхищался стихами 〈...〉 Тургенева» (Фет А. Мои воспоминания. М., 1890, ч. 1, с. 4). А Н. Ф. Щербина, составляя «Сборник лучших произведений русской поэзии» (СПб., 1858), включил в него четыре стихотворения Тургенева (см. об этом: Ямпольский И. Г. О тексте стихотворений Тургенева в «Сборнике лучших произведений русской поэзии» (1858).— *Т сб*, вып. 3, с. 46—47).

В стихотворном творчестве Тургенева встречаются почти все основные поэтические жанры того времени: баллады, элегии, сатиры, послания и мадригалы, эпиграммы и пародии и даже подобие шиллеровских од или торжественных песен (см.: Орловский С. Лирика молодого Тургенева. Прага, 1926, с. 89).

Метрика стихотворений Тургенева отличается разнообразием. Чаще всего встречается у него 4-стопный ямб и различные другие виды ямба. Многие из его стихотворений написаны комбинированным ямбом — 6-стопным и 3-стопным («К Венере Медицейской», «В ночь летнюю...»). Иногда Тургенев прибегает к 4-стопному хорею («Похищение», «Призвание»). Шестистопным хореем с мужскими рифмами написана «Баллада». Кроме ямба и хорея, Тургенев пользуется иногда дактилем («Федя», «Вариация III»), анапестом («Вариация II»).

Во многих стихотворениях Тургенева встречаются аллитерации и ассонансы; в большинстве случаев наблюдается довольно правильное чередование мужских и женских рифм. Исключительно мужские рифмы — в стихотворении «Старый помещик», где в структуре стиха ощущается влияние «Мцыри» Лермонтова (см.: Родзевич С. И. Тургенев. К столетию со дня рождения. 1818—1918. Киев, 1918, с. 37—39).

Поэмы Тургенева были встречены одобрением Белинского — как талантливые попытки продолжить линию, намеченную «ироническими» поэмами Пушкина («Домик в Коломне», «Граф Нулин») и Лермонтова («Сашка», «Сказка для детей»). Поэмы Тургенева проложили путь к его повестям и романам. Это в особенности относится к двум из них — «Параше» и «Андрею»; здесь намечены сюжетные и психологические мотивы, которые были потом развиты в тургеневской прозе (подробно об этом см.: Басихин Ю. Ф. Поэмы И. С. Тургенева. Саранск, 1973, с. 83—91, 123—129, 135—143 и др.).

Несколько особняком стоит «Разговор» — интересная и многозначительная по своему общественно-политическому смыслу поэма, герой которой — старик (первоначально монах) — рассказывает молодому человеку о своей бурной молодости, наполненной боями и подвигами, и упрекает его в бездействии и трусости. В поэме встречаются намеки на декабристское прошлое героя.

Белинский отмечал, что поэмы Тургенева «резко отделяются от произведений других русских поэтов в настоящее время. Крепкий, энергический и простой стих, выработанный в школе Лермонтова, и в то же время стих роскошный и поэтический, составляет не единственное достоинство произведений г. Тургенева: в них всегда есть мысль, ознаменованная печатью действительности и современности и, как мысль даровитой натуры, всегда оригинальная» (*Белинский*, т. VIII, с. 592).

Переводы Тургенева из Гёте (сцена из «Фауста» и «Римская элегия») и из Байрона («Тьма») были одобрены Белинским. Позже М. И. Михайлов, разбирая переводы «Фауста», писал, что ни один из русских переводчиков не удовлетворяет высоким требованиям, предъявляемым к переводу этого произведения, «за исключением 〈...〉 И. С. Тургенева, переведшего истинно превосходно последнюю сцену в темнице...» (*Рус Сл*, 1859, № 10, отд. II, с. 33). О своих ранних занятиях стихотворными переводами из Шекспира («Отелло», «Король Лир») и Байрона («Манфред») Тургенев сообщал в цитированном выше письме к А. В. Никитенко. Переводы из шекспировских траге-

дий не были им закончены и в настоящее время неизвестны. Можно только указать на любопытное письмо Тургенева от 8(20) ноября 1869 г. к Н. Х. Кетчеру (переводчику Шекспира в прозе), в котором он говорит: «Вчера получил я твое письмо и надеюсь через неделю выслать тебе желаемые тобою стихи из „Гамлета" и „12-й ночи". Я давно, как ты знаешь, распростился с музой — но для старого приятеля постараюсь тряхнуть стариной».

К концу 1840-х годов относится расцвет эпиграмматического творчества Тургенева (см.: *Анненков*, с. 389; Полонский Я. П. И. С. Тургенев у себя, в его последний приезд на родину.— Нива, 1884, № 4, с. 87; Гитлиц Е. А. Эпиграммы Тургенева.— *Т сб*, вып. 3, с. 56—72). «У Тургенева был все-таки где-то запрятан уголок с запасом язвительной остроты ⟨...⟩ у меня записано до 20 горьких эпиграмм его работы»,— сообщал Д. В. Григорович А. С. Суворину (Письма русских писателей к А. С. Суворину. Л., 1927, с. 42).

В письмах и устных беседах Тургенев неоднократно резко отрицательно отзывался о стихотворных опытах своей юности. В частности, 19 июня (1 июля) 1874 г. писатель признавался в письме к С. А. Венгерову: «Я чувствую положительную, чуть ли не физическую антипатию к моим стихотворениям».

8(20) июня 1874 г. Тургенев писал Н. В. Гербелю, давшему благоприятный отзыв о его ранних стихотворениях и включившему некоторые из них в свою «Христоматию для всех» (СПб., 1873): «Вы слишком лестно обо мне отзываетесь и — в особенности — придаете большое значение моему поэтическому дару, которого, по правде говоря, у меня нет вовсе».

Тем не менее еще при жизни писателя возникала мысль о перепечатке его ранних стихотворных опытов, отмеченная, например, в воспоминаниях Д. Н. Садовникова «Встречи с И. С. Тургеневым» (Русское прошлое, 1923, кн. 1, с. 80). На основании архивных данных устанавливается факт передачи Тургеневым права на издание его стихотворений и поэм Е. И. Кузьминой, учительнице Гдовского женского училища. Будучи родственницей А. В. Топорова (см. о нем подробно: *Лит Арх*, т. 4, с. 196—200) и опекуншей его воспитанницы Л. Ивановой (об этой девочке, за которой упрочилось название «тургеневской Любы», см. в кн.: Тургенев и Савина. Пг., 1918, с. 67), Е. И. Кузьмина 23 апреля 1883 г. составила завещание. В нем она писала, что право на издание и продажу стихотворений И. С. Тургенева предоставляет «в полную собственность малолетней ⟨...⟩ Любови Федоровой Ивановой», а до совершенно-

летия девочки — «воспитателю ее (...) Александру Васильевичу Топорову» (*ИРЛИ*, архив А. М. Скабичевского, ф. 283, оп. 2, № 226, л. 1).

Написанное еще при жизни Тургенева и, быть может, не без его ведома, завещание Е. И. Кузьминой является свидетельством того, что писатель отнюдь не собирался препятствовать выходу в свет отдельного издания своих стихотворений и поэм. По каким-то причинам (возможно, в силу обострения тяжелой болезни Тургенева) издание это не было осуществлено в 1883 г. Но вопрос о нем снова возник, очевидно, в конце 1884 г., так как январем 1885 г. датирован написанный рукою А. В. Топорова черновик условия Е. И. Кузьминой с И. И. Глазуновым о предоставлении этому издателю права выпуска в свет стихотворений И. С. Тургенева.

В пункте 4 условия Кузьмина поручала «все расчеты по сему изданию (...) производить окончательно и расписываться где следует Александру Васильевичу Топорову» (*ИРЛИ*, архив А. М. Скабичевского, ф. 283, оп. 2, № 225, л. 1 об.). Таким образом, в издании «Стихотворений И. С. Тургенева», вышедшем в 1885 г., деятельное участие принимал близкий приятель писателя, но человек мало сведущий в литературе — А. В. Топоров.

В руках издателей, как это явствует из примечаний (*Т, Стих, 1885*, с. 227—230), имелись автографы нескольких поэм Тургенева — «Разговор», «Помещик», «Андрей», «Отрывок из поэмы», т. е. строфы I—VI поэмы «Поп», местонахождение которых в настоящее время неизвестно. Тексты стихотворений были перепечатаны из «Современника» и «Отечественных записок», а также из тех сборников, в которых они были опубликованы впервые («Вчера и сегодня», «Петербургский сборник, изданный Некрасовым», «XXV лет. 1859—1884. Сборник, изданный комитетом Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым»).

Издание 1885 года вызвало ряд откликов в печати (см.: *ИВ*, 1885, № 6, с. 720—722; № 7, с. 221—223; № 8, с. 429—431; № 12, с. 730—731; *Рус Ст*, 1885, № 8, с. 307—312; № 11, с. 420—427; Новь, 1885, т. II, № 8, с. 653—658; *Рус Мысль*, 1885, № 3, библиогр. отд., с. 1—2). В большинстве рецензий отмечалась неполнота сборника, скудость примечаний, значительное количество ошибок и опечаток, а также приводились тексты стихотворений Тургенева, сюда не вошедших.

В 1891 г. вышло второе издание стихотворений И. С. Тургенева, просмотренное и дополненное С. Н. Кривенко. В его

распоряжении также имелись, как это видно из примечаний, некоторые из рукописей Тургенева (черновой автограф поэмы «Разговор», неполный черновой автограф поэмы «Андрей»). В предисловии было указано, что замечания, сделанные на первое издание «Стихотворений И. С. Тургенева», в новом издании учтены. Отзывы на второе издание были немногочисленны (*Рус Мысль*, 1891, № 6, библиогр. отд., с. 265: *Сев Вестн*, 1891, № 7, отд. II, с. 85—88; *Рус Бог-во*, 1891, № 5—6, с. 256—259; Библиографические записки, 1892, № 4, с. 289—290). В рецензии «Библиографических записок» (Н. Буковского), озаглавленной «Поправки к изданию стихотворений И. С. Тургенева», содержались замечания по тексту публикуемых произведений.

В собрание сочинений Тургенева его стихотворения и поэмы впервые были включены в издании — *Т, ПСС, 1898* (*«Нива»*).

В I томе настоящего издания стихотворения и поэмы Тургенева печатаются по первопечатным и рукописным источникам.

Как правило, произведения каждого раздела печатаются в хронологической последовательности их создания. В тех случаях, когда несколько стихотворений датируются одним месяцем или одним годом и более точной даты установить нельзя, они располагаются в порядке их публикаций.

Многие стихотворения И. С. Тургенева положены на музыку и приобрели широкую известность как романсы, а некоторые были использованы композиторами в оперных сценах [1].

Публикации стихов молодого поэта в журналах 1840-х годов («Отечественные записки», «Современник») не встретили сколько-нибудь живого отклика у русских композиторов того времени. Первым отголоском явился романс «Весенний вечер» 19-летнего Антона Рубинштейна (Иллюстрация, 1848, № 22). В последующие годы появились романсы М. В. Бегичевой «К чему твержу я стих унылый...» (1852) и Н. Ф. Дингельштедта «Слеза» («Отрава горькая слезы последней...») — из поэмы «Андрей» (1858).

С выходом в свет сборников стихотворений Тургенева в 1885 и 1891 гг. интерес к ним в среде русских музыкантов заметно оживился. В 1891 г. появилось одно из наиболее известных произведений на текст Тургенева, «Баллада» («Перед воеводой молча он стоит...») А. Г. Рубинштейна, а также его романс «Осень» («Как грустный взгляд, люблю я осень...»).

---

[1] См.: Иванов Г. К. Русская поэзия в отечественной музыке. М, 1966, вып. 1; 1969, вып. 2.

«Баллада» была посвящена композитором выдающемуся русскому певцу Ф. И. Стравинскому, часто исполнявшему ее в своих концертах. Особенно широкую популярность «Баллада» приобрела благодаря Ф. И. Шаляпину, в репертуаре которого она занимала видное место среди романсов и песен «мятежного», бунтарского содержания («Как король шел на войну» Ф. Кенемана, «Дубинушка» и др.).

Большое количество романсов и песен на стихи Тургенева написано в 1880—1910-е гг.: «Баллада» (А. А. Оленин); «Безлунная ночь» (П. Н. Ренчицкий, А. Н. Шефер — мелодекламация); «В ночь летнюю, когда тревожной грусти полный...» (Е. В. Вильбушевич); «Весенний вечер» (П. Броун, К. М. Галковский — дуэт,— С. Лаппо-Данилевский, С. Г. Паниев — дуэт,— А. Н. Шефер — женский хор); «Для недолгого свиданья...» (М. В. Мильман, В. Одолеев); «Заметила ли ты, о друг мой молчаливый...» (И. И. Чернов); «К***» («Через поля к холмам тенистым...») (А. Н. Шефер — мелодекламация); «К чему твержу я стих унылый...» (В. Аничков, А. Владимиров — дуэт,— С. В. Егоров, М. В. Мильман, В. Одолеев, Ф. К. Садовский, Н. А. Соколов, А. Н. Шефер — мелодекламация); «Когда с тобой расстался я...» (М. В. Мильман, А. К. Тимофеев); «Слеза» (О. Данаурова, И. М. Кузьминский); «Федя» (А. А. Оленин).

Особенной любовью пользовался романс «В дороге» («Утро туманное, утро седое...»). По-видимому, песня на эти слова была распространена еще в середине XIX столетия, о чем свидетельствуют появившиеся в 1877 г. ноты, записанные, как указано в заголовке, «с напева московских цыган». Это стихотворение положили на музыку Г. Л. Катуар, Я. Ф. Пригожий, А. Ф. Гедике. В начале нынешнего столетия приобрела известность другая песня на тот же текст, автором которой является В. В. Абаза. Она часто звучала как в домашнем быту, так и на эстраде, в частности в исполнении популярной цыганской певицы В. Паниной.

Ряд произведений, написанных на стихи Тургенева, вошли в ткань крупных музыкальных полотен. Так, композитор А. Ю. Симон включил в оперу «Песнь торжествующей любви» (1888) хоровую сцену, положив в ее основу стихотворение «Весенний вечер».

Значительный интерес представляют сцены на стихи Тургенева в опере выдающегося композитора и музыкального деятеля А. Д. Кастальского «Клара Милич» (1907): стихотворение «Весенний вечер» послужило текстом дуэта, отрывок из поэмы «Андрей» («Отрава горькая слезы последней...») положен в ос-

нову романса Клары Милич, охотничья сцена написана на несколько измененный текст стихотворения «Перед охотой» («Утро! вот утро! Едва над холмами...»). С большими изменениями в либретто оперы Кастальского вошли другие места из поэмы «Андрей», отрывки из поэм «Параша» и «Помещик», стихотворений «Когда давно забытое названье...», «Один, опять один я. Разошлась...», «Толпа».

Песни и романсы на стихи Тургенева входят в концертные репертуары и в наше время.

СТИХОТВОРЕНИЯ

ВЕЧЕР

(с. 9)

Печатается по тексту первой публикации.

Впервые опубликовано: *Совр*, 1838, № 1, с. 151—152, с подписью «— — — въ» и датой «Июля, 1837».

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т, ПСС, 1898* (*«Нива»*), т. IX, с. 237.

Автограф неизвестен.

Датировано июлем 1837 г.

Основная тема стихотворения — раздумье о смысле жизни, вызванное созерцанием природы,— повторяет мотивы драматической поэмы «Сте́но», написанной в 1834 г. (ср. монолог Сте́но — д. I, сц. I, наст. том, с. 334—338). В позднейшем творчестве Тургенева те же мотивы проходят неоднократно: в «Призраках» (1863), «Довольно» (1864), «Стихотворениях в прозе» (1877—1882) и т. д.

К ВЕНЕРЕ МЕДИЦЕЙСКОЙ

(с. 11)

Печатается по тексту первой публикации.

Впервые опубликовано: *Совр*, 1838, № 4, с. 82—84, с подписью «— — — въ».

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т, ПСС, 1898* (*«Нива»*), т. IX, с. 238—240.

Автограф неизвестен.

Датируется серединой 1837 г. по аналогии со стихотворением «Вечер». Оба стихотворения были одновременно отобраны П. А. Плетневым для опубликования в «Современнике».

В этом стихотворении отразилось увлечение юного Тургенева античностью. По теме, торжественному тону, проникнутому налетом грусти об утраченном мире, декламационным приемам и строфическому построению стихотворение близко к оде Шиллера «Боги Греции» (см.: Орловский С. Лирика молодого Тургенева. Прага, 1926, с. 59). Тургенев, стремясь изобразить картину древней Греции как мира совершенной красоты и гармонии, не заботился об абсолютно точной передаче неко-

торых исторических или бытовых подробностей, которых к тому же он в то время мог и не знать.

Венера Медицейская — статуя, найденная в 1680 г. на вилле императора Адриана в Тибуре (Тиволи), близ Рима. Позднее статуя была приобретена семейством Медичи (отсюда ее латинизированное название). В настоящее время находится в государственной картинной галерее Уффици во Флоренции. На основании статуи указано имя скульптора Клеомена (III в. до н. э.), афинянина. Однако подлинность этого указания отрицается. Вероятно, статуя представляет собой римскую копию I в. до н. э., выполненную с греческого оригинала неизвестным мастером.

Венера Медицейская была известна в России в XVIII и начале XIX века как образцовое произведение древнего ваяния. Ее упомянул Радищев. Подробную характеристику статуи представил хорошо известный Тургеневу Винкельман. В 1833 г. Н. И. Надеждин в своей речи «О современном направлении изящных искусств» (М., 1833, с. 27) назвал знаменитую Венеру Медицейскую среди прекраснейших статуй.

Самой точной копией Венеры Медицейской в России является слепок, сделанный в 50—60-х гг. XVIII века во Флоренции непосредственно с самой статуи (впоследствии исполнение подобных слепков с антиков уже не допускалось) и находящийся в музее слепков Академии художеств (Академия художеств СССР. Научно-исследовательский музей. Отдел слепков с античной и западноевропейской скульптуры. Каталог. Л., 1939, с. 50). Весьма вероятно знакомство молодого Тургенева именно с академической копией статуи, которую он мог видеть при посещении выставок в Академии художеств (например, на выставке 1836 года). Кроме того, Тургенев мог познакомиться с античными вариантами Венеры Медицейской по статуям парка в городе Павловске.

Ст. 6. *Твой светлый миф одет!* — Миф об Афродите — рождение ее из пены морской (см. «Теогонию» Гесиода, ст. 202 и сл., а также Гомеровы гимны, VI).

Ст. 22. *Где так роскошно Кипр покоится на волнах...* — Родившись из пены, Афродита впервые вступила на землю на острове Кипр, где впоследствии она особенно почиталась (отсюда ее прозвание — Киприда).

Ст. 34. *Зефир тебя ласкал эфирными крылами...* — У Гомера и в Греции зефиром назывался западный ветер, приносивший дождь, непогоду, бурю. Но для Италии и Сицилии зефир — теплый, ласкающий ветер, приносящий теплую погоду. Такое же понимание зефира перешло в новую европейскую литературу,

Ст. 38—39. *И неба и земли* ∾ *Богиня красоты!* — Примечание Тургенева: «Alma mundi Venus» ‹Питательница мира Венера› — не соответствует стихам. «Alma» в латинском языке означает не «душа», а «питательница», «кормящая»; ср. у Лукреция «Alma Venus» («О природе вещей», I, 2). Но «Alma» означает «душа» в языках испанском и французском («âme»).

Ст. 52—54. *Сын знойной Азии рукою дерзновенной* ∾ *Не защитил тебя!* — Вероятно, имеются в виду греко-персидские войны, когда во время вторжения персов в Грецию в 490 г.

до н. э. были разрушены многие храмы, сожжен афинский Акрополь и т. д.

Ст. 58. *Коснулся Пракситель до своего созданья...* — Существовало мнение, что Венера Медицейская восходит к знаменитой Афродите Книдской, лучшему произведению Праксителя (IV в. до н. э.), созданному им по заказу жителей Коса, но, как сообщает Плиний («Естественная история», XXXVI, 20), не принятому ими из-за того, что вопреки обычаю богиня была изображена совершенно обнаженной. Тогда Пракситель передал статую жителям Книда (Малая Азия).

БАЛЛАДА

(с. 13)

Печатается по тексту первой публикации.

Впервые опубликовано: *Отеч Зап*, 1841, т. XIX, № 11—12, отд. III, с. 308—309, с подписью «Т. Л.», с цензурным искажением в стихе 25.

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т, ПСС, 1898* (*«Нива»*), т. IX, с. 242—243, с тем же цензурным искажением.

Исправлено по тексту письма Тургенева к С. А. Венгерову от 25 мая (6 июня) 1875 г. (см. ниже) в издании: *Т, Сочинения*, т. XI, с. 195.

Автограф неизвестен.

Датируется 1841 г., не позднее октября, по времени публикации.

Стихотворение свидетельствует о близком знакомстве Тургенева с народными песнями, особенно с песней о Ванюше-ключнике и князе Волконском, получившей широкое распространение и известной во множестве вариантов (см.: Великорусские народные песни. Изданы А. И. Соболевским. СПб., 1895, т. I, с. 49—84; Соколовы Б. и Ю. Сказки и песни Белозерского края. М., 1915, с. 323; Великорусские песни в народной гармонизации, записаны Е. Линевой. СПб., 1909, вып. II, с. 40—45). Тургенев мог слышать песню о Ванюше-ключнике и от своего домашнего учителя, поэта И. П. Клюшникова, и от известного собирателя народных песен П. В. Киреевского (в доме его матери, А. П. Елагиной, он бывал в 1841 г.). Наконец, песню могли исполнять и дворовые села Спасского-Лутовинова, и крестьяне других мест, с которыми общался Тургенев. Сопоставление отдельных стихов баллады Тургенева с текстами народных песен см.: Родзевич С. И. Тургенев. Статьи. Киев, 1918, с. 22—23. Но, создавая свою «Балладу», Тургенев коренным образом изменил содержание и характер народной песни о Ванюше-ключнике, переведя тему бытовой новеллы с любовной связи между барыней и ее слугой, дворовым, крепостным человеком, что было не очень исключительным случаем в тогдашней помещичьей жизни, в трагический и романтический план, сделав ее героем социального отщепенца, вольного разбойника, а его противником — воеводу, обязанного по службе его ловить.

Тема любви между знатной женщиной и отщепенцем-разбойником широко известна в литературе, от Карла Моора у

Шиллера до Эрнани у Гюго и Дубровского у Пушкина. Но Тургенев изобразил не «благородного» разбойника, изгнанника, подобного Эрнани или Дубровскому, а русского разбойника, выходца из народа, для которого разбойничество было искони проявлением социального протеста и социальной борьбы. Образ разбойника-протестанта, издевающегося над воеводой, мог быть подсказан уже не столько песней о Ванюше-ключнике, сколько разбойничьими песнями, например, известной песней «Не шуми, мати зеленая дубровушка», введенной Пушкиным в «Капитанскую дочку» из сборника песен Н. И. Новикова. Роман Пушкина был напечатан всего за пять лет до создания «Баллады» Тургенева, и трагический, суровый характер песни, а также обстановка, в которой представлено у Пушкина ее исполнение «людьми, обреченными виселице», могли отразиться в «разбойничьей» балладе Тургенева, так же, как мотивы других народных разбойничьих песен.

Белинский положительно оценил «Балладу» Тургенева (см. примечание к стихотворению «Старый помещик», наст. том, с. 446).

Из нескольких вокальных произведений, созданных на слова «Баллады», прочную известность приобрел романс А. Г. Рубинштейна, написанный в 1891 г. и быстро вошедший в русский концертный репертуар, в котором сохранился и до настоящего времени.

Ст. 25. *Заедал я чарку — барскою едой...* — В первой журнальной публикации стих этот был переделан цензором или редактором «Отечественных записок» Краевским, с целью ослабить его антикрепостническое звучание, притом с нарушением его размера («Заедал я чарку — хозяйскою едой»). С. А. Венгеров в своей книге «Русская литература в ее современных представителях. Иван Сергеевич Тургенев» (СПб., 1875, ч. 1) обратил внимание именно на этот искаженный цензурой стих, назвав его и предшествующий ему стих «виршами» (там же, с. 103). Тургенев же, досадуя на то, что Венгеров приписал ему некоторые цензурные искажения, писал ему 25 мая (6 июня) 1875 г.: «...у меня, напр⟨имер⟩, стояло — наедался сладко „барскою“ едой ⟨Тургенев цитирует неточно; должно быть: «Заедал я чарку — барскою едой»⟩, а ценсор поставил „хозяйскою“ — что произвело чепуху и хромой стих». В издании *Т, ПСС, 1898* (*«Нива»*) этот стих напечатан также в искаженном виде: «Заедал я чарку — хозяйской едой», хотя строка в ее первоначальном чтении была известна уже с 1884 г., когда в «Первом собрании писем И. С. Тургенева» было опубликовано указанное письмо его к Венгерову.

СТАРЫЙ ПОМЕЩИК

(с. 14)

Печатается по тексту первой публикации.

Впервые опубликовано: *Отеч Зап*, 1841, т. XVIII, № 9, отд. III, с. 57—58, с подписью «Т. Л.» и с цензурным пропуском в стихе 33.

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т, ПСС, 1898* (*«Нива»*), т. IX, с. 240—242, полностью. Слово «церковь» в стихе 33 здесь вставлено, вероятно, по смыслу.

Автограф неизвестен.

Датируется 1835—1841 гг. по указанию в письме к А. В. Никитенко (см. ниже) и по времени публикации.

Возможно, что «Старый помещик» является переработкой или отрывком несохранившейся поэмы «Повесть старика», о которой упоминается в письме Тургенева к А. В. Никитенко от 26 марта (7 апреля) 1837 г.: «„Повесть старика" — недоконченная и вряд ли когда оканчиваемая поэма — писана в 1835-м году» (наст. изд., Письма, т. I). И. Н. Розанов прямо отождествлял оба произведения (см.: Творчество Тургенева / Под ред. И. Н. Розанова и Ю. М. Соколова. М., 1920, с. 67). Высказывалось также предположение, что «Старый помещик» является отрывком из поэмы «Повесть старика» (см.: Орловский С. Лирика молодого Тургенева. Прага, 1926, с. 192).

В статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года» В. Г. Белинский писал о стихотворениях Тургенева: «...есть пьесы три-четыре очень недурных, как, например, „Старый помещик", „Баллада", „Федя", „Человек, каких много" 〈...〉 в них главное 〈...〉 намеки на русскую жизнь» (*Белинский*, т. X, с. 344).

ПОХИЩЕНИЕ

(с. 16)

Печатается по тексту первой публикации.

Впервые опубликовано: *Отеч Зап*, 1842, т. XXI, № 3, отд. I с. 66—68, с подписью «Т. Л.».

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т, ПСС, 1898* (*«Нива»*), т. IX, с. 243—245.

Автограф неизвестен.

Датируется 1842 г., не позднее февраля, по времени публикации.

По форме, отдельным выражениям и описанию пейзажа стихотворение близко к балладе Жуковского «Людмила» (1808), но мрачный и таинственный сюжет романтической баллады Жуковского, где девушку похищает мертвый жених, у Тургенева заменен реалистическим повествованием: героиню увозит живой возлюбленный.

Возможно, что на выбор сюжета оказало влияние и знакомство Тургенева с народными песнями, которые он мог не только непосредственно слышать в Спасском, но и читать в еще не изданных собраниях П. В. Киреевского.

«ЗАМЕТИЛА ЛИ ТЫ, О ДРУГ МОЙ МОЛЧАЛИВЫЙ...»

(с. 18)

Печатается по тексту первой публикации.

Впервые опубликовано: *Совр*, 1844, № 3, с. 349, с подписью «Т. Л.» и датой «1842».

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т, ПСС, 1898* (*«Нива»*), т. IX, с. 245.

Автограф неизвестен.

Датировано 1842 г.

В архиве Бакуниных хранится рукописная тетрадь со стихотворениями разных авторов, среди них — первые две строфы данного стихотворения. После текста приписка: «от Alexandrine Beer» — А. А. Беер, находившейся в приятельских отношениях с Бакуниными. В этом списке два первые стиха заменены одним: «Скажи, когда-нибудь заметила ли ты» (*ИРЛИ*, ф. 16, оп. 2, № 67, л. 14 об.), что нарушает строфику стихотворения и, по-видимому, является не вариантом, а ошибкой переписчика.

Ст. 1—8. *Заметила ли ты, о друг мой молчаливый* ∾ *О смерти вспомнит и замрет.*— Тема «внезапной тишины», наступающей среди дня и напоминающей о смерти, является отражением старинного народного поверья о «полудницах» (см.: Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. М., 1869, т. III, с. 76—77, 137—139); ср. в «Старосветских помещиках» Гоголя — о «таинственном зове», который раздается в ясный и солнечный день среди мертвой тишины и который «простолюдины объясняют так: что душа стосковалась за человеком и призывает его» (Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: В 14-ти т. М.; Л.: АН СССР, 1937. Т. II, с. 37). Сходное описание тишины в лесу и «веяния смерти» содержится в «Поездке в Полесье» (1857; см. наст. изд., Сочинения, т. VI).

ОСЕНЬ

(с. 19)

Печатается по тексту первой публикации.

Впервые опубликовано: *Совр*, 1844, № 10, с. 108, с подписью «Т. Л.» и датой «1842».

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т, ПСС, 1898* (*«Нива»*), т. IX, с. 254.

Автограф неизвестен.

Датировано 1842 г.

ТОЛПА

(с. 20)

Печатается по автографу — *ГПБ*, ф. 391, № 66.

Впервые опубликовано: *Отеч Зап*, 1844, т. XXXII, № 1, отд. I, с. 46, с подписью «Т. Л.», с цензурными искажениями в стихах 6, 13 и 14 и без посвящения. Полный текст напечатан: Былое, 1906, № 3, с. 147—148, с ошибкой в стихе 29: «тосковать» — вместо «толковать».

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т, ПСС, 1898* (*«Нива»*), т. IX, с. 250, с цензурными искажениями первой публикации.

Датируется 1843 г., не позднее июня: в начале июля стихотворение уже было в редакции «Отечественных записок».

Очевидно, издатель журнала А. А. Краевский известил Белинского о том, что стихотворение посвящено ему. Это письмо Краевского неизвестно, но 8 июля 1843 г. Белинский отвечал ему: «Что касается до посвящения благородному имени моему пьесы Т. Л., то вы напрасно и писали о нем: вычеркните, да всё тут. Вы знаете, что я не из числа мелочных людей и за посвящениями не гонюсь» (*Белинский*, т. XII, с. 166). Смущенный ироническим тоном этого письма, Краевский счел нужным мотивировать свое намерение и в письме к Белинскому от 16 июля 1843 г., говоря о стихотворении Тургенева и о цензурных опасениях, связанных с ним, вновь вернулся к вопросу о посвящении: «Что касается до его ⟨Тургенева⟩ „Толпы“,— то там бог носится *тревожно* над толпою (этого нельзя), да потом толпа растет, как море в день *грозы*, лишь для нее ярко блещет небо и т. д.,— всё это не вяжется с посвящением и может бросить, для журнальных „друзей“ наших, тень на имя, которому посвящается пьеса» (В. Г. Белинский и его корреспонденты. М., 1948, с. 98).

В стихотворении отразились споры Тургенева с Белинским, с которым он познакомился в феврале 1843 г., касавшиеся отношений личности к обществу. В этом вопросе Тургенев стоял тогда на позициях романтического индивидуализма, резко отличного от «социальности» Белинского. Тон и стилистика стихотворения носят на себе влияние поэзии Лермонтова (ср., например, со стихотворением «Поэт», 1839).

Ст. 6. *Толпа — наш царь — и ест и пьет исправно...*— В первой публикации:

Толпа могучая — и ест и пьет исправно...

Ср. в эпиграмме помещика Бодрякова на Агея Фомича из повести «Затишье» (1854):

Он пьет и кушает исправно...
Так как же не исправник он?

(Наст. изд., Сочинения, т. V).

Ст. 13—14. *И ты сильна ~ он носится тревожно...*— В первой публикации:

И ты сильна . . . . . .
. . . .

Ср. с стихотворением Лермонтова «Поэт»:

Твой стих, как божий дух, носился над толпой...

ЦВЕТОК

(с. 21)

Печатается по тексту первой публикации.

Впервые опубликовано: *Отеч Зап*, 1843, т. XXIX, № 8, отд. I, с. 296, с подписью «Т. Л.» и датой «1843».

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т, ПСС, 1898* (*«Нива»*), т. IX, с. 252.

Датируется 1843 г., не позднее июля.

Существует предположение, что стихотворение посвящено Авдотье Ермолаевне Ивановой — матери дочери Тургенева (см.: Богословский Н. В. Тургенев. М., 1964, с. 86).

Ст. 22—24. *Знать, он был создан для того* ∾ *В соседстве сердца твоего.*— Позднее в несколько измененном виде послужили эпиграфом к повести Достоевского «Белые ночи» (1848). У Достоевского:

...Иль был он создан для того,
Чтобы побыть хотя мгновенье
В соседстве сердца твоего?..
(*Достоевский*, т. 2, с. 102).

ПОСЛЕДНЯЯ СЦЕНА ПЕРВОЙ ЧАСТИ «ФАУСТА» ГЕТЕ

(с. 22)

Печатается по тексту первой публикации.

Впервые опубликовано: *Отеч Зап*, 1844, т. XXXIV, № 6, отд. I, с. 220—226, с подписью «Т. Л.» и датой «Сентябрь. 1843».

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т, ПСС, 1898* (*«Нива»*), т. IX, с. 284—292.

Автограф неизвестен.

Датировано сентябрем 1843 г.

По свидетельству Ф. Боденштедта, «Фауст» был особенно любим писателем: «... первую часть его он знал почти всю наизусть» (*Рус Ст*, 1887, № 5, с. 471).

Об интерпретации Тургеневым последней сцены см. в статье 1844 г. «Фауст, трагедия. Соч. Гёте» (наст. том, с. 214). Перевод Тургенева был высоко оценен Белинским. В статье «Русская литература в 1844 году» критик писал: «К числу замечательных явлений ‹...› принадлежит отрывок из „Фауста“, переведенный г. Т. Л.» (*Белинский*, т. VIII, с. 485).

При переводе Тургенев опустил песню Маргариты (после ст. 7), сославшись в подстрочном примечании на перевод этой песни, сделанный Э. И. Губером (1814—1847):

Как негодница мать
Убила меня;
Как отец, старый плут,
Съел родное дитя;
Как малютка сестра
Кости в яму снесла;
А как стала потом
Легкой пташечкой я;
Взвейся, пташка моя!

(Фауст. Сочинение Гёте. Перевод Эдуарда Губера. СПб., 1838, с. 226).

Ст. 55. *Вдруг среди воя и адского плеска...*—В тексте *Отеч Зап* — опечатка, повторенная в издании *Т, ПСС, 1898 («Нива»)*. «Вдруг среди вод и адского плеска». В подлиннике: «Mitten durchs Heulen und Klappen der Hölle» ‹Среди воя и адского лязганья

Ст. 192. *Зачем он в святое место зашел?* — В тексте *Отеч Зап* опечатка, повторенная в издании *Т, ПСС, 1898* (*«Нива»*): «Зашел он в святое место зашел?» В подлиннике: «Was will

der an dem heiligen Ort?» ⟨Чего он хочет в священном месте?⟩ В повести «Фауст» (1856) этот и следующий стих, в несколько другом переводе, произносит перед смертью Вера: «Чего хочет он на освященном месте. Этот... вот этот» (наст. изд., Сочинения, т. V).

НЕВА

(с. 30)

Печатается по тексту первой публикации.

Впервые опубликовано: *Отеч Зап*, 1843, т. XXX, № 9, отд. I, с. 1—2, с подписью «Т. Л.».

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т, ПСС, 1898* (*«Нива»*), т. IX, с. 246—248.

Автограф неизвестен.

Датируется 1843 г., не позднее августа.

Ст. 39—56. *Ты вспомнил прежнюю любовь ∾ Не воскресал, не умирал...*— Посвящены воспоминаниям о так называемом «премухинском» романе Тургенева с Татьяной Александровной Бакуниной (1815—1871), одной из сестер М. А. Бакунина. В Премухине, родовом имении Бакуниных, бывали, кроме Тургенева, Белинский, Станкевич, Боткин, Клюшников и многие другие. Атмосфера высокой культуры, начитанности, философских интересов в соединении с приветливостью и доброжелательством хозяев привлекали в Премухино передовую, мыслящую молодежь. Тургенев приехал в Премухино и сблизился с семейством Бакуниных в середине октября 1841 г. Его дружба с Бакуниной, возникшая на почве увлечений немецкой идеалистической философией, перешла в любовь, которая со стороны Тургенева, однако, продолжалась недолго. Уже в марте 1842 г. он написал Татьяне Бакуниной свое прощальное письмо (см.: наст. изд., Письма, т. I), после которого их взаимоотношения продолжались в форме длительного и мучительного для обоих расставания.

«Премухинский» роман оказал несомненное влияние на творчество Тургенева. Ряд его произведений посвящен Татьяне Бакуниной. Из лирических стихотворений здесь можно назвать: «В ночь летнюю, когда, тревожной грусти полный...», «Когда с тобой расстался я...»; из неопубликованных при жизни Тургенева: «Долгие, белые тучи плывут...», «Дай мне руку — и пойдем мы в поле...». В прозе роман с Т. А. Бакуниной нашел свое отражение в повестях «Андрей Колосов» (1844), «Переписка» (1854) и сатирически в рассказе «Татьяна Борисовна и ее племянник» (1848).

История отношений Тургенева с Т. А. Бакуниной освещена в работах: Бродский Н. Л. «Премухинский роман» в жизни и творчестве Тургенева.— В кн.: *Центрархив, Документы*, вып. 2, с. 107—121; Крестова Л. В. Татьяна Бакунина и Тургенев.— В кн.: *Т и его время*, с. 31—50.

ВЕСЕННИЙ ВЕЧЕР

(с. 32)

Печатается по тексту первой публикации.

Впервые опубликовано: *Отеч Зап*, 1843, т. XXXI, № 11, отд. I, с. 53, с подписью «Т. Л.» и датой «1843».

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т, ПСС, 1898* (*«Нива»*), т. IX, с. 251—252.

Автограф неизвестен.

Датируется 1843 г., не позднее октября.

Первый издатель стихотворений Тургенева П. А. Плетнев, прочитав «Весенний вечер» в «Отечественных записках», назвал стихотворение «прекрасными стихами» (*Переписка Грота с Плетневым*, т. II, с. 147).

ВАРИАЦИИ

(с. 33)

Печатаются по тексту первой публикации.

Впервые опубликованы: Вчера и сегодня. СПб., 1845, кн. 1, с. 65—67, с указанием фамилии Тургенева в оглавлении и датами под текстами: «1843. Июль», «1843. Июль», «1843. Ноябрь».

В собрание сочинений впервые включены в издании: *Т, ПСС, 1898* (*«Нива»*), т. IX, с. 262—263.

Автографы неизвестны.

Датированы: 1-я и 2-я вариации — июлем 1843 г., 3-я — ноябрем 1843 г.

Все три стихотворения являются вариациями темы прошедшей любви.

Особенную известность получило третье стихотворение («В дороге»), неоднократно положенное на музыку (см. выше). Первая строка его («Утро туманное, утро седое») послужила эпиграфом к стихотворению А. А. Блока «Седое утро» (1914). В 1920 г. Блок издал сборник стихотворений 1907—1916 гг. также под названием «Седое утро».

«В НОЧЬ ЛЕТНЮЮ, КОГДА, ТРЕВОЖНОЙ ГРУСТИ ПОЛНЫЙ...»

(с. 35)

Печатается по тексту первой публикации.

Впервые опубликовано: *Отеч Зап*, 1844, т. XXXIII, № 4, отд. I, с. 159, с подписью «Т. Л.» и датой «Ноябрь, 1843».

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т, ПСС, 1898* (*«Нива»*), т. IX, с. 257—258.

Датировано ноябрем 1843 г.

По-видимому, стихотворение посвящено воспоминаниям о романе с Т. А. Бакуниной. См. примеч. к стихотворению «Нева».

«КОГДА С ТОБОЙ РАССТАЛСЯ Я...»

(с. 36)

Печатается по тексту первой публикации.

Впервые опубликовано: *Отеч Зап*, 1843, т. XXXI, № 11, отд. I, с. 189, с подписью «Т. Л.» и датой «1843».

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т, ПСС, 1898* (*«Нива»*), т. IX, с. 248.

Автограф неизвестен.

Датируется 1843 г., не позднее октября.

Стихотворение обращено к Т. А. Бакуниной. В прощальном письме к ней от 20-х чисел марта 1842 г. Тургенев писал: «...я всё хочу забыть, всё, исключая Вашего взгляда, который я теперь так живо, так ясно вижу ⟨...⟩ я никогда ни одной женщины не любил более вас...» (наст. изд., Письма, т. I).

ЧЕЛОВЕК, КАКИХ МНОГО

(с. 37)

Печатается по тексту первой публикации.

Впервые опубликовано: *Отеч Зап*, 1843, т. XXXI, № 11, отд. I, с. 191, с подписью «Т. Л.» и датой «1843».

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т, ПСС, 1898* (*«Нива»*), т. IX, с. 249.

Автограф неизвестен. Копия: *ЦГАОР*, ф. 1762, оп. 2, ед. хр. 340, л. 269, снята с более ранней редакции стихотворения и имеет значительные расхождения с текстом первой публикации. Об этой копии см.: *Т сб*, вып. 1, с. 234—235.

Датируется 1843 г., не позднее октября.

Стихотворение получило высокую оценку Белинского (см. примеч. к стихотворению «Старый помещик»). Некрасов написал вариацию на тему Тургенева под названием «Женщина, каких много» («Она росла среди перин, подушек...», 1845).

Ст. 6—20. *И по часам* ∾ *Ее руки.*— В несколько измененном виде стихи эти были взяты Некрасовым в качестве эпиграфа ко второй главе романа «Жизнь и похождения Тихона Тросникова» (1843—1848).

Ст. 8. *«Мечтам и снам»* — характерный романтический штамп. Возможно, что здесь Тургенев намекает на название первого сборника стихотворений Некрасова «Мечты и звуки» (1840).

Ст. 9—20. *И слезы лил; добросердечно* ∾ *Ее руки.*— Эти стихи процитировал Белинский в статье «Русская литература в 1845 году», видя в них удачную характеристику бездеятельных «романтиков» жизни. «Никакой натуралист,— писал Белинский,— так хорошо и полно не составлял истории какого-нибудь genus ⟨рода⟩ или species ⟨вида⟩ животного царства, как хорошо и полно рассказана в этих восьми стихах история человеческой породы, о которой говорим мы» (*Белинский*, т. IX, с. 380).

«КОГДА ДАВНО ЗАБЫТОЕ НАЗВАНЬЕ...»

(с. 38)

Печатается по тексту первой публикации.

Впервые опубликовано: *Отеч Зап*, 1844, т. XXXII, № 1, отд. I, с. 48, с подписью «Т. Л.» и датой «1843».

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т, ПСС, 1898* (*«Нива»*), т. IX, с. 251.

Автограф неизвестен.

Датировано 1843 г.

По теме воспоминаний о юношеской любви стихотворение является как бы продолжением стихотворения «Когда с тобой расстался я...», обращенного к Т. А. Бакуниной.

КОНЕЦ ЖИЗНИ

(с. 39)

Печатается по тексту первой публикации.

Впервые опубликовано: *Отеч Зап*, 1844, т. XXXII, № 1, отд. I, с. 195, с подписью «Т. Л.» и датой «1843».

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т, ПСС, 1898* (*«Нива»*), с. 245—246.

Автограф неизвестен.

Датировано 1843 г.

Ст. 13 вычеркнут, вероятно, по цензурным соображениям.

Ст. 24—25. *Словно камень* ∾ *В темный пруд.*— Ср. в дневнике Тургенева от 5 декабря 1882 г.:

Темной ночью камень брошенный
В темный пруд.

(*Лит Насл*, т. 73, кн. I, с. 393).

ФЕДЯ

(с. 40)

Печатается по тексту первой публикации.

Впервые опубликовано: *Отеч Зап*, 1844, т. XXXIII, № 3, отд. I, с. 2, с подписью «Т. Л.» и датой «1843».

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т, ПСС, 1898* (*«Нива»*), т. IX, с. 255—256.

Автограф неизвестен.

Датировано 1843 г.

Стихотворение получило положительный отзыв Белинского (см. примеч. к стихотворению «Старый помещик»).

К А. С.

(с. 41)

Печатается по тексту первой публикации.

Впервые опубликовано: *Отеч Зап*, 1844, т. XXXIII, № 3, отд. I, с. 158—159, с подписью «Т. Л.» и датой «1843».

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т, ПСС, 1898* (*«Нива»*), т. IX, с. 256—257.

Автограф неизвестен.

Датировано 1843 г.

К кому обращено стихотворение — не установлено.

Ст. 27. *Вы изменились, как Татьяна* — сравнение с героиней «Евгения Онегина» (см. VIII главу романа).

Ст. 33. *Печать могучего сознанья* — в изданиях *Т, Сочинения*, т. XI, с. 210; *Т, СС* (*«Огонек»*), т. X, с. 121 и *Т, СС*, т. X, с. 48 напечатан в измененном виде: «Печать могучего созданья». Возможно, что редакторы сочли чтение «сознанья» опечаткой и ввели в текст конъектурное исправление.

В. Н. Б.

(с. 43)

Печатается по тексту первой публикации.

Впервые опубликовано: *Совр*, 1844, № 3, с. 347, с подписью «Т. Л.» и датой «18⟨4⟩3» (напечатано ошибочно «183»).

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т, ПСС, 1898* (*«Нива»*), т. IX, с. 261—262.

Автограф неизвестен.

Датировано 1843 г.

Судя по заголовку, стихотворение адресовано Варваре Николаевне Богданович-Лутовиновой, в замужестве Житовой (1833—1910), внебрачной дочери В. П. Тургеневой (матери писателя) и А. Е. Берса (отца жены Л. Н. Толстого). В своих «Воспоминаниях о семье И. С. Тургенева» Житова писала: «С Иваном Сергеевичем в это время ⟨1838 г.⟩ мы были в величайшей дружбе. Он очень любил меня, играл со мной, бегал по огромной зале, носил меня на руках ⟨...⟩. Между 1841 и 1846 годами Иван Сергеевич летом каждый год бывал в Спасском ⟨...⟩. К нему мне всегда был свободный доступ, и я всегда бегала туда» (*Житова*, с. 27—28, 68).

Дружеское отношение к ней Тургенева сохранялось и позднее, в годы пребывания его за границей (1847—1850) и в первые месяцы после возвращения. Но вскоре после смерти В. П. Тургеневой (16(18) ноября 1850 г.) отношение к В. Н. Богданович со стороны Тургенева и его брата Николая резко изменилось. В письме к Полине Виардо от 3(15) января 1851 г. Тургенев дал крайне отрицательную ее характеристику, в которой говорилось между прочим: «...та молодая девушка, которую мать моя усыновила ⟨...⟩ фальшивая, злая, хитрая и бессердечная. Невозможно изобразить вам всё зло, которое наделала эта маленькая гадюка...».

«К ЧЕМУ ТВЕРЖУ Я СТИХ УНЫЛЫЙ...»

(с. 44)

Печатается по тексту первой публикации.

Впервые опубликовано: Вчера и сегодня. СПб., 1845, кн. 1, с. 67, с подписью «И. Тургенев» и датой «1843. Декабрь».

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т, ПСС, 1898* (*«Нива»*), т. IX, с. 264.

Автограф неизвестен.

Датировано декабрем 1843 г.

Возможно, что стихотворение написано под впечатлением знакомства Тургенева с Полиной Виардо. Первое выступление Виардо в Петербурге в роли Розины из оперы Россини «Севильский цирюльник» состоялось 22 октября 1843 г. и было восторженно встречено петербургской публикой и печатью. Тургенев услышал Виардо 27 или 29 октября 1843 г., а 1 ноября познакомился с нею. С первой же их встречи Полина Виардо вызвала в Тургеневе чувство глубокого восхищения и преклонения. В письме к ее мужу, Луи Виардо, относящемся к зиме 1843/44 г., Тургенев писал: «...ваша жена, я не скажу величайшая — это, по моему мнению, *единственная* певица в дольнем мире» (наст. изд., Письма, т. I).

ГРОЗА ПРОМЧАЛАСЬ

(с. 45)

Печатается по тексту первой публикации.

Впервые опубликовано: *Совр*, 1844, № 10, с. 111, с подписью «Т. Л.».

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т, ПСС, 1898* (*«Нива»*), т. IX, с. 254—255.

Автограф неизвестен.

Датируется 1844 г., не позднее сентября.

Темы стихотворения — описание летней ночи и опустелого дома в саду, воспоминание о жившей здесь прежде одинокой женщине с тяжелой, тревожной судьбой — отразились впоследствии в сюжете повести «Три встречи» (1851).

К*** («ЧЕРЕЗ ПОЛЯ К ХОЛМАМ ТЕНИСТЫМ...»)

(с. 46)

Печатается по тексту первой публикации.

Впервые опубликовано: *Отеч Зап*, 1844, т. XXXVII, № 11, отд. I, с. 136, с подписью «Т. Л.» и датой «1844».

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т, ПСС, 1898* (*«Нива»*), т. IX, с. 258.

Автограф неизвестен.

Несмотря на указанную в публикации дату «1844», стихотворение, по очень вероятному предположению С. Н. Шиль (псевдоним — С. Орловский), относится к более раннему време-

ни и тематически примыкает к стихотворению «Дай мне руку — и пойдем мы в поле...» (1842; см. наст. том, с. 317), посвященному Т. А. Бакуниной (см.: Орловский С. Лирика молодого Тургенева. Прага, 1926, с. 202). Возможно, что, желая скрыть имя адресата, Тургенев не только заменил в заглавии инициалы тремя звездочками, но и поставил под текстом дату, исключающую имя Бакуниной, так как в 1844 г. он больше с ней не встречался.

ПРИЗВАНИЕ

(с. 47)

Печатается по тексту первой публикации.

Впервые опубликовано: *Отеч Зап*, 1844, т. XXXVII, № 12, отд. I, с. 345—346, с подписью «Т. Л.» и датой «1844».

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т, ПСС, 1898* (*«Нива»*), т. IX, с. 259—261.

Автограф неизвестен.

Датировано 1844 г.

Подзаголовок «Из ненапечатанной поэмы» не может относиться ни к какому из известных нам произведений или замыслов Тургенева и, возможно, является лишь стилистическим приемом (ср.: «(Из поэмы, преданной сожжению)» — наст. том, с. 65).

Ст. 16—18. *И, сходя с вершин Урала* ∾ *Загорится пышный день...*— Восходящее на востоке с вершин Урала солнце сравнивается с дворцом Сарданапала, легендарного ассирийского царя (IX в. до н. э.). Осажденный врагами, он, по преданию, сжег себя в своем дворце вместе с женами и сокровищами. Его гибель послужила темой трагедии Байрона, которая, без сомнения, была известна Тургеневу.

После ст. 42 поставлены две строки точек, что не вполне ясно, так как это нарушает строфику стихотворения. Возможно, что точки обозначают пропуск не двух стихов, а двух строф. Так это и было понято Д. Д. Рябининым, который, публикуя стихотворение вторично, заменил две строки точек — двенадцатью строками (см.: *ИВ*, 1855, № 6, с. 721). Вопрос, ввиду отсутствия рукописи, не поддается разрешению.

«БРОЖУ НАД ОЗЕРОМ...»

(с. 49)

Печатается по тексту первой публикации.

Впервые опубликовано: Вчера и сегодня. СПб., 1845, кн. 1, с. 67, вместе со стихотворением «К чему твержу я стих унылый...». под которым стоит общая подпись «И. Тургенев», и с датой «1844».

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т, ПСС, 1898* (*«Нива»*), т. IX, с. 264.

Автограф неизвестен.

Датировано 1844 г.

Ст. 2. *Вершины круглые холмов.*— В первой публикации — «Вершины крутые холмов», что представляет собою несомненную опечатку, нарушающую размер; на этом основании она и исправляется во всех изданиях начиная с *Т, Стих, 1885.*

«ОТКУДА ВЕЕТ ТИШИНОЙ?..»

(с. 50)

Печатается по тексту первой публикации.

Впервые опубликовано: *Отеч Зап*, 1845, т. XXXVIII, № 2, отд. I, с. 239, с подписью «Т. Л.» и датой «1844».

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т, ПСС, 1898* (*«Нива»*), т. IX, с. 258—259.

Автограф неизвестен.

Датировано 1844 г.

Темы *тишины* и таинственного *зова* присутствуют — в ином, трагическом аспекте — в более раннем стихотворении «Заметила ли ты, о друг мой молчаливый...» (см.: наст. том, с. 18).

«ОДИН, ОПЯТЬ ОДИН Я. РАЗОШЛАСЬ...»

(с. 51)

Печатается по тексту первой публикации.

Впервые опубликовано в статье Н. Н. 〈Н. А. Некрасова〉 «Русские второстепенные поэты» — *Совр*, 1850, № 1, отд. VI, с. 53—55, с подписью «Т. Л.» и датой «1844».

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т, ПСС, 1898* (*«Нива»*), т. IX, с. 271—273.

Автограф неизвестен.

Датировано 1844 г.

Тексту стихотворения предшествуют в статье Некрасова следующие слова: «Наконец есть у нас еще стихотворение, дорогое нам по личным нашим воспоминаниям. Может быть, потому оно нам очень нравится» (*Некрасов*, т. IX, с. 201).

Стихотворение проникнуто автобиографическими мотивами.

Возможно, что ст. 22—26 посвящены Т. А. Бакуниной. В издании *Т, ПСС и П. Сочинения* (т. I, с. 526) указано, что в ст. 34—45 Тургенев вспоминает своего домашнего учителя, поэта И. П. Клюшникова. И. Г. Ямпольский убедительно опровергает это предположение, обращая внимание на то, что в стихотворении упомянуты товарищи, т. е. речь идет об учебном заведении, и, говоря о наставнике, Тургенев, вероятно, вспоминает об одном из преподавателей пансиона Армянского института или Московского пансиона Вейденгаммера, где он учился в 1829—1831 гг. (см.: *Т, Стихотворения и поэмы, 1970,* с. 406—407). В ст. 46—49 говорится о родовом имении Тургенева — Спасском-Лутовинове.

ТЬМА

(с. 53)

Печатается по тексту первой публикации.

Впервые опубликовано: *Петербургский сборник*, 1846, с. 501—503, с подписью «Ив. Тургенев».

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т, ПСС, 1898* (*«Нива»*), т. IX, с. 279—281.

Автограф неизвестен.

Датируется 1845 г. на основании публикации в «Петербургском сборнике», который был разрешен цензурой 12 января 1846 г.

Перевод стихотворения Байрона «Darkness» (1816).

Изучив английский язык еще в детстве, Тургенев в 30-е годы много читал по-английски. Байрон принадлежал к числу излюбленных им в это время поэтов. Как видно из письма Тургенева к А. В. Никитенко от 26 марта (7 апреля) 1837 г., им был переведен «Манфред» (см.: наст. изд., Письма, т. I), но до нас этот перевод не дошел. О том, что Тургенев и в последующее десятилетие неоднократно читал и хорошо знал Байрона в подлиннике, свидетельствуют частые ссылки на него в ранних поэмах, а также прямые и скрытые цитаты из его произведений (см.: «Андрей», «Поп» и др.). В первой повести Тургенева, «Андрей Колосов» (1844), один из участников кружка беседующей молодежи цитирует Байрона по-английски, на что рассказчик замечает: «Фу ты чёрт, какая у вас память! И всё из Байрона!»

Были ли выполнены Тургеневым еще какие-либо переводы из Байрона, мы не знаем, но известно, что в середине 40-х годов в редакции «Современника» он считался достаточно сведущим в этой области человеком. Сохранилось письмо Тургенева от конца 1846 — начала 1847 г. к А. В. Никитенко, который в то время был редактором «Современника»: «Панаев доставил мне от Вашего имени перевод Байронова „Сна“— и сказал, что Вы желаете знать мое мнение насчет этого перевода. Я вчера прочел и сличил его с оригиналом и убедился, что г-н переводчик плохо знает и английский и русский язык» (наст. изд., Письма, т. I). Перевод неизвестного автора, о котором писал в этом письме Тургенев, в «Современнике» не появился. Позднее, в письме к А. В. Топорову от 25 августа (6 сентября) 1879 г., Тургенев сообщал: «О Шиллере и Байроне я где-то писал (по поводу переводов) — но где? — теперь решительно не помню».

В библиотеке Тургенева в Орле сохранились два издания Байрона, которыми он пользовался в конце 30-х — начале 40-х годов: The works of lord Byron. Complete in one volume. London; Leipzig, 1837 (на с. 613 строфа XXVII «Дон-Жуана» отмечена цифрой «V»); The complete works of lord Byron. Paris, 1835 (на титульном листе надпись: «И. Тургенев, 1841 г.»). Но данные издания не единственные, которые были в руках Тургенева, так как поэму Байрона «Манфред» он переводил еще до выхода этих книг.

Ст. 65. *Святых...*— Вероятно, сокращено цензурой. В английском подлиннике пропуск читается: «For an unholy usage» ‹для кощунственного употребления›.

Ст. 73—75. *Упали мертвыми... И мир был пуст...*— Эти стихи, возможно, также сокращены цензурой. В английском подлиннике пропущенные строки читаются: «Even of their mutual hideousness they died, Unknowing who he was upon whose brow Famine had written Fiend» ‹Они умерли при виде взаимного безобразия, Не зная, кто был тот, на чьем челе Голод начертал — Дьявол›.

РИМСКАЯ ЭЛЕГИЯ

(с. 56)

Печатается по тексту первой публикации.

Впервые опубликовано: *Петербургский сборник*, 1846, с. 512, с подписью «Ив. Тургенев».

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т, ПСС, 1898* (*«Нива»*), т. IX, с. 282—283.

Автограф неизвестен.

Датируется 1845 г., соответственно дате цензурного разрешения «Петербургского сборника» — 12 января 1846 г.

Перевод двенадцатой элегии из цикла Гёте «Римские элегии» (1790). Впервые двенадцатая элегия в составе всего цикла была переведена А. Н. Струговщиковым: Римские элегии. Сочинения Гёте. СПб., 1840.

Ранее, в письме к Т. Н. Грановскому от 4(16) декабря 1839 г., Тургенев писал: «Я всё не перестаю читать Гёте. Это чтение укрепляет меня в эти вялые дни. Какие сокровища я беспрестанно открываю в нем! Вообразите — я до сих пор не читал „Римских элегий". Какая жизнь, какая страсть, какое здоровье дышит в них! Гёте — в Риме, в объятиях римлянки! Особенно III-ая, V-ая, VII-ая, XII-ая и XV-ая. Эти элегии огнем пролились в мою кровь — как я жажду любви!» (наст. изд., Письма, т. I).

Белинский с похвалой отозвался о переводе Тургенева (см.: *Белинский*, т. IX, с. 575).

Ст. 1. *Слышишь? веселые клики с фламинской дороги несутся...*— Фламинская, вернее Фламиниева, дорога (Via Flaminia) — одна из старейших римских дорог, была проведена в 220 г. до н. э. цензором К. Фламинием от Рима через Этрурию в Аримин (Римини).

Ст. 4. *Сам надменный квирит доброй Церере венка.*— Квириты (quirites) — название римских граждан, преимущественно невоенных. Церера (у греков — Деметра) — богиня земледелия.

Ст. 6. *Давшей народу взамен жёлудя — хлеб золотой.*— О том, что первоначально люди питались желудями, см.: Вергилий. Георгики, 1, ст. 219—220.

Ст. 9. *Так — ты слыхала не раз о тайных пирах Элевзиса...*— Элевзис, или Елевсин,— город в 20 км от Афин, на берегу залива того же названия. Славился культом Деметры, празднества в честь которой назывались Елевзиниями и носили мистический характер. Гёте описывает здесь обряд посвящения в мистерию. «Тайные пиры» — неточный перевод подлинника: «mys-

tische Feier» (таинственное празднество, на котором посвящаемый должен был поститься, а затем вкусить от особого напитка из воды, меда и мяты).

Ст. 10. *Скоро в отчизну с собой их победитель занес.*— Под «победителем» подразумевается Рим, завоевавший Грецию.

Ст. 26. *Всё — Язиону царю ласково всё предала.*— Язион — сын Зевса, любимец Деметры (Цереры). Упомянут у Гомера:

Так Язион был прекраснокудрявой Деметрою избран;
Сердцем его возлюбя, разделила с ним ложе богиня
На поле, три раза вспаханном...

(«Одиссея» в переводе В. А. Жуковского, V, 125).

ДЕРЕВНЯ (I—IX)

(с. 58)

Печатается по тексту первой публикации.

Весь цикл впервые опубликован: *Совр*, 1847, № 1, с. 70—76, с подписью после последнего стихотворения: «И. Тургенев».

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т, ПСС, 1898* (*«Нива»*), т. IX, с. 264—271.

Автографы неизвестны.

Стихотворения датируются 1846 г., на основании их публикации в январском номере журнала за 1847 г. Это была первая книга журнала «Современник», вышедшая под редакцией Н. А. Некрасова и И. И. Панаева. 9 января 1847 г. Я. К. Грот спрашивал Плетнева, бывшего владельца «Современника»: «Как понравились тебе стихи Тургенева под заглавием: „Деревня“?» Плетнев отвечал 18 января 1847 г.: «Тургенева все стихи прелесть» (*Переписка Грота с Плетневым*, т. III, с. 4, 9).

В цикле «Деревня» объединены девять стихотворений, посвященных одной теме — описанию русской деревни. Более широко и многогранно эта тема развита в «Записках охотника». Первый рассказ из этого будущего цикла — «Хорь и Калиныч» — напечатан в том же номере «Современника», в отделе «Смесь». Здесь же помещен и первый фельетон Тургенева «Современные заметки». Таким образом, в первом номере «Современника», выпущенном новой редакцией, Тургенев выступил и как поэт, и как прозаик, и как фельетонист. Больше в качестве поэта Тургенев в печати не появлялся. «Деревня» — последнее из стихотворных произведений самостоятельного значения, напечатанных при его жизни.

В «Сборнике лучших произведений русской поэзии» (1858), составленном Н. Ф. Щербиной, напечатано стихотворение «Безлунная ночь» с небольшими расхождениями в тексте (см.: Ямпольский И. Г. О тексте стихотворений Тургенева...— *Т сб*, вып. 3, с. 46—47).

(ИЗ ПОЭМЫ, ПРЕДАННОЙ СОЖЖЕНИЮ)

(с. 65)

Печатается по автографу — *ГПБ*, ф. 795, № 13, где оно является эпиграфом к рассказу «Лес и степь». Слова (*Из поэмы, преданной сожжению*) помещены под текстом в качестве примечания.

Впервые опубликовано в отрывке (ст. 1—14) как эпиграф к рассказу «Лес и степь»: *Совр*, 1849, № 2, отд. I, с. 309, и так перепечатывалось во всех последующих изданиях этого рассказа. Полностью, как самостоятельное стихотворение, напечатано по тому же автографу в сборнике «Свиток», 1922, кн. 2, с. 117.

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т, СС*, т. X, с. 78.

Датируется 1848 г., соответственно дате письма Некрасова к Тургеневу от 17(29) декабря 1848 г., в котором говорится о том, что он уже получил для издания в «Современнике» рассказ «Лес и степь», а следовательно, и эпиграф к нему (см.: *Некрасов*, т. X, с. 121).

Помещено в «Сборнике лучших произведений русской поэзии» (1858), составленном Н. Ф. Щербиной, с ошибкой в ст. 3 («отрадны» вместо «огромны») — см.: *Т сб*, вып. 3, с. 46.

Из ст. 24: *Не хочет он другой, разумной воли* — в автографе вычеркнуты и заменены многоточием три последних слова.

ПОЭМЫ

ПАРАША

(с. 66)

Печатается по тексту первой публикации.

Впервые опубликовано отдельным изданием: Параша. Рассказ в стихах. Т. Л. Писано в начале 1843 года. СПб., 1843.

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т, ПСС, 1898 («Нива»)*, т. IX, с. 121—148.

Автограф неизвестен.

Датировано 1843 г.

В «Литературных и житейских воспоминаниях» Тургенев писал: «Около пасхи 1843 года в Петербурге произошло событие, и само по себе крайне незначительное и давным-давно поглощенное всеобщим забвением. А именно: появилась небольшая поэма некоего Т. Л., под названием „Параша“. Этот Т. Л. был я; этою поэмой я вступил на литературное поприще» («Вместо вступления».— Наст. изд., Сочинения, т. XI).

В момент выхода в свет «Параши» Тургенева в Петербурге не было. Хлопоты по завершению издания и распродаже тиража книги он поручил брату, Н. С. Тургеневу. 10(22) апреля 1843 г. Н. С. Тургенев сообщил автору «Параши» в Москву: «Описать тебе, что мне стоило труда, хлопот, ссор, езды и про-

чего, чтобы исторгнуть несчастную „Парашу“ из рук Эдуарда Праца,— невозможно и некогда. ⟨...⟩ При сем препровождаю к тебе шесть экземпляров. Ошибок, кажется, нет. ⟨...⟩ Корректуры держал я у Праца, просто жил у него ⟨...⟩ Заканчиваю пока. Время на почту. Лечу к Белинскому...»

В следующем письме к брату от 17(29) апреля 1843 г. Н. С. Тургенев писал, что «восемьсот экземпляров книги роздано книгопродавцам», и тут же добавлял: «Белинскому я сам доставил экземпляр, но не застал его дома, а потому отдал его слуге, сказавши, что от г. Тургенева» [1] (цит. по статье: Чернов Николай. «Первая песенка поется зардевшись».— Огонек, 1973, № 39, с. 11). Вскоре, в ближайшем майском номере «Отечественных записок», появилась хвалебная рецензия Белинского, посвященная «Параше».

Как справедливо заметил в упомянутой выше статье Н. М. Чернов, очевидно, Белинский прочитал «Парашу» еще в рукописи, одобрил намерение молодого поэта напечатать свое сочинение отдельной книгой и высказал желание написать на нее рецензию. Приветствуя появление нового таланта, Белинский писал, что стих поэмы обнаруживает в ее авторе «необыкновенный поэтический талант», а «верная наблюдательность, глубокая мысль, выхваченная из тайника русской жизни, изящная и тонкая ирония, под которою скрывается столько чувства,— всё это показывает в авторе, кроме дара творчества, сына нашего времени, носящего в груди своей все скорби и вопросы его» (*Белинский*, т. VII, с. 78). В статье «Русская литература в 1843 году», отмечая, что поэма «Параша» написана в том же роде, что и «Граф Нулин» Пушкина и «Казначейша» Лермонтова, Белинский подчеркивал: «Этот род поэзии гораздо труднее лирической, ибо требует не ощущений и чувств мимолетных, которые могут быть у многих, но и дара поэзии, и образованного, *умного* взгляда на жизнь, что бывает очень не у многих» (там же, т. VIII, с. 65). Положительная оценка «Параши» содержится также в письмах Белинского к В. П. Боткину от 10—11 мая 1843 г. и к самому Тургеневу от 8 июля того же года (там же, т. XII, с. 162 и 168).

Восторженное отношение Белинского к «Параше» отмечают и мемуаристы. К. Д. Кавелин писал, что «Белинский особенно восхищался стихом, где говорится о хохоте сатаны» (Кавелин К. Д. Собр. соч. СПб., 1899, т. 3, стлб. 1087).

По свидетельству П. В. Анненкова, Белинский открыл в «Параше» «признаки недюжинной авторской наблюдательности и способности выбирать оригинальную точку зрения на предметы» (*Анненков*, с. 241). В воспоминаниях о юности Тургенева Анненков отметил, что поэма понравилась не только Белинскому: «Мастерской рассказ далеко не затейливого происшествия в „Параше“ и свободное, ироническое отношение к действующим ее лицам имели так много свежести и молодого здорового чувства, что обратили на себя всеобщее внимание» (там же, с. 383).

---

[1] В «Литературных и житейских воспоминаниях», двадцать пять лет спустя, Тургенев писал, что экземпляр «Параши» к Белинскому отнес он сам (см. наст. изд., Сочинения, т. XI).

Пятый номер «Отечественных записок» за 1843 год со статьей Белинского о «Параше» вышел в свет в первых числах мая ст. ст. (ценз. разр. 30 апреля), а 9(21) мая появился отзыв об этой поэме в «Русском инвалиде». Анонимный автор обозрения «Петербургская хроника» вслед за Белинским писал: «Со смертью Лермонтова осиротел наш Парнас, и мы уже потеряли надежду услышать снова звуки русской лиры; появление „Параши" возвратило нас к надежде. ‹...› Все характеры, входящие в состав этой поэмы современных нравов, очерчены мастерски. В поэме нет ни уродливых образов, ни сверхъестественных восторгов, ни нелепых приключений — всё верно, просто, обыкновенно» (Русский инвалид, 1843, 9 мая, № 101). Критик «Литературной газеты», писавший о «Параше» в статье «Взгляд на главнейшие явления русской литературы в 1843 году», также находился под сильным воздействием суждений Белинского. Характерно, что он, как и рецензент «Русского инвалида», видел заслугу Тургенева в том, что тот «более всех других русских поэтов ‹...› приближается к новой школе поэзии, которая началась у нас Лермонтовым» (Литературная газета, 1844, 1 января, № 1). Близость отзывов о «Параше» в «Русском инвалиде» и «Литературной газете» дает некоторое основание предположить, что они принадлежат одному автору, очевидно, Некрасову, который впоследствии писал о своем активном участии и в той и в другой газете (см.: *Некрасов*, т. XII, с. 23) [1].

Положительно о первой поэме Тургенева отозвался также П. А. Плетнев, поместивший на нее рецензию в «Современнике». Отметив безыскусственность содержания «Параши», в которой «нет ни завязки, ни эпизодов, ни резких характеров и противоположностей,— а между тем всё поэзия, всё жизнь», Плетнев утверждал, что Тургенев совершенствовал свое мастерство «в лучшей школе стихотворного искусства (следственно, в школе Пушкина)», именно поэтому он «так свободен, так натурален» (*Совр*, 1843, т. XXXI, с. 106—109).

Отрицательная, почти издевательская рецензия на «Парашу» появилась в «Библиотеке для чтения» (1843, т. LVIII, июнь, отд. VI, с. 17—21). Очевидно, именно эта рецензия вызвала раздраженное отношение к поэме и у самого автора, выраженное в письме к П. А. Бакунину от 8(20) июня 1843 г.

В. П. Тургенева, мать писателя, как пишет в своих воспоминаниях В. Колонтаева (*ИВ,* 1885, октябрь, с. 63), была до слез растрогана появлением в печати сочинения своего сына и внимательно следила за журнальными откликами на «Парашу». Она была осведомлена о критическом разборе поэмы в «Библиотеке для чтения», сама прочитала положительную рецензию на нее в «Русском инвалиде», а затем и статью

---

[1] Принадлежность Некрасову обзора «Взгляд на дальнейшие явления русской литературы в 1843 году», напечатанного в «Литературной газете», обоснована в статье: Гин М. М. О двух приписанных Белинскому статьях.— Уч. зап. Кар.-Финск. ун-та, 1954, т. 4, вып. 1, с. 132—141; по поводу автора отзыва о «Параше» в «Русском инвалиде» было высказано предположение, что им был Белинский (см.: Громов В. А. «Параша» и «Разговор». Ранние отзывы о поэмах.— *Т сб*, вып. 4, с. 93—97).

в «Отечественных записках», написанную Белинским. В письме к Тургеневу от 25 июня (7 июля) 1843 г. она писала: «Не читала я критики, но в „Отечественных записках" разбор справедлив и многое прекрасно ⟨...⟩ Я — кухарка Вольтера — не умею выразить. Но — согласна, что то, что было похвалено в „Отечественных записках" — всё справедливо... Сейчас подают мне землянику. Мы деревенские, всё материальное любим. Итак, твоя „Параша" — твой рассказ, твоя поэма — пахнет земляникою» (Малышева И. М. Мать И. С. Тургенева и его творчество.— *Рус Мысль*, 1915, кн. XII, отд. XVIII, с. 113).

«Параша» была живым поэтическим явлением и в последующие годы. Так, в 1845 г. В. Н. Майков в рецензии на новое произведение Тургенева, «Разговор», назвал его «Парашу» «прекрасной поэмой» (Финский вестник, 1845, т. II, отд. V, с. 17). В 1846 г., разбирая только что появившийся «Петербургский сборник», где был напечатан «Помещик» Тургенева, Ап. Григорьев отмечал, что в этой поэме мелькают «задушевные вдохновения автора, его любимые мысли, те же, которые впервые и так свежо и благоуханно выразились в его „Параше". Вообще должно заметить, что г. Тургенев у нас еще мало оценен; еще не признана самобытность, особенность его направления, чему виною, впрочем, несамобытность его формы, всегда почти носящей клеймо Пушкина или Лермонтова; с первым роднит его помещичий элемент, с другим — современные вопросы» (Ведомости С.-петербургской городской полиции, 1846, 9 февраля, № 33) [1].

В 1848 г., подводя итог творчеству Тургенева за последние годы, Белинский был более сдержан в оценке «Параши». Холодность оценки этой поэмы в статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года» объяснялась изменением представления Белинского о размере и характере дарования ее автора. В 1848 г., когда самобытный талант Тургенева «обозначился вполне» (*Белинский*, т. X, с. 345), его первая поэма не могла не восприниматься Белинским как талантливое, но не органическое явление творческой биографии автора «Записок охотника».

В «Параше» чувствуется, как писал Белинский, «живая историческая последовательность литературных явлений» (там же, т. VII, с. 79). Устанавливая творческую зависимость Тургенева от Пушкина и Лермонтова, Белинский следующим образом пояснил свою мысль: «...быть под неизбежным влиянием великих мастеров родной литературы, проявляя в своих произведениях упроченное ими литературе и обществу, и рабски подражать — совсем не одно и то же: первое есть доказательство таланта, жизненно развивающегося, второе — бесталантности. ⟨...⟩ В стихах г. Т. Л. столько жизни и поэзии, в созерцании его столько истины и верности, что тут всякая мысль о подражательности нелепа» (там же).

О связи ранних поэм Тургенева с творчеством Пушкина и Лермонтова писали и позднейшие исследователи. Отмечалось,

---

[1] О принадлежности этой рецензии Ап. Григорьеву см.: Мордовченко Н. И. Неизвестная рецензия Ап. Григорьева на «Петербургский сборник» Некрасова (1846).— Уч. зап. Ленингр. пед. ин-та им. А. И. Герцена, 1948, т. XVII, с. 118.

что жанр «Параши», написанной в форме «рассказа в стихах», и ее повествовательный метод складывались под воздействием шуточных поэм Пушкина («Домик в Коломне», «Граф Нулин») и Лермонтова («Сашка», «Казначейша», «Сказка для детей») [1].

Считая, что «Параша» является своеобразной вариацией мотивов девичьей любви «Евгения Онегина» Пушкина, «намеренно лишенных их поэтического взлета, приближенных к тому, как обыкновенно в жизни „бывает“», Л. А. Булаховский вскрыл, с этой точки зрения, своеобразие стиля и лексики поэмы Тургенева (см.: Булаховский Л. А. Русский литературный язык первой половины XIX века. Изд. Киевск. гос. ун-та им. Т. Г. Шевченко, 1957, с. 99—101).

Высказывалась также мысль, что «Параша» написана под воздействием «Фауста» Гёте. А. Л. Бем считал, что влияние «Фауста» сказалось на художественной структуре поэмы, а история ее героини пародирует «трагедию Гретхен» (см.: Bem A. Faust bei Turgeniew.— Germanoslavica, 1932—1933, Jg. II, H. 4, S. 363). Эта точка зрения вызвала обоснованные возражения К. Шютц, которая не отрицает, однако, что в «Параше» отразился глубокий интерес Тургенева к «Фаусту» (см.: Schütz Katharina. Das Goethebild Turgeniews.— Sprache und Dichtung, H. 75. Bern; Stuttgart, 1952, S. 95). В сентябре 1843 г. Тургенев перевел «Последнюю сцену первой части „Фауста“ Гёте», а в 1844 г. написал обстоятельную рецензию на перевод «Фауста», сделанный М. Вронченко (см. наст. том, с. 22 и 197). Возможно, вставной романс в LVII строфе «Параши» является откликом на первое действие второй части «Фауста» и выполняет ту же художественную функцию, что и песня, которую исполняет там хор (см. примеч. к ст. 742—765).

Поэмы Пушкина и Лермонтова, «Фауст» Гёте сыграли существенную роль в творческой истории «Параши», однако ее создание подготавливалось и появившимися ранее лирическими произведениями ее автора (см.: Орловский С. Лирика молодого Тургенева. Прага, 1926, с. 98—104).

Тургенев впоследствии отрекался от своих стихов и поэм, тем не менее «Параша» органически связана и с его собственным творчеством, и с развитием реализма в русской литературе начала 1840-х годов (см.: наст. том, с. 436; Ямпольский И. Г. Поэзия И. С. Тургенева.— В кн.: *Т, Стихотворения и поэмы, 1970,* с. 42—43). Следует отметить при этом, что образ героини, Параши (любящей природу и книги, отличающейся естественностью и простотой в проявлении своих чувств, но, в то же время, максимально приближенной к обыденности

---

[1] Об этом см. в работах: Истомин К. «Старая манера» Тургенева. СПб., 1913; Эйхенбаум Б. М. Комментарий в кн.: *Т, Сочинения,* т. XI, с. 620; Островский А. Тургенев — поэт.— В кн.: *Т, Стих, 1950*, с. 24—26; Томашевский Б. Пушкин. М.; Л.: АН СССР, 1961, кн. II; Фридман Н. В. Поэмы Тургенева и пушкинская традиция.— Изв. АН СССР, Сер. лит. и яз., 1969, т. XXVIII, вып. 3, с. 233; Ямпольский И. Поэзия И. С. Тургенева.— В кн.: *Т, Стихотворения и поэмы, 1970.*

и прозе жизни), не получил развития в других произведениях Тургенева. Наталья («Рудин», 1856), Лиза («Дворянское гнездо», 1859) ближе по складу своих опоэтизированных натур к пушкинской Татьяне. Героини типа Параши впоследствии были изображены Панаевым в «Родственниках» (1846) и, отчасти, Гончаровым в «Обломове» (1859). И Наташа, и Ольга, пережив разочарование, выйдя замуж и погрузившись в быт, грустят, как и Параша, о несбывшемся (об этом см.: Русская повесть XIX века: История и проблематика жанра. Л., 1973, с. 329—330).

Ст. 23. *...помните Татьяну?* — Тургенев имеет в виду Татьяну Ларину из «Евгения Онегина» Пушкина.

Ст. 106. *Марлинского и Пушкина любила.*— *Марлинский* — литературный псевдоним писателя-декабриста А. А. Бестужева (1797—1837), автора романтических повестей, герои которых наделены исключительными характерами и сильными страстями. После статьи о Марлинском, написанной Белинским (*Отеч Зап*, 1840, № 2), творчество этого писателя стало своего рода эталоном выспренности и риторики и противопоставлялось истинно художественным созданиям Пушкина, с их верностью действительности и простотой. «Простота есть красота истины»,— писал Белинский в указанной выше статье о Марлинском (см.: *Белинский*, т. IV, с. 37).

Ст. 176—177. *...я назову Ее Парашей...*— Тургенев называет свою героиню Парашей вслед за Пушкиным («Домик в Коломне», «Медный всадник») и Лермонтовым («Сашка»); Парашей названа и героиня стихотворения «Федя» (наст. том, с. 40).

Ст. 183—185. *Москва, Москва* ∾ *Я потерял бывалые права...*— В связи с переездом в Петербург в 1834 году, после семилетнего пребывания в Москве.

Ст. 196—208. По поводу строфы XVI Белинский писал: «В этих *тринадцати* стихах такая полная картина, что вам ничего не остается ожидать к ее дополнению, хотя, в то же время, вы знаете, что тысячи других поэтов могли бы ту же картину представить вам совсем иначе, совсем другими словами. Природа неистощима в своем разнообразии, и дело не в том, чтобы поэзия представляла ее в сколько можно обширных и сложных картинах, а в том, чтоб она умела схватить особенность каждого ее явления. Лето — везде лето: везде от него и жарко, и душно, и пыльно; но в Неаполе свое лето, в России — свое. Первое вы сейчас видели; вот второе...» (*Белинский*, т. VII, с. 70). Далее Белинский цитировал строфу XVII. И. М. Гревс считает, что в строфе XVI нашли отражение впечатления Тургенева от Неаполя (Гревс И. М. Тургенев и Италия. М., 1925, с. 47).

Ст. 401. (*И от толпы с презреньем отчуждался*).— В тексте первой публикации было: «От толпы с презрением отчуждался». По поводу этой строки Белинский писал: «...в стихе: „От толпы с презрением отчуждался“, вероятно, есть опечатка и его должно читать так: „*Он* от толпы с презреньем отчуждался“» (*Белинский*, т. VII, с. 79). В первом собрании поэтического наследия Тургенева (*Т, Стих, 1885*, с. 16) эта строка перепечатана без изменения. Впервые поправка внесена в издании: *Т, Стих, 1891*, с. 16.

Ст. 410—412. *Российский бес ∾ куда какой аристократ!* — Ср. у Лермонтова в «Сказке для детей»: «Но этот чёрт совсем иного сорта — Аристократ и не похож на чёрта». Впоследствии русская традиция в обрисовке своего «природного» беса, который «и толст и простоват», была продолжена Ф. М. Достоевским в романе «Братья Карамазовы» (1879—1880.— См.: *Достоевский*, т. 15, с. 70—71 и 466—461).

Ст. 742—765. *«В теплый вечер ∾ В твой забытый уголок!»* — А. Бем считал, что эти стихи написаны Тургеневым по аналогии с песенкой Гретхен (см.: Germanoslavica 1932—1933, Jg. II, H. 4, S. 363). Вероятнее всего, однако, этот романс, выполняющий функцию хора в античных трагедиях, восходит к песне, которую поет во второй части «Фауста» хор (Акт I). Это сближение тем более обоснованно, что Тургенев, вслед за Гёте, избрал для своих стихов четырехстопный хорей. В 1858 г. эти стихи были напечатаны с некоторыми изменениями как самостоятельное сочинение в «Сборнике лучших произведений поэзии», изданном в Петербурге Н. Щербиной. В отличие от первой публикации ст. 745 там читается: «Благовоннее цветы»: ст. 757 — «Сердце пылкое твое», а ст. 762—765 отброшены. Повидимому, исправления были сделаны самим Тургеневым. Так, последние строки могли быть исключены им под воздействием Белинского, который в рецензии на «Парашу» назвал одну из этих строк («Прилетел жених... достойный») «прозаической» (*Белинский*, т. VII, с. 75; ср. Ямпольский И. Г. О тексте стихотворений Тургенева в «Сборнике лучших произведений русской поэзии» (1858).— В кн.: *Т сб*, вып. 3, с. 46—47).

РАЗГОВОР

(с. 94)

Печатается по тексту первой публикации.

Впервые опубликовано отдельным изданием: «Разговор. Стихотворение Ив. Тургенева (Т. Л.)». СПб., 1845, с цензурными пропусками в стихах: 36—41, 146—147, 354, 604—607. Полностью — в издании: *Т, Стих, 1885.* В настоящем издании цензурные пропуски восстанавливаются по изданию: *Т, Стих, 1891*, где поэма напечатана также полностью, без купюр. Отсутствие разночтений между изданиями 1885 и 1891 гг. заставляет предполагать, что в основе их лежал один и тот же автограф. Но в издании 1891 г. этот автограф воспроизведен полнее: вступлению к поэме здесь предшествует подзаголовок: «Посвящено ***», отсутствующий в других изданиях; в подстрочных сносках С. Н. Кривенко привел некоторые черновые варианты текста.

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т, ПСС, 1898 («Нива»)*, т. IX, с. 149—172.

Автограф в настоящее время неизвестен. В примечаниях к поэме в *Т, Стих, 1891* о нем сообщается: «Находящаяся у нас рукопись представляет, по всем вероятиям, черновик, потому что переполнена множеством помарок и поправок. Поправки эти существенного значения не имеют, но для людей, изучающих собственно процесс поэтического творчества, представляют

некоторый интерес. Участвующий в разговоре старик везде называется монахом и отшельником и преобразился в старика, вероятно, исключительно в видах цензурных. На стр. 4, 9 и 14 зачеркнуто и отчеркнуто несколько стихов, с отметкою на полях: „выкинуть ради цензуры"; но все места эти, внушавшие автору опасения, не были вымараны цензурой. В начале рукописи написано рукою И. С.: „Разговор. Стихотворение Ив. Тургенева (Т. Л.) 777 стихов", а в конце сделана пометка: „20 августа, 1844 г. С. Парголово"» (*Т, Стих, 1891*, с. 253; ср.: *Т, Сочинения*, т. XI, с. 621; *Т, СС*, т. X, с. 612).

Сохранился беловой автограф отрывка (ст. 386—411) с пометой автора: «Петербург, 15-го мая 1844» (*ИРЛИ*, ф. 445, № 536). Отрывок записан на отдельном листе, с подписью автора, и представляет собой, вероятно, подносной автограф для альбома. Текст автографа обработан так, чтобы его можно было прочесть и понять независимо от предшествующего текста: первый стих отрывка, соответствующий ст. 386 поэмы, написан слитно, как начало монолога. «Любил, как ты... любил и я...» Между тем в поэме ст. 386 разделен между двумя репликами диалога. Запись представляет собой отрывок поэмы в ее первоначальной редакции, совпадающей с черновыми вариантами, сообщенными С. Н. Кривенко.

Поэма датируется (по последней помете) 20 августа 1844 г.

Время создания поэмы определяется этой и предшествующими датами на автографе и в печатном тексте. Автограф *ИРЛИ* датирован 15 мая 1844 г. Очевидно, к этому времени была готова первая редакция, из которой выписан отрывок. Так как Тургенев лишь 5 мая ст. ст. вернулся в Петербург из Москвы, где прожил с февраля 1844 г., то можно предположить, что именно в Москве, в марте-апреле, он и работал над первой редакцией поэмы. В июле 1844 г. на даче в Парголове он стал обрабатывать поэму для печати (вступление к ней помечено: «Июль 1844»). Переработка закончена к 20 августа 1844 г. (см.: *Т, Стих, 1891*, с. 253).

Поэма отразила атмосферу идеологических споров в кругу московских и петербургских друзей Тургенева.

Есть основания предполагать, что поэма посвящена В. Г. Белинскому, с которым Тургенев особенно сблизился летом 1844 г. Познакомившись в начале 1843 г. и на протяжении всей зимы 1843/44 г. часто встречаясь в Петербурге, они вели многочасовые разговоры по вопросам общественным, философским, литературным (см.: письмо Белинского к В. П. Боткину от 31 марта (3 апреля) 1843 г.— *Белинский*, т. XII, с. 154; статьи Тургенева «Встреча моя с Белинским» (1860) и «Воспоминания о Белинском» (1869).— Наст. изд., Сочинения, т. XI). Летом 1844 г. Тургенев, живя на даче в Парголове, ежедневно навещал Белинского, проводившего лето неподалеку от него, в Лесном (см. воспоминания А. В. Орловой в кн.: Лепта Белинского. М., 1892, с. 16—17).

Стихотворение Тургенева «Толпа» (1843), очень близкое по проблематике к поэме и посвященное автором Белинскому, в журнале «Отечественные записки» появилось без посвящения (подробнее об этом см. в примечании к стихотворению «Толпа», наст. том, с. 448). Возможно, что Тургенев, огорченный судьбой

этого посвящения, повторил его в поэме «Разговор», но в зашифрованном виде.

В конце августа или в сентябре 1844 г. Тургенев обратился с письмом к А. В. Никитенко, которого просил процензуровать текст поэмы: «Пользуюсь Вашим позволением и прошу Вас убедительно немножко поспешить просмотрением прилагаемой при сем безделки; Краевскому она нужна в октябрьский № „Отечественных записок“ и он меня просил подвергнуть ее сперва Вашему суждению; его пугает слово „Монах“ — но Вы увидите, что монах у меня человек весьма почтенный; некоторые стихи я сам зачеркнул, потому что чувствовал их неуместность; а потому я и надеюсь, что Вы к остальным будете снисходительны. Белинский хотел у Вас быть послезавтра; могу ли я надеяться, что Вы ему дадите какой-нибудь ответ?..» По свидетельству С. Н. Кривенко, не все предложенные самим Тургеневым цензурные исправления и сокращения вошли в окончательный текст. Этим, по всей вероятности, и объясняется расхождение между количеством стихов, указанным автором в рукописи (777), и их фактическим количеством (780). Поэма «Разговор» не была напечатана в журнале. К концу 1844 г. относится переписка между Тургеневым и Белинским, отразившая последний этап работы писателя над текстом своего произведения. Тургенев писал: «Любезный Белинский, вот Вам 2-я корректура „Разговора“ 〈...〉 Всё, что Вы заметите, отметьте *карандашом*...» На обратной стороне записки Тургенева Белинский отвечал:

«И звезды вечные высоко над землею
Торжественно неслись в *надменной тишине*.

Что такое: надменная тишина? — Великодушный кисель?

Насупленные, седые, густые брови — всё равно, но с одним из двух последних эпитетов стих ловчее и звучнее.

Стр. 12. стих 4: *птица вспуганная*; в русском языке нет глагола *вспугать*, а есть глагол *спугнуть*; поставьте: птица *спугнутая*.

Ст. 20: *обильной* (?) матери людей: изысканно и темно» (*Белинский*, т. XII, с. 247—248). Тургенев учел все замечания Белинского и исправил стихи 15—16, 115, 171, 367.

Поэма «Разговор» вызвала в печати многочисленные и разноречивые отклики, что свидетельствовало о большой идейной значимости этого произведения. Голоса критиков разделились на две группы. Те, для кого была неприемлема или непонятна идейная проблематика поэмы, подвергли ее резкому осуждению прежде всего со стороны художественной. Так, «Библиотека для чтения» упрекала Тургенева за нарушение привычных поэтических норм, а также невыразительность языка (*Б-ка Чт*, 1845, т. LXVIII, отд. VI, с. 21—28). «Метафизическим», далеким от действительности произведением была названа поэма «Разговор» в рецензии П. А. Плетнева, напечатанной в журнале «Современник». Похвалив первые 16 стихов поэмы (вступление), рецензент критикует автора за то, что «мысли его сбивчивы, не полновесны, часто ложны; а в красках совершенно нет ни живости, ни верности» (*Совр*, 1845, т. XXXVII, № 3, отд. «Новые сочинения», с. 308).

Наиболее мотивированный отрицательный отзыв получила поэма в журнале «Москвитянин», где К. С. Аксаков выступил с критикой антиславянофильских тенденций в поэме Тургенева, отличающейся, по мнению критика, ложным отношением автора к «предкам» [1]. Полемика по идейной линии сопровождалась в статье уничтожающей характеристикой стиля поэмы, ее подражательности, зависимости от поэтики Лермонтова и т. д. (Москвитянин, 1845, ч. I, № 2, Библиография, с. 49—53).

Противоположную позицию в оценке поэмы Тургенева заняла демократическая критика. Горячо поддержав писателя в его идейных устремлениях, выраженных в поэме «Разговор», критики этого лагеря высоко оценили художественные достоинства произведения, посвященного животрепещущим вопросам современности. «...Автор дарит нас новым произведением, которое богатством своего содержания, своим поэтическим достоинством, сильною энергиею и глубокою мыслию не может не обратить на себя внимания людей просвещенных и мыслящих. Содержание нового произведения г. Тургенева составляет разговор между стариком и молодым человеком, из которых каждый является до некоторой степени представителем своего поколения с его мечтами, желаниями, с его любовью, страстями, требованиями и взглядом на жизнь»,— писал В. Н. Майков (Финский вестник, 1845, т. II, Библиогр. хроника, с. 17—22).

Еще более определенную точку зрения выразил в «Отечественных записках» Белинский. В обзоре «Русская литература» он писал: «Имя г. Тургенева, автора „Параши", еще ново в нашей литературе; однако ж уже замечено не только избранными ценителями искусства, но и публикою. Только истинный, неподдельный талант мог быть причиною такого быстрого и прочного успеха. И действительно, г. Тургенев — поэт в истинном и современном значении этого слова ⟨...⟩ Крепкий, энергический и простой стих, выработанный в школе Лермонтова, и в то же время стих роскошный и поэтический, составляет не единственное достоинство произведений г. Тургенева: в них всегда есть мысль, ознаменованная печатью действительности и современности и, как мысль даровитой натуры, всегда оригинальная». И далее: «...всякий, кто живет и, следовательно, чувствует себя постигнутым болезнию нашего века — апатиею чувства и воли, при пожирающей деятельности мысли,— всякий с глубоким вниманием прочтет прекрасный, поэтический „Разговор" г. Тургенева и, прочтя его, глубоко, глубоко задумается...» (*Отеч Зап*, 1845, т. XXXVIII, № 2, отд. VI, с. 47—50). Белинский неоднократно высказывался о поэме «Разговор» и каждый раз как о явлении значительном и ярком (см. статьи: «Физиология Петербурга», «Русская литература в 1845 году» — *Белинский*, т. IX, с. 218 и 390, а также письмо Белинского к Тургеневу — там же, т. XII, с. 248).

Доведенную до совершенства поэтическую форму, соответствующую романтическому содержанию, увидела в поэме «Разговор» зарубежная критика. Процитировав несколько отрывков текста, немецкий рецензент этой поэмы писал: «Очевид-

[1] Рецензия ошибочно приписывалась И. С. Аксакову. См. об этом в изд.: *Т, Стихотворения и поэмы, 1970*, с. 434.

но, что романтизм еще в полной мере процветает и что лунные ночи, могильные видения, тоска и стремление к призрачным целям все еще пользуются достаточным вниманием в русской литературе и критике. Приведенные отрывки, подчеркивающие разницу в любовных воспоминаниях старика и молодого человека, показывают отличие одного поколения от другого и, кроме того, имеют то преимущество, что со всей очевидностью обнаруживают простоту, плавность и гармонию языка обоих персонажей, особенно юноши» (Jahrbücher für slavische Literatur, Kunst und Wissenschaft, hrsg. v. J. P. Jordan. Leipzig, 1845, H. 4, S. 124).

Злободневность произведения, встретившего такой широкий отклик в критике, заключалась в том, что Тургенев всем содержанием своей поэмы ставил наиболее актуальные для 40-х годов XIX в. общественные вопросы — об исторической преемственности освободительных идей, об активном деятеле, гражданине и борце, в котором больше всего нуждалась эпоха последекабристской реакции.

Действующие лица поэмы — старик и молодой человек — представляли два поколения: ушедшее уже с исторической сцены героическое поколение 10—20-х годов, выдвинувшее деятелей Отечественной войны и декабристов, и поколение современников Тургенева, «лишних людей», болезненно, но пассивно переживавших духовный и политический застой в России 30—40-х годов.

Сама по себе тема двух поколений не была уже новой в русской литературе. Еще в 30-х годах с той же гражданской скорбью писал о бескрылости молодого племени Лермонтов в «Бородине», в «Думе», в романе «Герой нашего времени». Созвучные размышления Тургенева складывались из таких же высоких, как у Лермонтова, представлений об идеальной, свободной и сильной личности (ср. «Мцыри»), об «истине святой», об очистительной силе общественных битв и гроз, о взаимоотношениях героя и толпы, писателя и народа (ср. стихотворения Тургенева «Когда я молюсь», «Толпа» — 1843 г., «Один, опять один я...» — 1844, «Исповедь» — 1845). Общность мотивов у Лермонтова и Тургенева определила во многом и общность поэтического языка, ритмики, интонаций, отдельных образов, на что неоднократно указывала критика (см. литературу вопроса в статье: Габель М. О. Образ современника в раннем творчестве И. С. Тургенева.— Уч. зап. Харків. держ. бібл. ін-ту. Питання літератури. Харків, 1959, вип. 4, с. 47—48).

Но не на все волновавшие обоих писателей вопросы они ответили одинаково. Есть в поэме «Разговор» знаменательные строки, относящиеся к старику. Молодой человек спрашивает его: насколько плодотворны были подвиги его поколения, какую пользу принесли они внукам, насколько вырос народ благодаря их доблестным трудам? (стихи 740—750). Молодой человек упрекает старика в том, что он покинул «бренный» мир (стихи 657—658) и вместе со своими сподвижниками поспешил, как и внуки, уйти «на покой бессмысленный», с работы «трудной — но пустой» (стихи 748—750).

Идейное значение этого места поэмы весьма велико. Преклоняясь перед памятью людей, превыше всех личных интересов

ставивших служение общественному долгу, перед красотой и цельностью героических натур прошлого, сохранив романтический пафос повествования, самый лексикон гражданской лирики 20—30-х годов и образную символику революционного романтизма («унылая тьма», «великая тишина», «утренняя заря», «живительная гроза» в применении к общественной жизни), Тургенев в то же время заговорил об исторической ограниченности вольнолюбивых идеалов предшествующих поколений, более широко поставив вопрос о народе, благосостояние которого является мерилом исторического прогресса.

С новых позиций, с позиций *народного осуждения*, пересматривался Тургеневым и вопрос о политической пассивности современного поколения — дворянской интеллигенции 40-х годов. В идейно связанном с поэмой «Разговор» и посвященном В. Г. Белинскому стихотворении «Толпа», где также идет речь о болезненной рефлексии и безвольных, бездеятельных страданиях лирического героя, в котором типизированы черты других — близких писателю современников, суд над этими современниками вершит народ или, по традиционной терминологии, толпа, которую автор называет «великой», «сильной», растущей «как море в час грозы» («Страданий тех толпа не признает ⟨...⟩ Болезнию считает своенравной. И права ты, толпа!..»).

Наконец, наследуя у Лермонтова романтический пафос борьбы и развивая идею «отрицания», Тургенев говорит не только о разрушительных, но и о созидательных силах отрицания, о борьбе со старым во имя нового, о символическом рассвете, который неизбежно следует за ночною тьмой и грозовыми тучами. В этих настроениях и выразилась близость Тургенева в тот период к революционно-демократическим кругам и в частности к Белинскому.

Проблематика поэмы Тургенева так тесно была связана с «действительной жизнью», по выражению самого писателя, что неоднократно делались попытки связать и самый текст поэмы с конкретными событиями и лицами. В частности, судьба старика отшельника в поэме часто рассматривалась как намек на судьбу декабристов, а в целом всё содержание поэмы понималось как аллегорическая картина декабризма (см. соответствующие гипотезы и утверждения в работах: Сакулин П. Н. На грани двух культур: И. С. Тургенев. М., 1918, с. 37; Бродский Н. И. С. Тургенев. М., 1950, с. 46; Островский А. Тургенев — поэт.— В кн.: *Т, Стих*, 1950, с. 29—31, и др.).

М. О. Габель, оспаривая мысль о том, что Тургенев точно воспроизводил в своей поэме революционную действительность 20-х годов, в то же время ссылается на запись в дневнике Герцена от 7(19) марта 1844 г. о смерти на поселении одного из главных членов Южного общества, Юшневского, и его друга Вадковского. По мнению исследовательницы, фигура старика в поэме связана с мыслями Тургенева об этих декабристах (Габель М. О. Указ. статья, с. 50). Однако текст поэмы не дает оснований для такого конкретного толкования образа старика. Упоминание о «великих, истинных победах» едва ли может по смыслу относиться прямо к движению декабристов. Скорее всего, характеристику героического поколения прошлого надо понимать расширительно как относящуюся

не только к декабристам, но — в большей мере — к героям Отечественной войны 1812 года.

В поэме, кроме реминисценций из «Мцыри» Лермонтова (ст. 71—72), отмечались реминисценции из «Полтавы» Пушкина (ст. 176—177). Об этом см. в кн.: *Т, Стихотворения и поэмы, 1970*, с. 435.

АНДРЕЙ

(с. 116)

Печатается по тексту первой публикации.

Впервые опубликовано: *Отеч Зап*, 1846, т. XLIV, № 1, отд. I, с. 1—32, с подписью «Ив. Тургенев» и датой «1845».

В собрание сочинений впервые включено в издании *Т, ПСС, 1898* (*«Нива»*), т. IX, с. 194—233.

Автограф неизвестен. Сохранилась недатированная копия — *ИРЛИ*, ф. 93, оп. 2, № 258. В первом издании «Стихотворений И. С. Тургенева», вышедшем в 1885 г., имеется следующее примечание: «Поэма эта в рукописи была названа „Любовь", потом это заглавие зачеркнуто и сверху написано „Андрей"» (с. 228). У редактора второго издания «Стихотворений И. С. Тургенева» (1891) С. Н. Кривенко имелся, очевидно, черновой (неполный) автограф поэмы. Сличение разночтений между этим автографом и текстом публикации поэмы в первом издании «Стихотворений И. С. Тургенева», на которые указывает в своем предисловии С. Н. Кривенко (с. II—III), с текстом первой публикации «Андрея» в «Отечественных записках» свидетельствует, что большинство приведенных разночтений мнимые: это — опечатки и только два из них являются результатом дополнительной авторской правки текста поэмы либо перед сдачей ее в набор, либо в корректуре.

Первоначально было: ст. 164. *Сияет весь... За стулья боязливо*; ст. 169. *Меж тем, пока зашла меж ними речь.*

Датируется первой половиной 1845 г. на основании письма Тургенева к Белинскому от 28 марта (9 апреля) 1845 г., в котором Тургенев сообщал, что он завершает работу над поэмой «Недолгая любовь» (первоначальное название «Андрея»).

В статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года» Белинский назвал поэму «Андрей» в числе замечательных произведений, вышедших в этом году (*Белинский*, т. X, с. 37). Однако годом позже при сопоставлении поэмы с другими произведениями Тургенева Белинский в целом считал ее неудавшейся, несмотря на то, что в ней «много хорошего, потому что много верных очерков русского быта» (там же, с. 345).

Интересные воспоминания о работе Тургенева над этой поэмой оставила В. Колонтаева. Она рассказывает, что Тургенев писал «Андрея» летними вечерами 1845 года в Спасском, «уединившись в свою комнату и читая самому себе вслух написанное, чтобы, так сказать, испытать благозвучность стихов и исправить то, что режет ухо и нарушает гармонию стиха» (*ИВ*, 1885, т. XXII, № 10, с. 64).

Стр. 116. *«Дела давно минувших дней».*— Эпиграф взят из поэмы Пушкина «Руслан и Людмила» (песнь I, ст. 36).

Ст. 55—56. *Скучал он ∾ потомок выходцев-татар.*— Тургенев противопоставляет романтическую тоску разочарованного и озлобленного героя поэмы Байрона «Корсар» (1814), наделенного сильными страстями, скуке представителя русского дворянства. Значительная часть русских дворянских родов вела свое начало от татарских царевичей и мурз, принятых русскими князьями в целях самозащиты на военную службу. Родоначальником той ветви Тургеневых, к которой принадлежал писатель, был мурза Лев Тургенев, поступивший на русскую службу при великом князе Василии Васильевиче (1425—1462) и получивший при крещении имя Иван. Ср. о том же в записке «Несколько замечаний о русском хозяйстве и русском крестьянине» (1842; наст. том, с. 419).

Ст. 253. *Известный марш Бетховена...*— Имеется в виду «Похоронный марш», составляющий вторую часть третьей, «Героической симфонии» (1804) Бетховена, существовавшей в то время в различных облегченных транскрипциях для фортепьяно.

Ст. 275—276. *«Соловей Мой, соловей!»* — романс А. А. Алябьева (1787—1851) на слова поэта А. А. Дельвига (1798—1831).

Ст. 518—520. *Нужно ль объясненье Того, что несомненней и ясней (Смотри Шекспира) солнечных лучей?* — Тургенев, возможно, имеет в виду следующее место из письма Гамлета к Офелии («Гамлет», акт II, сцена 2):

Doubt thou the stars are fire;
Doubt that the sun doth move;
Doubt truth to be a liare
But never doubt I love!

⟨Сомневайся, что звезды горят, сомневайся, что солнце движется в небесах, сомневайся, что истина не может быть лжецом, но никогда не сомневайся, что я тебя люблю!⟩

Эти стихи Шекспира Тургенев вспоминал впоследствии в письме к М. А. Милютиной от 7(19) февраля 1868 г. Цитируя по памяти, он писал: «Кажется, Ромео говорит у Шекспира: „сомневайся в солнце, в боге, но в любви моей не сомневайся“».

Ст. 532. *...глядел не то Фоблазом...*— Фоблаз — герой романа Ж.-Б. Луве де Кувре (1760—1797) «Жизнь и любовные похождения кавалера де Фобласа» (1787—1791, русский перевод 1792—1796 гг.) — классический тип легкомысленного, увлекающегося аристократа, вся жизнь которого является цепью любовных приключений.

Ст. 540. *О Турции, гонимой злобным роком...*— В середине XIX в. Турция переживала глубокий внутренний кризис, вызванный начавшимся процессом распада феодальной Османской империи. Внутренняя слабость Турции способствовала превращению ее в полузависимую страну. Борьба за сферы влияния в Турции велась между Англией, Францией и Россией.

Ст. 681—682. *Но Боссюэт сказал: «Всему земному Командуется: марш!»* — Тургенев имеет в виду французского проповедника и писателя Боссюэ (1627—1704), писавшего о божест-

венном предопределении в историческом процессе. Мысль эта развита им в «Discours sur l'histoire universelle» (1681; издание этой книги, вышедшее в Париже в 1771 г., находилось в библиотеке Тургенева в селе Спасском и хранится ныне в Государственном музее Тургенева в Орле) и особенно в книге «Politique tirée de l'Ecriture Sainte» (1709).

Ст. 684. *...стой вот здесь навек!* — Ср. у Гёте — «Фауст», ч. II, акт 5, последний монолог Фауста:

Zum Augenblicke dürft' ich sagen:
Verweile doch, du bist so schön!

⟨Мгновению мог бы я сказать: остановись же, ты так прекрасно!⟩

Ст. 838. *И сапоги запихивал в карман...* — Д. Языков предложил иное чтение этого стиха: «И пироги запихивал в карман» (*ИВ*, 1885, № 7, с. 222). Редактор второго издания стихотворений Тургенева (1891) С. Н. Кривенко принял «поправку», но в предисловии выразил сожаление, что согласился с Д. Языковым, который, как оказалось, не имел никаких документальных подтверждений для своей догадки. В изданиях *Т, Сочинения*, и *Т, СС* этот стих и слова: *Тяжело в последний раз Смотреть в лицо любимое* в стихах 1010—1011 печатались курсивом на том основании, что эти места в копии *ИРЛИ* подчеркнуты. В результате изучения копии установлено, что подчеркивания в ней носят случайный характер и внесены переписчиком. Так, кроме указанных выше мест, в копии подчеркнута вся 58 строфа I части и на полях возле нее поставлен знак NB!

Ст. 1049—1246. Письмо Дуняши к Андрею имеет не одни литературные источники (ср., например, письмо Татьяны в «Евгении Онегине» Пушкина). Л. В. Крестова в статье «Татьяна Бакунина и Тургенев» доказывает, что Тургенев при работе над этой частью поэмы воспользовался письмами Т. А. Бакуниной к нему самому (*Т и его время*, с. 46—50).

Ст. 1184—1185. Источник цитаты не установлен. Ср. у Пушкина в «Письме Татьяны к Онегину»: «Зачем вы посетили нас? В глуши забытого селенья Я никогда не знала б вас, Не знала б горького мученья» («Евгений Онегин», гл. 3).

ПОМЕЩИК

(с. 153)

Печатается по тексту первой публикации.

Впервые опубликовано: *Петербургский сборник*, с. 169—202, с подписью — «Ив. Тургенев», с рисунками А. Агина, гравированными на дереве Е. Бернардским. В этой публикации ряд стихов исключен и заменен точками, очевидно, по требованию цензуры (строфы XIII, между ст. 198 и 199; XVI, между ст. 241 и 242). Выпущенные места, за отсутствием рукописи, не могут быть восстановлены. Исключение — стих между ст. 198 и 199 в строфе XIII, который имеется в списке поэмы, сохранившемся в архиве П. И. Вейнберга (*ИРЛИ*, ф. 62, оп. 3, № 17). Здесь он приведен в следующем виде: «[Состарившись] Соскучившись

на службе царской» (см.: Ямпольский И. Г. «Помещик». К цензурной истории поэмы.— В кн.: *Т сб*, вып. 3, с. 45).

Первоначально, по-видимому, предполагалось, что эта поэма будет выпущена отдельным изданием, подобно «Параше» (1843) и «Разговору» (1845). Однако сам Тургенев воспротивился этому и 28 марта (9 апреля) 1845 г. писал Белинскому: «Некрасов просит меня через брата отдать ему по обещанию «Помещика» — и требует ответа. Я всё это дело предоставляю совершенно на ваше благоусмотрение, хотя не могу сказать, чтобы мне хотелось напечатать эту вещь отдельно; мне кажется даже, что она совсем не годится для отдельного напечатания» (наст. изд., Письма, т. I). Учтя соображения автора, Некрасов решил напечатать эту повесть в стихах в «Петербургском сборнике» и 7(19) июня 1845 г., посылая А. В. Никитенко поэму Тургенева «Помещик» и роман Достоевского «Бедные люди», просил к сентябрю «просмотреть эти рукописи». Однако лишь 30 октября 1845 г. член С.-Петербургского цензурного комитета А. В. Никитенко прочитал в очередном заседании комитета несколько «сомнительных» мест из поступившей на его рассмотрение поэмы Тургенева «Помещик». Внимание цензора привлекли два едких упоминания о «богомолье» и строфа XXVIII. Несмотря на сомнения А. В. Никитенко, С.-Петербургский цензурный комитет, «не находя в сих стихах ничего противного правилам цензуры, определил: позволить их к напечатанию» (см.: Оксман Ю. Г. Цензурная справка о «Помещике» Тургенева.— В кн.: Оксман Ю. Г. И. С. Тургенев. Исследования и материалы. Одесса, 1921, вып. 1, с. 109—110).

Когда в 1857 г. Некрасов решил перепечатать поэму «Помещик» в одном из сборников «Для легкого чтения» (предполагалось, что в томе V), Тургенев, узнав об этом из объявления, напечатанного редактором (*Совр*, 1856, № 12, отд. IV, с. 49), был очень встревожен возможностью появления в новом издании XXVIII строфы ее. Он написал четыре письма: П. В. Анненкову 6(18) января 1857 г., И. П. Панаеву 12(24) января 1857 г., Д. Я. Колбасину 26 января (7 февраля) 1857 г. и Н. А. Некрасову 22 ноября (4 декабря) 1857 г.; во всех четырех письмах содержится категорическое требование изъять из текста перепечатки указанную строфу.

«Помещик» был перепечатан в VII томе сборника «Для легкого чтения» (1857) без XXVIII строфы, замененной строкою точек. Кроме того, были выпущены, вероятно, по требованию цензуры, начальные стихи (417—420) строфы XXVII и искажен — возможно, также по цензурным причинам — стих 539 (в строфе XXXIV). Вследствие этого поэма в настоящем издании печатается по тексту первой, а не второй прижизненной публикации.

Славянофильское учение всегда было чуждо Тургеневу, а его внешние проявления (в одежде, языке и пр.) вызывали не раз его насмешки. Так, иронические выпады против славянофилов и, в частности, против К. С. Аксакова находятся в двух рассказах из «Записок охотника» — «Хорь и Калиныч» и «Однодворец Овсяников» (см. комментарии к ним в томе III наст. изд.). Отмечая это свойственное молодому Тургеневу отношение

к славянофилам, Белинский писал В. П. Боткину 31 марта 1843 г.: «В нем ‹Тургеневе› есть злость и желчь, и юмор, он глубоко понимает Москву и так воспроизводит ее, что я пьянею от удовольствия. А как он воспроизводит Аксакова с его кадыком и идеализмом» (*Белинский*, т. XII, с. 151). Но с начала 50-х годов, после возвращения Тургенева из-за границы, произошло сближение между ним и семьей Аксаковых. Это вызвало интенсивную переписку, затрагивающую самые разнообразные вопросы, преимущественно литературы, истории и общественной жизни страны. Сближение Тургенева с Аксаковыми не касалось, однако, основных идеологических вопросов, славянофильское понимание которых было по-прежнему не приемлемо для него (об этом свидетельствуют, например, дневниковые записи В. С. Аксаковой за 1855 год.— «Дневник». СПб., 1913, с. 41, 42). Позднее личные и эпистолярные сношения Тургенева с Аксаковыми ослабели. В 1857 г., когда возник вопрос о перепечатке «Помещика» в сборнике «Для легкого чтения», Тургенев, находившийся за границей, не общался лично с К. С. Аксаковым и переписки между ними почти уже не было. Однако это обстоятельство не могло изменить его требования об исключении XXVIII строфы. Последнее объясняется, вероятно, тем, что строфа допускала возможность намека на К. С. Аксакова из-за чисто внешних реалий («кадык», «шапка-мурмолка»).

Слова же «западных людей бранит и пишет... донесенья» в условиях 1845—1846 годов означали политического доносчика, писавшего доносы в III отделение в борьбе против Белинского и его друзей — «западников». Но и тогда, в разгар споров между «западниками» и славянофилами, это обвинение отнюдь не могло относиться к идеологам той части славянофильства, к которой принадлежал Константин Аксаков. И сам Тургенев хорошо это знал: К. С. Аксаков в восприятии современников запечатлелся как человек, доходящий во всем до крайностей, горячий и несдержанный, упорный в своих заблуждениях, но искренний, прямой, честный и благородный и уж во всяком случае неспособный на доносы. Таким считали его не только друзья, но и противники. «Аксаков остался до конца жизни вечно восторженным, беспредельно благородным юношей, он увлекался, был увлекаем, но всегда был чист сердцем»,— писал А. И. Герцен в IV части книги «Былое и думы» (*Герцен*, т. IX, с. 163). А И. И. Панаев в некрологе, посвященном К. С. Аксакову, писал, что тот «носил в себе несокрушимую веру в светлую будущность России. Он любил свою родину с энтузиазмом ‹...› Мир праху честного и благородного гражданина!» (*Совр*, 1861, № 1, отд. II, с. 141, 142).

Образ «умницы московского» не является также собирательным портретом этой части славянофильства (бр. Аксаковы, бр. Киреевские, Ю. Ф. Самарин). Подобно Белинскому и Герцену, выступавшим против славянофильского учения во всех его формах и видах, Тургенев понимал различие между славянофильством К. Аксакова и его друзей и славянофильством М. П. Погодина, С. П. Шевырева и других сотрудников «Москвитянина». Именно у них славянофильские воззрения были связаны с идеей так называемой «официальной народности»,

сформулированной С. С. Уваровым («православие, самодержавие, народность»). Полемические выпады этих сотрудников «Москвитянина» (Н. М. Языкова, М. А. Дмитриева и др.) против передовых литераторов (в первую очередь Белинского) нередко облекались в форму критических статей, стихотворений, нередко и прямых пасквилей. Слова Тургенева в XXVIII строфе поэмы «Помещик» о том, что «умница московский» «пишет... донесенья», относятся именно к этим реакционным литераторам первой половины 1840-х годов, группировавшимся вокруг «Москвитянина». Подробно об этом см. в статье: Габель М. О. И. С. Тургенев в борьбе со славянофильством в 40-х годах и поэма «Помещик».— Уч. зап. Харьков. гос. библ. ин-та, 1962, вып. 6, с. 119—144.

Когда в начале 1885 г. началась работа над сборником «Стихотворения И. С. Тургенева», А. В. Топоров, не будучи литератором, вероятно, не раз советовался по различного рода вопросам с такими друзьями Тургенева, как П. В. Анненков. Потому-то, имея в руках автограф «Помещика», Топоров в своем издании тем не менее опустил XXVIII строфу поэмы. В рецензии под названием «Библиографические заметки», которая была подписана буквами Д. Д. Р. (Д. Д. Рябинин), автор ее сетовал, что «в поэме „Помещик“ вся строфа XXVIII-я, напечатанная прежде целиком ‹...› в «Петербургском сборнике» Некрасова, 1846 г., обозначена в нынешнем издании строкою точек» (*ИВ*, 1885, № 6, с. 720). По-видимому, считая, что пропуск XXVIII строфы является следствием того, что издателю она или совсем неизвестна, или он основательно забыл о ее существовании, рецензент в конце своих «Библиографических заметок» счел необходимым привести полный ее текст. К 1891 г. уже не было в живых ни Топорова, ни Анненкова, и С. Н. Кривенко, принявший во внимание замечание Д. Д. Рябинина, счел нужным восстановить в тексте этой поэмы XXVIII строфу.

В 1898 г. стихотворения и поэмы Тургенева впервые включены были в его Собрание сочинений (изд. «Нива»). В тексте поэмы «Помещик» также была восстановлена XXVIII строфа. Не сочли нужным отказаться от этой традиции и редакторы советских изданий (см.: *Т, Сочинения*, т. XI, с. 132; *Т, СС* (*«Огонек»*), т. 10, с. 59; *Т, СС*, т. X, с. 197—198; *Т, Стихотворения, 1950*, с. 137—138; ***Т, Стихотворения, 1955***, с. 140; *Т, Стихотворения и поэмы, 1970*, с. 294—295).

При первом появлении в печати в 1846 г. «Помещик» вызвал ряд откликов. Один из критиков (А. В. Никитенко) осуждал поэму за «бедность содержания» (*Б-ка Чт*, 1846, т. LXXV, отд. V, с. 49), другой (Имрек, т. е. К. С. Аксаков) находил, что «Помещик» просто «вздор» (Московский литературный и ученый сборник на 1847 год. М., 1847, с. 37). Рецензенты «Северной пчелы» (Л. В. Брандт, Ф. В. Булгарин) считали, что поэма Тургенева есть «явное, хотя и явно неудачное подражание *Евгению Онегину*, а может быть и пародия на Пушкина», что это «подражание сценам в *Евгении Онегине* Пушкина» (*Сев Пчела*, 1846, № 26, 31 января и № 27, 1 февраля).

Но были и сочувственные отзывы. Так, например, один из рецензентов писал, что в «Помещике» «хорошие стихи» (Иллюстрация, т. II, № 4(40) от 26 января 1846 г., с. 59). В «Рус-

ском инвалиде» поэма была аттестована как «остроумный, легкий, прелестный рассказ в стихах» (№ 35 от 12 февраля 1846 г.). Весьма положительно отозвался о «Помещике» А. А. Григорьев[1] в своей рецензии на «Петербургский сборник». По его мнению, в поэме «множество живо подмеченных черт», «злой юмор», а содержание «прямо выхваченное из русской жизни». А. А. Григорьев находил, что в Тургеневе «много самобытности», хотя форма его поэм почти всегда носит «клеймо Пушкина или Лермонтова» (Финский вестник, 1846, т. IX, с. 31). Критико-библиографический обзор всех оценок поэмы «Помещик», начиная от 40-х годов XIX в. до 1922 г., см. в послесловии: Модзалевский Б. Л. Тургенев и его иллюстратор Агин.— В кн.: Тургенев И. С. Помещик. Пб., 1922, с. 37.

Белинский неоднократно с большим одобрением отзывался о «Помещике». Считая, что эта поэма — «легкая, живая, блестящая импровизация, исполненная ума, иронии, остроумия и грации», а «стих легок, поэтичен, блещет эпиграммою», Белинский в рецензии на «Петербургский сборник» связывал «Помещика» по жанровым признакам с «Графом Нулиным» и «Домиком в Коломне» Пушкина (*Белинский*, т. IX, с. 567).

Позднее, когда Белинский был уже склонен отказаться от высокой оценки остальных поэм Тургенева, он по-прежнему продолжал восхищаться «Помещиком» и в статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года» подчеркивал: «...Тургенев написал стихотворный рассказ „Помещик",— не поэму, а физиологический очерк помещичьего быта, шутку, если хотите, но эта шутка как-то вышла далеко лучше всех поэм автора. Бойкий эпиграмматический стих, веселая ирония, верность картин, вместе с этим выдержанность целого произведения, от начала до конца,— все показывало, что г. Тургенев напал на истинный род своего таланта, взялся за свое и что нет никаких причин оставлять ему вовсе стихи» (*Белинский*, т. X, с. 345).

Сопоставляя «Помещика» с «Графом Нулиным», следует отметить, что обе поэмы изобилуют бытовыми деталями, характерными для помещичьего быта и относящимися к так называемой «низкой природе». Для стиля и «Графа Нулина», и «Помещика» характерно наличие отдельных «низких выражений», «просторечий», входивших в повседневную речь провинциального дворянства. Подобно тому, как «Граф Нулин» в творчестве Пушкина был свидетельством перехода поэта к новым, реалистическим жанрам, так и поэмы Тургенева «Параша» и «Помещик» знаменовали переход его от ранних романтических стихотворных опытов, вроде «Сте́но», к реализму.

А. А. Григорьев мимоходом заметил, что «Тургенев поэт школы Лермонтова» (Финский вестник, 1846, т. IX, с. 31). Это было сказано в том смысле, что «Помещика» можно и следует сопоставить не только с «Графом Нулиным» и «Домиком в Коломне», но также и с шутливыми поэмами Лермонтова, в первую очередь с «Тамбовской казначейшей». У всех трех авторов в их произведениях налицо постоянное обращение к читателям,

[1] Об авторстве А. А. Григорьева см.: Егоров Б. Ф. Аполлон Григорьев — критик.— Уч. зап. Тартуск. гос. ун-та. III. Тарту, 1960, вып. 98, с. 218—219.

лирические отступления, иронические реплики, бросаемые мимоходом, и т. п. Воздействие «Графа Нулина» и «Тамбовской казначейши» на «Помещика» выразилось, в частности, и в описании внешнего облика вдовы (строфа XIV), данного в той же манере, что и Наталья Павловна у Пушкина и Авдотья Николавна у Лермонтова.

Неся на себе печать жанровой близости к шутливой поэме Пушкина и Лермонтова, «Помещик» Тургенева тем не менее, как отмечал Белинский, принадлежал новой эпохе, знаменем которой были Гоголь и натуральная школа. Изображая в сатирических красках помещичий быт, Тургенев подчеркивал пустоту и пошлость жизни провинциального дворянства, прибегая к гоголевскому стилю, характерному для поэмы «Мертвые души».

Подобно тому, как это было в физиологическом очерке, в «Помещике» сюжет ослаблен, главное — портреты героев и изображение быта. Наиболее подробно обрисован Сергей Петрович, меньше внимания уделено его жене и вдовушке; остальные персонажи — гости вдовушки — составляют фон, оттеняющий фигуры главных героев. Тургенев нарисовал пеструю картину провинциального бала с его постоянными посетителями, среди которых обыватели и пошляки всех родов, в том числе «шут нахальный», «довольно грязный остряк», «шпион и шулер», «известный взяточник» и т. д. и т. п. Неожиданно для читателей между ними мелькает какой-то совсем иной образ. Это девушка-ребенок, «с большими грустными глазами». У нее «бледный, томный цвет Лица — печальный след сомнений Тревожных, ранних размышлений...» В ее облике (строфы XXIII и XXIV) «уже намечены характерные черты героинь тургеневских романов — Натальи, Лизы, Елены» (Цейтлин А. Г. Мастерство Тургенева. М., 1958. с. 64).

Ст. 88—89. *Адам Адамыч* ∾ *иностранный человек...*— Изображая гувернера-немца при детях русского провинциального помещика, Тургенев следовал уже установившейся в России традиции. «Русские часто, желая обозначить немца, говорят Адам Адамович (Вральман) в память действующего лица комедии Фонвизина» (см.: Энциклопедический лексикон, изд. А. Плюшара. СПб., 1839, т. XVI, с. 396). В 1847 г. вышла повесть П. Машкова «Адам Адамович Адамгейм», в 1851 г.— повесть М. Л. Михайлова «Адам Адамович», посвященная И. С. Тургеневу.

Ст. 91—94. *Он изучал Санхоньятона* ∾ *божествах самофракийских...*— Под именем Санхониатона (Sanchoniathon) известен легендарный историк Финикии, сочинение которого будто бы было переведено на греческий язык около 120 г. н. э. эллинистическим грамматиком Филоном из Библоса. В 1836 г. ученый мир Западной Европы был взволнован открытием, якобы сделанным в Португалии. Некий полковник Перейра нашел в одном из португальских монастырей рукопись сделанного Филоном перевода первобытной истории финикиян Санхониатона. В заметке «Журнала министерства народного просвещения» (1836, ч. X, № VI, июнь, с. 633—636) рассказывалось об этом открытии и сообщалось, что полковник Перейра передал эту рукопись для издания немецкому учителю Фридриху Ва-

генфельду (1810—1846) и что в работе последнего принимал участие видный ученый Гротенфенд. В 1837 г. издание Вагенфельда под заглавием: «Анализ древней истории финикиян Санхониатона по новонайденной рукописи» вышло в свет, но скоро было разоблачено как подделка (Delepierre Octave. Supercheries littéraires; pastiches, suppositions d'auteur, dans les lettres et dans les arts. London, 1872, p. 151—153. Hertslet W. L. Der Treppenwitz der Weltgeschichte. Geschichtliche Irrtümer, Entstellungen und Erfindungen. 9. Ausg. Berlin, 1918, S. 486).— «Республика» Платона (вернее, не «Республика», а «Государство») — знаменитый диалог, в котором обсуждался вопрос об идеальной форме государственного строя.— Говоря о «божествах самофракийских», Тургенев имеет в виду работу Ф. В. Шеллинга «Ueber die Gottheiten von Samothrake» (1815), которую, естественно, мог хорошо знать гувернер-немец Адам Адамыч, писавший под ее влиянием свою статью (см.: Горбачева В. П. Молодые годы Тургенева. Казань, 1926, с. 33).

Стр. 160 (подстр. примеч.). *Из-под дымки, как в тумане...*— Тургенев не совсем точно цитирует строки из «Напоминания» В. Г. Бенедиктова:

Через дымку, как в тумане,
Рисовались две волны?

(Бенедиктов В. Стихотворения. СПб., 1835, с. 34).

Ст. 254. (*Она подчас певала «Тройку»*)...— «Троек» в русской поэзии уже тогда существовало множество. Самой популярной из них была «Тройка» Ф. Н. Глинки, которую, вероятно, имеет в виду и Тургенев. (Ср. в очерке «Татьяна Борисовна и ее племянник»: «Сядет, бывало, за фортопьяны (...) и начнет одним пальцем отыскивать „Тройку удалую"»). У Ф. Глинки в его «Тройке» начальная строка:

Вот мчится тройка удалая

Ст. 316. *Стоит Коринна молодая...*— Коринна — героиня романа г-жи де Сталь «Коринна, или Италия» (1807). Имя ее стало нарицательным для характеристики женщин с возвышенным умом.

Ст. 451—464. *...Примчится борзый лев ∾ был увлечен.*— В 30—40-е годы XIX века словами «лев» и «львица» в обыденной речи и в литературе обозначали законодателей мод и правил светского поведения, покорителей женских сердец, в ироническом контексте. Это наименование пришло в Россию из Франции, где большую известность получили очерки Бальзака, П. Бернара, Ж. Жанена и др. писателей, иллюстрированные рисовальщиком-сатириком анималистом Гранвиллем, в частности «Сцены из частной и общественной жизни животных» (Scènes de la vie privée et publique des animaux. Vignettes par Granville. Paris, 1842). Здесь впервые был применен к типу мужчин светского общества иронический термин «лев», получивший распространение в разных европейских языках (ср.: Якимович Т. Французский реалистический очерк 1830—1848 гг.

М., 1963, с. 281, 283—285). Рисунками Гранвилля пестрели страницы русских литературных изданий (см., напр., статью «Фантазии Гранвилля» в «Лит. газете», 1844, № 13). «...он,— писали о Гранвилле „Отечественные записки“ (1841, № 1, с. 77),— переносит басню в картину, переводит нравы, страсти и смешные стороны человеческого характера под форму животных, которых характеры и нравы совершенно сходны с типами людей, представляемых у него в каждой картине». Напечатанное в «Северной пчеле» (1847, № 63) стихотворение по поводу концерта Берлиоза в Петербурге начиналось такими стихами:

Вся в огнях горела зала,
Львами, львицами полна...

См. об этом также: Дружинин А. В. Собр. соч. СПб., 1865, т. 5, с. 311—312; Варшавский Л. Р. Русская карикатура 40—50-х годов XIX века. М., 1937; Цейтлин А. Г. Становление реализма в русской литературе. Русский физиологический очерк. М., 1965, с. 73—74.

Ст. 477. *Фалетор сел; раздался крик...*— Фалетор — искаж. форейтор (vorreiten — *нем.*), кучер, сидящий верхом на одной из лошадей при упряжке цугом. См. ту же форму слова в «Бретёре» (гл. VIII).

Ст. 541—542. *И вот — за бешеных коней* ∾ *даже царство...*— Ср. в трагедии Шекспира «Ричард III» в стихотворном переводе актера Я. Г. Брянского (1833): «Коня! коня! полцарства за коня!» (д. 5, карт. 4).

Ст. 609. *«Сергей Петрович, это вы?»* — Прототипом главного героя поэмы «Помещик» был С. П. Лагривый. В. Колонтаева в воспоминаниях о семье Тургенева указывает, что мать писателя выдала замуж свою компаньонку А. И. Губареву, подарив ей имение и 100 душ крестьян в Болховском уезде, за С. П. Лагривого. Это был «незаконный» сын одного из Кологривовых, «очень добродушный человек, слегка простоватый и находившийся „под башмаком“ своей бойкой супруги, Авдотьи Ивановны. Несомненно, И. С. Тургенев в своей поэме „Помещик“ изобразил Лагривого, не переменив даже ему имени» (*ИВ*, 1885, № 10, с. 49).

СТАТЬИ И РЕЦЕНЗИИ

Литературно-критическая деятельность Тургенева, продолжавшаяся до самых последних лет жизни писателя, была особенно интенсивной в 1840-х годах. На путь литературного критика Тургенев вступил под воздействием Белинского (см.: Бродский Н. Л. Белинский и Тургенев.— В кн.: Белинский — историк и теоретик литературы. Сборник статей. М.; Л., 1949, с. 327; ср.: Бродский Н. Л. Избранные труды / Под ред. Н. К. Гудзия. М., 1964, с. 198). В феврале 1843 г. произошло их знакомство, а с конца этого года в «Отечественных записках» начали появляться статьи и рецензии Тургенева, в которых он защищал те же принципы реализма и народности в искусстве, что и Белинский.

В период 1843—1846 годов под воздействием Белинского сформировались философские, политические и литературно-эстетические взгляды Тургенева, человека и писателя сороковых годов. Он выступил как критик передового направления, как убежденный пропагандист идей «натуральной школы». В качестве ближайшего друга и идейного соратника Белинского и Некрасова Тургенев с 1847 г. становится фактически одним из организаторов и главных участников обновленного «Современника». Белинский в своих письмах неоднократно упоминает о деятельном участии Тургенева в редакционных делах «Современника». П. В. Анненков впоследствии писал, что «многие из его ‹Тургенева› товарищей, видевшие возникновение „Современника“ 1847 г., должны еще помнить, как хлопотал Тургенев об основании этого органа, сколько потратил он труда, помощи советом и делом на его распространение и укрепление» (*Анненков*, с. 341).

По своему философскому мировоззрению Тургенев не был, подобно Белинскому, материалистом, хотя в 1847 г. он высоко оценил Фейербаха. Но одну из основных эстетических проблем — взаимоотношение искусства и действительности — Тургенев решал в эти годы с материалистических позиций. Единст-

венным источником искусства он считал объективную действительность, а ведущим направлением в русской литературе признавал «натуральную школу», или так называемое «гоголевское направление».

В 1840-е годы Тургенев написал ряд статей и рецензий, которые были не только живыми откликами его на те или иные современные литературные явления, но и отражали подчас более общие его взгляды на роль и задачи искусства (статьи о «Фаусте» Гёте в переводе М. П. Вронченко, о трагедиях С. А. Гедеонова «Смерть Ляпунова» и Н. В. Кукольника «Генерал-поручик Паткуль», о «Повестях, сказках и рассказах Казака Луганского»). Эти его статьи принадлежат к числу лучших произведений русской критики того времени. По свидетельству самого Тургенева, был период, когда Белинский считал его «способным на одну лишь критическую и этнографическую деятельность» (см.: «Встреча моя с Белинским» — наст. изд., Сочинения, т. XI, а также в письмах Тургенева к Н. А. Основскому). Высоко оценивались статьи и рецензии Тургенева 1840-х — начала 1850-х годов и московскими представителями прогрессивного западничества (Т. Н. Грановским, П. Н. Кудрявцевым. А. Д. Галаховым и др.), которые, особенно после смерти Белинского, возлагали на Тургенева большие надежды как на литературного критика. Так, например, Е. М. Феоктистов писал Тургеневу 30 марта 1851 г., что его рецензия на перевод «Фауста», сделанный М. Вронченко, «прекрасная». Так же высоко расценивал Феоктистов в 1853 г. статью о трагедии Н. В. Кукольника «Генерал-поручик Паткуль», которая, наряду с другими статьями и рецензиями, подтверждала его догадки о том, что из Тургенева «вышел бы блестящий критик или что-нибудь подобное» (см.: Назарова Л. Н. К вопросу об оценке литературно-критической деятельности И. С. Тургенева его современниками (1851—1853 годы).— В кн.: Вопросы изучения русской литературы XI — XX веков. М.; Л., 1958, с. 164, 166).

Своеобразие литературно-критической деятельности Тургенева заключалось в том, что она всегда непосредственно была связана с выполнением им творческих задач. Так, например, занимаясь переводами из Шекспира, Байрона и Гёте, Тургенев выступал со статьями, посвященными разбору переводов на русский язык таких произведений мировой классической литературы, как «Вильгельм Телль» Шиллера и «Фауст» Гёте. В них Тургенев не только критиковал тот или иной из конкретных переводов (Ф. Б. Миллера, М. П. Вронченко), но и вы-

сказывал теоретические соображения о принципах художественного перевода вообще.

Наиболее значительные из своих литературно-критических статей 1840-х годов (о переводе «Фауста» Гёте, о трагедиях «Смерть Ляпунова» Гедеонова и «Генерал-поручик Паткуль» Кукольника) Тургенев включил впоследствии в том I сочинений, вышедший в Москве в 1880 г. Занятый подготовкой этого издания и, в частности, составляя раздел «Критические статьи» для первого тома, Тургенев в ряде писем к А. В. Топорову 1879 г.— от 13(25) июня, 20 июня (2 июля), 5(17) августа, 18(30) августа, 25 августа (6 сентября) — просил разыскать ту или иную из своих статей и рецензий, опубликованных некогда в «Отечественных записках» и «Современнике».

О том, что Тургенев в молодые годы придавал большое значение своей деятельности в качестве литературного критика, свидетельствуют и те его замыслы, которые по разным причинам не были им осуществлены. О них известно преимущественно из писем Тургенева и его современников. Так, например, 28 марта (9 апреля) 1845 г. Тургенев сообщал Белинскому, что пишет статью для «Отечественных записок» «по поводу двух статей Киреевского в „Москвитянине"» (наст. изд., Письма, т. I). О задуманной им статье под названием «Славянофильство и реализм» Тургенев писал Белинскому 14(26) ноября 1847 г. (наст. изд., Письма, т. I). Однако обе эти статьи не были им написаны, как и статья о немецкой литературе, обещанная в «Современник». О ней упоминает Некрасов в письмах к Тургеневу от 15 февраля и 24 июня 1847 г. (*Некрасов*, т. X, с. 61, 70).

В настоящий том не включается рецензия на сборник «Новоселье» (СПб., 1846, т. III), входившая во все последние издания сочинений Тургенева (за исключением изданий: *Т, СС* и *Т, ПСС* и *П*), так как она написана не Тургеневым, а Некрасовым (см.: *Белинский*, т. X, с. 423).

Статьи, включенные Тургеневым в первый том сочинений 1880 г., печатаются по текстам этого издания с проверкой по первым публикациям. Остальные — по первопечатным текстам и рукописям.

Литературно-критическая деятельность Тургенева освещена в следующих работах: Лаврецкий А. Литературно-эстетические взгляды Тургенева.— Литературный критик, 1938, № 11, с. 66—100; Павлов Л. В. Литературно-эстетические взгляды Тургенева 40-х годов.— Уч. зап. Карело-Финск. гос. ун-та, 1948, т. III, вып. 1. Петрозаводск, 1949, с. 62—84; Бродский Н. Л. Белинский и Тургенев.— В сб.: Белинский — историк и теоре-

тик литературы. М.; Л., 1949, с. 323—330; ср.: Бродский Н. Л. Избранные труды / Под ред. Н. К. Гудзия. М., 1964, с. 197—224; Чмшкян К. Г. И. С. Тургенев — литературный критик. Ереван, 1957, 145 с.; Назарова Л. Н. Тургенев-критик.— В кн.: История русской критики, т. I. М.; Л., 1958, т. 1, с. 509—530; Бочкарев В. А. И. С. Тургенев об исторической драме.— Уч. зап. Куйбыш. гос. пед. ин-та им. В. В. Куйбышева. Куйбышев, 1958, вып. 19, с. 193—225; Назарова Л. Н. К вопросу об оценке литературно-критической деятельности И. С. Тургенева его современниками (1851—1853 годы).— В сб.: Вопросы изучения русской литературы XI—XX веков. М.; Л.: АН СССР, 1958, с. 162—167. Кроме того, см. обстоятельные комментарии Ю. О. ⟨Ю. Г. Оксмана⟩ (с. 502—503, 507—508, 688—690, 692—697), М. К. ⟨М. К. Клемана⟩ (с. 503—505, 509—510) и М. А. ⟨М. К. Азадовского⟩ (с. 616—617) в издании: *Т, Сочинения*, т. XII, а также Ю. Г. Оксмана в издании: *Т, СС*, т. XI, с. 476—484, 516—519, 550—552.

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ РУССКИМ...

(с. 173)

Печатается по тексту первой публикации.

Впервые опубликовано: Журнал министерства народного просвещения, 1836, № VIII, с. 391—410, с подписью «И. Тургенев».

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т, ПСС, 1897*, т. X, с. 244—263. До включения в собрание сочинений Тургенева рецензия эта полностью была перепечатана (*Рус Вед*, 1889, № 9, с. 40—55) Н. П. Барсуковым, который считал ее несправедливо забытой.

Автограф неизвестен.

Датируется 1836 г.

Автор книги, разбираемой Тургеневым,— Андрей Николаевич Муравьев (1806—1874), писатель, влиятельный чиновник Синода. Во время русско-турецкой войны был на дипломатической службе. После заключения мира в 1829 г. отправился в Палестину и описал свою поездку в книге «Путешествие ко святым местам в 1830 году». СПб., 1832. Кроме нее и разбираемого Тургеневым «Путешествия по святым местам русским», Муравьев написал ряд сочинений подобного же рода, драмы «Битва при Тиверияде» и «Михаил Тверской» (отрывки из первой напечатаны Пушкиным в «Современнике» 1836 года, кн. II), а также ценные воспоминания — «Знакомство с русскими поэтами». Киев, 1871. В 1837 г. А. Н. Муравьев был избран членом Российской Академии.

История написания рецензии изложена Тургеневым в его письме в редакцию «Вестника Европы» от 21 ноября (3 декабря) 1875 г. «В „Московских ведомостях",— писал Тургенев,— появилась заметка г-на П. Библиографа, в которой указывается на разбор книги Муравьева: „Путешествие по святым местам русским", помещенный в „Журнале Министерства просвещения" за 1836 год, как на *первое* мое печатное произведение. Существование этой статьи меня удивило более, чем кого-либо. Мне тогда только что минуло семнадцать лет, я был студентом С.-Петербургского университета; родственники мои, в виду обеспечения моей будущей карьеры, отрекомендовали меня Сербиновичу, тогдашнему издателю „Журнала Министерства просвещения". Сербинович, которого я видел всего *один* раз, желая, вероятно, испытать мои способности, вручил мне ту книгу Муравьева с тем, чтобы я разобрал ее; я написал нечто по ее поводу — и вот теперь, чуть не через сорок лет, я узнаю, что это „нечто" удостоилось тиснения. Ни тогда, ни впоследствии я

моей напечатанной статейки в глаза не видал! Вы, конечно, согласитесь со мною, что не могу же я, по совести, считать это ребяческое упражнение своим первым литературным трудом» (*BE*, 1876, кн. 1, с. 430).

Соглашаясь с Тургеневым, что его первое печатное произведение не имеет серьезного литературного значения, нельзя не отметить, однако, проявленную им самостоятельность в оценке рецензируемой книги. Если в рецензиях на «Путешествие по святым местам русским», появившихся одновременно с рецензией Тургенева, в первую очередь отмечалось, что эта книга будет способствовать пробуждению в читателях религиозных чувств (см., например, *Б-ка Чт*, 1836, т. XVII, отд. V, с. 1—26, *Сев Пчела*, 1836, № 109), то Тургенев понял ее значение иначе. Сказав во вступительной части рецензии об историческом значении принятия Россией христианства, Тургенев подчеркнул, что книга Муравьева интересна своими рассказами о монастырях, которые в прошлом сыграли значительную роль как крепости, противостоявшие иноземным захватчикам, а в настоящее время являются хранилищами памятников русской старины: летописей, созданий зодчества, живописи и т. д. Впоследствии с точки зрения исторической и научной, а не только религиозной, книга А. Н. Муравьева была оценена на страницах «Отечественных записок» (1840, № 7, отд. VI, с. 11—14) и «Литературной газеты» (1840, № 66, с. 1490—1491). Рецензент «Отечественных записок» писал: «В первый раз еще прочла русская публика книгу религиозного содержания, не только исполненную благочестивых чувствований 〈...〉, но и отличающуюся ученостью и изложенную живо, народною речью, языком опытного и талантливого литератора» (с. 11).

Стр. 173. *«Будьте как дети»...* — По евангельской легенде, Иисус, обращаясь к ученикам, сказал: «...если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» (Евангелие от Матфея, гл. 18, ст. 3).

...народ русский ∾ святая вера приняла их в свои объятия. — В 988 г. великий князь киевский Владимир Святославич разрушил в Киеве идолов и призвал жителей принять христианство.

Стр. 174. *...гибнул народ за ∾ свободу отчизны ∾ сокрушил свои узы.* — В 1223 г. русские в битве с монголо-татарами на р. Калке потерпели поражение. В 1380 г. объединенные русские войска под руководством Дмитрия Донского разгромили монголо-татар и изгнали их с русских земель.

...мужи, подобные Гермогену, Дионисию, Авраамию Палицыну. — Тургенев называет имена активных участников борьбы против польской и шведской интервенции начала XVII в. *Гермоген* (не позднее 1530—1612) — русский церковно-политический деятель, в 1606—1612 годах — патриарх всероссийский. В 1610 г. рассылал грамоты с призывом к всенародному восстанию против польских интервентов, за что был посажен в тюрьму, где и умер от голода. *Дионисий* (светская фамилия и имя Зобниковский Давид Федорович, 1570 или 1571—1633) — русский церковный деятель: в 1610—1618 годах — архимандрит Троице-Сергиевой лавры; поддерживал патриарха Гермогена. В 1612 г.

при освобождении Москвы Дионисий послал драгоценные монастырские ризы в залог казакам, которые отказывались помогать народному ополчению до выплаты жалованья. *Авраамий Палицын* (до принятия монашества — Аверкий Палицын, ум. в 1626 г.) — русский политический деятель и писатель, с 1608 г. келарь Троице-Сергиевой лавры; в 1610 г. активно содействовал победе народного ополчения К. Минина и Д. Пожарского. Автор «Сказания Авраамия Палицына», основная идея которого — патриотическая борьба против иностранных захватчиков.

Стр. 175. *Летописи...* — Памятники общественной мысли и культуры Древней Руси — создавались не только при монастырях, как пишет здесь Тургенев, но и при княжеских дворах, в канцеляриях митрополитов и епископов, в посадничьих избах (см.: Лихачев Д. С. Русские летописи и их культурно историческое значение. М.; Л., 1947).

...в изящном рассказе передал нам впечатления... — Речь идет о книге А. Н. Муравьева «Путешествие ко святым местам в 1830 году». СПб., 1832.

...гроб Спасителя, был также предметом великой 300-летней борьбы Европы с Азией. — Тургенев имеет в виду так называемые крестовые походы 1096—1270-х годов.

Троицкая Сергиева лавра — Троице-Сергиева лавра основана Сергием Радонежским (ок. 1321—1391) в середине XIV в.

Стр. 176. *Иосаф Скрипицын* (ум. 1555 г.) — архимандрит Троице-Сергиевой лавры, затем митрополит всероссийский.

Св. Серапион (ум. 1516 г.) — архиепископ новгородский.

Стр. 177. *Пафнутий Боровский* (ум. 1478) — основатель Боровско-Пафнутьева монастыря.

Иосиф Волоколамский, или Волоцкий, в миру Иван Санин (1439/40—1515),— церковный писатель и полемист, глава течения иосифлян, ставивших церковь выше государства; основал в 1479 г. Иосифо-Волоколамский монастырь.

...Симонова обитель — Симонов Успенский мужской монастырь в Москве, основан в 1379 г. Монастырь стал крепостью, защищавшей столицу с юга.

...Кирилл Белозерский ∾ учитель Савватия, основателя Соловецкой обители. — Кирилл Белозерский, в миру Косма (Козьма) (1337—1427), в 1388—1390 гг. был архимандритом Симонова монастыря в Москве, в 1397 г. основал Кирилло-Белозерский монастырь на берегу Сиверского озера (ныне Вологодская обл.), автор сочинений религиозного характера. Соловецкий монастырь был основан в конце 20—30-х годах XV в. монахами Кирилло-Белозерского монастыря Савватием и Зосимой на Соловецком острове в Белом море.

...Василий Темный в 1446 году сделался жертвой измены, схвачен князем Иоанном Можайским, сообщником ∾ Шемяки и Косого. — Василий II Васильевич Темный (1415—1462), с 1425 г. великий князь Московский, против которого выступила коалиция удельных князей во главе с его дядей — галицким князем Юрием Дмитриевичем и его сыновьями Василием Косым и Дмитрием Шемякой. Василий II был ослеплен своими противниками (отсюда прозвище «темный»), но это не помешало ему в начале 50-х годов XV в. одержать победу и ликвидировать почти все мелкие уделы внутри Московского княжества.

Супруга Иоанна III ∾ получает сына ∾ Василия.— Василий III Иванович (1479—1533), великий князь московский с 1505 г., был сыном Ивана III Васильевича и Софьи Палеолог, племянницы последнего византийского императора, и отцом Ивана IV Грозного.

Максим Грек (наст. имя и фамилия — Михаил Тривомес, 1475—1556) — публицист, писатель, переводчик. Аскет по убеждению, Максим Грек резко критиковал быт русского духовенства. На церковных соборах 1525 и 1531 годов был приговорен к ссылке. В 1551 г. переведен в Троице-Сергиев монастырь, где и умер, оставив обширное литературное наследие.

...лавра претерпела достопамятную осаду...— Речь идет о попытке захвата монастыря польско-литовскими войсками Лжедмитрия II в 1608—1610 гг.

Стр. 178. *...святитель Феофан.*— Патриарх Иерусалимский Феофан был послан в Россию вселенскими патриархами для поддержания православия.

Стр. 179. *...укрыла она юного Петра...*— Во время Московского восстания 1682 г.

Стр. 180. *...посетил также Вифанию, приют великого Платона...*— Вифания (еврейское — «дом бедности») — селение, лежавшее за горой Елеонской по дороге из Иерусалима к Иерихону. По преданию, это было любимое место пребывания Христа. В книге А. Н. Муравьева описан приют церковного писателя, митрополита московского Платона (1737—1812). Приют был основан им в 1783 г. по образцу сохранившейся в Вифании церкви, которая помещалась в пещере, получившей название Лазаревой — в ней был похоронен Лазарь до того, как Христос воскресил его (см.: Евангелие от Иоанна, гл. 11, ст. 1—46).

...наподобие горы Фавора с алтарем Преображения на горе.— По библейскому преданию, на горе Фавор произошло преображение Христа: лицо его просияло таинственным светом, свидетельствующим о его божественном происхождении. На месте преображения Христа был воздвигнут алтарь (Евангелие от Матфея, гл. 17, ст. 1—13, от Марка, гл. 9, ст. 1—12).

...икона, стоящая на престоле, принадлежавшая Людовику XVI и во время революции привезенная в Россию.— Легенда связывает с именем Людовика XVI комнатный алтарь, находившийся в Вифанских кельях митрополита Платона, в гостиной (см.: Леонид, архим. Вифанские келии митрополита Платона и их убранство. М., 1880, с. 9). Всё имущество из Вифанских келий Платона было включено в 1929 г. в собрание Загорского музея, в коллекцию Троице-Сергиевой лавры; комнатный алтарь Людовика XVI хранится там и ныне (инв. № 2342) [1].

Стр. 181. *...мощи св. Никиты, столпника XII века...*— Никита переславский, основатель монастыря под Переславлем-Залесским, последователь Симеона Столпника (V в.), монаха-аскета, прославившегося тем, что во имя добродетели и благочестия стоял на столпе около 40 лет.

---

[1] Сообщено главным хранителем Загорского государственного историко-художественного музея-заповедника Е. Н. Клитиной.

...св. князя ростовского, Константина Всеволодовича (1186—1219) — великий князь владимирский; в 1216—1219 гг. вел большое строительство в Ростове и Ярославле.

Филарет Никитич Романов (50-е годы XVI в.— 1633) — патриарх московский и всея Руси (1616—1633), отец Михаила Федоровича, первого царя из династии Романовых.

Василий Шуйский (1532—1612) — русский царь в 1606—1610 гг.

Стр. 182. *...войсками князя Михаила Шуйского.*— Речь идет о Михаиле Васильевиче Скопине-Шуйском (1586—1610).

...о мощах святителя Димитрия...— Речь идет о Дмитрии Ростовском (светское имя — Даниил Саввич Туптало, 1651—1709), церковном деятеле и писателе. В 1684—1705 гг. он создал многотомный свод житий святых — «Четьи-Минеи».

...с нынешним архимандритом И...— Имеется в виду Иннокентий Порецкий, поставленный 11 августа 1818 г. (ум. в 1847 г.).

Никон, светское имя Никита Минов (1605—1681) — церковно-политический деятель, в 1652—1667 гг. патриарх русской церкви. Весной 1653 г. Никон начал проведение церковной реформы (исправление книг и обрядов по греческим образцам), стремясь использовать эту реформу для укрепления церковной организации и усиления власти патриарха. Выдвинутый Никоном тезис «священство выше царя» привел к разрыву с царем Алексеем Михайловичем. Никон удалился в основанный им Новоиерусалимский Воскресенский монастырь.

Церковный собор 1666—1667 годов снял с Никона сан патриарха, после чего он был сослан в Ферапонтов Белозерский монастырь. В 1681 г. царь Федор Алексеевич разрешил Никону вернуться в Новоиерусалимский монастырь. В дороге тот умер (см.: Каптеров Н. Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Сергиев-Посад, 1909—1912. Т. 1—2).

Стр. 186. *...если мы не согласимся с преданием, полагающим основателем ее самого св. апостола Андрея Первозванного...*— Андрей Первозванный — по Евангелию, апостол Иисуса Христа (от Матфея, гл. 6, ст. 18 и след.). По церковным преданиям, проповедуя христианство на Руси, он доходил до Новгорода и села Грузина.

...софийский летописец...— Речь идет о Матвее Михайлове, которому приписывается составление около 1432 г. при Софийском соборе в Новгороде летописного свода «Софийский временник».

...ко временам княгини Ольги...— Ольга (христианское имя — Елена) (ок. 890—969), великая княгиня киевская.

...набегами шведов.— Остров Валаам находился на границе новгородских владений и неоднократно подвергался нападению шведов. В 1611 г. Валаамский монастырь был разрушен шведами и восстановлен только в 1715 г. по указу Петра I.

ВИЛЬГЕЛЬМ ТЕЛЛЬ, драматическое представление в пяти действиях. Соч. Шиллера. Перевод Ф. Миллера...

(с. 188)

Печатается по тексту первой публикации.

Впервые опубликовано: *Отеч Зап*, 1843, т. XXXI, № 12, отд. VI, с. 25—28.

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т, Сочинения*, т. XII, с. 9—14.

Автограф неизвестен.

Датируется 1843 г., не позднее ноября.

На принадлежность этой статьи Тургеневу указал Н. Л. Бродский: «...рецензия на перевод „Вильгельма Телля" Ф. Миллером,— писал он,— ...бесспорно принадлежит Тургеневу. Приемы анализа и общие соображения по поводу переводческой работы, тождественные с критической статьей о «Фаусте» Вронченко, ни в коем случае не позволяют отнести эту рецензию на долю ближайшего сотрудника „Отеч. зап." в библиографическом отделе К. Липперта, писавшего рецензии совершенно в ином роде» (*Центрархив, Документы*, с. 102—103). Авторство Тургенева подтверждают и его собственные слова в письме к А. В. Топорову от 25 августа (6 сентября) 1879 г. (в связи с вопросом о составе первого тома в новом собрании сочинений): «О Шиллере и Байроне я где-то писал (по поводу переводов), но где? — теперь решительно не помню». Рецензия на перевод «Вильгельма Телля» и есть, очевидно, одна из этих в свое время не найденных Тургеневым статей.

В 1830-е годы Тургенев увлекался немецкой идеалистической философией и серьезно изучал Шиллера, что было свойственно и другим его современникам. Н. В. Станкевич, А. И. Герцен, В. Г. Белинский — все прошли через «шиллеровский период» (*Герцен*, т. VIII, с. 149) в своем развитии. На рубеже 1840-х годов восторженное отношение к автору «Разбойников», «сентиментальное поклонение» ему (см. письмо Тургенева к М. А. Бакунину и А. П. Ефремову от 27 августа (8 сентября) 1840 г.) сменяется критическим осмыслением его творчества (см.: Д е н Т. П. Тургенев и Шиллер.— В кн.: Фридрих Шиллер. Статьи и материалы. М., 1966, с. 78—89). Рецензия Тургенева на перевод «Вильгельма Телля» содержит характерные для демократической критики начала 1840-х годов суждения о «германском духе» и о творчестве Шиллера как отражении немецкого национального сознания. «Вильгельм Телль», по словам Тургенева, «не драма, а драматическое представление,— драматического элемента именно и недостает в немцах». Это очень близко к словам Белинского в статье «Русский театр в Петербурге» (*Отеч Зап*, 1843, № 2): «...у немцев нет ни драмы, ни романа ⟨...⟩ В этом случае должно исключить одного Шиллера. Но и этот великий поэт в драмах своих остался верен национальному духу: преобладающий характер его драм — чисто лирический, и они ничего общего не имеют с прототипом драмы, изображающей действительность,— с драмою Шекспира» (*Белинский*, т. VI, с. 694). Федор Богданович Миллер (1818—1881) был из-

вестным в то время поэтом-переводчиком. Его переводы произведений Гейне, Гёте, Шиллера, Мицкевича и др. вышли позднее (1849 г.) в Москве отдельным изданием. Все критические замечания, высказанные Тургеневым в адрес переводчика в настоящей рецензии, были им учтены, и во второе издание «Вильгельма Телля» Миллер внес соответствующие исправления (см.: Вильгельм Телль. Драма в пяти действиях. Соч. Шиллера. Пер. Федора Миллера. СПб., 1858).

Стр. 188. *...уже изучил Канта и обращал внимание на Фихте — находился под влиянием Гёте...* — Литературная дружба Шиллера с Гёте началась в 1794 г. и оказалась для них плодотворной: оба поэта вернулись к прерванной ими литературно-художественной деятельности. «Вильгельм Телль» был написан Шиллером в 1803—1804 годах. О движении эстетической мысли Шиллера от Канта к Гёте см. в кн.: Асмус В. Ф. Немецкая эстетика XVIII века. М., 1962, с. 259—310.

Пылкий юноша, проповедовавший в «Разбойниках»... —Первая опубликованная драма Шиллера «Разбойники» вышла в свет 6 мая 1781 г., когда ее автору было 22 года.

Шиллер жалуется в одном из своих писем (кажется, к Бёттихеру), что собственные его создания слишком спокойно и ясно восстают и развиваются перед его глазами. — К. А. Бёттигер (Böttiger) (1760—1835) — археолог и филолог. Тургенев, очевидно, имеет здесь в виду суждение Шиллера о собственном творческом акте, содержащееся в письме к другому адресату — Готфриду Кернеру (1756—1831), немецкому литератору и самому близкому другу поэта. 25 мая 1792 г. Шиллер ему писал: «Теперь я вижу самого себя в процессе *творчества* и *созидания,* я наблюдаю за игрой вдохновения...» (Шиллер Ф. Собр. соч. В 7-ми т. М., 1957, т. 7, с. 271).

...говоря словами Гёте... — Слова Тассо из драмы Гёте «Торквато Тассо» (д. II, явл. 2); у Гёте: «So fühlt man Absicht und man ist verstimmt».

Стр. 189. *...в пятом акте Иоанна Паррициду...* — Иоанн Паррицида — герцог Швабский, убийца своего дяди-императора; он приходит в дом В. Телля просить помощи. Паррицида введен Шиллером для того, чтобы подчеркнуть законность совершенного Теллем убийства.

Стр. 190. *Перевод г. Ротчева давным-давно забыт всеми...* — «Вильгельм Телль» в переводе А. Г. Ротчева (1813—1873) вышел отдельным изданием (с большим количеством цензурных изъятий) в Москве в 1829 г.

Стр. 193. *...вообразив, что Гесслер совершенный злодей...* — В первопечатном тексте вместо «вообразив» (см. контекст) «сообразив». По-видимому, опечатка, перешедшая и в другие издания.

Стр. 194. *...бессмертные создания г. Молчанова, Куражсковского, Славина и иных...* — Эти имена, как имена бездарных и малограмотных литераторов, не раз встречаются в статьях и рецензиях Белинского (см.: *Белинский,* т. XIII. Указатель имен). А. Славин — псевдоним писателя и актера А. П. Протопопова (1814—1867).

ФАУСТ, трагедия, соч. Гёте. Перевод первой и изложение второй части. М. Вронченко...

(с. 195)

Печатается по тексту первой публикации.

Впервые опубликовано: *Отеч Зап*, 1845, т. XXXVIII, № 1, отд. VI, с. 1—2.

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т, Сочинения*, т. XII, с. 15—16.

Автограф неизвестен.

Датируется концом 1844 г. по времени публикации.

Принадлежность Тургеневу этой информационной заметки о выходе в свет «Фауста» Гёте в новом переводе М. Вронченко установлена Н. Л. Бродским. Произведя сравнительный анализ заметки и развернутой статьи Тургенева о том же переводе «Фауста», напечатанной в следующем номере журнала (см. наст. том, с. 197), Бродский пришел к выводу, что заметка эта является как бы планом будущей статьи писателя, которую он сам включил в собрание своих сочинений 1880 г. (*Центрархив, Документы*, с. 100—103).

Михаил Павлович Вронченко (1801—1855) в литературных кругах был известен как лучший переводчик произведений Шекспира, Байрона и Мицкевича. Естественно поэтому, что его новая работа — перевод «Фауста» Гёте — ожидалась с большим нетерпением. Белинский писал еще в февральской книжке «Отечественных записок» за 1843 год: «Говорят, г. Вронченко перевел первую часть „Фауста“. Приятная новость: можно ожидать, что переводчик „Гамлета“, „Макбета“, „Манфреда“ и „Дзядов“ прекрасно передаст нам великое творение Гёте» (*Белинский*, т. VI, с. 693).

Стр. 195. *...к литературным явлениям наступившего года.*— Дата цензурного разрешения книги М. Вронченко, содержащей перевод первой и изложение второй части «Фауста» Гёте,— 2 ноября 1843 г., однако вышла она в свет только в конце следующего, 1844 г. Первые рецензии на книгу появились в том же, 1844 г. (см., например, *Совр*, 1844, т. XXXVI, № 10, с. 360—363; *Б-ка Чт*, 1844, т. LXVII, № 12, отд. VI, с. 35—42).

ФАУСТ, траг. Соч. Гёте. Перевод первой и изложение второй части. М. Вронченко. 1844. Санкт-Петербург.

(с. 197)

Печатается по тексту *Т, Соч, 1880*, т. I, с. 193—233, с исправлением опечаток по первой публикации.

Впервые опубликовано: *Отеч Зап*, 1845, т. XXXVIII, № 2, отд. V, с. 40—66.

Автограф неизвестен.

Датируется концом 1844 — началом 1845 года.

Статья Тургенева, посвященная новому переводу «Фауста» Гёте, вызвала большой интерес в литературно-общественных кругах. Принципиальное значение статьи состояло в том, что в

ней был подведен итог критического переосмысления исторического значения и сущности творчества Гёте, начатого на страницах «Отечественных записок» Герценом и Белинским.

В статьях 1839 г. и особенно в статье «Менцель, критик Гёте» (1840) величие Гёте как художника Белинский видел в том, что «в дивных образах осуществляет он божественную идею для ней самой, а не для какой-либо внешней и чуждой ей цели» (*Белинский,* т. III, с. 399). С этой точки зрения и «Фауст» истолковывался им как драма, в которой воспроизведена «жизнь субъективного духа, стремящегося к примирению с разумною действительностью» (там же, с. 416). Герцен, не разделявший «примирительных» увлечений Белинского 1839—1840 гг. и воспринимавший диалектику Гегеля как «алгебру революции», относился критически к Гёте еще в 1830-е годы (см.: «Первая встреча» (1836).— *Герцен,* т. I, с. 108—126). Поэтому закономерно, что именно с «Записок одного молодого человека» (1840) Герцена началась в «Отечественных записках» переоценка творчества Гёте, вызванная формированием нового революционно-демократического направления в русской критике. Окончательно отказавшись от «примирения с действительностью» и «раскланявшись» с «философским колпаком» «Егора Федоровича» (т. е. Гегеля, см.: *Белинский,* т. XII, с. 22—26), Белинский так же резко изменил свое отношение к Гёте.

Переоценка Гёте в формирующейся революционно-демократической критике шла в двух направлениях. С одной стороны, были вскрыты слабые стороны Гёте как человека, порожденные и обусловленные историческими чертами немецкой общественно-политической и культурной жизни XVIII в. (его «филистерство», оторванность от общественной практики); с другой стороны, творчество Гёте было осмыслено по-новому, с точки зрения близости его к реалистическому искусству (см.: Жирмунский В. Гёте в русской литературе. Л., 1937, с. 357—367).

В рецензии на второй выпуск сочинений Гёте в русском переводе (1842) Белинский писал: «Царь внутреннего мира души, поэт по преимуществу субъективный и лирический, Гёте вполне выразил собою созерцательную, аскетическую сторону национального духа Германии, а вместе с нею необходимо должен был вполне выразить и все крайности этой стороны. Чуждый всякого исторического движения, всяких исторических интересов, обожатель душевного комфорта до бесстрастия ко всему, что могло смущать его спокойствие — даже к горю своего ближнего, немец вполне, которому везде хорошо и который со всем в ладу, Гёте невыносимо велик в большей части своих лирических произведений, в своем „Фаусте“ — этой *лирической* поэме в драматической форме...» (*Белинский,* т. VI, с. 182).

Статья о «Фаусте» писалась в пору тесного дружеского общения Тургенева с Белинским (см. примечания к поэме «Разговор» — наст. том, с. 468). Вполне вероятно поэтому, что в процессе работы над статьей Тургенев обсуждал с Белинским ее содержание. Именно этим и объясняется близость литературно-эстетических и философско-исторических принципов разбора «Фауста», сделанного Тургеневым, общему направлению идейных исканий Белинского начала 1840-х годов.

Статья Тургенева является образцом философской, общест-

венно активной критики, за которую ратовал Белинский. «Фауст» Гёте для Тургенева — это произведение, пронизанное страстной, ищущей мыслью, это апофеоз борьбы человеческой личности за свои права. Однако Гёте ограничил страстные поиски Фаустом истинного смысла жизни узкой сферой «лично-человеческого», и в этом Тургенев видел причину неудачи второй части трагедии, считая, что задачей исторического прогресса является не счастье отдельной человеческой личности, но уничтожение всякой возможности нищих на земле. Он писал вслед за Белинским: «...как поэт Гёте не имеет себе равного, но нам теперь нужны не одни поэты... мы (и то, к сожалению, еще не совсем) стали похожи на людей, которые при виде прекрасной картины, изображающей нищего, не могут любоваться „художественностью воспроизведения", но печально тревожатся мыслию о возможности нищих в наше время» (наст. том, с. 219; ср.: *Белинский,* т. XII, с. 69).

Высказанные в статье о «Фаусте» мысли Тургенева о том, что народ, «толпа», а не только гениальные личности имеют историческое право на счастье, позволяют проследить путь идейных поисков, который привел Тургенева от романтического индивидуализма, выраженного, например, в стихотворении «Толпа» (1844), к созданию антикрепостнического цикла «Записки охотника» (1847—1852). Об этой статье, как о теоретическом введении к творчеству писателя 1840—1850-х годов, см.: Курляндская Г. Структура повести и романа И. С. Тургенева 1850-х годов. Тула, 1977, с. 8—25.

Написанная под воздействием общественно-политических взглядов Белинского, статья Тургенева в то же время была важным этапом в истории истолкования «Фауста» в России. Об оригинальности и тонкости интерпретации образов трагедии Гёте в статье Тургенева, о блестящем знании им истории немецкой литературы и о глубоком ее истолковании неоднократно справедливо писали, помимо названного выше В. Жирмунского, исследователи творчества писателя (см. в частности: Клеман М. К. Пометки И. С. Тургенева на переводе «Фауста» М. Вронченко.— *Лит. Насл,* т. 4-6, с. 943; Бродский Н. Л. Анонимная рецензия И. С. Тургенева.— *Центрархив, Документы,* с. 103; Розенкранц Е. Тургенев и Гёте.— Germanoslavica, Jahrg. II. 1932—1933. H. I, S. 77; Schütz Katharina. Das Goethebild Turgeniews. Bern; Stuttgart, 1952, S. 62—63).

Статья Тургенева о «Фаусте» представляет значительный интерес и потому, что, анализируя в ней достоинства и недостатки перевода Вронченко, Тургенев изложил свою теорию перевода. В библиотеке *ИРЛИ* хранится экземпляр книги М. Вронченко «Фауст, трагедия. Соч. Гёте» (шифр $17\frac{5}{8}$), которым Тургенев пользовался при работе над статьей. Книга испещрена многочисленными пометами Тургенева, которые свидетельствуют о том, что заключительная часть его рецензии, содержащая критический разбор перевода, была основана на тщательном изучении и сопоставлении немецкого подлинника с русским переводом. Не менее тщательно Тургенев изучил также статью М. Вронченко («Обзор обеих частей „Фауста"»), изданную в виде приложения к переводу. На полях этой статьи

Тургенев сделал множество резких критических замечаний, направленных против стремления М. Вронченко интерпретировать «Фауста» Гёте с точки зрения патриархальной церковно-феодальной морали. В особенности резко осуждал Тургенев выпады М. Вронченко против философии и разума.

Наиболее значительные записи Тургенева на полях книги М. Вронченко опубликованы в указанных выше статье М. К. Клемана (*Лит Насл.* т. 4-6, с. 943—957) и книге В. М. Жирмунского (с. 340—341).

На перевод «Фауста» М. Вронченко появились положительные рецензии во многих периодических изданиях. И. В. Киреевский, как и Тургенев, назвал перевод «буквально верным, но далеко поэтически не верным», в то же время он похвалил М. Вронченко за то, что он «предпочел бесцветность стиха ложному колориту» (Москвитянин, 1845, ч. I, с. 10).

Стр. 197. *Появление нового перевода «Фауста»...*— Первый полный перевод первой части «Фауста», принадлежащий Э. И. Губеру (1814—1847), появился отдельным изданием в 1838 г., с большим количеством цензурных изъятий (см.: Жирмунский В. Указ. соч., с. 527—533).

Стр. 200. *...уже Лафонтен сказал...*— Тургенев цитирует далее посвящение «A Monseigneur le Dauphin» (1668) Лафонтена.

Гёте в записках своих...— Автобиографическое сочинение Гёте «Aus meinem Leben. Wahrheit und Dichtung» ‹Из моей жизни. Правда и поэзия›, работу над которым он начал, когда ему было уже более 60 лет. I—III части этого труда были опубликованы в 1811—1814 гг., последняя, IV часть — посмертно, в 1832 г.

Великими людьми этой эпохи были Клопшток, Виланд и Лессинг...— Клопшток (Klopstock) Фридрих Готлиб (1724—1803) — немецкий поэт, пытался в своих произведениях выразить свободу чувства и фантазии, предвосхищая тем самым эстетическую программу «бури и натиска». *Виланд* (Wieland) Генрих (1733—1813) — немецкий писатель и поэт, автор религиозно-дидактических поэм, первого в Германии просветительского «романа воспитания» «Агатон» (1766) и др., переводчик Шекспира. *Лессинг* (Lessing) Готхольд Эфраим (1729—1781) — немецкий драматург, теоретик искусства и литературный критик-просветитель.

Французская классическая школа (Готшед), швейцарская школа (Бодмер и др.)...— Готшед (Gottsched) Иоганн Кристоф (1700—1766) — немецкий писатель и критик, представитель раннего немецкого просвещения. Будучи приверженцем французского классицизма, переводил на немецкий язык П. Корнеля, Ж. Расина, Мольера и др. *Бодмер* (Bodmer) Иоганн Якоб (1698—1783) — швейцарский критик и поэт. в книге «Критическое рассмотрение чудесного в поэзии» (1740), полемизируя с Готшедом, придал большое значение роли чувства и воображения в народной поэзии.

...Клопшток первый заговорил ∾ о бардах, об Арминии...— Тургенев имеет в виду так называемые «бардиты» (от слова «бард») Клопштока, его национальные драматические поэмы — «Hermanns Schlacht» (1769), «Hermann und die Fürsten» (1784), «Hermanns Tod» (1787). *Арминий* — латинская форма имени

Германа, вождя херусков, который отразил римское нашествие на германские земли, одержав победу над легионами Вара в Тевтобургском лесу (9 г. н. э.). О Клопштоке см. у Гёте: «Правда и поэзия», ч. III, кн. 12.

...над людьми, подобными Клотцу... — Христиан Адольф *Клотц* (Klotz, 1738—1771) — немецкий филолог, критик и журналист; выступил против ряда положений, высказанных Лессингом в трактате «Лаокоон» (1766). Лессинг воспользовался этим случаем, чтобы разоблачить его в своих «Антикварских письмах» (1768) как псевдоученого и пасквилянта.

Стр. 200. *...⟨которая могла ей угрожать в случае победы⟩...* — Редакторская конъектура вызвана явным искажением фразы в первопечатном журнальном тексте, перешедшим и в издание 1880 г.

Лейбниц (Leibniz) Готфрид Вильгельм (1646—1716) — немецкий философ-идеалист, математик, физик и изобретатель, юрист, историк и языковед, оказал значительное влияние на последующее развитие философии и науки.

...юмористы школы Ганса Сакса — Фишарт, Грифиус... — *Сакс* (Sachs) Ганс (1494—1576) — немецкий поэт, автор фастнахшпилей и шванков (масленичных народных представлений), в которых с юмором изображал крестьянский быт, распутство католических клириков, буйство ландскнехтов. *Фишарт* (Fischart) Иоганн (1546 или 1547—1590) — немецкий сатирик, публицист и моралист. Изображал пороки и добродетели бюргерской среды, обличал католическую церковь и иезуитов, славил прилежание и труд горожан. *Грифиус* (Griphius) Андреас (1616—1664) — немецкий драматург, сторонник классицизма, комедии которого однако интересны наличием в них реалистических тенденций и поисками национального колорита. Все комедии Грифиуса написаны прозой, на немецком языке, а их простонародные персонажи говорят на силезском диалекте.

Философ Вольф отказался от латинского языка. — Христиан *Вольф* (1679—1754) настаивал на том, что немецкий язык является вполне подходящим орудием для определения самых тонких понятий, и написал одно из своих главных сочинений («Разумные мысли о боге, о мире и о человеческой душе, а также и о всяких других предметах», 1720) на немецком языке.

...Рамлер и Глейм явились в Берлине... — *Рамлер* (Ramler) Карл Вильгельм (1725—1798) — поэт, видный участник кружка литераторов-просветителей, писал оды, переводил античных авторов. *Глейм* (Gleim) Иоганн Вильгельм Людвиг (1719—1803) — немецкий поэт, один из основателей Галльского союза поэтов-анакреонтиков, автор «Прусских военных песен» (1788), в которых звучат мотивы национального единства немецкого народа.

...Гёте назвал революцией германской литературы... — Эти слова имеются в автобиографическом сочинении Гёте «Правда и поэзия», ч. III, кн. 11; Тургенев ссылается на 26 том издания: Goethe's Werke. Vollständige Ausgabe letzter Hand. Stuttgart und Tübingen, 1828—1830. Это издание с пометами Тургенева сохранилось в библиотеке писателя, находящейся теперь в Государственном музее И. С. Тургенева в Орле.

Стр. 202—203. *...но многие надеялись попасть прямо в Шекспиры; в то время Виланд и Эшенбург познакомили с ним*

Германию...— В 1762—1766 гг. Виланд сделал прозаический перевод Шекспира, который впоследствии обработал Эшенбург (1743—1820). Об увлечении Шекспиром в Германии и о его немецких переводах Гёте говорит в 11 книге (часть III) своей автобиографии.

Стр. 203. *...ландграфы преспокойно продолжали продавать своих подданных англичанам, воевавшим с непокорными американцами.*— Личная свобода крестьян в Германии была провозглашена в 1807 г. Октябрьским эдиктом. Тургенев имеет в виду войну, которую вела Северная Америка в 1775—1783 годах против английского колониального господства, закончившуюся созданием независимого государства — Соединенных Штатов Америки.

«Когда нам случалось ∾ нашим божеством...» — Эти цитаты взяты Тургеневым из разных мест 11 книги (III части) автобиографии Гёте.

Юстус Мёзер, замечательный для своего времени публицист, является ∾ исключением.— Мёзер (1720—1794) в своих публицистических сочинениях резко критиковал бюрократическую систему деспотического государственного строя. Отстаивая патриархальные формы жизни, цеховой строй, местную обособленность, Мёзер вместе с тем указывал на экономическую необходимость преодоления раздробленности Германии.

Стр. 204. *...Отеч. Зап. 1842, тт. XX, XXI, XXII.*— Имеется в виду статья К. Липперта «Гёте».— *Отеч Зап,* 1842, № 1 (отд. II, с. 1—36), № 2 (с. 43—67), № 3 (с. 2—28), № 4 (с. 1—26). Подпись в № 1 «К. Л. ...рт», в остальных «К. Л.».

«Я,— писал он к графине Штольберг ∾ дорастать до таланта».— Тургенев вольно пересказывает следующее место из письма Гёте к графине Штольберг от 13 февраля н. ст. 1775 г. (Гёте говорил о себе в третьем лице): «...weil er arbeitend immer gleich eine Stufe höher steigt, weil er nach keinem Ideale springen, sondern seine Gefühle sich zu Fähigkeiten, kämpfend und spielend, entwickeln lassen will...» ‹...потому что, работая, он всегда поднимается ступенью выше, потому что он не хочет сделать скачок ни к какому идеалу, а хочет, борясь и играя, дать развиться своим чувствам до способностей›.

Стоит прочесть в «Физиогномике» Лафатера восторженные строки, подписанные под его портретом.— «Физиогномические фрагменты для поощрения человеческих знаний и любви» (1775—1778) Лафатера (1741—1801) — попытка судить на основании изучения строения лица и черепа о внутренней сущности человека. Интересные сведения о работе Лафатера в этой области сообщает в своей автобиографии Гёте (см. ч. III, кн. 11). Под портретом Гёте в «Физиогномике» Лафатера сказано, что это «явный облик великого человека, по лицу которого видна его власть над людьми». Отдельные черты лица свидетельствуют, по утверждению Лафатера, о гениальности, о поэтическом чувстве и поэтической мощи человека, изображенного на портрете (см.: Physiognomische Fragmente zur Beförderung der Menschenkenntniß und Menschenliebe von Johann Caspar Lavater. Leipzig; Winterthur, 1777, Bd. III, S. 219).

Стр. 204—205. *...небольшая песенка Клерхен...*— Песенка

Клерхен из «Эгмонта» (1787). Эта песенка была переведена Тургеневым в 1840 г. (см. наст. том, с. 313).

Стр. 205. *...‹во›семнадцатого столетия...*— В тексте *Отеч Зап* — семнадцатого. Видимо, опечатка, не замеченная Тургеневым и при переиздании статьи в собр. соч. 1880 г.

...Марло (*Marlowe*), *написал «Фауста»...*— Кристофер Марло (Marlow, 1564—1593), английский драматург, написал драму «Трагическая история о жизни и смерти доктора Фауста» («Tragical History of the Life and Death of Doctor Faustus») в 1592 г. Сведения о «Фаусте» Марло Тургенев мог почерпнуть из третьего тома (с. 126—132) трехтомной истории английской дошекспировской драматургии, которая сохранилась в его библиотеке в Спасском (см.: The history of English dramatic poetry to the time of Shakespeare and Annals of the stage to the restoration. By J. Payne Collier, 3 v. London, 1831).

...Клингер и Ленц ∾ *сочинили каждый «Фауста».*— Клингер и Ленц — немецкие писатели предромантики. Фридрих Максимилиан *Клингер* (Klinger, 1752—1831) написал роман: «Faust's Leben, Taten und Höllenfahrt» ‹Жизнь, деяния и гибель Фауста›; первое издание вышло в 1791 г. Яков Рейнгольд *Ленц* (Lenz, 1751—1792) напечатал в 1777 г. драматический отрывок, изображающий Фауста в аду (см.: Легенда о докторе Фаусте. М.; Л., 1958, с. 500).

...которых он так мастерски описал в своих «Записках».— Характеристики Ленца и Клингера сделаны в 14 книге третьей части автобиографии Гёте.

...оба они умерли в России...— *Клингер* приехал в Россию в 1780 г.; он был сначала чтецом при супруге великого князя Павла Петровича, потом последовательно директором 2-го кадетского корпуса в Петербурге и попечителем Дерптского учебного округа. *Ленц* приехал в Москву (из Риги) в 1781 г.

...не Гошу и не Марсб, а одному Наполеону...— *Гош* (Hoche) Луи Лазар (1768—1797) и *Марсо* (Marceau) Франсуа Северен (1769—1796) — французские генералы, вставшие на сторону Французской революции и сблизившиеся, как и Наполеон I, с якобинцами.

Стр. 206. (*«И псу не жить, как я живу»,— говорит Фауст*).— Эти слова Фауст произносит в своем первом монологе.

Стр. 208. *O möch ich* ∾ *mich baden!* — Неточная цитата из первого монолога Фауста; у Гёте — «Ach! könnt' ich...» и т. д.

Стр. 208. *Гёте начал писать свою трагедию весьма рано, прежде «Гёца фон Берлихингена» и «Вертера».*— Первая часть «Фауста» была начата в 1772 г., завершена в 1808 г., вторая — писалась в 1825—1831 годы. «Гёц фон Берлихинген» появился в 1773 г., «Вертер» — в 1774 г.

...жизнь, возведенная в идеал поэзии (*die Wirklichkeit zum schönen Schein erhoben*)*...*— Источник цитаты не установлен.

Стр. 209. *Und mir noch über alles* ∾ *wie ich leide...*— Цитата из заключительного монолога Тассо в драме Гёте «Торквато Тассо» (1789).

Какое дело нам, страдал ты или нет?— Цитата из стихотворения Лермонтова «Не верь себе» (1839).

Стр. 210. *...народа на картинах Теньера и Остада...*— Для творчества *Тенирса* (Teniers, 1610—1690) и *Остаде* (Ostade,

1610—1685) характерно изображение идиллических сцен быта: пирушек, сельских праздников, свадеб и пр. В 1830—1840-х годах с именем Тенирса, или Теньера (как его имя писали в России в первой половине XIX в.), связывалось представление об изображении в искусстве и литературе пошлой стороны жизни (см.: Данилов Вл. Теньер в русской литературе.— *Рус Арх*, 1915, № 2, с. 164—168).

Мефистофель далеко не «сам великий сатана» ∾ из самых нечиновных».— Слова в кавычках — цитата из поэмы Лермонтова «Сказка для детей» (1840).

Стр. 211. *...по словам Пушкина...*— Тургенев имеет в виду стихотворение Пушкина «Демон» (1823).

...мы не раз возмущали «другой могучий образ»...— Неточная цитата из поэмы Лермонтова «Сказка для детей». У Лермонтова:

Мой юный ум, бывало, возмущал
Могучий образ...

Стр. 212. *...Как недоступна ∾ притом умна!* — К этому месту перевода Вронченко на собственном экземпляре книги (*ИРЛИ*, см. выше) Тургенев сделал следующую помету: «Schnippisch ...не то?»

Стр. 213. *«Маргарита падает ∾ души своей».*— М. Вронченко, с. 390. К этому месту «Обзора» М. Вронченко Тургенев сделал следующую помету (экземпляр *ИРЛИ*): «У Гёте явно сказано, что это падение совершается *после* возвращения Фауста, что очень важно. См. стр. 140 и 141 перевода».

Стр. 214. *А последняя сцена в тюрьме...*— Тургенев перевел «Последнюю сцену первой части „Фауста“ Гёте» в 1843 г. (см. наст. том, с. 22—29).

Стр. 215. *«Не улетай! ты так прекрасно...»* — См. «Фауст», ч. II, акт 5, последний монолог Фауста.

Бёттихер и другие оставили нам несколько описаний тогдашнего его житья-бытья...— Тургенев, вероятно, имеет в виду следующие работы: Böttiger Karl August. Literarische Zustände und Zeitgenossen. Bd. 1—2. Leipzig, F. A. Brockhaus, 1838 (о Гёте см. т. I, с. 48—104); Döring Heinrich. J. W., von Goethes Leben. Weimar, N. Hoffmann, 1828; Abeken B. R. Ein Stück aus Goethes Leben, zum Verständnis einzelner Werke desselben. Berlin, Nicolai, 1845.

Стр. 216. *...«Итальянским путешествием» ∾ беспорядочные вдохновения его молодости.*— В первый период творчества Гёте создал произведения, в которых ярко отразились бунтарские антифеодальные настроения молодого автора («Прометей», «Гёц фон Берлихинген», «Страдания молодого Вертера»). Путешествие в Италию (1786—1788) — переломный период в общественной деятельности и творчестве Гёте. Разочаровавшись в возможности пробудить немецкое бюргерство к активной гражданской деятельности, Гёте отказался и от эстетических принципов, делавших его участником движения «бури и натиска». Его идеалом стало античное искусство, понятое как выражение простоты, спокойствия и гармонии, царящих в природе. Во время и после путешествия в Италию Гёте написал «Ифигению в

Тавриде» (1787), «Торквато Тассо» (1790), «Римские элегии» (1790) и др.

...в своих записках...— «Правда и поэзия», ч. III, кн. 11.

Стр. 217. *Суд над этой второй частью...*— Белинский писал Боткину 22 января 1841 г., что вторая часть «Фауста» «вышла из подгнившей рефлексии, полна аллегориями...» (*Белинский,* т. XII, с. 20). Об отношении ко второй части «Фауста» Гёте в России в XIX в. см.: *Лит Насл*, т. 4-6, с. 620.

Стр. 218. *...«при конце жизни Фауст ∾ „беспрерывностью искания“»...*— К этому месту «Обзора» М. Вронченко Тургенев сделал следующее примечание: «что 2-ая часть Ф⟨ауста⟩ глупа — это несомненно; но не так глупа, как бы хотел ее сделать г-н В⟨ронченко⟩».

Стр. 220. *...золотая свадьба Оберона и Титании...*— «Сон в Вальпургиеву ночь, или Золотая свадьба Оберона и Титании» — интермедия, включенная Гёте в первую часть «Фауста». Название интермедии и некоторые ее герои были подсказаны Гёте пьесами Шекспира «Сон в летнюю ночь» и «Буря». Герцен в 1836 г. писал, что фантастические сцены «Вальпургиевой ночи» дают «верный образ, тип гофмановых сказок» (*Герцен,* т. I, с. 79).

Стр. 221. *...творения гг. Рётчера, Гёшеля...*— *Рётшер* (Retscher) Генрих Теодор (1803—1871) — немецкий теоретик искусств, автор работ о сочинениях Гёте, получивших в начале 1840-х годов критическую оценку у Герцена и Белинского (см.: *Герцен,* т. II, с. 60—61; *Белинский*, т. XI, с. 578). *Гёшель* (Göschel) Карл Фридрих (1781—1861) — немецкий философ, автор работ о Гёте, вышедших в 1824—1835 гг.

...стоит только указать на ряд статей ∾ Фишера...— Немецкий философ, ученик Гегеля, Фридрих Теодор Фишер (1807—1888) напечатал ряд статей под общим заглавием: «Die Literatur über Goethes Faust» в «Hallische Jahrbücher für deutsche Wissenschaft und Kunst», 1839, №№ 9—12, 27—30, 50—55, 60—67 (январь — март). Белинский в письме к И. И. Панаеву от 19 августа 1839 г. сообщал о статье «некоего *гегелиста* Фишера о Гёте, в которой он доказывает, что 2 ч. „Фауста“ мертвая, пошлая символистика, а не поэзия ⟨...⟩ Фишер разбирает все разборы „Фауста“ и нещадно издевается над ними» (*Белинский*, т. XI, с. 373). Книга Фишера «О возвышенном и комическом» вышла в 1837 г. («Das Erhabene und Komische. Ein Beitrag zur Philosophie des Schönen»). Французский исследователь А. Гранжар высказал предположение, что Тургенев, работая над статьей о переводе «Фауста», воспользовался статьей Фишера (об этом см.: Granjard Henri. Ivan Tourguénev et les courants politiques et sociaux de son temps. Deuxième édition. Paris, 1966, p. 141; ср.: Dédéyan Charles. Le thème de Faust dans la litterature européenne. Du romantisme à nos jours. Paris, 1961, I, p. 282—285).

...(см. стр. 373, 4, 5 и 6)...— На этих страницах «Обзора» М. Вронченко Тургенев сделал ряд помет. На с. 375, рядом с текстом: «если слушать мистиков, то Фауст ясно и неоспоримо написан в духе мистицизма, если слушать отъявленных врагов их, приверженцев Гегеля, то Гёте Фаустом нанес мистицизму удар решительный» — помета Тургенева: «Откуда, батюшка, изволили это почерпнуть?» На с. 376, рядом с текстом: «Чего

не сказано о Гётевом Фаусте! Он, мы слышим, есть произведение и „понятное — только для посвященных в глубочайшие таинства философии“ и „могущее быть понятым не теперь, а только в будущее время, при большем усовершенствовании человечества“ и, наконец, „непонятное вовсе!“» — помета Тургенева: «Цитировать тут надобно Вишера» (т. е. Фишера).

Стр. 222. *«Что автор себе предположил ∾ нельзя не заблуждаться».*— Рядом с этим текстом М. Врончеико (с. 381) пометы Тургенева: «Каково-с?» и ниже: «браво!».

Хочу чем дельным голову набить...— К этой строке перевода М. Вронченко Тургенев сделал следующее примечание: «За это надобно г-на Врон‹ченко› посечь».

Стр. 223. *...в «Роберте-Дьяволе»...*— Опера Д. Мейербера на текст Э. Скриба и Ж. Делавиня (1831) пользовалась в России большой популярностью (см., например: *Герцен*, т. II, с. 58; *Белинский*, т. XI, с. 445).

Стр. 224. *...с братьями Штольбергами...*— Немецкие писатели Христиан (1748—1821) и Фридрих Леопольд (1750—1819) Штольберги в юности принадлежали к геттингенскому поэтическому союзу, были последователями Клопштока и Фосса, впоследствии изменили свою эстетическую ориентацию.

...«но в это время ∾ и смотрит на меня...— Об отношениях с Мерком и об эпизоде с разбитыми стаканами Гёте рассказал в своей автобиографии «Поэзия и правда», ч. IV, кн. 18. Тургенев не совсем точно переводит Гёте. У него: «...und ich bildete mir denn doch ein, als wenn mich Merck am Kragen zupfte» ‹но мне показалось, как будто Мерк дергает меня за воротник›.

Вероятно, нашим читателям известно имя этого человека...— Иоганн Генрих *Мерк* (1741—1791) — немецкий критик. В 1852 г. Тургенев хотел написать для «Современника» статью о Мерке (см. письмо к Некрасову и Панаеву от 18 и 23 ноября (30 ноября и 5 декабря) 1852 г.).

Стр. 225. *И если б он ∾ погиб...*— В переводе М. Вронченко: «Чтоб даже дьяволу не поклонясь душою, он гибели не миновал» (с. 83). К этим стихам помета Тургенева: «не то».

Стр. 226. *«Мефистофель (познакомив Фауста ∾ жалость и раскаяние»...*— К этому месту Тургенев сделал помету: «Понят Гёте, нечего сказать!»

«Он во всяком сочинении ∾ достоинства целого».— По поводу этой характеристики поэзии Гёте Тургенев на полях книги написал: «Какое вранье!»

Nichts ist innen! ∾ ist draussen! — Неточная цитата из стихотворения «Epirrhema». У Гёте:

> Nichts ist drinnen, nichts ist draußen:
> Denn was innen, das ist außen.

Стр. 227. *На стр. 427 г. переводчик ∾ разумеется само собою».*— К этому месту на полях замечание Тургенева: «Исключая теории о цветах, понемногу принятой всеми».

Гёте выполнил ряд работ в области ботаники и зоологии, оптики, акустики, минералогии и др. Его труды по теории цветов сохраняют историческое значение главным образом в области физиологии и психологии зрения (см.: Копелев И. И. Гёте как естествоиспытатель. Л., 1970).

Стр. 228. *Шлегель* (Schlegel) Август Вильгельм (1767—1845) — немецкий историк литературы и искусства, критик, теоретик романтизма; переводил Шекспира, Кальдерона, Данте и др. *Фосс* (Voss) Иоганн Генрих (1751—1826) — немецкий поэт и переводчик, последователь Клопштока, ратовал за создание немецкой национальной поэзии, испытывал большой интерес к античной культуре, перевел Гомера, Гесиода, Аристофана и др.

Стр. 229. *Den Göttern gleich' ich ∾ und begräbt...*— Цитата из монолога Фауста в начале первой части (после разговора с Вагнером).

Стр. 230. *«Он мне противен в сердца глубине...»* — К этой строке перевода на полях помета Тургенева: «Сделать замечание!»

Стр. 232. *Мечтавший ∾ зерцалу близким...*— Строка из монолога Фауста (см. М. Вронченко, с. 33). К этой строке перевода имеется замечание Тургенева: «Род‹ительный› падеж перед имен‹ительным›, между тем как у Г‹ёте› при всей торжественности слога язык естественный!»

Стр. 233. *...Мефистофель толкует о «покойчике» Маргариты...*— В переводе Вронченко Фауст (а не Мефистофель) после первой встречи с Маргаритой говорит Мефистофелю: «Ну, хоть потешь меня немножко. В ее покойчик проведи» (с. 124); в подлиннике — «Führ' mich an ihren Ruheplatz».

...что такое ∾ свой полет»? — Имеются в виду строки 13—14 Посвящения.

На стр. 15: Моря колеблются ∾ у подножья скал»...— В экземпляре *ИРЛИ* на полях Тургенев написал перевод и двух следующих стихов: «И скалы и море увлечены в вечно быстром стремлении миров» (см. с. 15).

...извольте справиться сами, почтенный читатель...— Вронченко перевел: «Ай, славно, кумушка! ‹...› Как от любовной страсти».

Стр. 234. *Да! мертвые глаза ∾ счастьем!* — Цитата из «Вальпургиевой ночи» (Вронченко, с. 204). В переводе помета Тургенева, относящаяся к этим строкам: «Плохо».

...ни один перевод г. Вронченко (его «Макбет», «Гамлет»)...— «Макбет» в переводе М. П. Вронченко вышел в 1834 г., «Гамлет» — в 1828 г.

Стр. 235. *...стихотворение г. Карриера, в котором он называет «Фауста» das Buch des Lebens...*— Тургенев имеет в виду стихотворение немецкого философа и эстетика Морица Карриера (1817—1895) «Три лиры» («Drei Leiern»), напечатанное во «Frankfurter Konversationsblatt», 1844, № 344, 13 December. Тургенев неточно цитирует Карриера. В подлиннике:

Das Lied der Lieder im vollsten Hall,
Das Lied des Lebens, der Faust.

‹Песня песней в полный голос,
Песня жизни, Фауст› (*нем.*).

СМЕРТЬ ЛЯПУНОВА. Драма в пяти действиях в прозе. Соч. С. А. Гедеонова...

(с. 236)

Печатается по тексту — *Т, Соч, 1880*, т. I, с. 234—251.

Впервые опубликовано: *Отеч Зап*, 1846, т. XLVII, № 8, отд. VI, с. 88—96 (без подписи).

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т, Соч, 1880*.

Автограф неизвестен.

Датируется 1846 г., не позднее июля.

Автор пьесы Степан Александрович Гедеонов (1816—1878) — искусствовед и археолог, секретарь министра народного просвещения С. С. Уварова. Автор либретто оперы «Млада» и соавтор А. Н. Островского в работе над «Василисой Мелентьевой». В 1860—1870-х гг. — директор Эрмитажа и императорских театров.

К театральному миру он был близок смолоду благодаря отцу — А. М. Гедеонову, который в годы 1833—1858 являлся директором императорских театров. В доме Гедеоновых «близкими, своими людьми» были Н. В. Кукольник, М. И. Глинка, К. П. Брюллов (см.: Всемирная иллюстрация, 1881, т. XXVI, № 651).

Имя С. А. Гедеонова встречается в письмах Тургенева к П. Виардо, так как они оба были, наряду с Матв. Ю. Виельгорским, ближайшими из русских друзей знаменитой певицы. Об отношениях Тургенева с С. А. Гедеоновым см.: *Анненков*, с. 384.

Возможно, что о рецензии на «Смерть Ляпунова» идет речь в двух письмах Тургенева к П. Виардо от конца апреля — начала мая и начала мая 1846 г. Во втором из них Тургенев писал: «Маленькая работа, которую я посылаю вам, должна остаться в секрете ⟨...⟩ как она ни невинна, всё же она могла бы навлечь на меня крупные неприятности». И действительно, автор мог ожидать для себя столкновений с цензурой и по служебной линии, так как резко отзывался о произведении сына крупного чиновника, директора императорских театров.

При содействии А. М. Гедеонова, человека влиятельного и самовластного, пьеса его сына, вышедшая в свет в начале 1846 г. (ценз. разр. от 20 февраля), быстро попала и на театральные подмостки. «Смерть Ляпунова» впервые с большой пышностью была поставлена на сцене Александринского театра в конце 1846 г. и даже имела сначала большой успех, объяснявшийся тем, что в этой драме играли такие выдающиеся актеры, как В. А. Каратыгин (Ляпунов), И. И. Сосницкий (Заруцкий), В. В. Самойлов (Юродивый), Дюр (М. Мнишек) и др. Тем не менее пьеса Гедеонова, по словам историка театра, «не очень долго продержалась на сцене», так как в ней «не было главного — поэзии и жизни» (*Вольф, Хроника*, ч. I, с. 114). Характерно, что свой рассказ о постановке на сцене «Смерти Ляпунова» Вольф заканчивает, цитируя (почти дословно, но не называя фамилии автора) последнюю фразу из статьи Тургенева о том, что «это не драма, а оперное либретто...» (там же, с. 114).

В драме Гедеонова «Смерть Ляпунова» Тургенев усматривал все особенности «ложновеличавых» исторических пьес, заполнявших русскую сцену в 30—40-х годах и имевших успех в правительственных кругах, а также у реакционной критики. Как автор статей о драмах Гедеонова и Н. В. Кукольника, Тургенев выступал в качестве соратника Белинского, неоднократно подвергавшего уничтожающей критике драматические произведения «ложновеличавой» школы — реакционно-романтические, псевдопатриотические пьесы Кукольника, Н. А. Полевого, П. Г. Ободовского и др. (см.: *Белинский*, т. VI, с. 88; т. VIII, с. 538).

Рецензия Тургенева на «Смерть Ляпунова» написана в духе общественно-политических и эстетических взглядов Белинского, которые он высказал, в частности, в статье «Русская литература в 1844 году», где рассматривались трагедии А. С. Хомякова «Ермак» и «Димитрий Самозванец» (*Белинский*, т. VIII, с. 463, 465).

В своей статье Тургенев подсказывал реальный путь обновления русского театра. Для того чтобы перестали существовать и ставиться на сцене «ложновеличавые» исторические драмы, подобные «Смерти Ляпунова», нужна реалистическая драматургия. Это полностью соответствовало и указаниям Белинского о необходимости создания массовой реалистической драматургии (см.: *Белинский*, т. IX, с. 346—347).

Характерно, что рецензент газеты «Иллюстрация» принял статью Тургенева о пьесе Гедеонова за произведение Белинского. Он с возмущением писал о том, что журналы «с каким-то непонятным ожесточением изо всех сил стараются унижать каждое русское драматическое произведение». Обращаясь к критику «Отечественных записок» (т. е. Белинскому), этот рецензент призывал его быть «осмотрительнее, критикуя такие пьесы, как, например, „Смерть Ляпунова"» (Иллюстрация, 1847, № 2, с. 24).

Впоследствии, когда М. С. Щепкин пожелал поставить в свой бенефис пьесу Тургенева «Нахлебник», автор просил его в письме от 27 октября (8 ноября) 1848 г. «не говорить заранее, кто ее написал», так как, продолжал он, «на меня дирекция ‹императорских театров›, я знаю, втайне гневается за критику гедеоновского „Ляпунова" в „От‹ечественных› записках" — и с большим удовольствием готова нагадить мне».

Стр. 236. *...давали оперу г-на Николаи «Il Templario»...* — Написанная немецким композитором Отто Николаи (Nicolai, 1810—1849) в 1840 г., эта опера имела успех и многократно ставилась на сценах разных стран.

...драма г-на Гедеонова, о которой мы обещали поговорить на досуге, разбирая третий том «Новоселья»... — Имеется в виду не личное обязательство Тургенева, а редакционная информация, так как в «Отечественных записках» все рецензии печатались анонимно. Предположение об авторстве Тургенева вызвало ошибочное включение рецензии на альманах «Новоселье» (СПб., 1846, ч. III) в ряд собраний его сочинений. В действительности рецензия, как это установлено В. Э. Боградом, написана не Тургеневым, а Некрасовым (*Белинский*, т. X, с. 423).

...не станем повторять уже ∾ *мнения о Фонвизине, Грибоедове и Гоголе...*— Тургенев имеет в виду статьи и рецензии Белинского, в которых постоянно упоминались рядом имена этих трех писателей. Белинский не раз писал о том, что в русской драматургии «не на что указать, кроме „Бригадира" и „Недоросля" Фонвизина, „Горе от ума" Грибоедова, „Ревизора" и „Женитьбы" Гоголя и его же „Сцен"» (*Белинский*, т. VIII, с. 65). О том, что комедии Фонвизина и «Горе от ума» были в свое время «исключительным явлением», а «драматические опыты Гоголя среди драматической русской поэзии с 1835 года до настоящей минуты» также представляют собой «зеленый и роскошный оазис среди песчаных степей Африки», Белинский писал и в статье по поводу «Игроков» Гоголя (*Белинский*, т. VII, с. 83). В отличие от Белинского, Тургенев в своей рецензии склонен был несколько преуменьшить значение предшественников Гоголя. Кроме того, называя имена Фонвизина и Грибоедова, Тургенев ничего не говорит о роли Пушкина в развитии русской драматургии, между тем как Белинский неоднократно писал об этом.

Стр. 237. *Так, Сумарокова величали русским Вольтером!!* — Об этом же писал Белинский в статье «Мысли и заметки о русской литературе», указывая на то, что Сумароков, «по убеждению его современников, далеко оставил за собою и баснописца Лафонтена, и трагиков Корнеля и Расина и сравнялся с господином Волтером» (*Белинский*, т. IX, с. 449).

Стр. 238. *...забыть г-д Выжигиных и комп⟨анию⟩...*— Имеются в виду произведения Ф. В. Булгарина: «Иван Выжигин». Нравственно-сатирический роман / В 4-х ч., СПб., 1829, и «Петр Иванович Выжигин» / В 4-х ч., СПб., 1831, а также подражания им, например, «Новый Выжигин на Макарьевской ярмарке». Нравоописательный роман XIX века Ивана Гурьянова. М., 1831.

Вспомните драматизированные хроники Шекспира, «Гёца фон Берлихинген» ∾ *наконец, даже хроники Витте́ и Мериме.*— Речь идет об исторических драмах Шекспира, трагедии Гёте «Гёц фон Берлихинген» (1773), трилогии Л. Вите́ (1802—1873) «Лига» («Ligue», 1826—1829) и «Жакерии» (1828) П. Мериме. Называя пьесы Шекспира «драматизированными хрониками», а произведения Вите́ и Мериме просто «хрониками», Тургенев, видимо, хотел подчеркнуть различие между ними. Благодаря тому, что Шекспир писал свои хроники, подчиняя исторический материал законам драматургии, они по существу были трагедиями или приближались к таковым. В противоположность Шекспиру, Вите́ и Мериме исходили из исторической последовательности событий. В предисловии к первой части «Лиги» («Смерть Генриха III», 1826) Вите́ предупреждал, что его произведение не является театральной пьесой, что это лишь исторические факты, представленные в драматической форме, но без малейшей претензии сделать из них драму.

Покойный Полевой говорит в своих «Заметках русского книгопродавца».— Название статьи Н. А. Полевого: «Отрывок из заметок русского книгопродавца его сыну». Две фразы из нее Тургенев цитирует не совсем точно: в первой из них он опустил слово «доныне», следующее за словом «появлялось»;

во второй — изменен порядок слов.— у Полевого: «почти все...» (см.: Новоселье. СПб., 1846, ч. 3, с. 493).

Стр. 239. *Ляпунов уже не раз удостоился двусмысленной чести быть героем русской исторической драмы.*— См.: «Димитрий Самозванец» А. С. Хомякова (1833), «Князь М. В. Скопин-Шуйский» Н. В. Кукольника (1834—1835), «Прокопий Ляпунов» (1836) анонимного автора, драматическую поэму П. Г. Ободовского «Князья Шуйские» (1841, напечатана в сб. «Сто русских литераторов», изд. А. Смирдина. СПб., 1845). Написанный в 1834 г. «Прокофий Ляпунов» В. К. Кюхельбекера опубликован впервые в «Литературном современнике», 1938, кн. 1.

В изображении его характера ∾ *сделал из Ляпунова лицо фантастическое.*— В своих суждениях о Грозном Карамзин не выходил за пределы этической оценки его личности. Тургенев разделял взгляд Белинского, который еще в 1836 г. в рецензии на третью часть «Русской истории для первоначального чтения» Н. А. Полевого писал: «Карамзин представил его ⟨Грозного⟩ каким-то двойником, в одной половине которого мы видим какого-то ангела, святого и безгрешного, а в другой чудовище, изрыгнутое природою, в минуту раздора с самой собою, для пагубы и мучения бедного человечества, и эти две половины сшиты у него, как говорится, белыми нитками. Грозный был для Карамзина загадкою» (*Белинский*, т. II, с. 108). Оценка Карамзиным личности Ляпунова и его деятельности сводилась к тому, что это — «злодей царя», который «дерзнул на бунт и междоусобие», желая «избавить Россию от Лжедмитрия, от ляхов, и быть государем ее» или же мечтал о «гибели Шуйских, имея тайные сношения с знатнейшим крамольником... Василием Голицыным в Москве, и даже с Самозванцем в Калуге» (История государства российского. СПб., 1831, т. XII, с. 249, 250). Тургенева, очевидно, не удовлетворял такой слишком уж односторонний взгляд Карамзина на П. Ляпунова. Несколько идеализируя этого защитника интересов среднего дворянства, Тургенев считал, что Ляпунову было присуще чувство патриотизма — он хотел спасти Москву и «погиб за нее».

Стр. 240. *«Тарас Бульба» замечательное произведение, не правда ли, читатель?...*— Приведя отрывок из первого действия «Смерти Ляпунова», Тургенев указывает на «Тараса Бульбу», из которого Гедеонов взял имена запорожцев (Кукубенко, Вертихвист). Вся эта сцена написана Гедеоновым под воздействием повести Гоголя и даже с прямыми заимствованиями из нее (ср. с последним абзацем главы второй «Тараса Бульбы»).

Стр. 241. *Симеон Волынский, нечто среднее между Максом из «Валленштейна» и Францем из «Гёца фон Берлихинген».*— Макс Пикколомини — один из главных героев трагедий Шиллера «Пикколомини» и «Смерть Валленштейна». Тургенев, по-видимому, имеет в виду сходство положений, в которых находятся герои Шиллера (Макс), Гёте (Франц) и Гедеонова (Симеон Волынский). Все они любят женщин, стоящих выше их по своему общественному положению (графиня Текла, дочь Валленштейна, баронесса Адельгейда в «Гёце фон Берлихингене», Марина Мнишек в «Смерти Ляпунова»).

Стр. 242. *...появляются на сцене Porte St. Martin и Gaîté...*— Речь идет о театрах в Париже.

Королева Маргарита в «Tour de Nesle» г. Галльярде́ — родная сестра Марине г. Гедеонова.— Историческая драма «Нельская башня» была написана А. Дюма-отцом и французским драматургом Ф. Галльярде (1806—1882). Тургенев называет в качестве автора только одного из них, по-видимому потому, что многочисленные помощники Дюма (в данном случае Галльярде) не раз публично оспаривали у него авторство в ряде пьес и романов.

...вспомните появление капуцина в «Лагере Валленштейна».— Тургенев имеет в виду явление 8 драмы Шиллера.

Приходит Заруцкий ∾ *(«Тарас Бульба» — прекрасное произведение...)* — Тургенев намекает на то, что здесь имеется буквальное заимствование из повести «Тарас Бульба» (см. в главе IV обращение кошевого к запорожцам).

Стр. 244. *Является Ляпунов: узнает, à la Валленштейн* ∾ *говорит Валленштейн о Максе.*— В одной из сцен IV действия драмы Гедеонова Ляпунов «узнает» старого Пахомыча, с которым некогда ходил «на поляка», а затем, оставшись наедине с Симеоном, беседует с ним. В связи с этим Тургенев вспоминает приход к Валленштейну депутатов папенгеймских кирасиров, с которыми вместе он не раз бывал в сражениях («Смерть Валленштейна», д. III, явл. 14). Приведенные Тургеневым слова Валленштейна о Максе Пикколомини см. там же, д. V, явл. 3.

Стр. 245. *...но в знаменитых драмах г. Бушарди́ такие ли еще бывают несообразности!* — Жозеф Бушарди́ (1810—1870) — французский драматург, автор ряда мелодрам («Caspardo le pêcheur», 1837; «Paris le bohémien», 1842; «Les enfants trouvés», 1843; «La soeur du muletier», 1845), принадлежащих к типу так называемых «страшных» пьес, в которых после всех ужасных перипетий порок всегда бывает наказан.

Стр. 248. *Адельгейда* ∾ *zum Morgen leben!..»* — Тургенев не совсем точно приводит две фразы из 4-го действия трагедии Гёте (сцена в замке Адельгейды).

Это нам напоминает рассказ Пушкина ∾ *с ним по-восточному...*— Тургенев имеет в виду то место из первой главы «Путешествия в Арзрум», в котором рассказывается о знакомстве автора с придворным персидским поэтом: «Я с помощью переводчика начал было высокопарное восточное приветствие, но как же мне стало совестно, когда Фазил-Хан отвечал на мою неуместную затейливость простою, умной учтивостью порядочного человека!»

Стр. 249. *Но Моцарт не заставляет донью Анну* ∾ *как это делают оперные сумасшедшие.*— Речь идет об опере «Дон-Жуан» Моцарта, где (в отличие от «Каменного гостя» Пушкина) Командор является не мужем, а отцом доньи Анны.

...говорить языком новейшей французской мелодрамы... ma per che? — как спрашивал граф Альмавива.— Тургенев имеет в виду реплику графа Альмавивы из II акта (явл. 10) оперы Моцарта «Женитьба Фигаро» (см.: Le nozze di Figaro. Opera buffa in due atti. La musica è del celebre Mozart. Parigi, 1838, с. 58).

Образцами такого рода драмы могут служить «Генрихи» и «Ричарды» Шекспира.— Т. е. «Генрих IV» (ч. I, 1597; ч. II, 1598);

«Генрих VI» (ч. I, 1591; ч. II, 1592; ч. III, 1592); «Генрих V» (1599); «Генрих VIII» (1613); «Ричард II» (1596); «Ричард III» (1594).

Стр. 250. *...с нашим настоящим ∾ опять-таки думают иные.*— Речь идет о славянофилах.

ГЕНЕРАЛ-ПОРУЧИК ПАТКУЛЬ. Трагедия в пяти действиях, в стихах. СПб. Сочинение Нестора Кукольника.

(с. 251)

Печатается по тексту *Т, Соч,* 1880, т. I, с. 252—281.

Впервые опубликовано: *Совр,* 1847, № 1, отд. III, с. 59—81, с подписью «Т».

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т, Соч, 1880.*

Автограф неизвестен.

Датируется концом 1846 г.

Реакционно-романтические драмы Кукольника в идейно-художественном отношении противостояли прогрессивной реалистической литературе 30-х годов. Кукольник явился главой целой школы. За ним следовали такие драматурги, как Н. А. Полевой, П. Г. Ободовский, Р. М. Зотов и др.

Впоследствии в «Литературных и житейских воспоминаниях» Тургенев высказал резко отрицательное мнение о писателях «ложновеличавой» школы. Имея в виду Кукольника и его последователей, Тургенев писал, что их «произведения ‹...› проникнутые самоуверенностью, доходившей до самохвальства, посвященные возвеличиванию России во что бы то ни стало, в самой сущности не имели ничего русского: это были какие-то пространные декорации, хлопотливо и небрежно воздвигнутые патриотами, не знавшими своей родины».

В статье о «Генерал-поручике Паткуле» Тургенев решительно выступил против попыток Кукольника исказить историческую действительность как в изображении главного героя, его характера и поведения в тех или иных условиях, так и в деталях. Кроме того, в пьесе Кукольника Тургенев находил вычурность и неточность выражений, страсть к напыщенной декламации.

Трагедия «Генерал-поручик Паткуль» первоначально напечатана была в «Финском вестнике» (1846, т. VIII, № 3, отд. I, с. 1—117); вскоре вышло и отдельное издание (ценз. разр. 20 марта 1846 г.).

Известны отзывы Белинского об отдельных отрывках «Генерал-поручика Паткуля», печатавшихся в различных изданиях. До опубликования полного текста трагедии Белинский был склонен положительно оценивать отдельные части ее. Так, например, о «Прологе» к трагедии Кукольника Белинский писал, что он «представляет собою целое *художественное* произведение,— похвала, выше которой у нас нет похвал» (*Белинский,* т. III, с. 143).

Позже, прочитав еще две сцены из «Генерал-поручика Паткуля», Белинский высказал порицание Кукольнику за то, что,

печатая отрывки из трагедии, автор «вредит полноте ее впечатления на публику, когда она выйдет вполне». Критик обещал высказать свои соображения по поводу всего произведения Кукольника тогда, когда оно будет напечатано целиком (*Белинский,* т. VI, с. 500).

Однако специальной статьи о «Генерал-поручике Паткуле» Белинский так и не написал. Думается, что это произошло именно потому, что в первой книжке «Современника» за 1847 год появилась большая статья Тургенева, написанная с позиций реализма, подлинного историзма и народности, свойственных статьям самого Белинского. И когда в том же «Современнике» (1847, № 3) в рецензии на роман Кукольника «Два Ивана, два Степаныча, два Костылькова» Белинский мимоходом дал отрицательный отзыв о «Генерал-поручике Паткуле» (*Белинский*, т. X, с. 128), в этом, возможно, сказалось воздействие статьи Тургенева.

Стр. 251. *Лессинг. Гамб⟨ургская⟩ драм⟨атургия⟩, ч. I, стр. 105.* (*Примечание Тургенева.*) — Отрывок из «Гамбургской драматургии» Тургенев приводит в собственном переводе. См.: «Hamburgische Dramaturgie». 1767—1769. B. 1.— В кн.: G. E. Lessings Sämtliche Schriften. Neue rechtmässige Ausgabe. B. 7. Berlin, 1839, S. 105.

...заставить Паткуля ∾ говорить о Мольере ∾ после его смерти.— Тургенев при написании статьи пользовался не отдельным изданием трагедии Кукольника, а текстом, напечатанным в «Финском вестнике», о чем свидетельствует указание на с. 84. Имеется в виду следующее место из трагедии:

Они хотели напугать меня,
Скорей из Дрездена обманом выжить
И дать свободу планам короля!!
Не удалось! Я сам пошел в темницу;
Я сделал их посмешищем Европы,
И Август с бабами теперь толкует,
Как Паткуля без шума и огласки
Опять вернуть к саксонскому двору.
Комедия! Пожива для Мольера

(акт III, явл. 3, выход II).

Мольер умер в 1673 г., а в трагедии Кукольника описаны события, происходившие в 1706 г.

Стр. 252. *...поговорить о самом Паткуле как об историческом лице.*— Иоганн Рейнгольд фон Паткуль (1660—1707) — лифляндский дворянин, в 1702 г. перешедший на службу к Петру I и в 1704 г. посланный в Варшаву в качестве русского посла; 20 декабря 1705 г. Паткуля арестовали, в 1706 г. он был выдан шведам (по мирному договору между Августом II и шведским королем Карлом XII) и в октябре 1707 г. казнен.

...и хоть тогда, за три года до Полтавской битвы, Европа не могла «пугаться» Петра...— Решающее сражение между русскими и шведскими войсками произошло 27 июня 1709 г. в районе Полтавы во время Северной войны и закончилось блестящей победой русских.

Стр. 253. *Такое был известный Гёрц, таков был знаменитый Альберони ∾ далеко.*— Гёрц, граф фон Шлиц Георг Генрих (1668—1719) — первый министр и министр финансов шведского короля Карла XII; Альберони Джулио (1664—1752) — кардинал и испанский государственный деятель, широко образованный, умный и энергичный человек. Цитата, приведенная Тургеневым, взята из стихотворения Гёте «Утешение в слезах» («Trost in Tränen») в переводе В. А. Жуковского.

Капеллан Гиельмского полка ∾ описание последнего дня бедного Паткуля...— Тургенев дает отрывок из книги: M. Lorenz Hagens Feldpr. in der Armée Carls XII. Nachricht von der Hinrichtung Johann Reinhold von Patkul, Russischen Gen. Lieut. und Gesandten am sächsischen Hofe. Göttingen, 1783, SS. 4—39. Перевод — местами точный, иногда вольный и с пропусками. В отдельных местах введены фразы, отсутствующие в подлиннике, но уточняющие смысл. Кукольник ошибочно называет Л. Гагена Гагаром в примечании 24 к трагедии «Генерал-поручик Паткуль» (см.: Финский вестник, 1846, т. VIII, № 3, отд. I, с. 120).

Известно, что и Гёрца казнили (гораздо с большей несправедливостью, чем Паткуля) после смерти Карла.— Гёрц был казнен по недоказанному обвинению в растратах.

Стр. 265. *Инкогнито спасительный покров ∾ Au doux plaisir de revoir, ma Rose!* — Тургенев цитирует строки из разных мест драмы (см. акт I, явл. 2, выходы VI и VII).

Не дай нам бог сойтись на бале...— Цитата из 3 главы «Евгения Онегина» (строфа XXVIII). Тургенев цитирует, очевидно, по памяти и потому не совсем точно. У Пушкина:

Не дай мне бог сойтись на бале
Иль при разъезде на крыльце
С семинаристом в желтой шали...

Стр. 266. *Является Паткуль— и что тут следует? ∾ заключение первого акта.*— Вспоминая романтическую драму В. Гюго «Рюи Блаз» (1838), Тургенев имеет в виду обличительный монолог Рюи Блаза в III действии (явл. 2), в котором этот герой выступает против паразитизма королевских фаворитов, оспаривающих друг у друга власть и доходы. Аналогичная сцена есть и в пьесе Кукольника, где Паткуль в конце I действия (явл. 3, выход IX) обличает польского короля Августа и его приближенных, преступно растрачивающих средства, предназначенные на государственные нужды.

...у этих дам подарки отнимать; не беспокойтесь: я сам».— Цитата неточная. См. акт I, явл. 3, выход IX.

Входит Август.— Флемминг убеждает...— Флеминг Яков Генрих (1667—1728) — фельдмаршал, саксонский и польский государственный деятель.

Стр. 267. *...замечательной женщиной двух столетий!!* — Вольтер находил, что графиня Мария Аврора Кёнигсмарк (1668—1728) — «женщина, известная ⟨...⟩ умом и красотою», имела «удивительный дар говорить на многих языках» и писала «французские стихи» (История Карла XII, короля шведско-

го. Творение г. Волтера. Пер. с франц. М., 1803, ч. I, с. 185—186).

В «большой проходной комнате»...— У Кукольника: «Боковая проходная комната» (акт II, явл. 2, выход I).

Стр. 268. *Форнарина Рафаэля* ∾ *Ах, извините, читатель: это из «Доменикина»...*— Приведенные две строки — слова Доминика Зампиери из пьесы Кукольника «Джулио Мости» (1832—1833), ч. I, явл. 1 (а не из его же драматической фантазии в стихах «Доменикино», как указывает Тургенев).

Стр. 269. *Моя квартира с множеством секретов* ∾ *Вы факелы покорно понесете...*— См. акт III, явл. 1, выходы IV и V.

...этот маркиз Фанфарон, этот новый капитан Пистоль ∾ *который говорит постоянно „In King Cambyses' vein..."* — Капитан Пистоль — одно из действующих лиц второй части исторической хроники Шекспира «Король Генрих IV». Приведенная Тургеневым цитата — слова Фальстафа («В духе короля Камбиза») из первой части той же хроники (акт II, сц. 4).

Не вам ли, куклам, слабым и щедушным, Арестовать меня...— У Кукольника:

Не вам ли, куклам, слабым и щедушным,
Иссохшим от излишеств и разврата,
Арестовать меня...
(акт III, явл. 1, выход IV).

Стр. 270. *Вдруг входит Роза. Опять обыкновенная в таких случаях сцена. (См. хоть «Marion de Lorme» В. Гюго.)* — В пьесе Кукольника Паткуль подозревает Розу в том, что она потеряла честь, с негодованием упрекает ее за это и отвергает предложение бежать из темницы. У Гюго в драме «Марьон Делорм» (1829) имеется аналогичная ситуация. Марьон, подобно Розе, невесте Паткуля, является в тюрьму, чтобы спасти своего возлюбленного, Дидье. Но последний отказывается получить свободу, зная, что Марьон принуждена была ради этого уступить настойчивым домогательствам начальника полиции Лафемаса. Здесь, как во многих других случаях, Тургенев стремится подчеркнуть несамостоятельность Кукольника даже в выборе сюжетных ситуаций, его слишком явную зависимость от западноевропейской драматургии.

Но Гюго не заставляет Дидие схватить Марион за шею — и вытащить у ней из-за пазухи ∾ *письмо.*— Тургенев имеет в виду сцену в тюрьме из III акта (явл. 3, выход IV), о которой говорилось выше. Паткуль ревнует Розу к Августу:

Но он руки твоей не прикасался...
Того... как это... жаркие уста
К устам твоим... ты понимаешь, Роза!
Молчишь, дрожишь!.. Спасите, силы неба!
И ты жива! И нет ножа, кинжала...
(*схватив ее за шею*)
На шее пятен смерти нет... Что это?
(*вынимает письмо*).

Это письмо Петра I о Паткуле, похищенное Розой у адресата — польского короля Августа. В драме Гюго фигурирует пись-

мо короля Людовика XIII, содержащее помилование Диде и Саверни, приговоренных к смертной казни. Марьон получает это письмо при помощи королевского шута.

...с замечанием одного остроумного русского критика, что слабая сторона русской литературы — вкус... — Тургенев имеет в виду С. П. Шевырева.

Стр 271. *...со слов Вольтера...* — См.: История Карла XII, короля шведского. Творение г. Волтера. Пер. с франц. М., 1803, ч. II. с. 149.

Стр. 271—272. *...совет Аристотеля ~ совершенно добродетельного!* — Аристотель пишет, что в трагедии надо изображать того, «кто не отличается [особенной] добродетелью и справедливостью и впадает в несчастье не по своей негодности и порочности, но по какой-нибудь ошибке, тогда как прежде был в большой чести и счастии, каковы, например, Эдип, Фиест и выдающиеся лица из подобных родов» (см.: Аристотель. Об искусстве поэзии. М., 1957, с. 79).

Стр. 271. *Ссылаемся на Норберга, де Лимие, Адлерфельда, Вольтера — на всех историков.* — *Норберг* (1677—1744) — шведский историк, автор двухтомной «Истории Карла XII», изданной в Стокгольме в 1740 г. *Де Лимие* — голландский историк (ум. в 1725), автор «Истории царствования Людовика XIV» (1717). *Адлерфельд* (1671—1709) — шведский историк, убитый в сражении под Полтавой, автор «Военной истории короля шведского Карла XII».

Стр. 275—276. *Низар некогда назвал новейшую французскую литературу — littérature facile...* — *Низар* Жан Мари Наполеон Дезире (1806—1888) — французский историк литературы и критик. Тургенев имеет в виду известную статью Низара, направленную против так называемой «легкой» литературы. Впервые она была опубликована в «Revue de Paris» (1833, т. LVII, № 12, р. 211—228 и 261—287). Перевод этой статьи под названием «О начале упадка легкой литературы» появился затем в «Сыне отечества» (1834, ч. 163). Позже под названием «Manifeste contre la littérature facile» она вошла в книгу: Nizard D. Etudes de critique littéraire. Paris, 1858, p. 1—21.

Стр. 276. *Ужели же так трудно вместо живых людей, «ondoyants et divers», как говорит Montaigne...* — Тургенев имеет в виду следующее место из «Опытов» Монтеня: «Certes c'est un subject merveilleusement vain, divers et ondoyant, que l'homme: il est malaysé d'y fonder jugement constant et uniforme» («Essais de Michel de Montaigne». l., ch. 1) ⟨Изумительно суетное, поистине непостоянное и вечно колеблющееся существо — человек. Нелегко составить себе о нем устойчивое и единообразное представление⟩ (см.: Монтень М. Опыты. 2-е изд. Пер. Бобовича А. С. М.; Л., 1958, кн. I, с. 13—14).

...отголосок тех «простых и сладких звуков», которыми так богат Шекспир... — Ср. заключительные строки стихотворения Пушкина «Поэт и толпа» («Чернь», 1828):

Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.

У нас нет еще драматической литературы и нет еще драматических писателей. — Ср. с начальными строками рецензии

Белинского на «Шутку в одном действии» В. А. Соллогуба «Букеты, или Петербургское цветобесие» (*Белинский*, т. IX, с. 346).

...l'amusement de quelques gentilshommes... — Тургенев, видимо, по памяти и потому неточно цитирует высказывание г-жи де Сталь: «Quelques gentilshommes russes ont essayé de briller en littérature», т. е. «Несколько русских дворян пытались блистать в литературе» («Dix années d'exil», 1820, ch. XVI).

ПОВЕСТИ, СКАЗКИ И РАССКАЗЫ КАЗАКА ЛУГАНСКОГО...

(с. 277)

Печатается по тексту первой публикации.

Впервые опубликовано: *Отеч Зап*, 1847, т. L, № 1, отд. VI, с. 1—3.

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т, ПСС, 1883*, т. I, с. 325—329.

Автограф неизвестен.

Датируется концом 1846 г.

Казак Луганский — псевдоним русского писателя, этнографа и ученого-диалектолога Владимира Ивановича Даля (1801—1872). В 1840-х годах он служил в Министерстве внутренних дел и был непосредственным начальником Тургенева в годы его службы (см.: Оксман Ю. Г. И. С. Тургенев на службе в Министерстве внутренних дел.— Уч. зап. Сарат. гос. ун-та. Саратов, 1957, т. LVI, вып. филолог., с. 172—183). Начав свою литературную деятельность в 1832 г. с обработки русских сказок, Даль писал повести, рассказы, очерки. Белинский отмечал, что «господствующая наклонность, симпатия, любовь, страсть» таланта Даля заключается «в русском человеке, русском быте, словом — в мире русской жизни», которую он любит «...в корню, в самом стержне, основании ее, ибо он любит простого русского человека, на обиходном языке нашем называемого *крестьянином* и *мужиком*» (*Белинский*, т. XI, с. 80).

Литературно-критические выступления Тургенева, как правило, были тесно связаны с его собственным художественным творчеством. В данном случае активный интерес к новому сборнику произведений Даля был вызван у Тургенева тем, что он сам в это время работал над «Хорем и Калинычем» — первым очерком из «Записок охотника», главным героем которых стал русский крестьянин. Настоящая рецензия и очерк «Хорь и Калиныч» вышли в свет одновременно, в первых номерах «Отечественных записок» и «Современника». Не случайно поэтому, что в рецензии Тургенев уделил большое внимание проблеме народности литературы и истолковал ее с точки зрения тех задач, которые он ставил перед собою как автор очерков из крестьянской жизни.

Рецензия Тургенева на повести Даля написана не без влияния идей Белинского. В особенности это касается общей оценки таланта Даля, которая близка выводам Белинского,

сделанным им в статье «Русская литература в 1845 году» (см.: *Белинский*, т. IX, с. 398—399).

Стр. 278. *...первые россказни Казака Луганского...*— Первыми сборниками сочинений Даля были: «Русские сказки. Пяток первый» (1832) и «Были и небылицы Казака Луганского», 4 кн. (1834—1839).

Стр. 280. *...как, например, г. Вельтман...*— Александр Фомич Вельтман (1800—1870) — русский писатель и археолог, автор романа-путешествия «Странник» (ч. 1—3, 1831—1832), исторического романа «Кащей Бессмертный» (1833) и др. В 1846 г. начал печататься его роман «Приключения, почерпнутые из моря житейского». Тургенев, очевидно, имел в виду те же достоинства и недостатки Вельтмана как романиста, на которые указал Белинский в статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года». Критик там писал: «Г-н Вельтман обнаружил в новом романе едва ли еще не больше таланта, нежели в прежних своих произведениях, но вместе с тем и тот же самый недостаток умения распоряжаться своим талантом. В его «Приключениях» толпится страшное множество лиц, из которых многие очеркнуты с необыкновенным мастерством; много поразительно верных картин современного русского быта, но вместе с тем есть лица неестественные, положения натянутые, и слишком запутанные узлы событий часто разрешаются посредством deus ex machina» (*Белинский*, т. X, с. 43).

...очерков вроде «Дворника» ∾ «Мужика».— Очерки эти названы Тургеневым неточно. У Даля — «Русский мужик» и «Петербургский дворник».

«Ночь на распутье» ∾ напоминает «Сон в летнюю ночь» Шекспира.— Комедия Шекспира «Сон в летнюю ночь» (1595 или 1596) была в то время хорошо известна русским читателям в переводах И. Р⟨осковшенко⟩ (*Б-ка Чт*, 1841, № 4) и А. Вельтмана. Перевод последнего вышел отдельным изданием под названием «Волшебная ночь. Драматическая фантазия» (М., 1844). «Ночь на распутье, или Утро вечера мудренее» Даля, написанная прозой и стихами, в драматической форме, повторяла основные сюжетные линии комедии Шекспира. Вместо античных героев в «старой бывальщине в лицах» Даля (см. рецензируемое Тургеневым издание, т. IV, с. 83—175) действуют русские князья, а вместо эльфов и фей — домовой, леший, водяной, русалки, оборотень.

СОВРЕМЕННЫЕ ЗАМЕТКИ

(с. 281)

Печатается по тексту первой публикации.

Впервые опубликовано: *Совр*, 1847, № 1, отд. IV, с. 71—79.

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т, Сочинения*, т. XII, с. 307—317.

Автограф неизвестен.

Датируется декабрем 1846 г. по времени публикации.

Принадлежность этой статьи Тургеневу установлена в 1916 г. М. О. Гершензоном на основании прямого указания в

письме Белинского к Тургеневу от 1 (13) марта 1847 г.: «Теперь фельетон поверен человеку порядочному, но это всё — не Вы, мой бесценный Иван Сергеевич: уж такого фельетона, какой был в № 1 „Современника", не дождаться нам раньше Вашего возврата в Питер» (*Белинский*, т. XII, с. 344).

Перепечатывая фельетон в числе других забытых журнальных статей и рецензий Тургенева (*Рус Пропилеи*, т. 3, 1916, с. 101—110), М. О. Гершензон опустил вторую часть «Современных заметок», содержащую хронику парижских театров, рекомендации комиссионной конторы Языкова, заявления от редакции и пр., как не принадлежащую Тургеневу, на том основании, что, как он справедливо рассуждал, «под фельетоном разумелась тогда хроника, «Современные заметки» о текущей жизни столицы (так назывался этот отдел в «Современнике»); слова Белинского касаются именно таких заметок,— иначе не было бы необходимо присутствие Тургенева в Петербурге» (там же, с. 308—309).

М. К. Азадовский, не соглашаясь с М. О. Гершензоном, в работе «Затерянные фельетоны Тургенева» (Иркутск, 1927) без достаточных оснований приписывал Тургеневу и вторую часть фельетона, а также другие «Современные заметки», напечатанные во 2, 3 и 4 номерах «Современника» за 1847 год. Однако точка зрения Азадовского на этот вопрос не может быть принята, так как его утверждение противоречит смыслу письма Белинского к Тургеневу от 1 (13) марта 1847 г. (см. выше), в котором критик сожалел, что Тургенев написал фельетон только для первого номера «Современника» за 1847 г. Кроме того, в письме к В. П. Боткину от 22 апреля 1847 г. Белинский прямо указывал, что московские «Современные заметки» для «Современника» составлял Н. А. Мельгунов, а петербургские — Штрандман (*Белинский*, т. XII, с. 357; ср.: Клеман М. К. Программы «Записок охотника».— Уч. зап. Ленингр. гос. ун-та. Сер. филол. наук. Л., 1941, вып. 11, с. 91).

Высказывалось также предположение, что одним из авторов «Современных заметок» мог быть И. А. Гончаров. Полемику по этому поводу см.: Алексеев А. Д., Кийко Е. И. Гончаров или Тургенев? К атрибуции «Современных заметок».— *Т сб.*, вып. 3, с. 47—53.

Стр. 281. *Мы ленивы и нелюбопытны...*— А. С. Пушкин, «Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года», глава II (Грибоедов).

Теперь нас преимущественно занимают и волнуют цирки...— Цирки французских антрепренеров Лежара и Гверры были в центре внимания петербургской прессы в сезон 1846/47 г. В фельетоне «Северной пчелы» (1846, № 251, 6 ноября) подробно рассказывалось об артистах обоих цирков и в особенности о наездницах Каролине Лойо, Полине Кюзан, г-же Чинизелли и др. В «Русском инвалиде» (1846, № 262, 23 ноября) был напечатан фельетон графа Сюзора, также посвященный циркам.

Парадокс Бюффона: гений есть терпение...— Слова, приписанные Бюффону Эро де Сешелем в его сочинении «Визит к Бюффону» (Hérault de Séchelles. Visite à Buffon. 1785;

второе издание: Hérault de Séchelles M. J. Voyage à Montbard en 1785. Paris, an IX ‹1800›). В библиотеке Тургенева сохранились 64 тома «Всеобщей и частной естественной истории» Бюффона (Histoire naturelle générale et particulière, par Leclerc de Buffon. A Paris, chez Dufart, 1798—1807), ранее принадлежавшие Белинскому.

Стр. 282. *В мастерской г. Витали...*— Мастерская Витали находилась при Академии художеств, профессором которой он состоял с 1842 г. (см.: Нагаевская Е. Иван Петрович Витали. М., 1950, с. 21). Интерес к скульптуре Тургенев сохранил на всю жизнь (см. его «Заметку» об М. М. Антокольском, 1871 и статью «Пергамские раскопки», 1880).

...два знаменитые барельефа на фронтонах Исаакиевской церкви...— Постройка Исаакиевского собора, начатая еще в 1819 г. (проект Монферрана утвержден Александром I в 1817 г.), была закончена полностью только в 1858 г., но наружная отделка здания была готова к 1845 г. (см.: Старчевский А. А. Монферран, строитель Исаакиевского собора.— Наблюдатель, 1885. № 10. с. 103).

...торжество, которое не далось ни Лемеру, ни Давиду (в фронтонах Мадлены и Пантеона).— Лемер (1798—1880) и Давид (David d'Angers, 1788—1856) — французские скульпторы. Тургенев имеет в виду барельеф работы Лемера на фронтоне церкви святой Магдалины в Париже «Страшный суд» и рельеф работы Давида на фронтоне Пантеона в Париже «Родина, сопутствуемая Свободой и Историей, награждает своих великих сынов венками бессмертия» (окончен в 1837 г.). Лемер принимал также участие в отделке Исаакиевского собора (см.: Ромм А. Г. Русские монументальные рельефы. М., 1953, с. 78).

Стр. 283. *...реалист, в хорошем смысле этого слова.*— Несмотря на то, что основы эстетической концепции реализма были заложены в статьях Белинского, самим термином «реализм» он не пользовался. В данном случае Тургенев впервые употребляет термин «реалист», называя так художника-скульптора. Оценка своеобразия творчества И. Витали в настоящей статье Тургенева близка к современной (ср.: Ромм А. Г. Русские монументальные рельефы, с. 78).

...сравнил его с Пуссеном.— Пуссен (Poussin) Никола (1594—1665) — французский живописец, в творчестве которого строгая логичность художественного замысла и преклонение перед античностью сочетались с живой эмоциональностью образов.

Мы не могли видеть его апостолов ∾ над Торвальдсеном...— В апреле 1846 г. И. П. Витали получил от строителей Исаакиевского собора заказ на выполнение шестнадцати скульптур ангелов и апостолов со светильниками в руках. Скульптуры были установлены на углах собора. *Торвальдсен* (Thorvaldsen) Бертель (1768—1844) — датский скульптор, произведения которого отличаются большим мастерством отделки и пластической завершенностью композиций.

Стр. 284. *...великой княжны Александры Николаевны* — дочери Николая I, умершей в 1844 г. в возрасте 19 лет. Бюст выполнен в 1844 г., ныне хранится в Государственном Русском музее в Ленинграде.

...рисунки к священной истории ∾ г. Сапожниковым.— Андрей Петрович Сапожников (1795—1855) — живописец-любитель, оказавший искусству немаловажную услугу различными изданиями, особенно руководством к изучению рисования. Тургенев ошибся: автором рисунков к Ветхому завету был А. А. Агин, а не Сапожников, который их только издал (см. Ветхий завет в картинах, 82 гравюры, рис. А. Агиным и грав. К. Афанасьевым. Изд. Ф. Прянишникова и А. Сапожникова, 1848). Высказанное Тургеневым ниже намерение посвятить этому изданию специальную статью не было осуществлено.

Мы говорим о рисунках к «Мертвым душам»...— Речь идет об альбоме рисунков А. А. Агина, изданном в 1847 г.: «Сто рисунков к „Мертвым душам" Гоголя» (гравюры на дереве были выполнены Е. Бернардским).

...рисунки к «Тарантасу» и «Помещику»...— Вопрос об участии А. А. Агина в иллюстрировании повести В. А. Соллогуба «Тарантас» (1845) представляется спорным (см.: Кузьминский Конст. Художник-иллюстратор А. А. Агин. Его жизнь и творчество. М.; Пг., 1923, с. 88; Савинов А. Григорий Григорьевич Гагарин (1810—1893). М., 1951, с. 14—18; Сидоров А. А. Рисунок старых русских мастеров. М., 1956, с. 382). Рисунки А. А. Агина к «Помещику» Тургенева были напечатаны в *Петербургском сборнике* и получили высокую оценку Белинского (см. *Белинский,* т. IX, с. 572).

...покидал ли г. Агин когда-нибудь Петербург.— Л. М. Жемчужников, художник-любитель, брат поэта, в своих воспоминаниях об Агине писал: «Но талант и ум Агина еще более будут оценены, когда узнают, что он никогда не бывал в провинции и изображаемые им типы представляют собой результат его воображения и серьезного отношения к своей задаче» (*ВЕ*, 1900, № 12, с. 509).

Стр. 285. *Tel brille ∾ premier.*— Цитата из «Генриады» Вольтера (1723) песнь 1.

...г-ну Степанову удались его фигурки.— Николай Александрович Степанов (1807—1877) — художник-карикатурист. Тургенев имеет в виду сделанные им шаржированные скульптурные портреты русских литераторов, художников и музыкантов, в том числе Булгарина, Брюллова, Греча, Айвазовского, Панаева и др. (о Степанове см.: Трубачев С. Карикатурист Н. А. Степанов.— *ИВ*, 1891, т. 43—44, февраль — апрель).

...справедливый суд произнесен уже над ними...— Это утверждение Тургенева следует понимать как ироническое. Дело в том, что появление скульптурных карикатур Н. А. Степанова было оценено положительно и Ф. Булгариным в фельетоне «Северной пчелы» (1846, № 110, 18 мая). Однако, когда были выставлены для всеобщего обозрения карикатуры на самого Булгарина и его ближайших сотрудников —Греча и Брандта, отношение «Северной пчелы» к фигуркам Степанова резко изменилось. Ф. Булгарин писал, что «в магазине Беггрова выставлены уродливые статуйки с размазанными красною краскою рожами, вызывающие не смех, а жалость» (*Сев Пчела,* 1846, № 224, 5 октября). Говоря выше о том, что Степанову «иные фигурки до того удались, что на них... противно смотреть», Тур-

генев, несомненно, имел в виду именно карикатуры на Булгарина, Греча и Брандта.

«Музыкальный ли город С.-Петербург?» — Вопрос о том, музыкальный ли город Петербург. был в то время предметом оживленной журнальной и газетной дискуссии (см., например: *Сев Пчела*, 1846, № 276, 7 декабря).

Стр. 286. *...в своем «Фаусте» петь следующие слова...*— Речь идет о драматической легенде Берлиоза «Осуждение Фауста» (1846). Отрицательный отзыв Тургенева о Берлиозе объясняется, по-видимому, тем, что Тургеневу было чуждо искусство французского романтизма 1820—1840-х годов, характернейшим представителем которого в музыке был автор «Осуждения Фауста». Раздражение Тургенева могла вызвать также вольная интерпретация трагедии Гёте в «драматической легенде» Берлиоза, который стремился не столько передать дух и своеобразие «Фауста» Гёте, сколько выразить собственные эмоции, возникшие в связи с этим произведением (см.: Guichard Léon. La musique et les lettres au temps du romantisme. Paris, 1955, p. 240—245).

...отдать справедливость и г-ну Верди.— Об отношении Тургенева к европейской музыке XVIII—XIX вв. см.: Алексеев М. П. Тургенев и музыка. Киев, 1918; Крюков А. Н. Тургенев и музыка. Л., 1963.

Фелисиан Давид, автор «Пустыни»...— Давид (David) Фелисьен Сезар (1810—1876) — французский композитор, один из основоположников ориентализма во французской музыке. Программная ода — симфония «Пустыня» («Le Désert»), исполненная впервые в зале Парижской консерватории 8 декабря 1844 г., имела большой успех. В Петербурге в 1846 г. это произведение Фелисьена Давида исполнялось в концертах филармонического общества дважды, 7 и 27 марта (см.: *Сев Пчела*, 1846, 7 марта, № 53 и 27 марта, № 73).

Стр. 287. *...финалы I-го акта «Ломбардов».*— Аналогичный отзыв о музыке Верди и о его опере «I Lombardi» см. в парижском письме Тургенева от 14—15 (26—27) ноября 1847 г. Полине Виардо.

...россиниевского «Карла Смелого»? — Опера Россини «Вильгельм Телль» на сцене русских театров по требованию театральной цензуры шла под названием «Карл Смелый» и с либретто, переделанным Р. М. Зотовым (см. *Сев Пчела*, 1846, № 286, 19 декабря). Премьера оперы в театральный сезон 1846/47 г. состоялась 14 декабря.

Стр. 288. *...ухватки обезьяны ∾ трогательные извещения...*— Сообщения о рождении в зверинце Г. Замма обезьяны содержались в фельетонах «Северной пчелы» (1846, № 265, 25 ноября) и «Русского инвалида» (1846, № 265, 27 ноября).

...лекции о французской литературе...— Граф Сюзор прочитал в Петербурге с 24 ноября по 11 декабря 1846 г. шесть лекций о французской литературе. «Северная пчела» писала: «Умный и красноречивый литератор граф Сюзор открывает ⟨...⟩ исторические, критические, анекдотические и биографические чтения о французской литературе» (*Сев Пчела*, 1846, № 264).

Стр. 289. *...рисунки в «Иллюстрации» так же изящны...*— «Иллюстрация. Ежедневное издание всего полезного и изящного» (1845—1849), редактор-издатель Н. В. Кукольник. Значительное место на страницах «Иллюстрации» было отведено рисункам.

Уныло мы проходим жизни путь ∾ И словно по профессии зеваем...— Эти стихи, опубликованные в статье Тургенева впервые, принадлежат Некрасову. Они составляют изъятую цензурой часть стихотворного фельетона поэта «Новости», напечатанного в «Литературной газете» (1845, № 9, 8 марта). В строке 14 отрывка по цензурным соображениям пропущено одно слово. Надо: «Визиты, поздравленья и разводы» (см. *Некрасов,* т. I, с. 202 и 584).

ПИСЬМА ИЗ БЕРЛИНА

(с. 291)

Печатается по тексту первой публикации.

Впервые опубликовано: *Совр,* 1847, № 3, отд. «Смесь», с. 46—49, с подписью «Т.» (в оглавлении «И. Т-в»).

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т, Сочинения,* т. XII, с. 316—319. Авторство Тургенева установлено на основании писем Белинского к В. П. Боткину В. Ф. Саводником («Забытые страницы И. С. Тургенева». М., 1915, с. 4—7).

Автограф неизвестен.

Первое «письмо из Берлина» датировано в тексте «Современника» 17 февраля (1 марта) 1847 г. Тургенев приехал в Берлин в конце января 1847 г.

Поездка Тургенева в Германию была предпринята в связи с желанием писателя присутствовать на предстоявших выступлениях П. Виардо в Берлинской опере (см. письмо к П. Виардо от 28 ноября (10 декабря) 1846 г.— Наст. изд., Письма, т. I).

«Письма из Берлина», судя по заглавию и помете «Письмо первое» в печатном тексте, должны были составить целую серию; но дальнейших писем Тургенев за всё пребывание в Берлине, откуда он выехал 13 (25) мая, сопровождая больного Белинского, не напечатал и, вероятнее всего, не написал, несмотря на обещание в конце первого письма.

Германия в этот период переживала предреволюционную ситуацию, которая назревала в стране уже с начала 40-х годов. Характеристика социальных группировок дана в работе К. Маркса и Ф. Энгельса «Немецкая идеология» (1845—1846), а также в серии статей Ф. Энгельса в английской периодической печати «Положение в Германии» (The Northern Star, 1845, № 415, 25 октября; № 417, 8 ноября и 1846, № 438, 4 апреля); «Прусская конституция» (The Northern Star, 1847, № 489, 6 марта). Материалом для «Писем из Берлина», кроме личных впечатлений, послужили Тургеневу современные немецкие книги, брошюры, газеты, журналы, а также беседы с немецкими и русскими друзьями в Берлине — К. А. Фарнга-

геном фон Энзе, Г. Мюллером-Штрюбингом (1810—1893), А. И. Герценом и др.

К. А. Фарнгагена фон Энзе (1785—1858) Тургенев посетил дважды — 9 (21) февраля и 7 (19) марта 1847 г. (Varnhagen von Ense K. A. Tagebücher. Leipzig, 1862, Bd. IV, S. 32, 45). В «Письмах из Берлина» явно ощущаются отголоски бесед с немецким писателем, который в своем дневнике с большой остротой и очень детально отразил нарастание революционных настроений в Германии, волнения среди рабочих, антиправительственные выступления студентов и избиения их полицией, действия правительства — аресты, всевозможные запреты, притеснение университетов, политические процессы. В дневнике отмечается «безумный ужас аристократии перед призраком коммунизма» (Фарнгаген. Указ. соч., т. III, с. 316). Вопрос о коммунизме в этот период дебатировался в газетах, на публичных лекциях. В 1846 г. в Германии почти одновременно вышли в свет книги авторов демократического направления — Ф. Засса (1819—1851) и Э. Дронке (1822—1891), написанные под влиянием работы Ф. Энгельса «Положение рабочего класса в Англии» (1842) и отметившие с большой остротой социальный антагонизм в Германии и тяжелое положение пролетариата (см.: Фриман М. И. Критический обзор источников и литературы о берлинском пролетариате накануне революции 1848 г.— Уч. зап. Ярослав. пед. ин-та, 1945, вып. 7, с. 16—17). Эти книги следующие: Sass F. Berlin in seiner neuesten Zeit und Entwickelung. Leipzig, 1846 (Тургенев прочел эту работу и упоминает ее в своем очерке); Dronke E. Berlin. 1846 (за эту нашумевшую книгу автор подвергся двухлетнему заключению; Фарнгаген неоднократно упоминает ее в своем дневнике; Тургенев, судя по замечаниям в его «Письмах из Берлина», вероятно, читал ее; книга переиздана в 1953 г. в ГДР). Ему, видимо, известен был также очерк студента Г. Грюнтхольцера «Наблюдения молодого швейцарца в Фойгтланде» о тяжелом быте рабочих и ремесленников берлинского предместья Voigtland, приложенный к нашумевшей книге Беттины Арним «Dies Buch gehört dem König», Berlin, 1844. Тургенев был знаком и со статьей М. А. Бакунина «Реакция в Германии», в которой подвергнута острой критике культурная, социальная и политическая отсталость Германии (статья напечатана в 1842 г. под псевдонимом Jules Elysard в «Deutsche Jahrbücher für Wissenschaft und Kunst», №№ 247—251).

В «Письмах из Берлина» содержится резкая критика современной Германии. Этот очерк, несмотря на небольшой объем и лаконичность, насыщен общественным содержанием. Однако обо всем писатель говорит иносказательно, намеками, «эзоповским языком». В незначительных деталях повседневной жизни Берлина ощущается подтекст, расшифровку которого автор подсказывает заявлениями о «больших переменах», «ожидании перемен», о «движении вперед», навстречу неизбежным революционным событиям. Недомолвки подчеркиваются многоточиями, характерными для всей статьи.

Очерк Тургенева вызвал возражения со стороны либерального западника Н. А. Мельгунова, критиковавшего Тургенева в статье «Бурши и филистеры» за односторонность, противоре-

чивость и поверхностность его суждений о Германии (*Отеч Зап,* 1847, № 8, «Смесь», с. 152—153). Белинский, отказавшийся напечатать статью Мельгунова в «Современнике», писал 22 апреля ст. ст. 1847 г. В. П. Боткину: «...не напечатаем статьи „Бурши и филистеры" 〈...〉 нельзя в „Современнике" допустить того, что говорится в статье против Тургенева 〈...〉 если б Тургенев судил и односторонне, его односторонность жива, оригинальна; а его письмо о Берлине, как ни коротко оно, было замечено и скрасило наш журнал...» (*Белинский,* т. XII, с. 355).

Стр. 291. ...*Вы желаете услышать от меня несколько берлинских новостей...*— Эта фраза, очевидно, обращена к Н. А. Некрасову и И. И. Панаеву. 10 (22) февраля 1847 г. Панаев писал в Берлин Тургеневу: «Ожидаем от вас для 4-го № статьи о немецкой литературе» (Тургенев и круг «Современника». Неизданные материалы 1847—1861. М.: Л., 1930, с. 12). 15 (27) февраля 1847 г. Некрасов подтвердил эту просьбу: «Статья об немецкой литературе к 4-му № нам будет крайне нужна: письмо о Берлине — очень бы хорошо...» (*Некрасов,* т. X, с. 61—62).

...*«немеет перед законом»* — неточная цитата из «Мертвых душ»; у Гоголя: «я немею перед законом» (глава II, слова Чичикова в беседе с Маниловым). В Берлине в этот период законом было предусмотрено множество «запрещений» (см.: Фарнгаген. Указ. соч., т. IV, с. 11). Тургенев напоминает о самом безобидном — «запрещении курения в общественных местах» (Засс. Указ. соч., с. 49 и сл.). Мельгунов в статье «Бурши и филистеры» высказал ряд полемических замечаний по поводу утверждений Тургенева, будто каждый немец «немеет перед законом», считая, что «эта черта, характеризующая всё германское племя, всего чаще доводит до великого...» (*Отеч Зап,* 1847, № 8, «Смесь», с. 153).

Помните ли ∾ *студенческих слез и криков?* — Тургенев напоминает читателю очерк М. Н. Каткова «Берлинские новости», в котором подробно описана серенада студентов 9 (21) мая 1841 г. в честь профессора К. Вердера и приведена полностью его ответная речь студентам на крыльце его дома (*Отеч Зап,* 1841, № 6, «Смесь», с. 111—114).

Участие, некогда возбуждаемое в юных и старых сердцах чисто спекулятивной философией, исчезло ∾ *в юных сердцах.*— Под «чисто спекулятивной философией» Тургенев разумеет прежде всего философию Гегеля, а также Шеллинга и других мыслителей-идеалистов. Спекулятивная (умозрительная) философия в 1840-х годах была подвергнута критике в работах К. Маркса и Ф. Энгельса «Святое семейство» (издана в 1845 г. отдельной книгой во Франкфурте-на-Майне) и «Немецкая идеология», а также в статьях К. Маркса «К еврейскому вопросу» и «К критике гегелевской философии права», напечатанных в «Deutsch-Französische Jahrbücher», 1844 г. (это издание находится в библиотеке Тургенева, приобретено им в составе библиотеки Белинского). Отрицательным отношением к спекулятивной немецкой философии пронизана статья М. Бакунина «Реакция в Германии» (Deutsche Jahrbücher für Wissenschaft und Kunst, 1842, № 247—251).

...с волнением ожидали Шеллинга...— Первая лекция Ф. В. Шеллинга в Берлинском университете 3 (15) ноября 1841 г. целиком напечатана в «Отечественных записках», 1842, т. XX, с. 65—70. Катков писал в 1841 г. А. А. Краевскому, что Тургенев занят «предназначаемым также для «Отечественных записок» переводом речи Шеллинга об изящных искусствах» (Неведенский С. Катков и его время. СПб., 1888, с. 77). Перевод этот неизвестен. В библиотеке Тургенева имеются некоторые сочинения Шеллинга.

Резкая критика философии Шеллинга, который в этот период стал на позиции католического мистицизма, была дана в работе Ф. Энгельса «Шеллинг и откровение» (1841).

...шикали с ожесточеньем на первой лекции Шталя...— Ф. Ю. Шталь (1802—1861) — немецкий юрист и политический деятель крайне реакционного направления. Его книга «Philosophie des Rechts» («Философия права») проложила ему дорогу в Берлинский университет, профессором которого он являлся с 1840 г. Находился под покровительством прусского короля и придворной аристократии.

...при одном имени Вердера...— Карл Вердер (1806—1893) — немецкий философ-гегельянец и драматург, относившийся с исключительной симпатией к русским студентам в Берлинском университете и посылавший приветы Белинскому. Тургенев слушал его лекции по истории философии, по логике и метафизике и брал у него частные уроки по философии. Сохранились конспекты лекций Вердера по гегелевской философии (*ИРЛИ*, ф. 377, № 584) и по чистой метафизике (*ИРЛИ*, ф. 93, оп. 3, № 1258), составленные Тургеневым в 1840 г.

...воспламенялись от Беттины...— Беттина Арним (1785—1859) — немецкая писательница, в 40-х годах увлекалась демократическими идеями. В библиотеке Тургенева сохранилась книга Б. Арним «Tagebuch zu Goethes Briefwechsel mit einem Kinde», 3. Theil, 2. Auflage. Berlin, 1837, с надписью: «Берлин 1840. Тургенев».

Об отношении Тургенева к Беттине Арним см. в его письме к ней конца 1840 или начала 1841 г. (наст. изд., Письма, т. I).

...с благоговением слушали Стеффенса...— Хенрик Стеффенс (1773—1845) — немецкий (норвежского происхождения) философ, естествоиспытатель и беллетрист, приверженец философии Шеллинга, один из главных представителей спекулятивного направления в естествознании. Был другом Ф. Липманна, у которого Тургенев в 1834—1837 годах брал частные уроки по всеобщей истории. В библиотеке Тургенева сохранились книги Стеффенса: Steffens H. Anthropologie. Breslau, 1822, Bd. I—II; Steffens H. Was ich erlebte. Aus der Erinnerung niedergeschrieben. Breslau, 1840, Bd. I—VI.

...Шеллинг умолк...— Шеллинг прекратил чтение лекций в 1842 г. из-за появления в печати, без его разрешения, его курса лекций в университете с критическими замечаниями Генриха Паулуса (1761—1851), теолога-рационалиста.

Стр. 292. *...юная, новая школа...*— Литературная группа «Молодая Германия», возникшая в 1830-х годах, находилась первоначально под влиянием Генриха Гейне и Людвига Берне

(1786—1837). Отражая в своих художественных и публицистических произведениях оппозиционные настроения мелкой буржуазии, писатели «Молодой Германии» (К. Гуцков, Л. Винбарг. Т. Мундт и др.) выступали в защиту свободы совести и печати. Взгляды младогерманцев отличались незрелостью и политической неопределенностью. Впоследствии большинство из них превратилось в буржуазных либералов. Критика «Молодой Германии» содержится в статье Ф. Энгельса «Александр Юнг. „Лекции о современной литературе немцев"» (Deutsche Jahrbücher für Wissenschaft und Kunst, 1842. № 160, 161, 162 от 7, 8, 9 июля). К «Молодой Германии» в этот период критически относились В. Г. Белинский (*Белинский,* т. VI, с. 695) и В. П. Боткин. В статье «Германская литература» Боткин, критикуя писателей-младогерманцев, отметил революционных поэтов Гервега и Фрейлиграта, а также Л. Фейербаха и Б. Бауэра (см.: *Отеч Зап*, 1843, XXVI, отд. VI, с. 35, и XXVII, отд. VI, с. 37—59).

Бруно Бауэр живет здесь, но никто его не видит, никто о нем не слышит... — Бруно Бауэр (1809—1882) — немецкий философ-идеалист, виднейший младогегельянец. Резкая критика его взглядов дана в работах К. Маркса и Ф. Энгельса «Святое семейство» и «Немецкая идеология». В библиотеке Тургенева сохранился ряд книг Б. Бауэра. Произведения Б. Бауэра за их радикализм были запрещены в Германии и преследовались законом, о чем неоднократно говорит Фарнгаген (см. Фарнгаген. Указ. соч., т. II, III, IV).

...на днях я встретил в концерте человечка ∾ Это был Макс Штирнер. — Макс Штирнер (псевдоним Каспара Шмидта, 1806—1856) — немецкий философ, младогегельянец, один из идеологов буржуазного индивидуализма и анархизма. Реакционная сущность его учения вскрыта в работах К. Маркса и Ф. Энгельса «Святое семейство» и «Немецкая идеология». Упоминание о «нашумевшей» книге Штирнера и об отрицательном отношении к ней Белинского см. в кн.: Анненков П. В. Воспоминания и критические очерки, отд. III. СПб., 1881, с. 198—200.

Впрочем, понятно, почему их забыли; Фейербах не забыт, напротив! — Тургенев, отмечая падение популярности младогегельянцев, намекает на то, что идеалистический индивидуализм Б. Бауэра и М. Штирнера противоречил материалистическим, социальным и революционным требованиям немецкого общества накануне революции 1848 г. Книгу Л. Фейербаха «Сущность христианства» Тургенев цитировал в 1842 г. в письменных ответах на магистерских экзаменах (см.: *Т, Сочинения,* т. XII, с. 429). В письме к П. Виардо от 26 ноября (8 декабря) 1847 г. он назвал немецкого философа «самым замечательным немецким писателем» (наст. изд., Письма, т. I). В библиотеке Тургенева сохранился ряд книг Фейербаха (см.: Горбачева В. Н. Молодые годы Тургенева. Казань, 1926).

...литературная, теоретическая, философская, фантастическая эпоха ∾ кончена. — Тургенев, по-видимому, разумеет период, о котором Энгельс говорит в статье «Положение в Германии» так: «С 1834 до 1840 г. в Германии замерло всякое общественное движение» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 2,

с. 578). С этим периодом писатель был хорошо знаком, так как в 1838—1841 гг. учился в Германии.

...богословские распри сильно волновали ∾ *евангелическому вероисповеданию...*— В Германии в 40-е годы происходила ожесточенная борьба между правительством и официальной церковью, с одной стороны, и различными сектами протестантов и католиков — с другой (Засс. Указ. соч., с. 177—180; Дронке. Указ. соч., т. I, с. 157—159). «Немецкие католики», отвергая главенство папы, многие догмы и обряды католической церкви, стремились приспособить католицизм к нуждам развивавшейся немецкой буржуазии. Юлиус *Рупп* (1809—1884) — немецкий пастор, преподаватель философии и литературы, один из основателей общества «немецких католиков», по настоянию министра просвещения Эйхгорна был исключен в 1846 г. из Общества Густава Адольфа, что вызвало возмущение в широких общественных кругах. Общество Густава Адольфа возникло в 1832 г., в 200-летнюю годовщину смерти шведского короля Густава II Адольфа, ревностного поборника протестантизма; энергичная деятельность этого общества в Германии вызывала раздражение и недоверие правительственных кругов (Фарнгаген. Указ. соч., т. II, с. 389). *Э. В. Генгстенберг* (1802—1868) — теолог, профессор Берлинского университета, ярый враг Гегеля и рационализма, поборник пиетизма — способствовал в этот период антиправительственным демонстрациям (см. Дронке. Указ. соч., т. I, с. 19).

...но вы ошибетесь, если примете все эти движения, споры и распри за чисто богословские...— Политический характер религиозной борьбы в Германии отметил Ф. Энгельс в статье «Недавняя бойня в Лейпциге. Рабочее движение в Германии» (The Northern Star, 1845, № 409, 13 сентября).

Вы легко можете себе представить ∾ *исполнены ожиданья...*— Тургенев, говоря о многообразии «видов» абстрактных идей спекулятивной философии Гегеля (Логос, Дух, Мысль) и более конкретных понятиях младогегельянцев (прогресс, человечество), имеет в виду также, судя по контексту («названий много в вашем распоряжении»), многообразие социальных категорий (общее благо, формы собственности, разделение труда, производство и т. д.), которые противополагались в немецкой печати абстрактным философским идеям.

Бакунин в статье «Реакция в Германии» пишет о тревожном настроении в Германии и других странах: «...бедные классы ⟨...⟩ составляющие народ ⟨...⟩ занимают повсюду угрожающее положение ⟨...⟩ Все народы и все люди полны известных предчувствий...» (*Корнилов, Годы странствий*, с. 197). «Тревожное» настроение в Германии отмечает в своем дневнике 1847 г. Фарнгаген фон Энзе, говоря, что между народом и правительством — разрыв, «все классы общества жаждут перемен», «знать боится восстания» (Фарнгаген. Указ. соч., т. IV, с. 8, 17, 25 и др.).

На днях появилась здесь книга ∾ *и как бы им хотелось другой.*— В книге Засса (см. выше) семь глав: 1. Квартиры. 2. Кондитерские. 3. Общественные места. 4. Партии и партийная борьба. 5. Театр. 6. Работа и заработная плата. 7. В обществе. Кондитерские, по мнению Засса (как и по мнению Дрон-

ке), заменяли клубы для всевозможных партий и общественных группировок. В задних комнатах имелись читальные кабинеты, снабжаемые газетами по вкусу посетителей. В кондитерской Стенли (Stenely), которую посещают радикалы и либералы, имеется «красная комната», где «ораторствуют». В этой кондитерской Тургенев в 1847 г., по-видимому, бывал с Герценом и Г. Мюллер-Штрюбингом и встречался там с Б. Ауэрбахом (1812—1882) (*Герцен*, т. XI, с. 169—172).

Стр. 292—293. *Искусство здесь — увы!.. ∾ быть оригинальным.*— Тургенев, относясь отрицательно к современному немецкому изобразительному искусству, отмечает эклектизм и отрыв от современной жизни даже у наиболее прогрессивных мастеров с реалистическими тенденциями — скульптора И. Г. Шадова (1764—1850), автора многих памятников и статуи Победы, его учеников — скульптора X. Д. Рауха (1777—1857), скульптора X. Ф. Тика (1776—1851), автора группы «Диоскуры» на перистиле музея и «Нимфы» на фронтоне реставрированного после пожара оперного театра. В статье критикуется и реакционное направление позднего романтизма в немецком искусстве — школа «назарейцев», возникшая в Риме среди работавших там немецких художников — П. Корнелиуса (1783—1867) и др., которые пришли к апологии реакционно-национальных устоев монархизма и католицизма. Campo-Santo — усыпальница королевского дома.

Стр. 293. *...пойду любоваться фресками Микель-Анджело или Орканьи...*— Тургенев имеет в виду фрески Микеланджело Буонарроти на плафоне Сикстинской капеллы Ватиканского дворца и фрески художника старой флорентийской школы А. Орканьи (1308—1368) в капелле Строцци во Флоренции.

...«пленной мысли раздраженья»? — Измененная цитата из стихотворения Лермонтова «Не верь себе» (1839).

Я с большим удовольствием увидел и услышал снова Виардо ∾ техника его изумительна.— Тургенев, называя имена иностранных артистов, гастролировавших зимой 1847 г. в Берлинском оперном театре, по-видимому, сознательно умалчивает о немецких исполнителях. Засс в своей книге, в главе «Театр», называет современный немецкий театр позорной страницей в культуре Германии и указывает на то, что народный театр еще не создан (указ. соч., с. 185—242). О длительных гастролях П. Виардо в Германии см. наст. изд., Письма, т. I; о них много писали русские газеты и журналы — «Северная пчела», «Современник» и др. Тургенев слушал знаменитую певицу в «Гугенотах» не только в Берлине, но и в Дрездене 14 (26) мая вместе с Белинским (*Белинский*, т. XII, с. 366). Ф. *Черито* (р. 1821) — известная балерина. М. *Тальони* (1804—1884) — знаменитая балерина, гастролировавшая в Берлине, Париже, Лондоне, Петербурге. Фанни *Эльслер* (1810—1878) — выдающаяся танцовщица. Карлотта *Гризи* (1821—1896) — итальянская танцовщица, двоюродная сестра знаменитой певицы Джулии Гризи. А. *Дрейшок* (1818—1869) — известный пианист; был профессором Петербургской консерватории, поражал техникой левой руки.

Стр. 294. *Это огромный кабинет для чтения...*— «Кабинет для чтения» (Zeitungshalle), организованный радикальным пи-

сателем и общественным деятелем Ю. Шиндлером (1818—1885; псевдоним Юлиус Траун), явился, по словам Засса, серьезным конкурентом для кондитерских (указ. соч., с. 83).

Немецкая журналистика действительно теперь никуда не годится.— В отличие от Тургенева, Дронке отмечает необычайный «подъем» в этот период газетной прессы. Несмотря на тяжелый цензурный режим, немецким газетам в этот период удалось сохранить «независимое положение и влиять на общественное мнение». Среди рабочих были популярны органы социалистических партий: «Trierische Zeitung», «Gesellschaftsspiegel», «Westphälische Dampfboot» и др. В тяжелом положении, по мнению Дронке, находились правительственные газеты, которым, учитывая создавшуюся политическую ситуацию, приходилось хитрить, изворачиваться, противоречить самим себе (Дронке. Указ. соч., т. II, с. 73—93).

Одни Eckensteher (комиссионеры) исчезли, известные ∾ ∾ остротами.— Тургенев выражается очень осторожно: «комиссионеров», т. е. рассыльных, сгубила не цивилизация, а жандармерия. В дневнике Фарнгагена фон Энзе имеются записи дерзких политических острот и сатирических сценок «комиссионеров», злостно высмеивавших прусского и саксонского короля. Министр юстиции Савиньи в 1847 г. утверждал, что «власть в руках комиссионеров и еврейских юнцов» (Фарнгаген. Указ. соч., т. III, с. 358).

...некто г-н Кох показывает ∾ акулами и китами.— В Берлинском музее в этот период демонстрировался найденный профессором А. Кохом скелет ископаемого пресмыкающегося — «нечто среднее между ящерицей и змеей» (Фарнгаген. Указ. соч., т. IV, с. 6).

...Кроль, выстроил огромнейшее здание ∾ и других допотопных явлений.— Об увеселительном заведении Кроля в Тиргартене, посещаемом золотой молодежью, финансовыми тузами и женщинами полусвета, обстоятельно писал П. Фурман в «Письмах редактору» (1847 г.), отмечая злостные карикатуры, покрывавшие стены этого роскошного заведения, на прогрессивные явления жизни, на немцев, вынужденных эмигрировать (*СПб Вед,* 1847, № 26, 4 февраля). Тургенев, давая свой, исполненный сарказма, явно вымышленный перечень «допотопных явлений», в честь которых устраивались ужины у Кроля, пародирует «программу увеселений», тонко намекая на современные политические события. Иоганн *Ронге* (1813—1887) — основатель «немецкого католицизма», был в 1844 г. лишен епископского сана и отлучен от церкви. Народная демонстрация в 1845 г. в Лейпциге, протестовавшая против этого акта, была расстреляна по приказу принца Иоганна Саксонского, что отметил Ф. Энгельс в статье «Недавняя бойня в Лейпциге.— Рабочее движение в Германии». Упоминание Тургенева о «лейпцигском сражении» (происходившем в 1813 г.) — намек на «лейпцигскую бойню». *«Изобретение книгопечатания»* — вероятно, намек на строгости прусской цензуры (см.: Дронке. Указ. соч., т. I, с. 304—310). «Семилетняя война» (1756—1763) была связана с борьбой за Силезию — область, очень рано капитализованную, известную своим ткацким производством и металлургической промышленностью, где с конца XVIII в. происхо-

дили крестьянские восстания и волнения рабочих. Стачки силезских ткачей в 1844 г., бывшие первым массовым выступлением в Германии, положили начало другим стачкам — печатников, железнодорожников и т. д. (см. Дронке. Указ. соч., т. I, с. 285—302). Г. *Блюхер* (1742—1819) — прусский фельдмаршал, герой освободительной войны 1813—1814 гг. против Наполеона, когда в стране фактически не было короля, его участие решило исход сражения при Ватерлоо (1815). *«Столпотворением»* Тургенев, по-видимому, называет бурные события «народного волнения», разыгравшиеся в ночь на 23 июня 1845 г. возле заведения Кроля, когда разъяренная толпа бросала камни в ненавистного наследника престола (будущего короля Фридриха Вильгельма IV), постоянного посетителя этого заведения, смяла полицию и жандармерию и была усмирена вызванными войсками (см. Фарнгаген. Указ. соч., т. III, с. 99).

ПРОИЗВЕДЕНИЯ, НЕ ОПУБЛИКОВАННЫЕ ПРИ ЖИЗНИ И. С. ТУРГЕНЕВА

1834—1849

СТИХОТВОРЕНИЯ

‹ЮНОШЕСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ. 1—8›

(с. 297—299)

Печатаются по автографам, черновым и беловым, в тетради под заглавием «Молитвенник» — *ИРЛИ*, ф. 93, оп. 3, № 1252, лл. 1—14.

Впервые опубликованы: *Лит Мысль*, кн. III, 1925, с. 256—261, в статье М. Клемана «Шесть детских стихотворений Тургенева».

В собрание сочинений Тургенева впервые включены в издании: *Т, ПСС и П, Сочинения*, т. I, с. 321—324.

Датируются второй половиной 1834 г. (основания — см. ниже).

Тетрадь состоит из семи листков плотной бумаги в восьмую долю листа, сложенных и сшитых, образующих 14 полулистов (теперь расшитых). Почерк сходен с почерком наброска автобиографии 1835 г. (*ИРЛИ*, ф. 93, оп. 3, № 1253) и исторических заметок (*ИРЛИ*, ф. 93, оп. 3, № 1255). В тетради записаны восемь стихотворений, принадлежащих Тургеневу, стихотворение Ф. Матиссона «Weile vor der Hagerose», зашифрованные тайнописью 6 строк из оды Ломоносова «О ты, что в горести напрасно», четверостишие из стихотворения Державина «Пчелка златая» и первая часть стихотворения И. И. Козлова «Моя молитва».

М. К. Клеман (указ. изд.) ошибочно датировал тетрадь периодом до поступления Тургенева в Московский университет, т. е. до 1833 г., делая исключение для стихотворения ‹2›, посвященного открытию Александровской колонны (30 августа 1834 г.), и для некоторых рисунков, явно относящихся к позднейшему времени.

Основания для датировки тетради второй половиной 1834 г. следующие:

1. Ряд записей в тетради связан с уроками всеобщей истории Ф. А. Липмана, преподававшего Тургеневу после переезда его в Петербург. в 1834—1837 годах.

2. Записанный в тетради (л. 3) перевод с латинского на немецкий язык отрывка из Тацита сделан Тургеневым в 1834 г. по заданию Ф. И. Вальтера, у которого Тургенев брал частные уроки древних языков в 1834—1837 годах.

3. Запись в тетради: «21 сентября / 13 декабря» (л. 8) связана с написанием поэмы «Стéно», начатой 21 сентября и законченной 13 декабря 1834 г. То же относится к рисункам и записям около этих дат.

4. Стихотворение И. И. Козлова «Моя молитва» переписано в тетрадь, очевидно, из «Библиотеки для чтения», 1834, № 1, с. 1—3, где оно было напечатано впервые.

Эти первые из известных стихотворных опытов Тургенева, не совсем грамотные поэтически, написаны вне литературной традиции 1830-х гг., которой Тургенев, по-видимому, не чувствовал. В творческом отношении они малоинтересны и имеют значение более документальное, чем художественное.

<1> «ЗАГАДКА»

(с. 297)

Это четверостишие представляет собой один из образцов поэзии, употребительной в домашних литературных играх.

<2> «СЕЙ ПАМЯТНИК ОГРОМНЫЙ ГОРДЕЛИВЫЙ...»

(с. 297)

Ода Тургенева посвящена открытию Александровской колонны на Дворцовой площади в Петербурге 30 августа 1834 г. Написание стихотворения, возможно, связано с чтением очерка В. А. Жуковского «Воспоминания о торжестве 30-го августа», напечатанного в «Северной пчеле» за 1834 г. (№ 202, 8 сентября). Кроме того, оно носит следы знакомства Тургенева с посвященными этому событию стихотворениями, опубликованными в «Библиотеке для чтения» за тот же 1834 г. (т. VI, с. 5—10, 16),— 5—6 стихи оды Тургенева близки, например, 1—2 стихам помещенного там стихотворения А. Бистрома «На открытие памятника Александру I»:

«Воздвигну!» Рек: — и мощною рукой
Отторгнул от скалы гигантскую громаду.

<3> «ТЕБЕ, МОЙ ДРУГ, Я ПОСВЯЩАЮ...»
<4> «ПОРТРЕТ»

(с. 298)

Это «стишки», написанные в традиции альбомной поэзии, чрезвычайно распространенной в быту и нередко рассчитанной на непритязательный литературный вкус. Они далеко не оригинальны; Тургенев, видимо, не отказывался даже и от заимствования отдельных запомнившихся ему поэтических строк, принадлежавших другим авторам. Так, 60-й стих переписанной на л. 13 «Моей молитвы» И. И. Козлова в несколько измененном виде вошел в стихотворение «Тебе, мой друг, я посвящаю...».

<5> «ЖИЗНЬ»

(с. 298)

Стихотворение (по-видимому, незаконченное) варьирует достаточно широко распространенную в поэзии XVIII — начала XIX века сюжетную схему о сменяющих друг друга различных «возрастах» человеческой жизни (Державин, А. Храповицкий). Вариант начала первой строки («Что есть жизнь») ведет к стихотворению А. Ф. Мерзлякова «Что есть жизнь?» (Мерзляков А. Песни и романсы. М., 1830, с. 85—89).

<6> «MEIN BESTER, THEURER FREUND...»

(с. 299)

Четверостишие является немецким вариантом распространенных в XIX в. альбомных стихов (ср. близкое по содержанию стихотворение ⟨3⟩ «Тебе, мой друг, я посвящаю»). Записанный Тургеневым текст сохранил следы авторской работы: во втором стихе dir вписано над строкой, в четвертом стихе вместо зачеркнутого solcher сверху добавлено ebener. Поправки не исключают того, что текст заимствован. Предшествующее ему в тетради четверостишие «Weile vor der Hagerose», также записанное с поправками, представляет собой неточную цитату из стихотворения немецкого поэта-сентименталиста Фр. Маттисона (1761—1831) «Das Grabmal» («Надгробие»). Тургенев записывал немецкие стихотворения, вероятно, по памяти или с чьих-то слов (см.: Егунов А. Н. «Weile vor der Hagerose». Тургенев и Маттисон.— *Т сб,* вып. 1, с. 229—232).

<7> «ПЕСНЯ»
(«ШУМИ, ШУМИ, ПЛОВЕЦ УНЫЛЫЙ...»)

(с. 299)

Стихотворение написано по образцу литературных песен, весьма популярных в 1820—1830-е годы. В нем очевидна контаминация мотивов, смешение фольклорного и литературного материала: фольклорного сюжета о девушке, из ревности брошенной в волны (см., например, в балладе типа «Две сестры из Бйнгори»), и концовки пушкинского «Кавказского пленника»:

Всё мертво... на брегах уснувших
Лишь ветра слышен легкий звук,
И при луне в водах плеснувших
Струистый исчезает круг.

Первые две строки «Песни» возникли, возможно, по ассоциации с известными строками стихотворений К. Н. Батюшкова («Шуми же ты, шуми, огромный океан»), А. С. Пушкина («Шуми, шуми, послушное ветрило»), Е. А. Баратынского («Шуми, шуми с крутой вершины, Не умолкай, поток седой!»).

<8> «ПЕСНЯ»
(«ЧТО, МОЙ СОКОЛ СВЕТЛЫЙ, ЯСНЫЙ...»)

(с. 299)

В стихотворении отражено знакомство автора с народными песнями и песнями современных поэтов. Вероятно, именно из сборника литературных песен Тургенев переписал в «Молитвенник» четверостишие из стихотворения Державина «Пчелка», которое входило в ряд известных песенников той поры. Строка «Чернобровый, черноглазый» — начало известной народной песни, обработанной А. Ф. Мерзляковым (см.: Мерзляков А. Песни и романсы. М., 1830, с. 14—16).

МОЯ МОЛИТВА

(с. 301)

Печатается по факсимиле чернового автографа, опубликованному в журнале «Огонек», 1908, № 32, с. 5, перепечатанному в «Иллюстрированном приложении» к газете «Одесские новости», 1913, № 9104, 21 августа (3 сентября) и затем — в «Русских пропилеях». М., 1916, т. 3, с. 303.

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т, Сочинения*, т. XI, с. 185.

Местонахождение автографа в настоящее время неизвестно.

Датировано 21 сентября, без года.

В примечании к первой публикации (в журнале «Огонек») указано: «Страница из юношеской тетради И. С. Тургенева (1834—1836 гг.)». Этому указанию соответствует и почерк автографа, относящийся, несомненно, к ранним годам жизни Тургенева. Никаких других сведений о «юношеской тетради», где записано стихотворение, не имеется.

«РАЗЫГРАЛИСЬ СНОВА СИЛЫ...»

(с. 302)

Печатается по автографу, включенному в письмо к А. А. Бакунину от 30 апреля (12 мая) 1842 г.— *ИРЛИ*, ф. 16, оп. 9, № 484.

Впервые опубликовано по тому же автографу: *Корнилов, Годы странствий*, с. 139.

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т, ПСС и П, Сочинения*, т. I, с. 326.

Датируется 1(13) мая 1837 г. на основании сообщения в указанном выше письме: «Завтра 1-го мая... Христос воскрес. 5 лет тому назад — помню — я писал...», далее следуют стихи.

‹ОТРЫВКИ И НАБРОСКИ›

(с. 303—304)

<1>—<2>

Печатаются по черновым автографам — Государственный музей И. С. Тургенева в Орле, № 147.

Впервые опубликованы: *Т, ПСС и П, Сочинения*, т. I, с. 327—328; варианты черновых автографов — там же, с. 486—487.

Датируются концом 1838 г. на основании авторской пометы под текстом стихотворения «Грустно мне, но не приходят слезы»: «Писано 29-го декабря 1838 года. Один в моей квартире, в грустном и тяжелом расположении духа. Страдал жестоко от болезни пузыря». В прямой связи с этой пометой находится запись на втором листе чернового автографа обоих стихотворений: «В двадцать лет иметь болезнь, которая обещает быть хронической, болезнь самого неприятного разряда — не очень весело». Ниже написано: «Souffrir?!!!!!» ‹страдать — (*франц.*)›. Тексты стихов и помет сохранились не полностью из-за порчи бумаги.

<3>—<6>

Печатаются по черновым автографам — Государственный музей И. С. Тургенева в Орле, № 148.

Впервые опубликованы: *Т, ПСС и П, Сочинения*, т. I, с. 328—329; варианты черновых автографов там же, с. 488—489.

Датируются концом 1830-х годов.

Все четыре наброска написаны на внешних сторонах сложенного вдвое листа, внутренние стороны которого содержат грамматические записи на немецком и русском языках. Лист попорчен сыростью, причем на истлевших и оборванных краях уничтожены части стихов, продолжающих наброски стихотворений ‹3› и ‹6›. Сохранившиеся части этих текстов даны в разделе вариантов первой публикации.

НЕМЕЦ. РУССКИЙ

(с. 305, 309)

Печатаются по автографу, включенному в письмо к М. А. Бакунину и А. П. Ефремову от 3, 8 (15, 20) сентября 1840 г.— частное собрание Н. Л. Бродского (Москва); фотокопия письма — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 136.

Впервые оба стихотворения опубликованы С. Орловским (С. Н. Шиль) по копии (***ИРЛИ***, ф. 250, оп. 1, № 759): *Н Мир*, 1926, № 5, с. 139—141, с русским стихотворным переводом М. О. Гершензона.

В собрание сочинений впервые включены в издании: *Т, Сочинения*, т. XI, с. 188—191.

Датируются: «Немец» — 1839 г., «Русский» — 1840 г., по указаниям на текстах, включенных в письмо.

Несмотря на шутливые строки, сопровождающие в письме текст стихотворений, замысел их, по-видимому, вполне серьезен. Тургенев попытался воспроизвести две различные психологические ситуации, связав их с характерными, по его мне-

нию, чертами национального характера и литературного стиля. Как «немецкий», так и «русский» варианты взаимоотношений найдут затем воплощение в творчестве писателя (например, соответственно в «Вешних водах» и «Дворянском гнезде»). Поправки в автографе свидетельствуют, что Тургенев ощущал влияние русского языка на немецкий текст и стремился избавиться от русских оборотов. В стихотворении «Русский» стих 30 не доработан; первоначально было: «Прекрасное всем сердцем понимать».

«Я ВСХОДИЛ НА ХОЛМ ЗЕЛЕНЫЙ...»

(с. 311)

Печатается по черновому автографу — *ИРЛИ*, ф. 93, оп. 3, № 1256.

Впервые опубликовано: *Лит-библиол сб*, с. 18—19, в виде транскрипции, без выделения последнего слоя текста.

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т*, *Сочинения*, т. XI, с. 192.

Написано на одном листе со стихотворением «На Альбанских горах...» (см. наст. том, с. 328, 543); на этом основании датируется временем пребывания Тургенева в Риме, т. е. мартом-апрелем 1840 г.

На рукописи, против ст. 18—19, на полях приписка: «Сук качается,— наверно, на нем сидит русалка, но я ее не вижу».

⟨А. Н. ХОВРИНОЙ⟩

(с. 312)

Печатается по автографу, включенному в письмо к Н. В. Станкевичу от 26 апреля (8 мая) 1840 г.— *ГИМ*, ф. 351, № 57.

Впервые опубликовано: Воронежский краеведческий сборник, 1925, вып. 3, с. 43.

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т, СС*, т. X, с. 12.

Датируется апрелем 1840 г. на основании даты письма.

Обращено к Александре Николаевне Ховриной, в замужестве Бахметевой (1823—1901). С семейством Ховриных Тургенев познакомился в 1840 г. в Риме. Посылая это стихотворение из Генуи (по дороге из Рима в Берлин), Тургенев писал Станкевичу: «...так привык слышать каждый день голосок Шушу ⟨так звали А. Н. Ховрину в семье⟩, что теперь и грустно» (наст. изд., Письма, т. I).

А. Н. Бахметева — впоследствии детская писательница и автор популярных исторических и религиозно-нравственных книг «для народа»; была близка с семьями Аксаковых и Хомяковых.

⟨ПЕСНЯ КЛЕРХЕН ИЗ ТРАГЕДИИ ГЁТЕ «ЭГМОНТ»⟩

(с. 313)

Печатается по автографу, включенному в письмо к М. А. Бакунину и А. П. Ефремову от 29 августа (10 сентября) 1840 г.— *ИРЛИ*, ф. 16, оп. 9, № 486.

Впервые опубликовано: *Рус Мысль*, 1912, № 12, с. 146.

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т, Сочинения*, т. XI, с. 231.

Датируется временем не позднее августа 1840 г., на основании даты письма. Посылая стихотворение, Тургенев писал: «Сегодня вспомнил мой перевод песенки Clärchen в „Эгмонте" ⟨...⟩ Я придумал нечто вроде музыки на эти слова и пел их целый день. Как они далеки от оригинала, я чувствую глубоко — да что мне за дело. Das deutsche Lied klingt in mir, wenn ich dieses singe ⟨Немецкая песнь звучит во мне, когда я пою эти слова⟩: но мне приятно, что я, русский, выражаюсь тогда по-русски».

Перевод песни Клерхен из третьего действия трагедии Гёте «Эгмонт» (1787) близок к подлиннику. Позднее Тургенев остановился на этом стихотворении в рецензии на перевод «Фауста» Гёте (см. наст. том, с. 204—205).

Трагедия «Эгмонт» была популярна среди друзей Тургенева. Ее читал вслух М. А. Бакунин сестрам Беер в феврале 1838 г. (Жирмунский В. М. Гёте в русской литературе. Л., 1937, с. 239). Об отношении молодого Тургенева к Гёте см. там же, с. 357.

К А. Н. Х

(с. 314)

Печатается по автографу, включенному в письмо к М. А. Бакунину и А. П. Ефремову от 3, 8 (15, 20) сентября 1840 г.— частное собрание Н. Л. Бродского; фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 136.

Впервые опубликовано С. Орловским (С. Н. Шиль) по копии (*ИРЛИ*, ф. 250, оп. 1, № 759): *Н Мир*, 1926, № 5, с. 141.

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т, ПСС и П, Сочинения*, т. I, с. 339.

Датируется августом 1840 г. на основании даты письма.

Стихотворение посвящено Александре Николаевне Ховриной (см. о ней в примечании к стих. «⟨А. Н. Ховриной⟩» — наст. том, с. 535). Позднее, несколько переделав стихи 1, 9 и 11, Тургенев включил его в текст романа «Дворянское гнездо» (1858), гл. IV, как стихотворение Паншина, посвященное Лизе Калитиной.

Ст. 1. Луна плывет высоко над землею

Ст. 9. Тоской любви, тоской немых стремлений

Ст. 11. Мне тяжело... Но ты чужда смятений

(наст. изд., Сочинения, т. VII).

«ДОЛГИЕ, БЕЛЫЕ ТУЧИ ПЛЫВУТ...»

(с. 315)

Печатается по тексту первой публикации.

Впервые опубликовано по копии в тексте письма А. А. Бакунина к Н. А. Бакунину от 26 января (7 февраля) 1842 г.: *Корнилов, Годы странствий,* с. 105—106. В архиве Бакуниных, где находится автограф этого письма (*ИРЛИ*, ф. 16, оп. 4, № 162, л. 8), текст стихотворения Тургенева, приложенный к письму, в настоящее время отсутствует.

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т, Сочинения,* т. XI, с. 195—196.

Автограф неизвестен.

Датируется октябрем 1841 —январем 1842 г., по содержанию. В октябре 1841 г. Тургенев провел несколько дней в Премухине; в стихотворении передано сложное душевное состояние, в котором он возвращался в Москву, после первой встречи с Т. А. Бакуниной (см. наст. том, с. 450). Письмо А. А. Бакунина послано из Москвы, где в это время он находился вместе с Тургеневым, в Премухино, со следующими словами: «Вот тебе, Николай, стихи Тургенева».

«ОСЕННИЙ ВЕЧЕР... НЕБО ЯСНО...»

(с. 316)

Печатается по автографу, включенному в письмо к А. А. Бакунину от 30 апреля (12 мая) 1842 г.— *ИРЛИ,* ф. 16, оп. 9, № 484.

Впервые опубликовано: *Корнилов, Годы странствий,* с. 139.

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т, Сочинения,* т. XI, с. 197.

По-видимому, стихотворение было написано между 17 и 30 апреля (29 апреля и 12 мая) 1842 г., так как в письме к Алексею Бакунину от 8—17 (20—29) апреля (см. наст. изд., Письма, т. I) Тургенев, говоря о своих литературных занятиях, еще не упоминает о данном стихотворении.

Стихотворение посвящено Т. А. Бакуниной и имело продолжение, которое остается неизвестным.

«ДАЙ МНЕ РУКУ— И ПОЙДЕМ МЫ В ПОЛЕ...»

(с. 317)

Печатается по копии, включенной в письмо Т. А. Бакуниной к А. А. Бакуниной от 2 (14) июня 1842 г.— *ИРЛИ,* ф. 16, оп. 4, № 538, л. 10.

Впервые опубликовано по тому же тексту: *Корнилов, Годы странствий,* с. 140—141, с ошибкой в стихе 29, повторенной во всех последующих изданиях: «Я в себе присутствие святыни».

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т, Сочинения,* т. XI, с. 198.

Автограф неизвестен.

В архиве Бакуниных хранится рукописная тетрадь, в которую, очевидно, одним из членов семьи, вписаны стихотворения разных авторов, в том числе и данное стихотворение Тургенева. В этой записи, так же как и в письме, стих 29 читается: «И в себе присутствие святыни» (*ИРЛИ*, ф. 16, оп. 2, № 67, л. 12 об.).

Датируется маем 1842 г., по дате письма Т. А. Бакуниной от 2 (14) июня 1842 г., в котором говорится, что стихотворение было прислано ей Тургеневым накануне отсылки письма.

Стихотворение обращено к Т. А. Бакуниной (ср. прощальное письмо Тургенева к ней от 20-х чисел марта 1842 г.: «Дайте мне Вашу руку и, если можете, позабудьте всё тяжелое, всё половинчатое прошедшего ⟨...⟩ чувствую, что я не навсегда расстаюсь с Вами».— Наст. изд., Письма, т. I).

КОГДА Я МОЛЮСЬ

(с. 319)

Печатается по автографу — *ГПБ*, ф. 391, № 66. Стихотворение перечеркнуто.

Впервые опубликовано: *Рус Вед*, 1916, № 2, 3 января.

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т, Сочинения*, т. XI, с. 207, с ошибочным названием «Моя молитва».

Написано на одном листе со стихотворением «Толпа». На этом основании датируется первой половиной 1843 г.

ИСПОВЕДЬ

(с. 320)

Печатается по автографу — *ЦГИАЛ*, ф. 1562, оп. 1, № 126.

Впервые опубликовано: *Лит Арх*, т. 4, 1953, с. 165—166, там же факсимиле первой и последней страниц, с комментарием Э. Э. Найдича.

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т, СС*, т. X, с. 67—68.

Датировано 31 декабря 1845 г. согласно помете на автографе.

Стихотворение представляет собою гневное обличение духовно опустошенного, праздного и безвольного русского общества 1840-х годов. Тема размышлений о стремлениях и судьбах молодого поколения, волновавшая передовых людей того времени, сближает «Исповедь» с стихотворениями Лермонтова — «Дума» (1838), «И скучно, и грустно...» (1840); Некрасова — «Я за то глубоко презираю себя...» (1845), со многими высказываниями Белинского и Герцена. В творчестве самого Тургенева к «Исповеди» наиболее близки стихотворение «Толпа» и поэма «Разговор» (1844).

Ст. 3. *Но нам не тягостно молчанье...*— Горькая ирония над покорностью общества жандармскому режиму. По словам Герцена, самым страшным злом в то время было «молчаливое замиранье», «гибель без вести», «мучения с платком во рту» (*Герцен*, т. VI, с. 12).

Ст. 7. *И разрушительные силы...*— «Разрушительные силы» отрицания Тургенев воспринимал как силы, способствующие прогрессивному развитию общества.— См. об этом в статье о переводе «Фауста» (наст. том, с. 207).

Ст. 25. *Как звери, мы друг другу чужды...*— Стих представляет собою переосмысленную реминисценцию из стихотворения Лермонтова «Валерик» — «Душою мы друг другу чужды».

Ст. 26—32. *И что ж? какой-нибудь чудак ∾ Не сделав ровно ничего.*— Разоблачение бездеятельности «лишних людей» (ср. с характеристикой Рудина и других героев подобного типа). «Разлад с действительностью — болезнь этих людей,— писал Белинский в статье „Русская литература в 1845 году“.— ...У всех на языке одна и та же фраза: „Надо делать!“ И между тем все-таки никто ничего не делает!» (*Белинский,* т. IX, с. 381).

К. А. ФАРНГАГЕНУ ФОН ЭНЗЕ

(с. 322)

Печатается по тексту первой публикации.

Впервые опубликовано: Летописи марксизма, 1927, т. IV, с. 73, по автографу, хранившемуся в Фарнгагенском архиве, в Рукописном отделе Прусской государственной библиотеки.

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т, Сочинения*, т. XI, с. 227.

Местонахождение автографа в настоящее время неизвестно; упоминание см.: Die Varnhagen von Ensesche Sammlung in der Königlichen Bibliothek zu Berlin geordnet und verzeichnet von Ludwig Stern. Berlin, 1911, S. 822.

Датируется 7(19) марта 1847 г. (Берлин) по помете на автографе.

Упоминание об этом стихотворении имеется в русской печати (см.: Заметки из дневника Варнгагена фон Энзе.— *Рус Ст,* 1878, № 9, с. 145; Гутьяр Н. М. Хронологическая канва для биографии И. С. Тургенева.— Сб. ОРЯС. СПб., 1910, т. 87, с. 11).

Стихотворение адресовано немецкому писателю, критику и дипломату Карлу Августу Фарнгагену фон Энзе (1785—1858), который в кампаниях 1812—1813 гг. был офицером русской службы. Проявляя огромный интерес к политической и литературной жизни России (Фарнгаген был автором статей о русской литературе и переводчиком некоторых произведений русских писателей), немецкий писатель находился в дружественных отношениях со многими русскими общественными деятелями и писателями — А. И. и Н. И. Тургеневыми. В. А. Жуковским, П. А. Вяземским, В. Ф. Одоевским. И. С. Тургеневым, Ф. И. Тютчевым. Н. В. Станкевичем, Т. Н. Грановским, М. А. Бакуниным и др. Тургенева с Фарнгагеном познакомил Я. М. Неверов в 1838—1839 гг. (см.: И. С. Тургенев в воспоминаниях Неверова.— *Р Ст,* 1883. № 11, с. 417—418). Тургенев в своих воспоминаниях упоминает о встречах с немецким писателем у Фроловых в те же годы (см.: наст. изд., Сочинения, т. XI). В «Дневниках» Фарнгагена (Tagebücher. Leipzig etc., 1861—1905, Bd. I—XV), с 1835 г. отмечавшего все значительные явле-

ния политической жизни Германии и Европы, описаны встречи его с Тургеневым в 1840. 1847 и 1856 гг. В 1847 г., в период написания стихотворения. Тургенев посетил Фарнгагена дважды. В «Дневнике» немецкого писателя имеется запись от 21 февраля н. ст.: «Меня посетил Иван Тургенев. Он прибыл из Петербурга и едет во Францию. Сведения об умственных течениях (geistiges Treiben) в России, о состоянии литературы; печатаются мало, но талантов имеется много. молодые русские замыкаются в себе» (Varnhagen K. A. Tagebücher. 1862, Bd. IV, S. 32). 19 марта в дневнике отмечена их вторичная встреча: «Посещение Ивана Тургенева. Он посвятил мне одно из своих стихотворений и принес несколько русских книг» (там же, с. 45).

Стихотворение «К. А. Фарнгагену» представляет значительный интерес, выражая отношение Тургенева к событиям в Германии и к настроениям немецкого народа накануне революции 1848 г. Стихотворение является откликом на беседы Тургенева с Фарнгагеном во время их встреч.

Ст. 1—2. *Теперь, когда Россия ∾ идет одна...*— Тургенев намекает на расхождения между Австрией, Пруссией и Россией. В письме к И. Ф. Паскевичу Николай I писал 5 (17) февраля 1847 г.: «Итак вот — чего мы опасались, сбылось! Пруссия из наших рядов выбыла и ежели еще не перешла в ряды врагов, то почти наверно полагать можно, что, через малое время и, вопреки воле короля, станет явно против нас, т. е. против порядка и законов!» (Щербатов. Князь Паскевич, его жизнь и деятельность. Приложения к тому V. СПб., 1896, с. 606).

Ст. 5. *Теперь, в великий час разлуки...*— Посещение Тургеневым Фарнгагена 19 марта н. ст. 1847 г. было прощальным. В 1847 г. у них не было больше встреч до отъезда Тургенева 13 (25) мая из Берлина.

Ст. 6—7. *Да будут русской речи звуки...*— Фарнгаген фон Энзе знал русский язык. В статье, написанной в 1838 г. по поводу смерти Пушкина — «Werke von Alexander Puschkin. St. Petersburg, 1838, Bd. 1—3»,— он проникновенно писал о «прекрасном» русском языке, «самом богатом и могучем из всех славянских языков». Он утверждал, что русский язык превосходит «богатством слов романские языки», «богатством форм германские языки», «звучностью, силой и мелодичностью с ним не может сравниться ни один северный или южный язык». По его мнению, немцы должны изучать этот язык, так как в 1812—1813 гг. они братски сражались вместе с русскими за национальную независимость (см.: Varnhagen von Ense K. A. Denkwürdigkeiten und vermischte Schriften. Leipzig, 1840, Bd. V, S. 268—311).

Ст. 13—14. *Что, если нам теперь по праву ∾ Проклятия гремят кругом.*— Намек на отношение к Николаю I, инициатору подавления Краковского восстания 22 февраля 1846 г. (см.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч.. т. 4. с. 488—494). Тургенев резко осуждал политику Николая I, направленную на подавление революционных движений угнетенных народов.

⟨ПЕСНЯ ФОРТУНИО ИЗ КОМЕДИИ МЮССЕ «ПОДСВЕЧНИК»⟩

(с. 323)

Печатается по тексту первой публикации.

Впервые опубликовано: *ИВ*, 1885, № 12, с. 731, Н. П. Барышниковым, с указанием, что стихотворение получено им от соседки Тургенева по имению, В. Н. Колонтаевой.

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т, ПСС, 1898* (*«Нива»*), т. IX, с. 293—294.

Автограф неизвестен.

Датируется предположительно серединой — второй половиной 1840-х годов, на том основании, что к этому периоду относится интерес Тургенева к драматургии А. де Мюссе.

Комедия А. де Мюссе «Le Chandelier» ⟨«Подсвечник»⟩, 1835, вошла в сборник «Comédies et proverbes» ⟨«Комедии и пословицы»⟩, 1840.

ЭПИГРАММЫ И ШУТОЧНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

⟨Н. С. ТУРГЕНЕВУ⟩

(с. 324)

Печатается по автографу — *ИРЛИ*, ф. 293, оп. 1, № 1752.

Впервые опубликовано: *Лит-библиол сб*, 1918, с. 9—10, транскрипцией, без выделения основного, связного текста.

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т, ПСС и П, Сочинения*, т. I, с. 349.

Датируется концом 1838 г., не ранее ноября, так как записано на обложке лекций по греческой литературе профессора Августа Бёка, которые читались им в Берлинском университете в 1838—1839 годах и 1-я часть которых (включающая 3 тетради) сопровождена пометой: «1 November 1838». Тетрадь с текстом лекций хранится отдельно: *ИРЛИ*, ф. 93, оп. 2, № 259.

Стихотворение составлено из ряда незаконченных черновых набросков, текст которых частью зачеркнут, частью оставлен в недоработанном виде. Вызвано письмом старшего, 22-летнего брата Николая, служившего в то время прапорщиком конной артиллерии. В этом письме — от 25 сентября (7 октября) 1838 г. читаем: «Мы с тобою были всегда так дружны, что я уверен, Jean, что ты не будешь сердиться на меня, если я сделаю тебе некоторые замечания насчет твоего образа жизни ⟨...⟩ Ты сам был в деревне, видал и знаешь, как тяжко достается копейка, а со всем тем ты тратишь и не оглядываешься. Прекрасная есть у нас на Руси пословица: по одежке протягивай ножки ⟨...⟩ Придет время, ты остепенишься да как взглянешь на прошлые шалости да мотовство бесполезное, так будешь жалеть. Если ты молодым студентом с посохом в руках тратишь так много, что же будет, если ты останешься там

служить, надо будет, по крайней мере, вдвое» (*ГПБ,* архив И. С. Тургенева, № 91, л. 8 об.— 9— подлинник; № 99, л. 21—22 — копия).

Ст. 3. *Я тот же [толстый] кандидат...*— Аттестат на степень кандидата философии Тургенев получил 10(22) июля 1837 г. в Петербургском университете.

«МУЖА МНЕ, МУЗА, ВОСПОЙ...»

(с. 325)

Печатается по черновому автографу— *ИРЛИ,* ф. 293, оп. 1, № 1752.

Впервые опубликовано: *Лит-библиол сб,* 1918, с. 11—13, в виде транскрипции.

Записано на внутренних сторонах двойного листа, представляющего собой обложку записей берлинских лекций Бёка, где набросано и предыдущее стихотворение («Н. С. Тургеневу»). На этом основании датируется временем между 19 октября (1 ноября) 1838 г. (датой при заголовке записей лекций Бёка) и концом лета 1839 г., когда Тургенев выехал из Берлина в Россию после первого года занятий в Берлинском университете.

Январий Михайлович Неверов (1810—1893), описанию похождений которого посвящено стихотворение, в то время литератор, позднее — известный педагогический деятель. Тургенев познакомился с ним летом 1838 г. в Эмсе. В своих «Воспоминаниях» Неверов пишет о том, как они совместно слушали лекции в Берлинском университете и проживали в одной квартире (см.: *Рус Ст,* 1883, № 11, с. 417—418).

Начало стихотворения пародирует стихи I песни «Одиссеи». Поэма не была в то время переведена на русский язык (перевод Жуковского вышел в 1849 г.), и Тургенев, очевидно, самостоятельно воспринимал и передавал текст ее. Пародией на гомеровский эпос являются и другие места в стихотворении (сравнение Шарлотты с супругой Зевса, с жертвенной «телушкой») и его стилистика («воловидные глаза», ср. «волоокая Гера» в переводе «Илиады» Гнедича, I, 551, 568 и пр.).

⟨ОТРЫВКИ⟩

(с. 327)

<1>—<3>

Печатаются по автографу — *ИРЛИ,* ф. 293. оп. 1, № 1752.

Впервые опубликованы: *Лит-библиол сб,* 1918, с. 11, 10 и 13, в виде транскрипции.

В собрание сочинений впервые включены в издании: *Т, ПСС и П, Сочинения,* т. I, с. 353.

Датируются временем не ранее 19 октября (1 ноября) 1838 г.— не позднее конца лета 1839 г. (см. примечание к стихотворению «⟨Н. С. Тургеневу⟩» — наст. том, с. 541).

<4>«ТЫ ПОМНИШЬ ЛИ, ЕФРЕМЫЧ БЛАГОДАТНЫЙ...»

(с. 327)

Печатается по автографу — *ИРЛИ*, ф. 93, оп. 3, № 1256.

Впервые опубликовано: *Лит-библиол сб*, 1918, с. 18.

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т, ПСС и П, Сочинения*, т. I, с. 353.

Отрывок записан на том же листе бумаги, что и стихотворения «На Альбанских горах...» и «Я всходил на холм зеленый...» (наст. том, с. 328 и 311). На этом основании датируется весной или летом 1840 г., не ранее 23 апреля (5 мая).

В отрывке Тургенев вспоминает о своем пребывании с А. П. Ефремовым в Риме весной 1840 г.

Александр Павлович Ефремов (1815—1876) — друг Тургенева, с которым он жил вместе в первый год пребывания в Берлинском университете (1838—1839).

«НА АЛЬБАНСКИХ ГОРАХ...»

(с. 328)

Печатается по черновому автографу — *ИРЛИ*, ф. 93, оп. 3, № 1256.

Впервые опубликовано: *Лит-библиол сб*, 1918, с. 17—18, в виде транскрипции.

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т, Сочинения*, т. XI, с. 191—192.

Датируется временем совместного путешествия Тургенева с А. П. Ефремовым по Италии, т. е. мартом-апрелем 1840 г. или летом того же года, когда стихотворение могло быть написано как воспоминание об этом путешествии.

Шуточное стихотворение, в котором «форестьерами», т. е. иностранцами-путешественниками, изображены Тургенев («первый») и Ефремов («второй, сибарит»). О своей полноте Тургенев писал еще в 1838 г. в шуточном послании к брату (см. «⟨Н. С. Тургеневу⟩», с. 324).

Альбанские горы — в средней Италии невдалеке от Рима. Описание Альбано см. в очерке «Поездка в Альбано и Фраскати» (наст. изд., Сочинения, т. XI).

⟨М. В. БЕЛИНСКОЙ⟩

(с. 331)

Печатается по тексту, включенному в письмо Н. А. Некрасова к М. Е. Салтыкову-Щедрину от конца апреля или начала мая 1869 г.— *Звенья*, 1932, т. I, с. 188.

Впервые опубликовано в статье В. Евгеньева «Предсмертные думы Н. А. Некрасова»: Заветы, 1913, № 6, с. 35, с ошибочным указанием на авторство Некрасова.

В собрание сочинений включено впервые в издании: *Т, ПСС и П, Сочинения*, т. I, с. 359.

Автограф неизвестен.

Датируется ноябрем-декабрем 1843 г., так как написано в связи с женитьбой Белинского (12 ноября 1843 г.).

Эпиграмма на Марию Васильевну Белинскую, дочь священника В. В. Орлова, о котором Белинский впоследствии, 4 мая 1846 г., писал жене: «Был у твоего „дражайшего“. Почтенный человек! Вот истинный-то представитель отсутствия добра и зла, олицетворенная пустота» (*Белинский,* т. XII, с. 276).

В письме Некрасова к Салтыкову-Щедрину говорится об отношении друзей Белинского к его жене: «...все мы не любили ⟨ее⟩, не исключая и Тургенева, который между прочим сочинил на нее злые стихи». Далее в письме следует текст эпиграммы.

Эпиграмма, получившая распространение среди людей, окружавших Белинского, сыграла плохую роль в их отношении к его жене. Однако сведения о М. В. Белинской и вообще о семейной жизни Белинских — самые разноречивые. К. Д. Кавелин и В. П. Гаевский с чужих слов, а Н. Н. Тютчев, Тургенев и Некрасов по собственным наблюдениям — считали ее ограниченной и сухой женщиной, не давшей счастья своему мужу. И. А. Гончаров и Ф. М. Достоевский отзывались о ней с уважением и симпатией. Подробнее о М. В. Белинской см.: Нечаева В. С. В. Г. Белинский. Жизнь и творчество. 1842—1848. М., 1967, с. 443—478.

⟨ПОСЛАНИЕ БЕЛИНСКОГО К ДОСТОЕВСКОМУ⟩

(с. 332)

Печатается по тексту первой публикации.

Впервые опубликовано: *Письма к Герцену*, с. 207—208, под названием «Послание Белинского к Достоевскому», с подписью «Тургенев и Некрасов» и датой «1846».

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т, ПСС и П, Сочинения*, т. I, с. 360—361.

Автограф неизвестен.

Дата написания стихотворения может быть уточнена, так как в стихе 28 упоминается «Двойник» Достоевского как произведение еще неизданное. Так как «Двойник» появился во второй (февральской) книжке «Отечественных записок» за 1846 год, послание могло быть написано лишь в самом начале января этого года.

Кроме текста, бывшего в бумагах А. И. Герцена и опубликованного М. П. Драгомановым в *Письмах к Герцену* (см. выше), а позднее доставленного В. П. Батуринским в «Литературный вестник» и там напечатанного (1903, т. V, кн. 1, с. 113 и 114)[1], известно несколько других текстов этого сатирического послания. По списку, найденному в «Записной книжке» Д. В. Григоровича, послание было напечатано в «Ежемесячных литературных приложениях к журналу „Нива“ на 1901 год» (№ 11, стлб. 392—393), также за подписями Тургенева и Некрасова. Я. П. Полонский вспоминает, что в числе эпиграмм, написанных Тургеневым в 1840-х годах, была и та, которая

---

[1] Редакция (на с. 114) указала в примечании: «поправки по рукописи Некрасова сделаны рукой Тургенева».

начиналась строкой «Рыцарь горестной фигуры» (И. С. Тургенев у себя, в его последний приезд на родину.— Нива, 1884, № 4, с. 87). Свидетельства современников относительно участия Тургенева в написании этой эпиграммы не являются, впрочем, единодушными. В частности, М. М. Стасюлевич в заметке «От редакции (по поводу „Воспоминаний" П. В. Анненкова)», приведя текст одной из строф, подчеркивал, что стихотворное послание к автору «Бедных людей» написали «Некрасов, Панаев и др.» (*ВЕ*, 1880, № 5, с. 413). Одного Некрасова считала автором этого произведения А. Я. Панаева (см.: Панаева А. Я. Воспоминания. М.. 1956, с. 177—178). Однако наличие двух авторитетных списков «Послания Белинского к Достоевскому», сохранившихся у Герцена и Григоровича, свидетельство Я. П. Полонского и тот факт, что именно к 1840—1850 годам относится ряд эпиграмм Тургенева, позволяет решить вопрос об его авторстве совместно с Некрасовым утвердительно.

Как известно, первое произведение Достоевского, «Бедные люди» (1845), было с большим энтузиазмом встречено Белинским. Некрасов опубликовал его в «Петербургском сборнике» (СПб., 1846). Однако последующие повести Достоевского («Двойник», «Хозяйка») уже не вызывали восторгов в кружке Белинского. Данное стихотворение свидетельствует именно об изменении отношения к Достоевскому со стороны Белинского и близких к нему лиц, в частности Тургенева и Некрасова. Название его связано с теми письмами, которые посылал Белинский в начале 1846 г. ряду писателей (Некрасову, Тургеневу, Достоевскому и др.) с просьбой дать произведения для задуманного им альманаха «Левиафан» (см.: *Белинский*, т. XII, с. 254).

Стихотворение Тургенева и Некрасова, написанное как бы от лица Белинского, является пародией на одно из таких писем-предложений. По-видимому, оно не было единственным стихотворением Тургенева, высмеивающим Достоевского. Так, А. Я. Панаева пишет, что однажды «Тургенев стал сочинять юмористические стихи на Девушкина, героя „Бедных людей", будто бы тот написал благодарственные стихи Достоевскому за то, что он оповестил всю Россию об его существовании, и в стихах повторялось часто „маточка"» (Панаева А. Я. Указ. соч., с. 145).

Ст. 1. *Витязь горестной фигуры...*— У Я. П. Полонского — «Рыцарь горестной фигуры» (Нива, 1884, № 4, с. 87), что заставляет вспомнить о Дон-Кихоте — герое романа Сервантеса, а также о стихотворении Пушкина «Жил на свете рыцарь бедный» (1829), позднее включенном в переделанном виде в «Сцены из рыцарских времен» (1835). Личность молодого Достоевского в каком-то плане, по-видимому, ассоциировалась у его современников (в том числе у Тургенева и Некрасова) и с Дон-Кихотом, и с пушкинским «рыцарем бедным». Впоследствии Достоевский, создавая в романе «Идиот» (1868) образ главного героя, носящего в значительной мере автобиографический характер, имел в виду нескольких литературных его предшественников, в том числе Дон-Кихота и героя стихотворения Пушкина (см. комментарий И. Н. Соломиной в изд.: *Достоевский*, т. 9,

с. 400). Причем роман Сервантеса, который к этому времени получил множество интерпретаций в русской литературе и критике, сыграл особую роль.

О том, что образ Дон-Кихота интересовал Тургенева гораздо ранее создания им статьи «Гамлет и Дон-Кихот» (1860), свидетельствует письмо к нему Е. М. Феоктистова от 17 сентября 1851 г. Напоминая писателю о задуманной им статье, корреспондент Тургенева писал, что об этом они уже *«так давно* ‹курсив мой.— Л. Н.› рассуждали в Москве» (см.: Назарова Л. Н. К вопросу об оценке литературно-критической деятельности И. С. Тургенева его современниками (1851—1853 годы).— В кн.: Вопросы изучения русской литературы XI—XX веков. М.; Л., 1958, с. 164).

Ст. 7—8. *Тебя знает император, Уважает Лейхтенберг...*— Речь идет о Николае I и герцоге Максимилиане Лейхтенбергском (1817—1852), его зяте (был женат на вел. кн. Марии Николаевне), почетном президенте Академии художеств. Повесть Достоевского «Бедные люди» стала известна Николаю I и читалась при дворе, в то время как к русской литературе вообще там относились свысока.

Ст. 20. *Не погиб во цвете лет.*— Намек на обморок, который случился с Достоевским на балу у графа М. Ю. Виельгорского. «Русая красота», упоминаемая в стихе 16,— великосветская красавица Сенявина, которой был представлен Достоевский. Подойдя к ней, писатель чрезвычайно растерялся, и от волнения ему сделалось дурно (см.: Из записной книжки Д. В. Григоровича.— Ежемесячные литературные приложения к журналу «Нива», 1901, № 11, стлб. 393). Об этом же эпизоде писал И. И. Панаев в предисловии к пародиям Нового поэта (*Совр*, 1847, № 4, отд. IV, с. 154). Аналогичный эпизод изображен Достоевским в «Идиоте» (ч. IV, гл. VII), когда у героя, нечаянно разбившего китайскую вазу в гостиной Епанчиных, от сильного волнения случился припадок.

Ст. 31. *Обведу тебя каймою...*— Основанием для этого стиха послужил довольно широко распространенный в петербургских литературных кругах слух о том, будто бы Достоевский требовал напечатания одного из своих произведений на видном месте и так, чтобы каждая страница его была обведена особой рамкой. Так, например, Панаев, высмеивая Достоевского в «Заметках Нового поэта о петербургской жизни», цитировал данную строфу (*Совр*, 1855, № 12, отд. V, с. 240). К. Н. Леонтьев вспоминал впоследствии, что Тургенев рассказывал ему о Достоевском: «Когда он отдавал свою повесть Белинскому для издания, так увлекся до того, что сказал ему: „Знаете,— *мою-то повесть надо бы каким-нибудь бордюрчиком обвести!*“» (Леонтьев К. Собр. соч. СПб., ‹б. г.›, т. 9, с. 114). См. также: Григорович Д. В. Литературные воспоминания. Л., 1928, с. 142—143.

О взаимоотношениях Тургенева с Достоевским см.: Никольский Ю. Тургенев и Достоевский. (История одной вражды). София, 1921; Ф. М. Достоевский и И. С. Тургенев. Переписка. Л., 1928.

ПОЭМЫ

СТЕ́НО

(с. 333)

Печатается по беловому автографу — Британский музей, № 40640 (Лондон); микрофильм: *ИРЛИ*, № 66.

Впервые опубликовано: *Гол Мин*, 1913, № 8, с. 217—254, с некоторыми неточностями. Там же воспроизведено факсимиле титульного листа с указанием времени написания поэмы: «Начата 21-го сентября 1834-го года. Окончена 13-го декабря 1834-го года».

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т, Сочинения*, т. XI, с. 19—60.

Публикатор поэмы М. О. Гершензон указал в послесловии, что рукопись сохранилась в архиве А. В. Никитенко. Однако, когда в 1920 г. этот архив поступил в *ИРЛИ*, рукописи «Сте́но» там не оказалось.

Много лет в Советском Союзе местонахождение автографа не было известно, и во всех изданиях сочинений Тургенева текст поэмы печатался по публикации Гершензона.

В январе 1962 г. известный английский библиограф Дж. С. Г. Симмонс сообщил, что рукопись «Сте́но» хранится в Британском музее, и вскоре прислал в *ИРЛИ* микрофильм поэмы.

Автограф «Сте́но» заключен в тетрадь с твердой обложкой, на которой написано: «Сочинение И. Тургенева». Размер тетради 32×22 см, она содержит 37 пронумерованных страниц и титульный лист. Конец текста, после стиха 1229, записан на поле последней страницы. После текста написано: «Конец» и подпись: «И. Тургенев».

На полях рукописи имеются пометы и замечания. По предположению Гершензона, они принадлежат П. А. Плетневу.

Проследим историю рукописи от момента ее появления до передачи в Британский музей. Закончив «Сте́но» в декабре 1834 г., Тургенев в 1836 и 1837 гг. давал рукопись поэмы профессорам С.-Петербургского университета, где он тогда учился, П. А. Плетневу, а после него — А. В. Никитенко (об этом см. ниже). Значительно позже, вероятно, в период своего сотрудничества в «Современнике» (1847—1860), Тургенев подарил рукопись «Сте́но» А. Я. Панаевой, о чем имеется указание на первой странице: «Сей экземпляр подарен мною А. Я. П.— И. Т.» (см. с. 337; инициалы расшифрованы Гершензоном). В послесловии к первой публикации указано, что «возможностью ознакомить читателей с этим неизданным юношеским произведением Тургенева мы обязаны душеприказчику наследников Никитенко — А. И. Старицкому» (*Гол Мин*, 1913, № 8, с. 254). Как попала рукопись от Панаевой к Никитенко, установить не удалось. При рукописи находится записка, рассказывающая о дальнейшей судьбе автографа. «Рукопись И. С. Тургенева принадлежит М. М. Любощинскому, к кот⟨орому⟩ перешла от отца, кот⟨орый⟩ в свою очередь получил ее от А. В. Никитенко, его друга и родственника. (См. зап⟨иски⟩ Никитенко.) (Никитенко

был женат на Каз⟨имире⟩ Каз⟨имировне⟩ Любощинской.⟩ Прим⟨ерная⟩ оц⟨енка⟩ 10 пуд⟨ов⟩ муки». Но обмен автографа Тургенева на муку не состоялся, и М. М. Любощинский, взяв рукопись с собой, уехал за границу. В 1922 г. он продал ее в Британский музей, о чем также сохранился приложенный к рукописи документ: «Purchased of M-r Lyuboschinsky, 13 May 1922». ⟨Куплено у г-на Любощинского, 13 мая 1922 г.⟩ В каталоге Британского музея рукопись зарегистрирована в сентябре 1927 г. под номером 40640. Подробно см. об этом: *Т сб*, вып. 1, с. 9—14.

В период работы над «Сте́но» Тургенев еще недостаточно хорошо владел техникой стихосложения. Написанная пятистопным ямбом, поэма в ряде случаев сбивается на шестистопные, четырехстопные, трехстопные и даже двухстопные размеры. Есть и другие погрешности. Встречаются то развернутые, то краткие формы отдельных слов, также нарушающие ее стройность. В некоторых случаях вместо слова «Сцена» написано — «Явление». Отдавая свое произведение на суд таким авторитетам, какими были для него Плетнев и Никитенко, Тургенев, однако, не счел нужным исправить свои ошибки, хотя бы с чисто внешней стороны.

Плетневу поэма не понравилась. Не называя автора, он критически разобрал ее на лекции, отметив недостатки и погрешности. Но, встретив Тургенева на улице, подозвал его, «отечески пожурил» и заметил, что в нем «что-то есть!». Плетнев пригласил Тургенева на свой литературный вечер, где начинающий автор впервые видел Пушкина. Позднее Плетнев рекомендовал к печати в «Современнике» некоторые стихотворения Тургенева (см.: «Литературный вечер у П. А. Плетнева».— Наст. изд., Сочинения, т. XI).

Никитенко Тургенев послал «Сте́но» в числе своих других ранних произведений. В сопроводительном письме от 26 марта (7 апреля) 1837 г. он привел отзыв Плетнева о его поэме и сам перечислил ее недостатки, в том числе неправильный размер стихов. Но Тургеневу хотелось не столько познакомить Никитенко с поэмой, сколько рассказать ему о своих литературных планах и замыслах, чему и посвящена большая часть письма (см.: наст. изд., Письма, т. I). Ответ Никитенко и впечатление его от поэмы нам не известны.

Через 30 лет в очерке «Литературный вечер у П. А. Плетнева» Тургенев назвал «Сте́но» «нелепым произведением», где «с детской неумелостью» выражалось рабское подражание байроновскому «Манфреду» (наст. изд., Сочинения, т. XI). Это подражание сказалось и в образе главного героя, противопоставленного природе и окружающим его людям, и в отдельных положениях (Сте́но, спасенный Джулией и Джакоппо,— ср. Манфред, спасенный охотником. Сте́но и Антонио — ср. Манфред и аббат и т. п.), и в текстуальном совпадении некоторых монологов. Однако в противоположность поэме Байрона, где среди действующих лиц преобладают символы (Духи, Парки, Ариман, Немезида, Фея Альп), Тургенев попытался создать конкретные человеческие образы (подробно об этом см.: *Гол Мин*, 1913, № 8, с. 260—264). Внутреннему облику своих героев писатель придал некоторые индивидуальные черты. Так, для Джулии ха-

рактерны страстность, непосредственность; для Джакоппо — честность, благородство, высокоразвитое чувство долга; даже в маленькой роли Риенэи показаны присущие ему черты любящего семьянина.

В этой ранней поэме видны первая попытка автора создать философское произведение и первый опыт его работы над характерами героев. А о своем юношеском увлечении Байроном, в частности «Манфредом», Тургенев вспомнил в конце жизни в стихотворении в прозе «У-а... У-а!» (см.: наст. изд., Сочинения, т. X).

В ныне публикуемом тексте, по возможности, сохранены все его особенности. Исправлено лишь графическое расположение некоторых элементов (эпиграфы, например, в рукописи помещены раньше заглавия, которое повторено дважды) и упорядочена пунктуация, однако характерные для поэмы тире вместо запятых сохранены.

Стр. 333, строки 4—7. *Счастлив, кто с юношеских дней...*— Начало стихотворения Н. М. Языкова «Элегия» (1824).

Строки 9—13. *But we, who name ∾ of prides...*— Слова Манфреда из одноименной поэмы Байрона (акт I, сц. 2).

Строка 15. *...fly; while thou'rt bless'd and free...*— Слова Тимона из трагедии Шекспира «Тимон Афинский» (д. IV, сц. 3).

Ст. 30. *Ленивый лазарони равнодушно...*— Лазарони, или лаццарони,— неаполитанский бедняк.

Ст. 32. *И смуглый кондоттиери здесь лежит...*— Кондоттиери, или кондотьер,— предводитель наемной дружины в Италии в XIV—XV вв. В данном случае — наемный убийца.

Ст. 68. *Ты, ясное, в величии холодном!*— На полях против этого стиха помета: «очень хорошо».

Ст. 98—106. *Я часто думал ∾ Пусть сбудется, чему должно! Вперед!* — Отчеркнуто.

Ст. 109—114. *Тихо солнце над водами ∾ Я ждала тебя давно!* — Отчеркнуто.

Ст. 137. *...могучие объятья...*— В рукописи подчеркнуто и на полях помета: «это хорошо».

Ст. 138. *Изменчивее сердца девы...*— На полях написано: «а это, кажется, неправда».

Ст. 259—270. *Как здесь пустынно всё! ∾ Стою, терзаемый самим собой...*— Отчеркнуто.

Стр. 361, между ст. 657—658. *Во мраке постепенно образуется белая окровавленная фигура.*— Ср. со словами Лежнева в романе «Рудин» (1855): «Вы, может, думаете, я стихов не писал? Писал-с, и даже целую драму сочинил, в подражание „Манфреду“. В числе действующих лиц был призрак с кровью на груди, и не с своей кровью, заметьте, а с кровью человечества вообще» (наст. изд., Сочинения, т. V).

Ст. 742. *Мне что-то говорит: бежи!* — Слово «бежи» подчеркнуто и на полях ироническая приписка: «отчего не беги?»

Ст. 763—766. *Он от нее ушел в могилу ∾ Быть славным у людей...*— Отчеркнуто и на полях приписано: «Exagération» ‹Преувеличение.— *франц.*›.

Ст. 838—845. *А! этот череп!.. ∾ а теперь!.. Кто знает?* — Ср.

со словами Гамлета из трагедии Шекспира «Гамлет, принц Датский»: «У этого черепа был язык, и он мог петь когда-то...» и т. д. (акт V, сц. 1.— Шекспир У. Полн. собр. соч. М., 1960, т. 6, с. 131—132).

Ст. 935. *Лежит мета твоей несчастной жизни...*— Мета — цель.

ПОП

(с. 384)

Печатается по беловому с поправками автографу — *ГПБ*, архив И. С. Тургенева, № 2.

Впервые в России опубликовано полностью, по автографу, в отдельном издании: Тургенев И. С. Поп, поэма. С предисловием и примечаниями Н. Л. Бродского. М., 1917.

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т, Сочинения*, т. XI, с. 87—98.

Дата под текстом автографа: «16-го июня 1844. Парголово».

Отрывки из поэмы печатались: в кн. «XXV лет. 1859—1884. Сборник, изданный комитетом Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым». СПб., 1884, с. 591—592, под заглавием «Строфы из поэмы» (строфы I—III, V, VI и первый стих строфы VII) и в первом собрании стихотворений И. С. Тургенева, СПб., 1885, с. 223—224, под заглавием «Отрывок из неизданной поэмы» (эпиграф, строфы I—III, V—VII, с цензурным исключением в тексте самого слова «поп»). В журнале «Русская старина» (1885, т. 48, с. 425—427) А. В. Смирновым напечатан пересказ поэмы с отрывками текста.

За границей поэма была напечатана впервые полностью в 1887 г. в Женеве (Тургенев И. С. Поп. Эротическая поэма. M. Elpidin, Libraire-éditeur. Женева, 1887) со следующим предисловием издателя: «Отрывки из этой поэмы, написанной Тургеневым в дни ранней молодости, были напечатаны в „Русской старине". Печатаем ее всю, как историко-литературный документ».

Об этом и других изданиях в Женеве и Берлине см.: Вольная русская печать в Российской «Публичной библиотеке» / Под ред. В. М. Андерсона. Пг., 1920, с. 162.

Автограф представляет собой беловую рукопись с большим количеством авторских поправок.

Варианты по своему характеру не однородны. Часть из них отражает процесс работы над текстом в поисках наиболее выразительной редакции, другая же часть представляет собою параллельные варианты некоторых наиболее фривольных мест. Последние приведены в виде подстрочных сносок в тексте.

Такая параллельность редакций является своеобразным композиционным приемом. Возможно, что эти вторые редакции возникли, когда рукопись стала распространяться среди друзей Тургенева. В тот же период, видимо, была вычеркнута автором строфа IV, содержащая острый антиклерикальный выпад. В настоящем издании эта строфа сохраняется в составе основного текста, но заключена в редакторские скобки.

В автографе Тургенева на полях рукописи встречается несколько слов, вписанных в текст неизвестной рукой.

В 1910 году, вскоре после выхода берлинского издания поэмы, в русской печати появилось сообщение, что поэма «Поп» написана не Тургеневым, а М. Н. Лонгиновым, Тургенев же якобы только переписал лонгиновскую поэму, «сделав в отдельных словах ее небольшие поправки» (Гутьяр Н. М. Хронологическая канва для биографии И. С. Тургенева.— В кн.: Сборник Отделения русского языка и словесности Академии наук. СПб., 1910, т. 87, № 2, с. 8 и 127). Эта точка зрения встретила тогда же отрицательную оценку в критике (см. рецензию В. Е. Чешихина-Ветринского на «Русские пропилеи».— *ВЕ*, 1916, № 1, с. 445).

Вопрос о принадлежности этой поэмы перу Тургенева был окончательно разрешен Н. Л. Бродским в его предисловии к первому полному изданию поэмы в России.

Поэма Тургенева «Поп» чаще всего воспринималась только как эротическая шутка писателя. Этому прежде всего способствовало ироническое вступление к поэме, где сам автор рекомендует свое создание как забаву, лишенную каких-либо «глубоких и значительных идей». Но история публикации поэмы свидетельствует о том, что произведение это представляло известный общественный интерес прежде всего своей антиклерикальной направленностью. О том, насколько эта тема была остра и неприемлема в условиях русской цензуры, ярче всего говорит публикация в 80-х годах нескольких отрывков из поэмы, в которых тщательно исключались упоминания о действующих лицах. Зато, как и другие русские запрещенные тексты, поэма охотно печаталась за границей. Сам Тургенев, как уже говорилось выше, вопреки мыслям, высказанным в первых строфах поэмы, в IV, зачеркнутой затем, строфе ставит знак равенства между понятиями «петь попов» и «в политику пускаться».

Поэма Тургенева имеет еще один аспект, отличающий ее от литературной безделки. В иронической манере, напоминающей лермонтовскую «Сказку для детей», Тургенев декларирует свой отход от романтической эстетики. Он живописует героиню подчеркнуто реалистическими красками, противопоставляя естественную и грубоватую ее красоту, красоту здоровья и силы, «неземным» идеалам романтической литературы (строфа XV). Самый сюжет поэмы подчеркнуто противопоставлен понятию «святой и возвышенной любви» (определение это заключено автором в кавычки, как и другие, ему аналогичные).

Природа комического в поэме «Поп» отчасти зависима от традиций Гоголя (см. об этом: Рот Т. А. Поэма И. С. Тургенева «Поп».— Уч. зап. Моск. пед. ин-та им. В. И. Ленина. 1964, № 231, с. 331—334).

Стр. 384. ...*куранты* — здесь в смысле французского арготического courant — «штука», «предмет».

Ст. 1—4. Ироническая самооценка Тургенева относится к написанным им ранее поэмам «Параша» (1843), «Разговор» (1844) и лирике этих лет, насыщенной актуальной обществен-

ной проблематикой (см. примечания к названным произведениям).

Ст. 7—8. Поэма написана октавами, как «Домик в Коломне» Пушкина. В литературной манере поэмы «Поп» есть много общего как с этой поэмой Пушкина, так и с поэмами Лермонтова «Сашка» и «Сказка для детей». Сам Тургенев ссылается как на литературный образец на сатирическую поэму Вольтера «Pucelle» («Орлеанская девственница») и шуточную поэму Байрона «Верро» («Беппо»). Оба эти произведения, отличаясь нескромностью сюжетов, имели в то же время острое политическое содержание, первое — в силу своей антиклерикальной направленности, второе — благодаря обличительному тону авторских публицистических отступлений, обильно насыщающих текст. С поэмой Байрона схож у Тургенева и ряд художественных деталей. В частности, строфа VIII текстуально родственна строфе XLV поэмы Байрона.

Что касается поэмы Вольтера «Орлеанская девственница», то оценка ее, подчеркивающая интерес Тургенева не к эротическим моментам, а к политическому содержанию сатиры Вольтера, содержится в письме Тургенева к П. Виардо от 23 июля (4 августа) 1849 г.

Ст. 19—23. В 1843—1844 гг. Тургенев часто встречался в Петербурге с В. Г. Белинским, И. И. Панаевым, М. А. Языковым и А. С. Комаровым. Об этих встречах и о названных лицах содержатся подробные сведения в воспоминаниях И. И. Панаева (см.: Панаев И. И. Литературные воспоминания. М., 1950, с. 103, 250, 260—262). *Веверов любезная семья...* — Вероятно, речь идет о семье М. Н. Вевер, к которой обращено одно из писем М. И. Глинки (М. И. Глинка. Литературное наследие. Л., 1953, т. II, с. 226). В письме В. П. Тургеневой к Н. С. и И. С. Тургеневым от 28 марта 1843 г. упоминаются некая «Веверша» и ее дочка, которым В. П. Тургенева оказывала материальную помощь (*ГПБ*, ф. 795, № 99, л. 274).

Ст. 31—32. *Комаришка* — упомянутый выше А. С. Комаров, сотрудник «Современника», пансионский товарищ И. И. Панаева и М. А. Языкова. В доме Комарова часто собирался петербургский кружок Белинского. Слова Тургенева о пустившемся «в политику» Комарове находят объяснение в воспоминаниях И. И. Панаева: «А. С. Комаров ⟨...⟩ выучивал наизусть либеральные стишки и декламировал их на дебаркадерах железных дорог и на гуляньях, бегал по знакомым с политическими новостями, хвастал тем, что он всё, что делается в Европе, узнает первым ⟨...⟩ приставал ко всем с своим либерализмом, вмешивался некстати во все разговоры политические, ученые и литературные...» (Панаев И. И. Указ. соч., с. 260). Сравнение Комарова с чешским политическим деятелем эпохи гуситских войн (начало XV в.) Яном Жижкой носит шутливый и случайный характер, но тем не менее любопытно, что в поэме, высмеивающей попа, Тургенев вспоминает именно такие произведения, как «Орлеанская девственница» Вольтера, и такое историческое лицо, как Ян Жижка, деятельность которого связана с известной антикатолической оппозицией в Праге.

Ст. 151. Имя генерал-фельдмаршала русской армии И. Ф. Паскевича, популярное в период войн России с Персией

и Турцией в 20-е годы, а затем окруженное мрачным ореолом в связи с подавлением польского национально-освободительного движения, появилось в тексте поэмы только на последней стадии работы, когда Тургенев изменил рифму в черновой редакции предшествующего стиха (было: начальник — кардо-наковальник).

Ст. 297. *При виде раздраженной Гермионы.* — Гермиона — дочь спартанского царя Менелая и Елены. Тургенев имеет в виду бурную ревность Гермионы к Андромахе, изображенную в трагедии Еврипида «Андромаха» и в одноименной трагедии Расина.

ФИЛИППО СТРОДЗИ

(с. 395)

Печатается по тексту первой публикации.

Впервые опубликовано: XXV лет. 1859—1884. Сборник, изданный комитетом Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым. СПб., 1884, с. 212—215, с подписью «И. Тургенев.»

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т, ПСС, 1898* (*«Нива»*), т. IX, с. 308—311.

Автограф неизвестен.

Датируется 1847 г.

Написано, вероятно, в самом начале 1847 г., до отъезда Тургенева за границу, состоявшегося в середине января 1847 г., и, во всяком случае, не позднее начала октября этого года. Основание — письмо Некрасова к соредактору по «Современнику» А. В. Никитенко от 11(23) октября 1847 г., в котором говорится: «Есть у Вас стихотворение Тургенева „Филиппо Стродзи“, которое нам хотелось бы напечатать в этой книжке. Сделайте одолжение, Александр Васильевич, просмотрите его и пришлите» (*Некрасов*, т. X, с. 79). Однако в «Современнике» эта поэма не появилась — вероятно, по цензурным причинам.

Даже когда вопрос о ее публикации снова возник уже после смерти Тургенева, в 1884 году, цензор Воронич, напуганный «событием» 1 марта 1881 г. и ему предшествующими, оказался в затруднении. В своем докладе он писал: «В этом стихотворении воспроизводится личность итальянца, Филиппо Стродзи, известного борца за свободу во время царствования императора Карла V. Филиппо Стродзи, возмущенный произволом власти родственного императору Александра Медичиса, приносит на последнего жалобу Карлу V, но безуспешно: „цари друг другу все сродни“,— говорит автор. Тогда Стродзи решается погубить „надменного владыку“, что и приводит в исполнение, а засим погибает и сам». Мнение цензора не совпало, однако, с заключением комитета, и поэма была разрешена к печати (*Центрархив, Документы*, с. 104—105).

Герой поэмы — Филиппо Джамбатиста Стродзи, вернее — Строцци (Strozzi, 1488—1538) — итальянский политический деятель, который вел продолжительную борьбу против тирании семейства Медичи (Медичисов). В 1527 г. он принял участие во флорентийской революции против них, но в 1530 г., по настоянию папы Климента VII, помог Алессандро Медичи захва-

тить власть и стать герцогом Флорентийским. Осознав, что этим он способствовал усилению тирании, Ф. Строцци вскоре снова возобновил борьбу против деспотизма.

Филиппо Строцци наряду с Алессандро Медичи и Лоренцино являются действующими лицами драмы Альфреда де Мюссе «Лоренцаччо» (1834), которая, несомненно, была известна Тургеневу. Ст. 15 из «Филиппо Стродзи»: «В нем древний римлянин воскрес»,— по смыслу близок словам Строцци в пьесе Мюссе: «Я сидел согбенный над книгами и мечтал для моей родины о том, что восхищало меня в древности» (д. 2, сц. 5). Несколько раз упоминает французский писатель, по аналогии, и Марка Брута (д. 3, сц. 3). Возможно, что Тургенев знал и о служившей источником для Мюссе флорентийской хронике «Storia florentina» (написана в 1547 г., издана во Флоренции в 1721 г.; французский перевод — 1754 г.) Бенедетто Варки, писателя-историка, сторонника Строцци и врага Медичи. В этой хронике описаны события, происходившие во Флоренции между 1527 и 1538 годами, т. е. во времена, изображенные Тургеневым в его поэме.

От всех других поэм Тургенева «Филиппо Стродзи» отличается своим тираноборческим сюжетом. Связанное с декабристской и лермонтовской традициями (см. об этом: Павлов Л. В. Молодой Тургенев и М. Ю. Лермонтов.— В кн.: Вопросы реализма. Петрозаводск, 1968, с. 86—88), это незаконченное произведение, однако, во многом отлично от романтических поэм.

Поэтическая лексика «Филиппо Стродзи» («честный гражданин», «древний римлянин», «свобода», «рабство», «грозный притеснитель», «неблагодарная толпа») действительно восходит к романтическому стилю. Но Тургенев пытался преодолеть романтическую трактовку образа героя. В противоположность «Разговору», где старик и молодой человек нарисованы в традициях романтической поэмы, образ Филиппо Стродзи лишен недоговоренности, таинственности, загадочности, он более реалистичен (см.: Габель М. О. «Филиппо Стродзи» И. С. Тургенева. (К вопросу об идейных позициях писателя в 1847 г.).— Вопр. рус. лит. Львов, 1967, вып. 2(5), с. 49).

Тургенев стремился к исторической точности, к созданию портрета исторического лица. И это было тесно связано с основной направленностью, пафосом его литературно-критических статей, написанных в 1846 году,— о пьесах «Смерть Ляпунова» С. А. Гедеонова и «Генерал-поручик Паткуль» Н. В. Кукольника (см. наст. том). В этих статьях Тургенев выступал за историческую правду против искажений ее в псевдоромантической драматургии.

Говоря о Филиппо Стродзи и его поражении в борьбе с деспотизмом, Тургенев причину этого усматривал в разобщенности героя с «толпой», учитывая, возможно, и опыт декабристов. Однако в противоположность своему более раннему произведению, стихотворению «Толпа» (1843), писатель в заключительных строках поэмы «Филиппо Стродзи» упомянул «немые, тяжкие страдания» «толпы», а также ее «победы громкие». Таким образом, хотя «толпа» оставалась «неблагодарной» по отношению к герою, тем не менее в трактовке этой темы Тургенев уже

приближался теперь в какой-то мере к «социальности» Белинского.

Ст. 1. *В отчизне Данта, древней, знаменитой...*— Во Флоренции, которая была родиной Данте Алигьери.

Ст. 2—3. *...монах немецкий ∾ восставал...*— Мартин Лютер (1483—1546), выступавший против догматов и установлений католической церкви. Его учение стало знаменем назревавшей в Германии революции, принявшей в условиях того времени форму религиозного реформизма.

Ст. 9. *Свою судьбу тосканская столица.*— Флоренция — столица Тосканы, области (аристократической республики, потом герцогства) в северной Италии.

Ст. 25. *И, верный строгой мудрости Зенона...*— Зенон (около 336—264 до н. э.) — древнегреческий философ, основатель стоической школы, проповедовавшей воздержание, презрение к бедствиям и страданиям, внутреннюю свободу человека.

Ст. 29. *И вот, когда семейство Медичисов...*— Речь идет о богатом, знатном и крайне честолюбивом флорентийском роде Медичи, правившем во Флоренции с 1434 по 1737 г. (с перерывами).

Ст. 32. (*Со времени великого Козьмы*)...— Козимо Медичи Старший (1389—1464) с 1434 г. фактически стал полновластным правителем (тираном) Флоренции, формально сохраняя республиканские учреждения. Сыграл значительную роль в деле экономического развития Флоренции и укрепления ее политического положения; покровительствовал наукам и искусствам.

Ст. 34—35... *Пятый Карл — родную Дочь отдал Александру Медичису...*— Карл V (1500—1558) — испанский король и император так называемой Священной Римской империи в 1519—1555 гг. Стремясь упрочить императорскую власть в Италии и ведя борьбу с французским политическим влиянием, он старался уничтожить независимость отдельных итальянских государств (Флоренции, Милана и др.). Подчинение Флоренции дому Медичи было достигнуто при помощи Карла V, который при этом выдал замуж свою побочную дочь Маргариту за Алессандро Медичи (1510—1537).

Ст. 46—47. *Рукою Лоренцина погубил Надменного владыку.*— Алессандро Медичи, жестокий и дегенеративный тиран, получивший в 1532 г. титул герцога Флорентийской республики (до него дом Медичи не был облечен официальной властью), был убит в 1537 г. своим родственником Лоренцино (или Лоренцаччо) Медичи, возможно, желавшим вернуть своей родине свободу. Но это ни к чему не привело — власть сразу же захватил Козимо Медичи (см. ниже).

Ст. 54—55. *Явился новый, грозный притеснитель, Другой Козьма.*— Козимо Младший Медичи (1519—1574) — флорентийский герцог с 1537 г. (представитель боковой линии рода Медичи). Путем жестокого террора укреплял свою власть, покорил Сиену и, объединив всю Тоскану, получил от папы титул великого герцога Тосканского (в 1569 г.).

Ст. 62—63. *Его разбили, взяли в плен. Октавий Разбил же Брута...*— После провозглашения Козимо Медичи герцогом Фло-

ренции (в 1537 г.) Филиппо Строцци уехал в Болонью, где встал во главе изгнанников. В августе 1538 г. он был побежден и захвачен в плен. Брут, Марк Юний (85—42 гг. до н. э.) — римский политический деятель, защитник римской республики, один из главных участников заговора против Юлия Цезаря и его убийства. В сражении с войсками преемника Юлия Цезаря, Октавия (Августа), потерпел поражение и кончил жизнь самоубийством.

Ст. 79. *...И вспомнил он любимую жену...* — Ф. Строцци с 1508 г. был женат на Клариссе, дочери Пьерро Медичи, отличавшейся умом и красноречием. Этот брак не помешал Ф. Строцци оставаться врагом рода Медичи.

Ст. 108—109. *Но прежде чем себе нанес он рану Смертельную...* — Ф. Строцци покончил с собой 18 сентября 1538 г. в тюрьме флорентийской крепости.

Ст. 111—112. *...Он начертал: «Когда-нибудь восстанет* ∾ *мститель!»* — Тургенев имеет в виду проклятие Дидоны, которое она шлет покинувшему ее Энею.— «Энеида» Вергилия, песнь IV, стих 625: «Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor», т. е. «Из моего праха ⟨буквально — из моих костей⟩ восстанет некий мститель».

Ст. 114—115. *...Филиппов сын погиб в земле чужой...* — Пьеро Строцци — маршал Франции, который служил французскому королю Франциску I и тщетно пытался возвратиться во Флоренцию; был убит при осаде Тионвиля в 1558 г.

Ст. 115—116. *...внук Филиппа заживо был кинут в море...* — Филиппо Строцци (1541—1582) — генерал, находившийся на французской службе. Во главе флота он отправился в 1582 г. на помощь дон Антуану, избранному королем Португалии, и в морской битве у Азорских островов был пленен испанским адмиралом Санта-Крус, который приказал бросить его в море. Существует версия, что Ф. Строцци, тяжело раненный в сражении, был уже мертв, когда его принесли к испанскому адмиралу.

ГРАФИНЯ ДОНАТО

(с. 399)

Печатается по тексту первой публикации.

Впервые опубликовано: XXV лет. 1859—1884. Сборник, изданный комитетом Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым. СПб., 1884, с. 209—211, с подписью «И. Тургенев» и с подзаголовком «Начало поэмы».

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т, ПСС, 1898* (*«Нива»*), т. IX, с. 306—307.

Автограф неизвестен.

Датируется второй половиной 40-х годов — временем, когда была написана поэма «Филиппо Стродзи», найденная в бумагах Тургенева после его смерти вместе с этим «началом поэмы» и одновременно с ним впервые опубликованная в том же издании.

Сюжет поэмы взят из итальянской жизни эпохи позднего Возрождения. Донато — аристократическая венецианская семья,

из которой в XVI и XVII веках вышло несколько дожей Венеции. Известно лишь начало поэмы.

Ст. 17—18. *...когда владыки Рима ∾ творцу Ерусалима...*— Имеется в виду вызов в Рим папой Климентом VIII автора поэмы «Освобожденный Иерусалим» Торквато Тассо для увенчания его лавровым венком. Готовившиеся в связи с этим всенародные торжества не состоялись из-за внезапной смерти поэта (1595 г.).

ПРОЗАИЧЕСКИЕ НАБРОСКИ

⟨НАБРОСОК АВТОБИОГРАФИИ⟩

(с. 401)

Печатается по автографу — *ИРЛИ*, ф. 93, оп. 3, № 1253.

Впервые опубликовано: Красная нива, 1926, № 19, с. 16.

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т, ПСС и П, Сочинения*, т. I, с. 438.

Датируется 3—5 (15—17) ноября 1835 г. (см. ниже).

Стр. 401. *Мне 17 лет было тому с неделю.*— День рождения Тургенева — 28 октября (9 ноября) 1818 г.; следовательно, набросок этой первой автобиографии начат, вероятно, 3—5 (15—17) ноября 1835 г. В это время Тургенев был студентом Петербургского университета и жил в Петербурге.

Во-первых, читал недавно ∾ и свою Исповедь...— В библиотеке Тургенева (Государственный музей И. С. Тургенева в Орле) сохранились два отдельных издания «Исповеди» Руссо: Rousseau J. J. Les Confessions. Paris, 1813; Rousseau J. J. Les Confessions. Paris, 1827.

...была одна А. И. Л. ...— Речь идет, вероятно, о тетке матери Тургенева, Анне Ивановне Лутовиновой.

МИХАЙЛА ФИГЛЕВ

(с. 402)

Печатается по автографу — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 1.

Впервые опубликовано: *Лит Арх*, т. 3, с. 176—178.

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т, ПСС и П, Сочинения*, т. I, с. 439.

Датируется 1835 — началом 1836 г. (см. ниже).

На рукописи перед текстом надпись: «Тургенева мнение о Мише»; против слов «Впрочем, не старается прослыть любезным» на полях написано тем же почерком: «неправда». По-видимому, обе надписи сделаны рукою отца Михаила Фиглева.

Михаил Сергеевич Фиглев, друг юности Тургенева, умер 19 лет в 1836 г., а Тургенев писал о нем как о восемнадцатилетнем юноше. Следовательно, характеристика эта составлена

в 1835 или в начале 1836 г. Тургенев пометил характеристику М. Фиглева 32 номером, что дает основание высказать предположение, что им была написана целая серия аналогичных заготовок для будущей литературной работы.

Тургенев был знаком со всем семейством Фиглевых (см. наст. изд., Письма, т. I).

ПОХОЖДЕНИЯ ПОДПОРУЧИКА БУБНОВА

(с. 404)

Печатается по черновому автографу — *ГБЛ*, ф. 306, картон 1, ед. хр. 6.

Впервые опубликовано: *Рус Пропилеи*, т. 3, 1916, с. 44—51.

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т, Сочинения*, т. XI, с. 265—272.

Датируется по помете на рукописи (после слов: «Роман. Соч. Ив. Тургенева»):

«С. Спасское.
Начато 25-го июня 1842-го г. в 6 часов утра.
Кончено — того же дня в 9 " " ».

С Алексеем Александровичем Бакуниным (1823—1882) Тургенев познакомился и подружился осенью 1841 г. Об этой дружбе можно судить по письмам А. А. Бакунина к сестрам (см.: *Корнилов, Годы странствий*, с. 75, 77 и др.). Из письма общего приятеля Бакуниных и Тургенева К. А. Беера к А. А. Бакуниной от 4 июня 1842 г. (там же, с. 142) известно, что в это время Тургенев общался с Алексеем Бакуниным и последний несколько дней прожил в Спасском. Возможно, что «Похождения подпоручика Бубнова» были написаны как раз в этот период совместного пребывания Тургенева и Алексея Бакунина в Спасском и явились своеобразной шуточной реакцией на философские разговоры и споры между ними. Письма Тургенева к Алексею Бакунину, предшествующие «Похождениям», отличаются тем же шутливо-пародийным тоном, каким написаны и «Похождения подпоручика Бубнова» (см. наст. изд., Письма, т. I).

Некоторые мотивы «Похождений», например: «Подпоручик Бубнов шел ⟨...⟩, предаваясь, по обыкновению, любимым размышлениям — о том, что бы он стал делать, если б он был Наполеоном?» — навеяны чтением гоголевских повестей, в частности «Записок сумасшедшего». Гоголевская манера чувствуется и в самом сюжете (ср. с повестью «Нос», а также рассказами «Ночь перед Рождеством» и «Заколдованное место») и в смешении фантастики с бытом, и в нарочитой серьезности тона, когда речь идет о нелепых, неправдоподобных вещах. Например: «Чёрт схватил подпоручика Бубнова за хохол и снял с него голову. Подпоручик Бубнов хотел было удивиться — да без головы удивляться невозможно». Ср. у Гоголя в повести «Нос»: «Как же можно, в самом деле, чтобы нос, который еще вчера был у него на лице, не мог ездить и ходить,— был в мундире!»

Несколько раньше, в марте-апреле 1842 г., Тургенев работал над драмой «Искушение святого Антония», оставшейся

незавершенной. Здесь, как и в «Похождениях», действуют «адские» персонажи: сатана, чертенята и «любовница чёрта» Аннунциата. Написанные Тургеневым сцены сходны с «Похождениями» тем, что в обоих этих произведениях чёрт искушает человека. Но в «Искушении» эта тема дана в возвышенно-романтическом плане, тогда как в «Похождениях» она снижена, пародирована и доведена до гротеска. Грозный и коварный «сатана» «Искушения» здесь превращен в глупого и вульгарного «чёрта» и все соприкосновения с «нечистой силой» объясняются опьянением героя.

Стр. 404. *...потомку Баториев...* — О происхождении семьи Бакуниных биограф М. А. Бакунина А. А. Корнилов пишет: «В семейных преданиях сохранились малодостоверные и неясные легенды о происхождении Бакуниных от известного польского короля Стефана Батория или о родственных связях с ним, но никаких документальных данных, намекающих на что-либо подобное, по-видимому, не существует» (Корнилов А. А. Молодые годы Михаила Бакунина. М., 1915, с. 1).

Стр. 408. *Подпоручик! ∾ голубчик!* — В несколько измененном виде эта песенка вошла в повесть «Вешние воды», гл. XVII (1871; см. наст. изд., Сочинения, т. IX). Слова ее, вероятно, не сочинены Тургеневым, а взяты из бытового «мещанского» репертуара.

НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ В ПИРЕНЕЯХ

(с. 413)

Печатается по автографу — *ГПБ*, ф. 795, № 10.

Впервые опубликовано: *Т сб* (*Бродский*), с. 7.

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т, ПСС и П, Сочинения,* т. I, с. 452—453.

Датируется августом-сентябрем 1845 г. (см. ниже).

Запись представляет собою начало очерка и обрывается неоконченной фразой. Позднее Тургенев воспользовался оборотной стороной бумаги, на которой был начат очерк, для записи начала чернового варианта рассказа «Чертопханов и Недопюскин» из цикла «Записки охотника».

Название очерка не соответствует дошедшему до нас тексту, в котором говорится только о начале путешествия по дороге к Пиренеям. О самом же пребывании в Пиренеях Тургенев или не написал, оставив очерк незаконченным, или же листы с продолжением и окончанием очерка затерялись.

Путешествие происходило в 1845 году, что устанавливается на основании письма Н. М. Сатина к Н. П. Огареву от 2(14) августа 1845 г.: «Боткин и Тургенев проводили меня до Барежа. Тургенев шляется по Пиренеям, а Боткин, пробыв со мною два дня, отправился в Испанию. Мы очень веселились в Бордо, купались в океане около Байоны и вообще совершили это путешествие очень недурно» (*Рус Мысль*, 1891, № 8, с. 15).

В действительности же Тургенев отправился в Пиренеи вместе с В. П. Боткиным, который писал об этом своему брату

Николаю 22 июля (3 августа) 1845 г.: «...я нахожусь теперь в Пиренеях, куда попал вовсе неожиданно. Я ехал в Испанию. До Бордо товарищем мне был Сат‹ин›, а до Нанта провожал нас Ог‹арев›. В Бордо я уговорился съехаться с Тур‹геневым›. Сат‹ин› ехал пить воды в Пиренеях (в Бареж), а Тур‹генев› осмотреть Пиренеи и походить по ним. Мой путь лежал на Байону. ‹...› С глубоким прискорбием расставшись с Бордо, поехали мы в Байону; и я уже готовился идти взять место в дилижансе до Бургоса ‹...›, как Тур‹генев› предложил мне походить с ним по Пиренеям. Но всё, что было у меня денег, я перевел в Мадрит ‹...›. Тур‹генев› предложил мне денег — и я не хотел упустить случай взглянуть на Пиренеи» (Боткин В. П. Письма об Испании. Л., 1976, с. 220). Следующее письмо Боткина к брату, также из Пиренеев, датировано 29 июля (10 августа) 1845 г. (там же, с. 222), что дает возможность уточнить время пребывания Тургенева в Пиренеях. 17(29) июля 1845 г. он выехал из Парижа. В Бордо встретился с В. П. Боткиным и Н. М. Сатиным. 21 июля (2 августа) они выехали из Бордо и 22 июля (3 августа), предварительно проводив Сатина в Бареж, Тургенев с Боткиным уже были в глубине Пиренеев, в местечке Люз, откуда Боткин и писал брату. Вместе они путешествовали до 29 июля (10 августа), после чего Боткин поехал в Испанию, а Тургенев — в Париж. В Россию он вернулся только в начале ноября 1845 г.

Возможно, что Тургенев начал писать очерк еще во время путешествия в Пиренеях или сразу же по возвращении оттуда в Париж, до отъезда в Россию. По многочисленным мелким подробностям, указанным в записи, видно, что все они воспроизводят недавние впечатления. На этом основании запись предположительно датируется августом-сентябрем 1845 г.

Намерение вести во время поездок путевые очерки возникало у Тургенева и ранее. Еще в 1840 г., перед отъездом в Италию, он писал 14(26) января А. В. Никитенко, бывшему тогда редактором «Сына отечества»: «...позвольте мне изредка присылать в Ваш журнал письма, которые уже по одним подробностям италиянской жизни, природы и памятников древности, может быть, не будут совершенно лишены интереса».

Вероятно, данный отрывок является началом очерка, также предназначенного для помещения в каком-либо журнале. Но как в 1840 г., так и в 1845 г. Тургенев не выполнил своего намерения. Впоследствии он дважды предпринимал печатанье уже не путевых очерков, а писем из-за границы.

Стр. 413. *...большим поклонником Кузéна.* — Виктор Кузен (1792—1867) — французский философ, идеалист-эклектик, идеолог буржуазии в эпоху Июльской монархии.

Ночью мы проехали через историческое Блуа (Blois)... — Блуа, город в центральной части Франции, известный тем, что в нем заседали Генеральные штаты 1576 и 1588 годов.

Стр. 414. *...во время моего пребывания в Гавре...* — Тургенев был в Гавре в конце мая 1845 г., при проезде морским путем из Петербурга в Париж.

...наш сластолюбивый приятель Б‹откин›... — Василий Петрович Боткин (1811—1869), литератор, друг Белинского и Тур-

генева; результатом его поездки в Испанию явились «Письма об Испании», напечатанные в «Современнике» в 1847 г. и отдельной книгой (СПб., 1857).

...где давали «Роберта-Дьявола»... — «Роберт-Дьявол» — опера Мейербера (1830).

СЮЖЕТЫ

(с. 415)

Печатается по автографу — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 2.

Впервые опубликовано: *Центрархив, Документы*, с. 37.

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т, ПСС и П, Сочинения*, т. I, с. 454.

А. И. Белецкий, публикуя «Сюжеты», высказал предположение, что они были записаны Тургеневым в 1840-х годах, в атмосфере всеобщего увлечения «физиологическими очерками». М. К. Клеман датировал их точнее: 1845—1846 годами (см.: Клеман М. К. Иван Сергеевич Тургенев. Очерк жизни и творчества. Л., 1936, с. 34). Такая датировка наиболее вероятна, так как именно в эти годы вышли в свет два тома «Физиологии Петербурга» (1844—1845) и «Петербургский сборник» (1846).

Намеченные Тургеневым сюжеты не были им разработаны. После опубликования в январе 1847 г. «Хоря и Калиныча» Тургенев надолго был поглощен очерками из крестьянского быта. Высказывалось предположение, что этот перечень сюжетов был составлен Тургеневым не только с учетом его собственных замыслов, но и как список тем, которые могут быть разработаны другими писателями натуральной школы (см.: Клеман М. К. Указ. соч.; ср.: Шкловский Виктор. Заметки о прозе русских классиков. М., 1955, с. 203). Интересно в связи с этим отметить, что в «Физиологии Петербурга» и «Петербургском сборнике» были напечатаны физиологические очерки разных авторов, близкие по темам к «сюжетам» Тургенева. Например: «Петербургский дворник» (В. И. Даля), «Петербургские шарманщики» (Д. В. Григоровича), «Петербургская сторона» (Е. П. Гребенки), «Петербургские углы» (Н. А. Некрасова), «Омнибус» (А. Я. Кульчицкого) и т. д. Некоторые из намеченных сюжетов впоследствии так или иначе были использованы в творчестве самого Тургенева. Так, можно отметить сходство четвертого сюжета с темой тургеневского стихотворения в прозе «Маша» (1878), в котором главным действующим лицом является ночной извозчик, рассказывающий седоку о своем горе (см. наст. изд., Сочинения, т. X). Не исключена возможность, что прямое отношение к четвертому сюжету имеет также незавершенный набросок Тургенева под названием «Ванька» (см. наст. том, с. 416). Под номерами 5 и 6 отмечены «Толкучий рынок с продажей книг» и «Апраксин двор». Очень вероятно, что задуманные Тургеневым очерки должны были быть основаны на личных впечатлениях. В 1840-е годы Тургенев хорошо знал книжные магазины Петербурга и букинистов. В это время книжная торговля, по преимуществу иностранными книгами, сосредоточивалась на Невском проспекте, магазины русских книг находились в Гостином дворе (Столпянский П. Книга

в старом Петербурге.— Русское прошлое, 1923, кн. 4, с. 133—134), в Апраксином дворе расположены были важнейшие лавки и лари букинистов. Среди «апраксинских» букинистов было много весьма колоритных фигур; одного из них, Семена Андреева, прозвали Гумбольдтом «отчасти потому», что он «действительно был похож на бюст Гумбольдта, а вместе с тем и потому, что любил пофилософствовать» (Свешников Н. И. Воспоминания пропащего человека. М.; Л., 1930, с. 409—412; ср.: Симони П. Библиографические листки о книжной торговле и типах торговцев на старом Апраксином рынке.— Старые годы, 1907, февраль, с. 60—69).

«Сюжеты» 8 и 9 неоднократно привлекали внимание исследователей в связи с очерком «Певцы». Было высказано предположение, что в этом очерке Тургеневу «пригодились» «песельники Жукова» (Белецкий А. Письма и заметки из архива Е. Я. Колбасина.— *Центрархив, Документы*, с. 38) и что при разработке этого сюжета писатель перенес действие из обстановки городского трактира в обстановку деревенского кабачка (Эйхенбаум Б.— *Т, Сочинения*, т. I, с. 349). Точка зрения А. Белецкого и Б. Эйхенбаума вызвала возражения со стороны М. Клемана, который отрицал связь «Сюжетов» с «Певцами» на основании письма Тургенева к П. Виардо от 26 октября (7 ноября) 1850 г. М. Азадовский, соглашаясь с М. Клеманом, писал: «Действительно, едва ли имеются серьезные основания сближать певцов Притынного кабачка с „песельниками Жукова“; прообразом Якова Турка послужил, по всей вероятности, кто-либо из рабочих фабрики Н. С. Тургенева (брата писателя)» (Известия АН СССР. ОЛЯ. М., 1954, т. XIII, вып. 2, с. 162; ср.: Шумский И. О прототипе Якова Турка в «Певцах» И. С. Тургенева.— Русская литература, 1959, № 3, с. 193—199). О «песельниках Жукова» М. И. Пыляев пишет: «В сороковых и пятидесятых годах особенно славились в Екатерингофе песенники с табачной фабрики В. Г. Жукова. Здесь они кочевали лагерем во время сенокоса на Екатерингофских лугах, сопровождая работу пением и плясками» (Старый Петербург. СПб., 1887, с. 82).

«Большую фабрику со множеством рабочих» Тургенев не изобразил детально ни в 1840-х годах, ни позднее. В «Бежине луге» (1850—1854) он бегло коснулся быта помещичьей бумажной фабрики; о большой капиталистической пореформенной фабрике и некоторых ее рабочих говорится в «Нови» (1876).

Стр. 415. *Галерная гавань* — оконечность Васильевского острова в Петербурге, на берегу Финского залива, местность, населенная городской беднотой и часто страдавшая от наводнений. *Сенная* — рыночная площадь в Петербурге (теперь площадь Мира), окруженная густонаселенными домами, трактирами и т. п. *Гороховая* — улица в Петербурге — одна из главных городских артерий (теперь улица Дзержинского), заселенная чиновниками, купцами, ремесленниками и т. п. Упоминается у Пушкина («Барышня-крестьянка»), Лермонтова («Княгиня Лиговская»), Гоголя («Невский проспект» и др.), позднее — у Гончарова («Обломов») и Достоевского («Идиот»). *Апраксин двор* — в Петербурге — в то время рыночная площадь с дере-

вянными лавками, где велась мелкая торговля. Выгорел в известном пожаре 7 июня 1862 г.

Бег на Неве — устраивался зимой, на расчищенной ледовой дорожке, преимущественно на «святках», и привлекал много зрителей (ср. у Пушкина в «Медном всаднике»: «Люблю... Бег санок вдоль Невы широкой»).

Невский проспект — в Петербурге; не раз служил предметом изображения в литературе, особенно у Гоголя (повесть «Невский проспект», «Мертвые души»).

ВАНЬКА

(с. 416)

Печатается по автографу: *ЦГАЛИ*, ф. 509, оп. 2, ед. хр. 6, л. 79.

Впервые опубликовано в примечаниях к *Т, СС*, т. IX, с. 594.

В основной текст сочинений впервые включено в издании: *Т, ПСС и П, Сочинения*, т. I, с. 455.

Набросок записан Тургеневым в тетради, содержащей черновые редакции комедий «Нахлебник» (1848) и «Холостяк» (1848—1849), на основании чего он может быть датирован 1848—1849 гг. Не исключена возможность, что «Ванька» был задуман Тургеневым как очерк, разрабатывающий 4-й «Сюжет» (см. наст. том, с. 415).

ПРИЛОЖЕНИЕ

НЕСКОЛЬКО ЗАМЕЧАНИЙ О РУССКОМ ХОЗЯЙСТВЕ И О РУССКОМ КРЕСТЬЯНИНЕ

(с. 419)

Печатается по авторизованной копии — *ЦГАЛИ*, ф. 509, оп. 1, № 23; подпись и дата — автограф.

Впервые опубликовано по той же копии: Одесские новости, 1910, № 8286, 5 декабря.

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т, Сочинения*, т. XII, с. 438—447. Во всех публикациях допущены пропуски текста, восстановленные в настоящем томе.

Датировано 23—25 декабря ст. ст. 1842 г. (см. наст. том, с. 430).

Сильно поврежденный черновой автограф хранится: *ГПБ*, ф. 795, № 1. На обороте второго листа краткий план будущего собрания сочинений. Представляется убедительным замечание В. А. Громова о том, что в рубрике этого плана — «Рассказы» могли быть и те, которые позднее вошли в цикл «Записок охотника». Таким образом, работа над статьей шла у Тургенева одновременно с работой над его самыми антикрепостническими художественными произведениями (см.: Тургенев И. С. Собр. соч. / В 12-ти т. М., 1975, т. 1, с. 355).

Авторизованная копия принадлежала сослуживцу Тургенева по Министерству внутренних дел В. М. Лазаревскому (1817—1890).

Написано по заданию министра внутренних дел Л. А. Перовского, о чем на листе копии имеется запись Лазаревского: «Тургенев писал это, состоя на службе в особенной канцелярии министра внутренних дел, как кажется, в виде экзамена». «Замечания» Тургенева написаны по поводу правительственного указа от 2 апреля 1842 г. «Об обязанных крестьянах». Печатный текст указа хранится вместе с копией Тургенева и на нем имеется запись Лазаревского, из которой видно, что подобные записки предлагалось составлять всем поступавшим на службу молодым людям для проверки их способностей и образа мыслей. Этим объясняется официально-риторический тон «Замечаний» Тургенева.

Решение Тургенева поступить на государственную службу и выбор для этого Министерства внутренних дел, по-видимому, определились в бытность его в Дрездене летом и осенью 1842 г., когда он был особенно близок с М. А. Бакуниным. В этом решении Тургеневым руководило желание послужить родине и принести посильную помощь русскому крестьянству в деле его освобождения от крепостной зависимости, а Мини-

стерство внутренних дел как раз и занималось подготовкой крестьянской реформы. Во главе министерства тогда (с 1841 года) стоял Лев Алексеевич Перовский (1792—1856), в молодости член декабристских организаций — «Военного общества» и «Союза благоденствия»,— известный энергией, независимостью взглядов и антикрепостническими убеждениями. Особенной канцелярией руководил в то время писатель Владимир Иванович Даль (1801—1872), непосредственно занимавшийся собиранием и разработкой материалов о положении «дворовых людей» и подготовкой законопроектов. Вопрос о службе Тургенева подробно освещен Ю. Г. Оксманом в комментариях к изданиям: *Т, Сочинения*, т. XII, с. 692—697; *Т, СС*, т. XI, с. 550—552, и в статье «И. С. Тургенев на службе в Министерстве внутренних дел» (Уч. зап. Саратов. гос. ун-та им. Н. Г. Чернышевского. 1957, т. LVI, вып. филолог., с. 172—183), а также в примечаниях В. А. Громова к «Запискам охотника».— Тургенев И. С. Собр. соч./В 12-ти т. М., 1975, т. 1, с. 355—357.

Тургенев искренно верил в намерения министерства. Однако очень скоро он разочаровался в своих надеждах и в начале 1845 г. навсегда покинул поприще государственной службы (см. письмо его к К. К. Фон Полю от 4(16) апреля 1845 г.— Наст. изд., Письма, т. I).

Тургенев не любил вспоминать эти страницы своей биографии и в 1875 г., говоря о себе в третьем лице, писал, допуская некоторые неточности в датах: «В 1841 году он вернулся в Россию, поступил в 1842 году в канцелярию министра внутренних дел под начальство В. И. Даля, служил очень плохо и неисправно и в 1843 году вышел в отставку» («Автобиография».— Наст. изд., Сочинения, т. XI).

Борьбу с крепостным правом Тургенев перенес в область литературно-художественного творчества и в первую очередь эта борьба отразилась в «Записках охотника».

«Замечания» Тургенева проникнуты искренней верой в бескорыстное желание правительства облегчить положение крестьян и в целесообразность государственного бюрократического аппарата, призванного следить за соблюдением законности. В суждениях, высказанных в «Замечаниях», отразилось влияние передовых и прогрессивно настроенных деятелей 1830-х годов (Пушкина, Белинского, М. А. Бакунина и других).

Стр. 419. *Состояние русского крестьянина составляет предмет постоянного внимания нашего монарха...*— Об этом писал, в частности, А. П. Заблоцкий-Десятовский в секретной записке «О крепостном состоянии в России» (1841), которая, впрочем, была известна в кругах передовой петербургской общественности: «Слухи о намерении правительства изменить крепостное право распространялись более или менее везде» (Заблоцкий-Десятовский А. П. Граф П. Д. Киселев и его время. СПб., 1882, т. IV, с. 335).

...(*смотри статью г. Хомякова в «Москвитянине» нынешнего года и возражения симбирского помещика*).— Речь идет о статье А. С. Хомякова «О сельских условиях» (Москвитянин, 1842, № 6, с. 253—266), вызвавшей «Замечания на статью г-на Хомякова: О сельских условиях», напечатанные без под-

писи, с указанием под текстом города Симбирска (Москвитянин, 1842, № 8, с. 376—382).

Стр. 421. *См. Древ. вив⟨лиофика⟩, том XIII.*— В книге: «Древняя российская вивлиофика, изданная Николаем Новиковым» (2-е изд. М., 1790), ч. XIII, гл. «Свадьба князя Василия Даниловича Холмского», на с. 2—3 читаем: «А в поезду были со князем Василием дети боярские», и далее следует длинный, на двух страницах, список имен и фамилий.

Стр. 422. *Пределы моей статьи ∾ его добродушия, его природного ума...*— Эту характеристику русского крестьянина ср. с характеристикой в главе «Русская изба» из публицистического произведения Пушкина «⟨Путешествие из Москвы в Петербург⟩», вошедшего в одиннадцатый том посмертного издания «Сочинений Александра Пушкина», напечатанный в 1841 г.: «Взгляните на русского крестьянина: есть ли и тепь рабского уничижения в его поступи и речи? О его смелости и смышлености и говорить нечего. Переимчивость его известна. Проворство и ловкость удивительны» (*Пушкин*, т. XI, с. 258).

Стр. 424. Слова: *в отдалении от своих имений, и как бы пренебрегающих* — впервые введены в текст в издании: *Т, ПСС и П, Сочинения*, т. I.

Слова: *и бдительный надзор за исполнением этой необходимой меры* — впервые введены в текст в издании: *Т, ПСС и П, Сочинения*; другие, более мелкие исправления текста не оговариваются.

Стр. 427. *Не говоря уже о том ∾ заслуживают названия рабов...*— Ср. в упомянутом очерке Пушкина «Русская изба»: «Прочтите жалобы английских фабричных работников; волоса встанут дыбом от ужаса» и т. д. (*Пушкин*, т. XI, с. 257).

Во время моего пребывания в Богемии...— Тургенев был в Богемии (как в Германии и вообще в Западной Европе называли Чехию), на курорте Мариенбад в августе-сентябре 1840 г. (см. наст. изд., Письма, т. I).

Стр. 429. *«Colosse aux pieds d'argile».*— Возможно, что впервые так назвал Россию Дени Дидро, о чем свидетельствует граф Сегюр, французский посол при дворе Екатерины II (см.: Comte de Ségur. Mémoires ou Souvenirs et anecdotes. Paris, 1827, v. II, p. 143, 214). Во всяком случае это сравнение уже с конца XVIII в. стало распространенным и употреблялось впоследствии в различных вариантах (см.: Ашукин Н. С., Ашукина М. Г. Крылатые слова. М., 1960, с. 301—302).

Стр. 430. *Вернейший признак силы — знать свои недостатки, свои слабости...*— Та же мысль: «Ничто не может быть полезнее для демократической партии, чем уразумение своей временной слабости и относительной силы своих противников» — была высказана М. А. Бакуниным в статье «Реакция в Германии», написанной 17—21 октября 1842 г. (Бакунин М. А. Собрание сочинений и писем / Под ред. Ю. М. Стеклова. М., 1935, т. III, с. 123). Впервые па это указал Ю. Г. Оксман в упомянутой выше статье, с. 178.

В надежде славы ∾ без боязни...— Перефразировка двух первых строк стихотворения Пушкина «Стансы». У Пушкина:

В надежде славы и добра
Гляжу вперед я без боязни...

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Архивохранилища

ГБЛ — Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина (Москва).

ГИМ — Государственный исторический музей (Москва).

ГПБ — Государственная публичная библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ленинград).

ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР (Ленинград).

ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства (Москва).

ЦГАОР — Центральный государственный архив Октябрьской революции (Москва).

ЦГИАЛ — Центральный государственный исторический архив (Ленинград).

Печатные источники

Анненков — Анненков П. В. Литературные воспоминания. М., 1960.

Белинский — Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М.: Изд-во АН СССР, 1953—1959, т. I—XIII.

Б-ка Чт — «Библиотека для чтения» (журнал).

ВЕ — «Вестник Европы» (журнал).

Вольф, Хроника — Вольф А. И. Хроника Петербургских театров с конца 1826 до начала 1881 года. СПб., 1877—1884, ч. I—III.

Герцен — Герцен А. И. Собр. соч.: В 30-ти т. М.: Наука, 1954—1965.

Гол Мин — «Голос минувшего» (журнал).

Достоевский — Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30-ти т. Художественные произведения. Т. I—XVII. Л.: Наука, 1972.

Житова — Житова В. Н. Воспоминания о семье И. С. Тургенева. Тула, 1961.

ИВ — «Исторический вестник» (журнал).

Корнилов. Годы странствий — Корнилов А. А. Годы странствий Михаила Бакунина. Л.; М., 1925.

Лит Арх — Литературный архив: Материалы по истории литературы и общественного движения / Ин-т рус. лит.— Пушкинский Дом. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1938—1953. Т. 1—4.

Лит-библиол сб — Литературно-библиологический сборник / Под ред. Л. К. Ильинского. Пг., 1918. (Труды Комис. Рус. библиол. об-ва по описанию журналов XIX в.; Вып. 1).

Лит Мысль — Литературная мысль: Альманах. Пг., 1922; Л., 1925. Т. I—III.

Лит Насл — Литературное наследство. М.: Наука, 1931—1977. Т. 1—86.

Некрасов — Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем / Под общ. ред. В. Е. Евгеньева-Максимова, А. М. Еголина и К. И. Чуковского. М., 1948—1953. Т. I—XII.

Н Мир — «Новый мир» (журнал).

Отеч Зап — «Отечественные записки» (журнал).

Переписка Грота с Плетневым — Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым / Под ред. К. Я. Грота. СПб., 1896. Т. I—III.

Петербургский сборник — «Петербургский сборник», изданный Н. Некрасовым. СПб., 1846.

Письма к Герцену — Письма К. Дм. Кавелина и Ив. С. Тургенева к Ал. Ив. Герцену. С объясн. примеч. М. Драгоманова. Женева, 1892.

Пушкин — Пушкин. Полн. собр. соч. М.: Изд-во АН СССР, 1937—1949. Т. 1—16.

Рус Бог-во — «Русское богатство» (журнал).

Рус Вед — «Русские ведомости» (газета).

Рус Мысль — «Русская мысль» (журнал).

Рус Пропилеи — Русские Пропилеи. Материалы по истории русской мысли и литературы. Собрал и подготовил к печати М. О. Гершензон. М., 1915—1916. Т. 1—4.

Рус Сл — «Русское слово» (журнал).

Рус Ст — «Русская старина» (журнал).

Сев Вестн — «Северный вестник» (журнал).

Сев Пчела — «Северная пчела» (газета).

Совр — «Современник» (журнал).

Т и его время — Тургенев и его время. Первый сборник под ред. Н. Л. Бродского. М., 1923.

Т и круг Совр — Тургенев и круг «Современника»: Неизданные материалы, 1847—1861. М.; Л., 1930.

Т, ПСС, 1883 — Тургенев И. С. Полн. собр. соч. Посмертное издание. СПб., тип. Глазунова, 1883. Т. 1—10.

Т. ПСС, 1897 — Тургенев И. С. Полн. собр. соч. 4-е изд. тип. Глазунова. СПб., 1897. Т. 1—10.

Т, ПСС, 1898 («Нива») — Тургенев И. С. Полн. собр. соч.: В 12 т. Приложение к журналу «Нива». Изд. А. Ф. Маркса. СПб., 1898; Пг.: Лит.-изд. отд. Наркомпроса, 1919.

Т, ПСС и П, Сочинения — Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 28-ми т. Соч. в 15-ти т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1960—1968.

Т, ПСС и П, Письма — Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 28-ми т. Письма в 13-ти т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1961—1968.

Т сб, вып. 1—5 — Тургеневский сборник: Материалы к Полному собранию сочинений и писем И. С. Тургенева. Л., 1964—1969. Вып. 1—5.

Т, сб (Бродский) — И. С. Тургенев: Материалы и исследования. Сборник / Под ред. Н. Л. Бродского. Орел, 1940.

Т, Соч, 1880 — Сочинения И. С. Тургенева. М.: Насл. бр. Салаевых, 1880. Т. 1—10.
Т, Сочинения — Тургенев И. С. Сочинения / Под ред. К. Халабаева и Б. Эйхенбаума. М.; Л., 1929—1934. Т. I—XII.
Т, СС — Тургенев И. С. Собр. соч. В 12-ти т. М., 1953—1958.
Т, СС («Огонек») — Тургенев И. С. Собр. соч. / Под ред. Н. Л. Бродского, И. А. Новикова, А. А. Суркова. Прил. журн. «Огонек». Т. I—XI. М.: Правда, 1949.
Т, Стих, 1885 — Стихотворения И. С. Тургенева. СПб., 1885.
Т, Стих, 1891 — Стихотворения И. С. Тургенева. 2-е изд. СПб., 1891.
Т, Стих, 1950 — Тургенев И. С. Стихотворения. Л., 1950. (Б-ка поэта. Малая серия).
Т, Стих, 1955 — Тургенев И. С. Стихотворения. Л., 1955 (Б-ка поэта. Малая серия, 3-е изд.).
Т, Стихотворения и поэмы, 1970 — Тургенев И. С. Стихотворения и поэмы. / Вступит. статья, подготовка текста и примечания И. Ямпольского. Л., 1970. (Б-ка поэта. Большая серия).
Центрархив, Документы — Документы по истории литературы и общественности.— И. С. Тургенев. М.; Пг.: Центрархив РСФСР, 1923. Вып. 2.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ ПРИ ЖИЗНИ И. С. ТУРГЕНЕВА 1836—1849

СТИХОТВОРЕНИЯ

ПОЭМЫ

СТАТЬИ И РЕЦЕНЗИИ

ПРОИЗВЕДЕНИЯ, НЕ ОПУБЛИКОВАННЫЕ ПРИ ЖИЗНИ И. С. ТУРГЕНЕВА 1834—1849

СТИХОТВОРЕНИЯ

ЭПИГРАММЫ И ШУТОЧНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

ПОЭМЫ

ПРОЗАИЧЕСКИЕ НАБРОСКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИМЕЧАНИЯ

Печатается по решению
Редакционно-издательского совета
Академии наук СССР

*

Подготовка текстов и комментирование их в настоящем томе проведены на основе I тома Сочинений Полного собрания сочинений и писем И. С. Тургенева в 28-ми томах (М., 1960), где эту работу осуществили:
*М. П. Алексеев, Т. П. Голованова, В. А. Громов,
Т. П. Ден, А. Н. Егунов, Н. В. Измайлов,
Е. И. Кийко, Л. Н. Назарова,
А. М. Ступель, Е. М. Хмелевская,
Б. М. Эйхенбаум.*

В работе над настоящим томом принимали также участие
Р. Ю. Данилевский, Е. В. Свиясов, И. С. Чистова.

Редакторы первого тома
М. П. Алексеев и *Н. В. Измайлов*

*

Редактор издательства *М. Б. Покровская*
Оформление художника *М. В. Большакова*
Художественный редактор *С. А. Литвак*
Технический редактор *О. М. Гуськова*
Корректоры *Л. С. Агапова, Е. Н. Белоусова, О. В. Лаврова*

ИБ № 15499

Сдано в набор 04.05.78.
Подписано к печати 11.08.78.
Формат 84×108 1/32.
Бумага типографская № 1.
Гарнитура обыкновенная.
Печать высокая.
Усл. печ. л. 30,3. Уч.-изд. л. 30,4.
Тираж 400 000 экз. Тип. зак. 2722,
Цена 3 р. 40 к.

Издательство «Наука»
117485, Москва, В-485, Профсоюзная ул., 94а
Набрано во 2-й типографии издательства «Наука»
121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 10

Отпечатано в ордена Октябрьской Революции
и ордена Трудового Красного Знамени
Первой Образцовой типографии имени А. А. Жданова
Союзполиграфпрома при Государственном комитете
СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли
Москва, М-54, Валовая, 28.